

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЕСТНИК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

24

1927

ИЗД-ВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Типограф и Словол.
„Красная Пресня“
(3-я Мосполиграф)
Москва, М. Грузинск.
Столярный пер, 5/7.

СОДЕРЖАНИЕ

I. — Статьи

	<i>Стр.</i>
Деборин, А. Октябрьская революция и диалектический материализм	5
Тележников, Ф. Проблема причинности с точки зрения диалектического материализма	20
Дынник, М. Инструментализм Джона Дьюи	74

Блюмин, И. Теория Вальраса (окончание)	90
Хмельницкая, Е. Государственно-монополистический капитализм (Германия 1914—1918 г.г.)	137

Залманзон, А. Теория условных рефлексов по книге И. Павлова «Лекции о работе больших мозговых полушарий»	166
Лихтенбаум, Л. К вопросу о числе измерений	181

II. — Стенограммы докладов, читаемых в Комм. Академии

Луппол, И. Пути философской мысли в СССР	207
Баммель, Г. Очередные проблемы материалистической диалектики	215
Торжественное заседание, посвященное 35-летию литературной деятельности М. Горького (С участием т.т. Фриче В. М., Когана П. С., Переверзева В. Ф., Горбова Д. А., Нусинова И., Беспалова, Кубикова и друг.)	225

III. — Критика и библиография

Сокольский, Л. Ю. Гирш. «Экономика торговли»	275
Рагольский, М. Ф. Богданов, Б. Раскин и В. Лаврентьев. «Теория кредита»	280
Тележников, Ф. И. Вайнштейн. «Организационная теория и диалектический материализм»	288
Чичикалов, А. «Основы материалистической диалектики». I. Энгельс. Составил В. О. Клемм. Пред. А. И. Варьяша	294
Владимиров, А. Леонид Райский. Социальные воззрения петрашевцев	301

IV. — Хроника

Организация Кабинета по изучению истории естествознания при Секции естественных и точных наук при Комм. Академии	304
--	-----

I.—СТАТЬИ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ¹

Международный пролетариат празднует в эти дни великую победу одержанную русским рабочим классом над помещиками и буржуазией своей страны. Эта победа знаменует собою начало новой исторической эпохи всемирного значения. На смену буржуазии пришел новый общественный класс, который установил новый социальный и политический строй. Пролетариат стал у кормила правления не с целью заменить господство одного класса господством другого класса, как это имело место во всех предшествующих буржуазных революциях. Его конечной целью является уничтожение всяких классов, уничтожение эксплуатации человека человеком, создание бесклассового общества и «отмена» всякого государства.

Отличительной чертой пролетарского движения, опирающегося на марксизм, надо признать то, что оно на всем протяжении своей исторической борьбы руководствуется строго *научной теорией*—теорией *диалектического материализма*. Пролетариат является в мир не с «пустыми руками», а с огромным запасом *новых идей*, с новым *мировоззрением* и новым *методом*, которые должны служить ему руководством в повседневной борьбе против старого мира и в созидательной, творческой работе по построению социалистического общества. Пролетариат является носителем новой *социалистической культуры*, которая сменяет культуру буржуазную. Диктатура пролетариата является необходимой предпосылкой и условием для осуществления исторических задач, стоящих перед рабочим классом. Пролетариат в качестве низшего эксплуатируемого класса буржуазного общества составляет уже отрицание классов вообще, так как он может освободить себя лишь при условии освобождения всего общества от классового господства, при условии уничтожения всяких классов. Таким образом, диктатура пролетариата является *преодолевающей* формой господства рабочего класса в целях построения бесклассового общества и новой социалистической культуры, покоющейся на социалистическом способе производства.

Если мы себя спросим, что общего между праздником Октябрьской революции и философией, то наш предварительный ответ может

¹ В основу статьи положена речь автора на соединенном торжественном заседании Философской секции при Комм. Академии и Института научной философии по поводу десятилетия Октябрьской революции.

быть выражён словами: праздник Октябрьской революции является в то же время и праздником нашей марксистской философии, праздником диалектического материализма. Ибо в основе всего марксизма лежит диалектический материализм, составляя его фундамент и сердцевину.

Маркс уже в своих ранних работах ставил вопрос о никчемности философии, оторванной от жизни. Он требовал, чтобы философия служила потребностям жизни, чтобы она заключила тесный и неразрывный союз с пролетариатом: «Теория осуществляется в каждом народе всегда лишь постольку, поскольку она сама есть осуществление его потребностей»... «Недостаточно, чтобы мысль стремилась к превращению в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли», писал Маркс в своем Введении к «Критике гегелевской философии права». Маркс стремился возвести, так сказать, практические потребности пролетариата на высоту теории и низвести теорию на грешную землю. Без теории нет революционного движения, нет сознательной практики. И потому молодой Маркс был озабочен тем, чтобы установить прочный союз между теорией и практикой, между философией и пролетариатом. Необходимо, писал он, чтобы пролетариат нашел свою теорию и чтобы, с другой стороны, теория нашла опору в пролетариате.

Вполне понятно, что не всякая теория, не всякая философия годилась для указанной цели. Поэтому Марксу предстояло еще создать ту научную теорию, которая могла бы служить выражением объективных «потребностей» пролетариата и которая могла бы взять на себя руководство его борьбой, его историческим движением. Через короткое время Маркс и Энгельс формулировали свою новую теорию диалектического материализма, на основе которого и построили всю концепцию научного социализма. В мою задачу не входит, разумеется, изложение основ диалектического материализма. Здесь достаточно лишь подчеркнуть, что диалектический материализм полностью удовлетворяет тем требованиям, которые предъявлялись Марксом новой теории. Она должна рассматривать наши *идеи* не как самостоятельные сущности, оторванные от реальной действительности, а как отображения самой действительности; только в том случае, когда «действительность сама стремится к мысли», как выражается Маркс, мысль может превратиться в действительность. Иначе, говоря, теория только в том случае может осуществиться в жизни, в действительности, если она сама есть осуществление действительности. Этим устанавливается единство мысли и действительности, теории и практики. Поэтому марксизм не занимается измышлением общественных идеалов, а раскрытием «идеалов» в самой действительности.

«Новое направление — писал Маркс к Руге в 1843 г. — не стремится догматическими построениями предвосхитить будущее, а желает только посредством критики старого мира найти новый мир. До сих пор философы имели в своем портфеле разрешение всех загадок, и глупому непосвященному миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рыбчиков абсолютной науки. Теперь философия сделалась

светской; это неопровержимо доказывается тем, что само философское сознание не только внешним, но и внутренним образом втянуто в водоворот борьбы. Если, значит, конструирование будущего и окончательные результаты для всех грядущих времен — не наше дело, то тем определеннее мы знаем, что нам нужно совершить в настоящем: *я говорю о беспощадной критике всего существующего*, беспощадной в двух смыслах, — что эта критика не боится собственных результатов и не отступает перед столкновением с властями *предержащими*».

Таким образом, новая философия, новая теория, основные контуры которой Маркс намечает в своих ранних работах, коренным образом должны отличаться от общепринятых как в смысле ее связи с действительностью, с той борьбой, которая происходит в политической и социальной практике, так и в смысле отрицания всяких абсолютных истин, извлекаемых философами из собственной головы. Философия и наука должны заниматься изучением и критикой объективной действительности и в ней находить новый мир, новую действительность. «Разум — говорит Маркс — существовал всегда, только не всегда в разумной форме. Критик может, значит, взять исходным пунктом всякую форму теоретического и практического сознания и из *собственных* форм существующей действительности развить истинную действительность, как ее должествование и конечную цель».

Поскольку идет речь об отношении нового направления к *сознанию*, Маркс также программно намечил уже в 1843 г., в чем собственно должна заключаться *реформа* сознания, о которой в то время друзья Маркса много говорили. «Реформа сознания состоит *только* в том, чтобы дать миру познать его собственное сознание, чтобы рассеять грезы мира о самом себе, чтобы *разъяснить* ему смысл его собственных действий».

Все нами приведенные соображения составляют совокупность *программных* положений, которые впоследствии были разработаны Марксом в единое, стройное, целостное учение, охватывающее как природу, так и общественную жизнь.

На протяжении восьмидесяти лет марксизм, положив в основу своего учения *диалектический материализм*, шел от победы к победе. Его сила заключается именно в том, что он «из собственных форм существующей действительности» развивает ее истинную действительность, т.-е. ее завтрашний день, ее «долженствование и конечную цель». На основе диалектического материализма Маркс создал теорию исторического материализма и дал несравненный анализ капиталистического общества, вскрыв движущие его законы и показав, как развитие собственных форм буржуазного общества неизбежно и неминуемо приводит к его крушению, к его смене новой общественной формацией.

Марксизм — единственная научная теория, которая имеет возможность *предвидеть* будущее, и эта возможность предвидения событий определяется указанными специфическими чертами марксовой теории, т.-е. прежде всего тем, что она стоит всецело на почве действитель-

ности, общий ход, направление и развитие которой заложены в «природе» этой действительности.

Высшим достижением марксизма является предсказание Маркса и Энгельса, сделанное ими еще в «Коммунистическом Манифесте», о том что капиталистическое общество в своем развитии приведет к *диктатуре пролетариата*, к захвату рабочим классом политической власти и к превращению его в господствующий класс. «Политическая власть, в собственном смысле этого слова, есть организованная сила одного класса, имеющая целью подчинение другого класса. Если пролетариат в борьбе против буржуазии необходимо объединяется, как класс, путем революции становится господствующим классом и, как господствующий класс, насильственно уничтожает старые условия производства, то вместе с последними он уничтожает также и условия существования антагонизма классов, классы вообще, а тем самым и собственное классовое господство.

Место старого буржуазного общества, с его классами и антагонизмом классов, займет ассоциация, в которой свободное развитие каждого будет условием развития всех».

В этих нескольких строках формулирована с гениальной прозорливостью «программа» исторического процесса на сотни лет вперед. Предсказание Маркса относительно наступления эпохи диктатуры пролетариата Ленин справедливо называет *гениальным предвидением*.

Мы ныне живем в условиях осуществленной диктатуры, когда идея, мысль превратилась в действительность; наша страна на протяжении целого десятилетия занимается интенсивно, со всем напряжением сил строительством социализма. Если это так, то не имеем ли мы право сказать, что марксизм в Октябре 1917 г. одержал одну из самых блестящих своих побед? Победа же марксизма равнозначна победе диалектического материализма, победе марксистской философии в первую очередь, ибо метод диалектического материализма составляет центральную ось, вокруг которой вращаются все части марксизма.

Надо сказать, что огромный авторитет Ленина, как вождя, зиждется прежде всего на его удивительной способности предвидения событий. И действительно, никто из крупнейших политических деятелей не может похвалиться тем, что исторические события разыгрались согласно их предсказаниям или расчетам. Они были способны на мелкие дела или могли, имея власть в своих руках, осуществить те или иные мероприятия на ближайший период. Но чтобы деятель гонимой, подпольной партии мог наметить заранее *путь развития* огромной страны, руководить, так сказать, этим процессом развития и лично довести партийный корабль, а вместе с ним и весь рабочий класс, всю страну и далее весь мир до порога социалистического общества, создав все необходимые предпосылки для дальнейшей эволюции такой страны, как старая Россия, по пути социализма,—чтобы это было возможно, необходимо, чтобы вождь и руководимая им партия опиралась на научную теорию. Политика буржуазных партий отличается от политики пролетарской партии тем, что первая «эмпирична» в узком смысле слова. Она ведет «реальную» политику

в смысле ползучего эмпиризма, отстаивая и защищая интересы своего класса, но не будучи в состоянии предвидеть события на более или менее продолжительный период.

Никто из буржуазных деятелей не предвидел, как закончится мировая война. Вряд ли кому-нибудь из них приходила в голову мысль, что она закончится в целом ряде стран пролетарскими восстаниями и подведет мир вплотную к социалистическому перевороту. Политика же коммунистической партии *научна* в настоящем смысле этого слова. Она руководствуется во всех своих действиях марксистской теорией. И эта теория дает возможность пролетариату даже в рамках буржуазного общества, где элементы *стихийности* играют преобладающую роль, вести в самых широких размерах *сознательную* политику.

Октябрьская революция явилась результатом развития всего капиталистического общества в целом. Она осуществила предсказание Маркса, относящееся к буржуазному обществу, как *таковому*. Пролетарская диктатура является, по учению Маркса и Энгельса, заключительным аккордом вековой борьбы пролетариата с буржуазией в недрах всякого капиталистического общества. Но величие Ленина заключается в том, что он непосредственно после февральской революции выдвинул лозунг о необходимости захвата власти рабочим классом для установления диктатуры пролетариата в России, что он понял *своеобразие* русской революции, *особенности* созданной войной *мировой обстановки* и определяемой ею, как и соотношениями общественных классов, своеобразной ситуации в России. Ленин, словом, в анализе конкретной обстановки России вскрыл те силы и внутренние пружины, которые делают возможной пролетарскую революцию, определив вместе с тем как предварительные условия подготовки этой революции, так и самый «момент» совершения ее.

«Чудес в природе и в истории не бывает,—писал Ленин в своих «Письмах издалека» в марте 1917 г.,—но всякий крутой поворот истории, в том числе всякая революция, дает такое богатство содержания, разворачивает такие неожиданно-своеобразные сочетания форм борьбы и соотношения сил борющихся, что для обывательского разума многое должно казаться чудом.

Для того, чтобы царская монархия могла развалиться в несколько дней, необходимо было сочетание целого ряда условий всемирно-исторической важности».

Но из дальнейшего анализа особенностей, созданных февральской революцией, соотношения сил борющихся классов и форм борьбы, Ленин уже в марте 1917 г. делает вывод о необходимости подготовки пролетариата ко второму этапу революции, который должен завершиться победой пролетариата.

«Что революционный энтузиазм передового класса при условиях, когда объективное положение *требует* крайних мер от всего народа, *многое* может, это нечего и доказывать, писал Ленин в третьем письме. Эта сторона дела воочию наблюдается и *ощущается* всеми в России.

Важно понять, что в революционные времена объективная ситуация меняется так же быстро и круто, как быстро вообще течет жизнь.

А мы должны *суметь приспособлять* свою тактику и свои ближайшие задачи к *особенностям* каждой данной ситуации. До Февраля 1917 г. на очереди стояла смелая революционно-интернационалистская пропаганда, призыв масс к борьбе, пробуждение их. В февральско-мартовские дни требовался героизм беззаветной борьбы, чтобы немедленно раздавить ближайшего врага — царизм. Теперь мы переживаем *перелом* от этого первого этапа революции ко второму, от «схватки» с царизмом к «схватке» с гучковско-милюковским, помещичьим и капиталистическим империализмом. На очереди дня *организационная* задача, но никоим образом не в шаблонном смысле работы над шаблонными только организациями, а в смысле привлечения невиданно широких масс угнетенных классов в организацию и воплощения самой этой организацией задач военных, общегосударственных и народно-хозяйственных¹.

Мы привели эту длинную цитату из Ленина, чтобы лишний раз показать: во-первых, конкретный, диалектико-материалистический подход Ленина к вопросам революции, во-вторых, прозорливость, поразительное умение Ленина ориентироваться в сложнейшей обстановке и ставить *прогнозы*, которые осуществились в действительности чуть ли не во всех подробностях. Статьи Ленина, написанные *накануне* Октябрьской революции, когда он призывал к восстанию, к захвату власти пролетариатом, производят еще ныне, через десять слишком лет после их написания, большое впечатление. Перед вами человек, который видит и как бы осязает, прощупывает насквозь исторические события, в то время как другие производят впечатление людей слепых и крайне ограниченных.

В ст. «Кризис назрел», написанной в начале октября 1917 года, Ленин, подводя итог текущему политическому моменту, писал: «Сомнения невозможны. Мы стоим в преддверии всемирной пролетарской революции. И так как мы, русские большевики, одни только из всех пролетарских интернационалистов всех стран пользуемся сравнительно громадной свободой, имеем открытую партию, десятка два газет, имеем на своей стороне столичные Советы рабочих и солдатских депутатов, имеем на своей стороне *большинство* народных масс в революционное время, то к нам поистине можно и должно применить слова: кому много дано, с того много и спросится»².

А в другом документе, написанном также в начале Октября, Ленин прямо говорит, что «события так ясно предписывают нам нашу задачу, что промедление становится положительно *преступлением*». Он требует взятия власти немедленно: «если нельзя взять власти без восстания, то надо *идти на восстание* тотчас», ибо, с одной стороны, все будущее русской революции поставлено на карту, а с другой стороны, победа обеспечена, ибо воевать против советов некому.

Последующие события целиком подтвердили правильность ленинского прогноза. Таким образом, мы можем сказать, что существен-

¹ Н. Ленин. Собрание сочинений, XX дополнительный том, К. II, 75—76 стр.

² Н. Ленин. Собрание сочинений, т. XIV, стр. 262.

ное отличие февральской революции от октябрьской состоит в том, что первая явилась результатом *стихийного процесса*. Массы *неожиданно и внезапно* восстали и опрокинули старый режим. Октябрьская же революция явилась результатом *сознательной* предварительной подготовки. Во главе ее, в качестве руководителя и организатора, стояла *пролетарская партия*, которая в течение месяцев держала курс на вторую революцию, выбрав для совершения ее наиболее благоприятный «момент», когда кризис объективно и субъективно назрел.

Политика есть в одно и то же время и наука и искусство; в ней осуществляется и единство теории и практики. Можно сказать, что Ленин, опираясь на философию диалектического материализма, поднел политику действительно на высоту *науки*. Политика в своей теоретической части всецело базируется на диалектико-материалистическом анализе и учете материальных условий развития данного общества, соотношения в нем классов и проч. Тактика же партии состоит в совокупности *практических* действий, вытекающих из результатов конкретного изучения действительности. Недостаточно владеть «хорошей» теорией, надо еще уметь применять теорию к действительности. Диалектика, вообще говоря, есть «алгебра революции». Если это было сказано в отношении гегелевской диалектики, то материалистическая диалектика является алгеброй революции в подлинном значении этого слова. Но искусство политика состоит в умении перевести алгебраические формулы на язык арифметики. Недостаточно знать *общие* законы развития общества, политик имеет дело также с «особенностями», специфическими условиями «текущего момента»; он должен давать правильную оценку данного политического «момента» как в связи со всей генеральной линией развития, так в связи с ближайшими и отдаленными перспективами процесса развития. Только на основе правильной ориентировки и оценки «текущего момента» возможна и правильная тактическая линия, которая сводится то к искусному маневрированию, то к ряду стычек с неприятелем, то к решающему сражению и т. д. Словом, политика—это наука и искусство в одно и то же время.

Марксистская политика тем и отличается от политики буржуазных партий, что она целиком проникнута научным духом, что она покоится на всесторонней *теории развития*. «Выяснив еще в 1844—45 гг. один из основных недостатков старого материализма, состоящий в том, что он не умел понять условий и оценить значения революционной практической деятельности,—пишет Ленин,—Маркс в течение всей своей жизни, наряду с теоретическими работами, уделял неослабное внимание вопросам тактики классовой борьбы пролетариата. Громадный материал дают в этом отношении *все* сочинения Маркса и изданная в 1913 г. четырехтомная переписка его с Энгельсом в особенности. Материал этот далеко еще не собран, не сведен вместе, не изучен и не разработан. Поэтому мы должны ограничиться здесь лишь самыми общими и краткими замечаниями, подчеркивая, что без *этой* (курсив Ленина. А. Д.) стороны материализма, Маркс справедливо считал его

половинчатым, односторонним, мертвенным. *Основную задачу тактики пролетариата Маркс определял в строгом соответствии со всеми посылками своего материалистически-диалектического мирозерцания* (курсив мой. А. Д.).

Лишь объективный учет всей совокупности взаимоотношений всех без исключения классов данного общества, а следовательно, и учет объективной ступени развития этого общества и учет взаимоотношений между ними и другими обществами, может служить опорой правильной тактики передового класса. При этом все классы и все страны рассматриваются не в статическом, а в динамическом виде, т.-е. не в неподвижном состоянии, а в движении (законы которого вытекают из экономических условий существования каждого класса). Движение, в свою очередь, рассматривается не с точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего и притом не в пошлом понимании «эволюционистов», видящих лишь медленные изменения, а диалектически: «20 лет равняются одному дню в великих исторических развитиях (?),—писал Маркс Энгельсу,—хотя впоследствии могут наступить такие дни, в которых сосредоточивается по 20 лет»¹.

Мы видим таким образом, что Ленин рассматривает тактику классовой борьбы пролетариата в свете философии диалектического материализма. На каждой ступени развития, в каждый момент, продолжает Ленин, тактика пролетариата должна учитывать объективно неизбежную диалектику человеческой истории, связывая данный момент с «конечной целью», ближайшие задачи и интересы рабочего класса с будущностью всего движения, революционную практическую деятельность вообще с основами материалистически диалектического мирозерцания, т.-е. с философскими основами марксизма в целом. Такое глубокое понимание марксизма и покоящейся на нем политики как науки и искусства, которое мы видим у Ленина, и сделало возможным победу пролетариата, руководимого марксистской партией, в октябре 1917 г. Несколько перефразируя слова молодого Маркса о взаимоотношении между философией и пролетариатом, можно сказать, что теория диалектического материализма явилась и является *главной* освободительного движения пролетариата. Мысли, идеи, теория превращаются в действительность; пролетариат не может упразднить себя без превращения его идей, его теории в действительность, ибо его теория есть, по словам Маркса, не что иное, как «стремящаяся к мысли действительность».

Октябрьская революция и десять лет социалистического строительства означают осуществление в действительности теории марксизма, теории диалектического материализма. Но если Октябрьская революция и завоеванное ею пролетарское государство знаменуют собою превращение марксистской теории в действительность, то новая действительность, новая историческая эпоха, поставившая у власти пролетариат, естественно возвела марксизм в государственную официальную доктрину, в господствующую идеологию. Если марксизм

¹ В. И. Ленин и Маркс, Энгельс, Марксизм. 1925 г., 29—30 стр.

«завоевал» пролетарское государство, то пролетарское государство, в свою очередь, поставило марксизм у власти в смысле его руководящей роли в процессе строительства социализма.

Что отличает *диалектический* материализм от материализма старого, до-марксовского? Его отличает от последнего не то, что он материализм вообще, а то, что он *диалектический* материализм. В нашу задачу не входит дать здесь изложение основ диалектического материализма. Но что необходимо здесь подчеркнуть,—это то, что материалистическая диалектика есть всесторонняя и самая последовательная теория *развития*. «Марксизм,—говорит Ленин,—указал путь к всеобъемлющему, всестороннему изучению процесса возникновения, развития и упадка общественно-экономических формаций, рассматривая *совокупность* всех противоречивых тенденций, сводя их к точно определяемым условиям жизни и производства различных *классов* общества, устраняя субъективизм и произвол в выборе отдельных «главенствующих» идей или в толковании их, вскрывая *корни* без исключения всех идей и всех различных тенденций в состоянии материальных производительных сил»¹.

Словом, все учение Маркса покоится на единственно-правильной научно-философской теории развития—на материалистической диалектике, которая изучает все явления в свете их *движения* (возникновения, развития и упадка), бесконечного *восхождения* от низшего к высшему, как выражается Энгельс, и как совокупность *противоречивых* тенденций, действующих внутри данного общества, поскольку речь идет именно о последнем. Только марксистская теория развития, видящая повсюду переходные и преходящие формы, дает возможность научного предвидения событий. Ленин дает следующую формулировку материалистической диалектики, как теории развития. «В наше время,—говорит он,—идея развития, эволюции вошла почти всецело в общественное сознание, но иными путями, не через философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всесторонняя, гораздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»); развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное; «перерывы постепенности»; превращение количества в качество; внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества; взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь *всех* сторон каждого явления (при чем история открывает все новые и новые стороны); связь, дающая единый, закономерный мировой процесс движения,—таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного (чем обычное учение о развитии)».

¹ В. И. Ленин. Маркс и Энгельс. Марксизм, 15 стр.

Материалистическая диалектика, как теория развития, в этом широком ее понимании и служила Ленину и руководимой им партии теоретическим орудием в борьбе за диктатуру пролетариата и социалистическое общество.

Если мы возьмем гегелевское, на первый взгляд отвлеченное утверждение, что в данном тезисе содержится уже и антитезис, т.-е. его отрицание, при чем это отрицание не является пустым, голым отрицанием, а отрицанием определенным,—то в переводе на более понятный язык—это означает, что из данной формы может развиться не *любая* иная форма, а только вполне *определенная* форма: из капиталистического общества, например, может развиться только социалистическое общество. В этом смысле мы, марксисты, и говорим, что капитализм уже в своих собственных недрах создает элементы нового строя, создает своего могильщика, что пролетариат является «отрицанием» буржуазного общества, мы говорим о законах и *тенденциях* развития, т.-е. об определенном *направлении*, в котором совершается развитие общества. Раз дано *направление*, общий ход развития и объективная закономерность этого развития, то естественно, что на этой основе мы имеем возможность делать и дальнейшие предсказания. Метафизический метод, рассматривающий все явления и вещи, как законченные и готовые, не может служить, разумеется, основанием для теории развития, лишая нас тем самым возможности научного предвидения. Но и «ходячая идея эволюции», выражаясь словами Ленина, также недостаточна, одностороння, ибо она отрицает *противоречивость* развития, перерывы постепенности, т.-е. «скачкообразный» характер процесса развития, что ведет фактически к возрождению *метафизики*. Это мы особенно наглядно видим на примере так наз. «чистых демократов», которые, подобно Каутскому, Гильфердингу, Ренеру и др., в своей защите буржуазной демократии и отрицании пролетарской *революции* в целях завоевания рабочего государства, фактически приходят к признанию буржуазной демократии вечным, неизменным институтом. Они—эволюционисты, а не диалектики. Эволюционизм тем отличается от революционной диалектики, что он признает бесконечную возможность развития *данной формы*, не видя ее *исторической ограниченности*, ее преходящего характера, ее смены *качественно* отличной от нее формой—посредством *скачка*, посредством *революции*.

Только марксистская теория развития, — материалистическая диалектика, даёт возможность формулировать и предсказывать на основе, разумеется, конкретного изучения действительности, *общий ход развития* этой действительности. Октябрьский переворот и наступление эпохи строительства социализма являются величайшим подтверждением истинности нашей теории.

II

Теория марксизма развивалась на всем протяжении своей восьмидесятилетней истории в борьбе со всевозможными враждебными ей буржуазными и мелко-буржуазными течениями. Если отметить неко-

торые этапы в развитии русского марксизма, то достаточно будет здесь упомянуть борьбу марксизма с народничеством, с так наз. легальным марксизмом, с кантианством, с струвизмом, далее во время первой революции 1905 г. с махизмом, с философией Богданова, с богостроительством, а еще позже с ликвидаторством, с кантианской этикой, которая должна была философски оправдать социалпатриотизм и проч. Но, несмотря на все эти так наз. «кризисы», марксизм выходил из них более окрепшим, ибо жизнеспособная теория не погибает в борьбе, а развивается и обогащается. При таких условиях можно было думать, что *после* Октябрьской революции диалектический материализм среди марксистов, по крайней мере, не будет встречать возражений и критики, а будет развиваться на основе громадного революционного опыта и положительной работы в области всех научных дисциплин в смысле переработки их с точки зрения марксистского метода, ибо *революция* является также движущей силой науки и философии, как и всякой теории вообще. Она революционизирует самые *основы мышления* громадных масс; революция по самому существу своему влечет за собою *переворот методологический*, «переоценку ценностей» с точки зрения идеологии победившего класса. В общем и целом, оно так и случилось. Мы действительно являемся свидетелями расцвета марксизма во всех областях знания.

Но неправильно было бы думать, что в условиях пролетарского государства марксизму не приходится вести борьбу со всевозможными уклонами, а то и прямо враждебными течениями, отражающими противоречия самой действительности. Марксизм, словом, развивается среди противоречий. Не останавливаясь на всех этапах развития марксизма за последние десять лет и беря только некоторые уклоны в области философии марксизма, отметим здесь, что в первые годы революции, когда все силы и все внимание привлекали всевозможные фронты гражданской войны, значительным влиянием у нас пользовалась философия А. А. Богданова.

По стопам Богданова пошла группа товарищей во главе с С. Мининым, который в 1922 г. на страницах «Под знаменем марксизма» выступил с лозунгом «Философию за борт!» В этой статье досталось прежде всего редакции «Под знаменем марксизма» за то, что она писала в своем заявлении: «Нужно пройти закаляющую школу *марксовой философии*, чтобы стать стойкими, уверенными, несокрушимыми коммунистами». Правда, через два месяца Ленин в своей статье «О значении воинствующего материализма» еще резко подчеркнул значение философии марксизма, чем это сделала редакция. Но это не помешало т. Минину настаивать на своих *неправильных* взглядах и отнести не только меня грешного, но и Ленина и Плеханова, к тем, кто «трубят» о философии марксизма.

Взгляды самого Минина были крайне «радикальны». «Существуют три способа понимания мира: религия, философия и наука. Марксисты путаются мол в этих трех соснах, вместо того, чтобы в первую очередь вышвырнуть за борт с капитанского мостика вслед за религией без остатка и философию», как писал этот автор. «У проле-

тариата остается и должна остаться наука, только наука, но никакой философии». При этом автор, в своем радикальном отрицании исходил главным образом из того, что философия есть *буржуазная идеология*. Что буржуазия имела также и некоторое «касательство» к науке и что при таком подходе легко было бы объявить и науку (как и всю культуру) также буржуазной и на этом основании их просто вышвырнуть за борт, это, повидимому, Минину и в голову не приходило. Ведь марксисты отстаивали и отстаивают не буржуазную философию, а диалектический материализм, философию марксизма.

Минин высмеивал заявление т. Н. И. Бухарина, что «пролетариат имеет свою философию, которая есть философия действия и борьбы, научного познания и революционной практики». Разве это неверно? И разве «радикальный» совет т. Минина вышвырнуть за борт марксистскую философию, если бы этому совету последовали, не привел бы к идейному разоружению пролетариата? В противоположность *ликвидаторам* марксистской философии, Ленин в это же время на страницах «Под знаменем марксизма» отстаивал тот взгляд, что «без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не могут выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мирозерцания». Мало того, Ленин указывал также и на то, что «без философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем случае». И он требовал, чтобы марксисты-естественники не были беззаботны на счет философии вообще и насчет диалектики в особенности.

Еще до Минина с большим шумом выступил другой несравненно более радикальный «реформатор». Мы имеем в виду Э. Енчмена. В 1919 г. вышли его «18 тезисов». Этот «чрезвычайный» автор объявил диалектический материализм просто-напросто *эксплуататорским обманом*. «Мировоззрение», писал он,—это эксплуататорская выдумка; с наступлением эпохи пролетарской диктатуры мы против «мировоззрения». Мы за пролетарскую и грядущую коммунистическую «единую систему органических движений». Массовое торжество «единой системы органических движений» связывалось нашим автором с периодом пролетарской диктатуры, с гибелью всех эксплуататорских высших «вечных» ценностей «разума», «познания», «логики»,—идеологий вообще.

Далее, Енчмен пророчествовал: «По мере распространения среди передовых русских рабочих ясного понимания излагаемых в дальнейших главах утверждений теории новой биологии о массовом возврате, в эпоху диктатуры пролетариата, к единой системе органических движений и о поголовной массовой гибели логики, в том числе логики и диалектической, такой же поворот совершится и с до того революционной ролью фигурирования в марксистской философской литературе элементов гегелевской диалектической логики, и эта особенность марксистской философской литературы тогда приобретет реакционный характер»¹.

¹ Э. Енчмен. Теория новой биологии и марксизм. Выпуск I. 1923 г., 70—71 стр.

С точки зрения «теории новой биологии» познание исторично и относительно, но не в обыкновенном, марксистском, а в чрезвычайном смысле: познание, оказывается, *свойственно только классовому обществу*. В эпоху пролетарской диктатуры начинается *отмирание* познания с тем, чтобы в коммунистическом обществе совершенно *исчезнуть*. «Вслед за низвержением эксплуататорских классов,—писал Енчмен,—начинается массовое ослабление, отмирание, а затем полная гибель, взрыв в воздух, уничтожение реакций «познания».

Прежде чем расстаться с Енчменом, не безынтересно привести его «пророчество» относительно «чрезвычайного успеха его теории новой биологии». «Мы глубоко уверены,—писал он,—что в ближайшие годы мы с читателем увидим много изданий этой брошюры (речь идет о брошюре «Восемнадцать тезисов о теории новой биологии». I. Д.), и много раз мы с ним будем свидетелями того, как, изучая эту брошюру, рабочие будут перелистывать ее своими мозолистыми руками; мы, далее, глубоко уверены, что к этому недалекому времени все, считающиеся сейчас самыми авторитетными, сочинения по философии марксизма самым печальным образом будут покрываться все более и более толстым слоем пыли на полках школьных библиотек. Мы совершенно не сомневаемся в том, что истинная, подлинная теоретика марксизма, какой мы ее застаем в лучших местах лучших из великих творений Карла Маркса в ближайшие же годы выйдет на широкую дорогу теории новой биологии. И эту книгу мы пишем для того, чтобы показать русским революционным рабочим, что теория новой биологии—это прямое и неизбежное развитие подлинного, ортодоксального марксизма»¹.

Мы уделили столько места Енчмену не потому, чтобы его взгляды сами по себе заслуживали особого внимания. На всей его работе лежит печать диллентантизма, ужасающей путаницы и невежества. У современного читателя, мы уверены, «идеи» Енчмена способны вызвать только гомерический смех. Но в свое время они своим «радикализмом», теоретическим нигилизмом увлекли часть учащейся молодежи. В некоторых наших вузах образовались специальные кружки «тэ-энбистов», в которых усердно изучались писания новоявленного пророка. Не будет преувеличением сказать, что енчменизм угрожал самым основам марксизма. Это обстоятельство и заставило революционных марксистов, в том числе и т. Бухарина, выступить с резкой отповедью Енчмену.

Тов. Бухарин в своей прекрасной работе «Енчмениада» вскрыл социальные корни енчменизма и показал всю его теоретическую несостоятельность. Тов. Бухарин показал, что енчменизм ничего общего не имеет с марксизмом, что Енчмен на самом деле ведет подкоп под материализм, прикрываясь марксистским флагом. Собственная же «теория» Енчмена представляет собою смесь вульгарного материализма с идеалистической сущностью. «Характернейшей чертой енчменовских «теорий» является их *глубочайший индивидуализм*,—писал

¹ Э. Енчмен. Теория новой биологии и марксизм, 23—24 стр.

Н. И. Бухарин.—Этот индивидуализм мы обнаруживаем у Енчмена буквально на каждом шагу: и когда речь идет об основных его философских посылах; и когда он ставит вопрос об исходном пункте социологического (биологического) анализа; и когда он разбирает конкретные вопросы истории; и когда ставится проблема вождей и массы; и когда нужно определить тактическую линию. Даже *форма* его произведений, стиль языка, оборот речи—«все так и пышет прямо нестерпимым индивидуализмом»¹.

Несмотря на то, что енчменизм, как явно враждебная марксизму теория, ныне почти забыт, отдельные элементы енчменизма не изжиты по сей день. Если мы вернемся к эпохе 1919—23 г.г., то придется признать, что енчменизм представлял собою попытку «систематизации» разных уклонов. Он вообрал в себя буржуазный идеализм (философский солипсизм), вражду к материализму, мещанский или, выражаясь словами т. Бухарина, *торгашеский* практицизм или «эмпиризм», отрицание всякой теории, всякой «идеологии», которым-де в коммунистическом обществе нет места. Отзвуки этой енчменистской «философии» и слышатся в Мининском лозунге «Философию за Борт»!, в неправильном понимании *идеологии*, которые мы встречаем у ряда товарищей, высказавшихся в те годы по этому вопросу, в проповеди *механического* материализма (особенно в психологии), в непонимании значения *теории* и материалистической *диалектики*, в частности.

Последнее пятилетие характеризуется углубленной работой во всех областях марксизма, в частности в области материалистической диалектики. Диалектический материализм проникает постепенно в новые научные дисциплины, овладевая ими и перерабатывая их с точки зрения марксизма. Это обстоятельство способствует, с одной стороны, внесению *единства*, объединению и взаимному оплодотворению всех научных дисциплин, а, с другой стороны, обогащению и углублению самого диалектического материализма, как мировоззрения и метода.

На ряду с этой здоровой тенденцией в области теоретического марксизма следует отметить и ту ожесточенную борьбу, которая ведется на протяжении последних лет между диалектиками и механистами. Механисты воспроизводят на новой базе все прежние уклоны и, в частности, основные мотивы енчменизма. Это на первый взгляд может показаться странным, но только для людей, мало знакомых с нашим философским развитием. В самом деле, механисты выступили с лозунгом: «наука—сама себе философия!», т.-е. с лозунгом *отрицания* философии марксизма, с проповедью *механического* материализма, с отрицанием *диалектики*, с обвинениями Энгельса в полумифе, в витализме. Много можно было бы еще сказать по адресу механистов, но для юбилейной статьи достаточно и сказанного, тем более, что бои на этом фронте еще не затихли.

¹ В. Бухарин. Атака, изд. второе, 165 стр.

Подводя итог сказанному, мы считаем особенно важным подчеркнуть, что марксизм развивался и на протяжении последних десяти лет среди противоречий, отражавших противоречивые тенденции в развитии нашей действительности. На каждом крутом повороте эти противоречия обнаруживаются с особой остротой. С другой стороны, надо еще отметить и то, что в результате Октябрьской революции марксизм овладел массами, он стал общепризнанной «идеологией». Но воспринявшие марксизм новые кадры в значительной степени свободны от марксистской традиции, лишены закалки, которая дается годами, не прошли надлежащей школы. Этим обстоятельством также объясняется появление разных «уклонов».

Диалектический материализм в дореволюционную эпоху вырос и окреп в борьбе со всевозможными враждебными ему течениями и направлениями. Диалектический материализм, образующий фундамент всего марксизма, доказал свое теоретическое превосходство на протяжении восьмидесяти лет. Величайшим торжеством и практической проверкой марксизма явилась Октябрьская революция.

Социальный переворот, «перевернувший» мысли и идеи, понятия и взгляды многомиллионных масс, должен был повлечь за собою революцию во всех областях жизни и знания. Октябрьская революция должна была вызвать прежде всего *методологическую* революцию, т.-е. изменение общей установки. С этой новой точки зрения надлежало перестроить мир. Естественно, что на этом новом пути пришлось столкнуться с трудностями, со всевозможными препятствиями, с целым рядом совершенно новых вопросов. Все это обусловило собою появление разных уклонов, которые, однако, благополучно преодолевались. Из борьбы с этими уклонами марксизм всякий раз выходит более окрепшим и обогащенным опытом. Если дореволюционный марксизм являлся главным образом орудием революции, орудием *разрушения* буржуазного строя, то в условиях диктатуры пролетариата он блестяще оправдывает себя и как теория *строительства социализма*, строительства новой культуры. Руководящая роль марксистского метода — диалектического материализма в области общественных и естественных наук, а также в области практического строительства социализма в условиях пролетарского государства — ведет к осуществлению *единства* теории и практики, научного познания и революционной деятельности на новой более высокой исторической основе.

А. Деборин.

ПРОБЛЕМА ПРИЧИННОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

1. Состояние проблемы причинности и ее содержание

Один из известных физиков Франции, А. Рей, пытаясь наметить классификацию главнейших проблем современной философии, признает, что проблема внешнего мира является первой, на которой философам приходится помериться своими силами. Это мнение буржуазного исследователя мы должны признать правильным. Еще Энгельс в своем Л. Фейербахе вопрос об отношении мышления и бытия выдвинул в качестве основного в истории философии. Возьмем ли мы период философии, занятой онтологическими вопросами, обратим ли взор на историю новой философии, преимущественно занятой вопросами теоретико-познавательными,—всюду мы усмотрим наличие этой основной проблемы, ставящей раздел между различными философскими направлениями. Поэтому было бы неверным считать проблему причинности важнейшей проблемой истории философии. Даже у тех философов, у которых разработка этой интересующей нас проблемы занимает исключительное место, как у Юма, она носит, так сказать, «прикладной» характер, способствуя выяснению основного философского вопроса. Критикуя предшествующую ему метафизику, Юм считал необходимым «направиться, — как он говорит, — прямо к столице или центру этих наук», т.-е. обратить внимание на «географию ума». А в этой географии не последнее место занимает причинность, как главнейший принцип и орудие знания. Поэтому-то эта проблема подвергается им тщательному анализу.

Признание проблемы причинности не в качестве основной не освобождает нас от определения характера ее важности. Последняя является в связи с тем, что было сказано только-что, т.-е. констатированием, что новая философия — особенно со времени Локка, Юма, Канта имела своим предметом собственно теорию познания. При разборе теоретико-познавательных вопросов большое внимание уделялось принципу причинности. В недавнее время в одной новой работе по истории философии было высказано мнение, что основным недостатком всего идеалистического лагеря при трактовке проблемы причинности являлось забвение различия между основанием и причиной. Подобное утверждение означает упрощение характеристики в

этом отношении видов идеализма, а, главное, ведет к отрицанию каких бы то ни было специфических теорий причинности в различных философских школах и, следовательно, необходимости их изучения. Верно то, что имелось течение, отрицавшее различие основания (*ratio*) и причины (*causa*). Достаточно указать хотя бы на Лейбница, частично Спинозу. Но так же верно и то, что многие философские направления это различие проводили. Юм большую часть своего трактата посвятил критике рационализма. Кант же в своей работе «Опыт введения понятия отрицательных величин в мировую мудрость» настаивал на различии между реальной связью явлений—причинностью и идеальной связью понятий—логическим законом основания. Ведь тот самый факт, что в определении причины как Юм, так и Кант вводят понятие временной последовательности, говорит о проводимом ими различии причины и основания. Примеры можно умножить. Гефдинг, пытаясь объяснить необходимость особого внимания к причинности, считает, что «своим первенствующим положением оно (понятие причинности. *Ф. Т.*), однако, обязано не только потребности нашего интеллекта найти связь между данными опыта, но также потребности строго различать между субъективными представлениями и объективной действительностью, при чем в сомнительных случаях критерием действительности всегда служит факт прочной, неразрывной связи» (Философские проблемы, стр. 43).

Итак, понятие причинности на известном этапе развития философии получает, мы бы сказали, право гражданства в системах философии. Причинностью интересуются. Почти не было среди видных философов таких, которые не уделяли бы ей соответствующего внимания. При чем дело не ограничивается только констатированием и доказательством объективности или субъективности данной категории, но предпринимаются попытки положительной разработки вопроса о сущности причинности. Вспомним Юма, своей разработкой оставившего значительный след в истории философии, Канта, Гегеля, Вундта, Шопенгауэра, Милля, Зигварта и т. д., и т. д. Всеми ими признавалось большое познавательное значение за категорией причины. «С тех пор, как Юм и Кант,—говорит Гефдинг,—выяснили разницу между логическим заключением и реальным объяснением причинной связи, этот вид нашего уразумения главным образом занимает современную теорию познания» (Филос. пробл., стр. 43). Разрабатывая эту проблему, философы хотели опровергнуть догматику, разрешить вопрос о границах нашего познания, установить происхождение познавательных категорий и т. д. Разрешение проблемы причинности у каждого из них связывалось с разработкой всей системы в целом. Поэтому-то, говоря словами Ленина, «вопрос о причинности имеет особенно важное значение для определения философской линии того или другого новейшего изма» (X т., стр. 124).

Не ставя задачей дать полную картину трактовки проблемы причинности в различных философских течениях в истории новой философии, считаем необходимым в ее развитии отметить основные направления. По линии онтологической—очевидно, что признание

объективности причинности или ее субъективности будет служить водоразделом? Отсюда два течения: идеалистическое и материалистическое. Первое своим исходным пунктом отрезывает возможность в правильном решении проблемы и по существу превращает причинность в «бессмысленный призрак нашей фантазии». Помимо этого деления, возможно и другое: по линии методологической, деление, основывающееся на понимании сущности причинности. Тогда мы будем иметь: диалектическое направление, механическое и, наконец, отрицающее причинность и заменяющее ее иным понятием. Разграничение в методологическом отношении приведет к тому, что в одну рубрику окажутся сведенными как материалистическое, так и идеалистическое течения. Гольбах очутится рядом с Кантом, Гегель — с диалектическим материализмом, Богданов — рядом с Зигвартом. Последний вид деления вызывается необходимостью оттенить всю важность диалектического понимания и разрешения проблемы, недостаточность механического и методологическую вредность всякого иного, заменяющего его каким-либо иным. Вместе с первым делением второе позволит составить ясное представление об истории развития проблемы причинности, физиономии каждого данного философского направления и места, которое занимает в разрешении причинности философия диалектического материализма. Интерес к проблеме причинности в нашу эпоху особенно выявился в конце прошлого столетия и после мировой войны. Это находилось в тесной связи с социальными катастрофами, с одной стороны, и с бурным развитием естественных наук — с другой. В конце прошлого века под влиянием ряда событий, возмущивших спокойное до того развитие социальной жизни (Парижская коммуна, франко-прусская война, лихорадочное развитие империализма, сопровождавшееся колониальными войнами и крахом спекулятивных предприятий и т. д.), получило широкий размах движение за реформирование общественной науки. Тогда-то возникло большинство существующих теперь, к примеру во Франции, социологических теорий. Одно из течений социологической мысли, возглавляемое Дюркгеймом, подвергло тщательной разработке проблему метода изучения общественных явлений и исходным пунктом выдвинуло необходимость объективного изучения общественных фактов и событий путем отыскания причин, их вызывающих. Несмотря на неудачу ряда попыток в этом отношении, все же факт их наличия представлялся чрезвычайно симптоматичным. Русская общественная жизнь также не представляла исключений. Приблизительно в это же время шел спор между народниками и марксистами о путях построения социальной теории, шла дискуссия о сущности и содержании социальных законов (статьи Булгакова, Штейнберга, Рожкова и др.). В области философии во всех почти странах наблюдалось оживленное обсуждение проблемы механической причинности в связи с теориями Маха, Авенариуса, Петцольда, Оствальда и др. Курсы логики уделяют большее или меньшее внимание выяснению содержания причинности (Вундт, Зигварт, Милль, Джевонс и пр.). Появляются монографии, посвященные истории проблемы причинности (Кениг, отчасти Лопатин в России). Мировая война, революции в ряде

стран, сильнейшее развитие технических и естественно-научных знаний опять пробудили интерес к проблеме причинности и связанным с нею вопросам. Почти во всех отраслях общественно-научного знания мы встречаем отклик на растущую потребность в выяснении важнейшей познавательной категории. Он выражается или в специальных работах, посвященных причинности и закономерности, или в форме статей, разбросанных по различным журналам, наконец, в виде речей, произнесенных на различного рода торжественных заседаниях научных организаций (см. приложенную в конце библиографию). Сейчас отметим лишь несколько: Хеера—«Причинность и свобода воли», Буркампа—«Причинность психических процессов...», Лампрехта—две работы, посвященные анализу причинности в психической и общественной жизни, статьи и речи Планка и т. д. Появилось несколько солидных книг, содержащих историю проблемы причинности: к примеру, Бруншви́г—«Физическая причинность и человеческий опыт», Венчер—«История проблемы причинности в новой философии». Наблюдается большой интерес и к связанным с причинностью вопросам: случайности, закономерности. Здесь необходимо отметить работы Бореля, Планка, статьи в философских и специально научных журналах, в частности в «Revue philosophique» (ст. Дарбон, Бенезе и др.).

Общий характер буржуазной философии и науки таков, что они в лучшем случае поднимаются до механического истолкования причинности и признания подчиненности ей всей без исключения природы. Большею же частью они ограничиваются применением принципа причинности лишь к собственно природе, выдвигая для общественной и психической жизни в качестве руководящего принципа свободу воли, божественную волю и целесообразность. Если современная буржуазная мысль при трактовке причинности может и использует багаж своих идеологических предшественников, накопленный в течение многих столетий, то марксистская философия в этом отношении поставлена в значительно худшее положение. Она очень немного может почерпнуть из буржуазного идеологического наследия для решения проблем и конституирования понятий. Основоположники марксизма не ставили себе задачей специальный анализ отдельных категорий материалистической, диалектической логики. Борьба за материализм, выяснение сущности материализма, борьба за диалектику, выяснение принципов ее—вот что было содержанием марксистской философии общей и социальной от Маркса до настоящего времени.

Тем не менее в различных их произведениях имеются беглые заметки по поводу категории причинности, заметки чрезвычайно существенные, позволяющие на основе их развивать общее понимание причинности. Классики марксизма больше применяли логические категории при разработке конкретных проблем, чем писали о них. Поэтому представляется возможным использовать это применение для положительной трактовки всех категорий, в том числе и причинности. Рядовая марксистская литература почти не затрагивала проблемы причинности. Можно насчитать не более десятка книг, где давались тоже не более как беглые замечания. Только в самое последнее время,

благодаря работам А. М. Деборина, получили общее отчетливое освещение некоторые связанные с причинностью проблемы. Мы имеем в виду категории случайности, целесообразности и ряд других. Такое положение в отношении разработки категории причинности приводило к тому, что находили распространение толкования, мало имеющие что общего с диалектическим материализмом. Итак, проблема причинности в целом остается открытой.

Не выяснены и вопросы, составляющие содержание ее. Между тем самый беглый обзор истории буржуазной философии показал бы, что вопрос о содержании проблемы причинности далеко не простой. То или иное философское направление ограничивалось большею частью рядом вопросов, не задаваясь целью обнять полный их круг. Только в некоторых логиках мы встречаем более или менее всестороннее освещение проблемы. Особенно нужно отметить логику Гегеля. В ней, помимо разносторонне поставленной проблемы, мы находим и правильное методологическое разрешение части вопросов. Поэтому при положительной разработке причинности гегелевские положения могут оказать существенную пользу. Попытаемся вкратце наметить содержание проблемы причастности. Первоначально должно быть выяснено место категории причины в общей системе категорий диалектической логики. Значение этого вопроса определяется тем, что категория причины, как познавательная категория, не имеет самодовлеющей ценности, но только в ряде других категорий. Поэтому является важным отграничение ее от других, особенно выяснение ее отношения к категории субстанции. Последний вопрос занимал в большой мере и буржуазную философию. Далее, анализ содержания проблемы должен заняться вопросом о формах причинности, выяснением характерных черт механического понимания и диалектического, их различий.

Рассмотрение диалектической причинности поставит перед необходимостью разбора вопросов, обсуждавшихся в ряде идеалистических монографий по логике. Таковы: является ли причина вещью или отношением, предшествует причина действию или одновременна с ним, устанавливается ли причинным отношением однозначность между причиной и действием или под причиной понимается полнота условий и т. д. Нельзя пройти и мимо вопроса, над которым безнадежно бились Юм и Кант, а по существу и прочие идеалистические течения, именно над доказательством всеобщности причинности. Полный анализ проблемы потребовал бы выяснения ряда других пунктов: соотношения причинности и случайности, причинности и целесообразности, причинности и закономерности. Интересным и важным представлялось бы дать сравнительный анализ причинности и закона достаточного основания, а также попытаться проследить развитие понятия причинности в истории и философии и науки. Если по первому вопросу существуют специальные исследования (укажем на Шопенгауэра) и вообще сравнительно богатая литература, то по другому, кроме небольшого числа страниц и замечаний (Бруншвиг, Леви-Брюль, Дюркгейм, Богданов и некоторые др.), мы ничего не найдем. Наконец, должен быть восполнен пробел, имеющийся в марксистской литературе в вопросе о путях

нахождения причины. Здесь, очевидно, столкнемся с выяснением сравнительной роли основного метода научного познания и различными подсобными приемами вообще и ролью каждого подсобного приема в частности. Достаточно напомнить, что Мах в качестве основных приемов научного мышления считает понятие функциональной связи и метод сопутствующих изменений, что Милль в качестве основных методов нахождения причины выдвигал известные четыре метода индуктивной логики.

Проблема в этом контурно набросанном виде говорит о необычайной ее широте и глубине, о большой важности для философа-марксиста. Эта важность определяется не только тем большим теоретическим интересом, который может вызвать ее разработка, но и тем практическим значением, какое правильное разрешение проблемы в целом и отдельных входящих в нее вопросов будет иметь при познании и овладении действительности.

Настоящая наша статья пытается дать посильное разрешение ряда вопросов, составляющих содержание проблемы в целом. Некоторые из поставленных совершенно обойдены, как, например, закон причинности и достаточного основания, развитие понятия причинности, пути нахождения причинных связей. На некоторых же сознательно остановились коротко, схематично. Также и при выяснении других моментов наша задача сводилась лишь к постановке вопросов и контурному их решению. Дать историю развития проблемы причинности под углом зрения диалектического материализма, дать полное освещение проблемы причинности—это задача коллективной мысли целого ряда лет.

II. Механическое понимание причинности

Среди марксистов широко распространено мнение, что единственным правильным пониманием причинности, соответствующим духу диалектического материализма, является механическая причинность. Ни о какой другой причинности не может быть и речи. Такого мнения придерживается и автор «Философских очерков». «Полное отрицание телеологии,—пишет Л. И. Аксельрод,—и безусловное признание механической причинности являются душой материализма», и «коренное различие между «последовательным» идеализмом и «противоречивым» материалистическим учением сводится опять-таки к тому, что материализм, беря за точку отправления опыт, объясняет действительный мир присущей ему внутренней закономерностью, что и означает механическую причинность, между тем как идеализм, не желающий стать на эту точку зрения, неизбежно приходит к сверхъестественным силам» (стр. 32—33). Подобная точка зрения возможна на почве механического понимания природы и исключения возможности существования иного, диалектического. В свое время, когда шла борьба за материализм, противопоставление теологии и телеологии механической причинности было прогрессивным и терпимым, хотя и неправильным. С Октябрьской революции же, утвердившей диалектический материализм в качестве официальной государственной идеологии,

признание причинности, как исключительно механической, становится реакционным, неправильным и вредным, не соответствующим диалектическому материализму.

Последний настаивает на различии форм причинности, на существовании, на ряду с механической причинностью, причинности диалектической. Исходным пунктом подобного различия является наличие различных форм движения.

Рассматривая внешний мир, мы находим в нем ряд областей, более или менее отграниченных друг от друга, качественно отличных. Особые свойства каждой из них вытекают из присущих им специфических форм движения. В примере с двумя или более сталкивающимися шарами мы имеем один вид движения, наиболее простейший, — механический, в факте, к примеру, революционных столкновений классов, иной, уже наиболее сложный, специфический, не исчерпывающийся сведением к простейшему. Спрашивается, будет ли научным, правильным, рассматривая пример первого рода под углом механической причинности, привлекать ту же категорию к объяснению сложных социальных явлений.

Последовательно проведенная механически концепция в этом не найдет ничего предосудительного, напротив, сочтет подобный прием соответствующим задачам научного познания. А задача последнего в понимании механистического направления заключается в сведении сложного к простому, качественного разнообразия к количественным соотношениям.

Примат количества над качеством, признание необходимости сведения к движению и расположению однородных количеств — вот что составляет отправной пункт механистического мировоззрения. Это приводит к тому, что механические законы выдвигаются в качестве универсальных при объяснении различных явлений природы. «Мы видим, — говорит Гольбах, — что все во Вселенной происходит по механическим законам, согласно свойствам, сочетаниям, модификациям материи» (Система природы, 558). Гольбах, упоминая о двух родах движения, фактически имеет дело с одним, с движением элементарных частиц, т.-е. с движением механическим. К этим движениям массы частиц сводится всякое сложное движение. «Самые сложные движения, — пишет он, — являются всегда лишь результатом комбинированных простых движений» (стр. 44). Это пристрастие к одной форме движений, универсализирование ее, является другой стороной, — а именно, игнорирования других форм движения, специфических для той или иной области природы. В эпоху французских материалистов господство механистического принципа объяснялось рядом условий и прежде всего развитостью механики. Тогда-то получило начало направление, которое находило впоследствии себе защитников в самых разнообразных кругах философов и ученых. При чем идеалисты философы не представляли исключения. Они только ограничивали применение механистических взглядов к собственно природе. Успехи и подъемы механистического направления сменялись его упадками. В конце XIX века, в связи с махизмом, энергетическим направлением, снова

наблюдался интерес к механистическому объяснению естественных явлений.

Единственно правильным объяснением физических явлений — по Кельвину — является то, которое ведет к возможности построения соответствующей модели. Максвелл, в полном согласии с требованием механистического взгляда на природу, говорит: «Когда физическое явление может быть вполне описано, как изменение в конфигурации и движении материальной системы, то динамическое объяснение такого явления считается полным, мы не можем представить себе необходимость, желательность, возможность еще другого объяснения». Планк — упорный поборник за механистическое направление — дает отчетливую характеристику последнему, говоря, что оно представляет взгляд, «по которому все физические процессы полностью могут быть сведены к движениям неизменных, однородных, обладающих массой пунктов или элементов... по этому воззрению, — продолжает он дальше, — задача теоретической физики заключается прямо в том, чтобы все процессы в природе сводить на движение» (Из статьи «Отношение новейшей физики к механистическому воззрению на природу»). Все выше сказанное нами о сущности механистического направления необходимо было, во-первых, для того, чтобы сделать более ясным дальнейшее наше заключение о механической причинности, а с другой — показать, что механическое понимание причинности вытекает из общего механистического мировоззрения. В самом деле. Спиноза, несмотря на наличие в его системе элементов диалектики, упоминания о причинности, имел в виду механическую причинность. Гюйгенс признает истинной ту философию, «в которой причины всех естественных следствий объясняются механическими основаниями». Французские материалисты, плеяда физиков механистов конца XIX столетия и ряд идеалистических философов (Вундт, Зигварт, Риккерт и т. д.), оставаясь на почве механистического понимания природы, далее механической причинности не шли. После этих предварительных, необходимых замечаний перейдем к выяснению основных черт механического понимания причинности.

Мы уже упоминали, что механическое понимание природы свойственно различным философским направлениям. Его может разделять как идеалист, так и недialeктический материалист. Естествоиспытатели, как Гельмгольц, могли тяготеть к кантианству, агностицизму, как Гексли, материализму, как Геккель, быть верующими или атеистами, оставаясь в вопросе понимания природы на механистической точке зрения. Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно говорит о том, что механическое понимание еще не предохраняет от идеализма. Вместе с тем оно делает понятной разногласию, существующую в первом вопросе, с которым сталкивается анализ механической причинности, именно о соотношении субстанции и причины. Бесполезно было бы искать какого-либо единства среди сторонников механистического взгляда. Часть философов, естествоиспытателей, главным образом примыкающая к материалистическому лагерю, признает субстанциональность причинности. «Причина — по Гольбаху — это — существо, приводящее в движение другое существо, или производящее какое-

нибудь изменение в нем. Следствие—это изменение, произведенное каким-нибудь телом в другом теле при помощи движения» (Система природы, 17). Т.-е. когда мы говорим о причине, то относим ее к вещи, связываем с деятельностью последней. Иную постановку вопроса мы наблюдаем, к примеру, у Вундта, Богданова, Маха и других. Характерным для них является как раз отрицание субстанциональности причинности или сведение субстанции к подсобному понятию. Вундт относит причинность к процессам. «Причиной в области явлений природы везде признается лишь процесс»,—говорит он. Богданов, вслед за Махом, считал «смутными и неопределенными» понятия «материи», «вещи в себе», «субстанции». Они—уже прошлое истории человечества. Они соответствовали миновавшим определенным, исторически переходящим формам социально-трудовых отношений. Богданов не приходит к выводу о необходимости устранения понятия причинности, как то делает вполне последовательно Ферворн или Мах. Богданов считает необходимым лишь освободить понятие причинности от фетишизма. Напрасно мы будем искать в рассуждениях его признания, что причинность является отражением объективной закономерности, причинности внешнего мира. Ибо внешний мир для Богданова растворяется в комплексе ощущений. Современная практика «машинного производства» обуславливает новую форму причинности—технически трудовую, являющуюся выражением, притом своеобразным, закона сохранения и превращения энергии. «Энергия,—говорит Богданов, выражает практическое отношение общества к природе, и в этом ее смысл» (Наука об общественном сознании, 211). Он возражает против встречающихся ее толкований: как символа и как объективно существующей основы вещей, т.-е. против придания энергии абсолютного характера. Выше сказанным лишний раз подтверждается эклектизм исходных богдановских построений, а затем, что причинность у него относится не к объективному миру вещей, а к комплексам ощущений.

Не будем останавливаться на приведении свидетельств по вопросу об отношении причинности и субстанции представителей других философских течений. Достаточно сказать, что в этом вопросе мысль движется от признания субстанции предпосылкой при трактовке причинности до полного ее устранения, как метафизической, ненаучной категории.

Основное, что является характерным для механического понимания причинности, заключается в количественном приравнивании причины и действия. Этот момент объединяет различные направления в философии и науке. Он вытекает из механистического мировоззрения и связывается прежде всего с пониманием качества и количества. Механистическое направление, как уже не раз отмечалось, преуменьшает, игнорирует роль качества, отрицает объективное ее значение. Вполне понятно, что существенное во всякой причинной зависимости механисты видят в количественном отношении причины к действию. Вундт, критикуя старые формы причинности, считает научной такую, которая позволяет причину и действие количественно сравнивать друг с

другом. «Эта точка зрения вообще позволяет всегда из безграничной суммы условий, при которых совершается какое-либо событие, выбирать отдельные и рассматривать их как истинные причины явления. Руководящая роль при этом принадлежит принципу количественной эквивалентности явлений, связываемых как основания и следствия... Количественно же отношение причины и следствия, смотря по господствующей точке зрения, может быть выражено как в уравнениях между силами, так и в уравнениях между энергиями» (Система философии, 180). Более ясно выявляет механическое понимание причинности Вундт в работе «О физических аксиомах». Он упоминает о следующих аксиомах: 1. Все причины в природе суть причины движения. 2. Всякая причина лежит вне того, что находится в движении. 3. Все причины движения действуют в направлении прямой связующей линии. 4. Действие каждой причины сохраняется. 5. Каждому действию соответствует равное противодействие. 6. Каждое действие эквивалентно причине. Вундт в приведенных строках отчетливым образом формулирует свое понимание причинности, под которым должен подписаться любой последовательный механист. На точке зрения механического понимания причинности стоит и такой философ, как Риккерт.

Предпосылкой у него является признание механики в том виде, как она была развита Герцом. Механическое понимание природы, по мнению Риккерта, «остаётся в полной силе, по крайней мере в качестве той последней цели, к которой, каковы бы ни были избираемые нами обходные пути, мы должны приближаться» (Границы, 111). Исходя из этого, Риккерт считает возможным в отношении естествознания установить следующие два положения. Первое. «Та же самая» причина всякий раз вызывает то же самое действие». И другое, могущее быть выведенным из первого «Причина равна действию». Поэтому меньше всего могут претендовать, с точки зрения Риккерта, на научность и применимость положения вроде «малые причины влекут за собой великие действия». В отличие от естественно-научной причинности, основывающейся на механическом миропонимании, должна существовать—по Риккерту—другая, «историческая причинность». Говоря о ней, уже невозможно утверждать о равенстве причины и действия... «Во всяком непосредственно наблюдаемом индивидуальном причинном процессе причина отличается от эффекта, т.е. вызывает отнюдь не самое себя, а всегда что-либо новое, до того еще не оказывавшееся налицо». Читая эти слова, можно подумать, если не знать Риккерта, что он, помимо механической причинности, признаёт другую причинность, выражающую закономерный ход социальной действительности. Между тем, наименование «историческая причинность» служит для Риккерта прикрытием принципиально иной, носящей телеологический характер точки зрения на историю и исторические факты. У Риккерта, таким образом, мы видим сожителство механической причинности в отношении природы с телеологизмом в отношении «культуры». Остановимся еще на понимании причинности Богдановым.

Богданов, оставаясь на почве феноменализма, все же видит в причинности один из принципов исследования. Другим принципом является

принцип приспособления. Первый «направляет нашу работу к отысканию их (жизненных явлений. Ф. Т.) причин; второй указывает, где их искать» (Наука об обществ. сознании, 24). Понимание причинности, прежде чем принять современный смысл—энергетический,—прошло через ряд этапов. В первый период отсутствует идея причинной связи. Во второй, соответствующий эпохе авторитарной общины,—«причина принципиально больше следствия». Третий период выдвигает новое понимание причинности, отражающее экономическую необходимость и неорганизованность менового общества. В эту стадию «следствие—по Богданову—необходимо наступает вслед за причиной, в этом вся их зависимость. Следствие может и качественно и количественно отличаться от причины, быть насколько угодно иным, чем она, быть больше или меньше» (Философия живого опыта, 213). Последний этап, который только-что начинает себе пробивать дорогу среди фетишизма предыдущих, связан с трудовой причинностью. «Диалектический материализм,—говорит Богданов,—еще не пришел к этой высшей схеме причинности, но он уже стоял на пути к ней» (214). Стоял на пути, но, благодаря схоластическим, лишенным научности работам последователей, уклонился от него, так, очевидно, хотел Богданов закончить. Мы не будем касаться изложенной Богдановым истории понимания причинности. Отложим ее разбор до другого раза. Сейчас же займемся выяснением того понимания причинности, которое выдается им, во-первых, как за диалектическое, а, во-вторых, как единственно научное. В основу новой причинности, трудовой, Богдановым кладется закон сохранения энергии. При чем энергия понимается им «как практическое отношение общества к природе». «Видеть в процессах природы «энергию»—это значит смотреть на них с точки зрения возможной трудовой их эксплуатации человечеством» (Философия жив. оп., 212). Эта исходная позиция приводит Богданова к следующим выводам. Первый—всякое явление является возможным для «трудового коллектива» источником для получения различных других процессов. Далее. «Следствие исчерпывает причину или, что то же, следствие равно ей, как в производстве практические результаты, полезные и бесполезные или вредные, взятые вместе, исчерпывают затраченную в нем энергию» (Философия живого опыта, 211). Таким образом и у Богданова содержание причинности сводится к установлению количественного отношения причины к действию. «Причина равна своему следствию. Вернее сказать: причина равна сумме своих прямых следствий, потому что на деле она переходит всегда не в одну, а несколько разных форм», говорит Богданов в другом своем произведении (Наука об общ. созн., 210). Эту точку зрения Богданов проводил во всех своих работах, начиная с ранней: «Основные элементы исторического взгляда на природу». Там он несколько иначе обосновывает различные формы причинности в истории развития понятия причинности. Он исходит там из трех принципов механики Ньютона. Каждому принципу соответствует своеобразное понимание причинности. Смысл закона причинности в третьей стадии заключается в том, что «при взаимодействии двух процессов, изменение формы движения, свой-

ственной одному из них, сопровождается равным и противоположным изменением формы другого» (Основные элементы...36). Т.-е. и в ранний период своей научной деятельности Богданов стоял на механическом понимании причинности.

Эта позиция его находится в теснейшей связи с трактовкой им роли качества и количества. В упомянутом выше раннем произведении Богданов более открыто становится на почву отрицания объективности качества. Последнее для него—результат неведения. Познание—по Богданову—состоит в количественном измерении процессов природы. Но иногда, вследствие сложности явления, исследователь не в состоянии сразу определить в терминах «больше» или «меньше». «Это состояние нерешительности, неопределенности в количественном различии и выражается термином «качественное различие». Когда человек не может прямо сказать себе «больше» или «меньше», он говорит «иначе». Таким образом, качества по происхождению есть совершенно отрицательное понятие: «то, что не сводится в данный момент к количеству» (207). В последних своих работах Богданов продолжает оставаться на точке зрения количества. Так, напрасно мы бы искали объективную категорию качества в его «Тектологии». Если принять во внимание теорию равновесия Богданова, то механическая концепция его выступит со всей очевидностью, вопреки тому, что она пытается рядиться в одежды энергетики и социоморфизма.

На точке зрения механического понимания причинности стоит целый ряд других мыслителей и ученых, достаточно упомянуть Бюхнера, Зигварта, Планка, Больцмана и др. Всем им обще установление количественного равенства между причиной и действием. Все они исходят из основных законов, установленных отцом современной физики—Ньютоном. Третий закон его в формулировке Максвелла гласит: «Противодействие всегда равно и противоположно действию, то-есть действия двух тел друг на друга всегда равны и имеют противоположные направления» (Материя и движение, 35).

Наши современные механисты, к примеру, Степанов, когда они видят раскрытие причинной связи явлений в расчленении сложных явлений и сведения их к простым и на ряду с этим усиленно подчеркивают и доказывают, что и «область психической жизни не дает исключений из закона сохранения энергии» (Исторический материализм и современное естествознание, 25, 67), то они по существу стоят на механическом понимании причинности, они должны видеть основное в причинности: в равенстве причины и действия. Поэтому совершенно не случайно, что наши механисты «забывают» категорию качества, возражают против объективности случайности. Дальнейшее изложение покажет, что механическая точка зрения необходимо увязывается с механическим взглядом на причинность, с отрицанием случайности и качества как объективных категорий.

К чему приводит утверждение о равенстве причины и действия? Риккерт по существу уже ответил за нас. Механическое понимание причинности не может настаивать на возникновении в результате причинной связи нечего нового. Риккерт понял, что, будучи перенесенной

в область⁷ общественных явлений, механическая причинность не в состоянии быть действительным средством научного познания. Поэтому он выдвинул понятие «исторической причинности».

Действительно, сводя сущность причинной связи к количественному равенству между причиной и действием, мы только остаемся на почве механики, которая имеет⁷ дело лишь с изменением количества и конфигурации. По отношению механики и области ее применения мы можем говорить лишь о механической причинности. Качественно нового, другой формы в результате механической причинности получиться не может. Этот вопрос получил еще в гегелевской логике отчетливое разяснение. «...В механизме сообщенное остается тем, что оно есть, — говорит Гегель, — только оно распределяется между объектами или определяется их частностями. Причина переходит в свое другое, в действие, деятельность причиняющей субстанции теряется в своем действии, но действующий объект становится некоторым *общим*, его действие есть ближайшим образом не потеря его определенности, а некоторая партикуляризация, через которую оно, бывшее первоначально целое, единичное в нем определенностью, положено теперь некоторым ее видом, и лишь тем самым определенность положена некоторым *общим*... И далее. «То и другое, повышение единичной определенности в общность путем сообщения и партикуляризации или понижения ее, бывшей дотоле лишь единою, в некоторый вид, в распределение, есть одно и то же» (Наука логики, 113). Гегель этими словами и всем своим рассуждением о сущности механизма хочет подчеркнуть мысль, что «продукт есть то же, что входящий в процесс объект», т. е. что в результате механической причинности не создается нового качества. «Ближайшее различие может быть понято, как просто количественное различие величин массы тел, или напряженности, или разнообразным другим способом» (115). Ничего более механический процесс дать не в состоянии. Любой пример может в этом убедить. Шар толкает⁷ другой. Первый останавливается, второй некоторое время продолжает двигаться. Налицо, во-первых, простая передача движения. Качественно нового не возникает. Далее, действие равно противодействию. То, что потеряло в движении одно, приобретает другое. Причина равна действию. Все возвращается в пределах изменения массы и движения, «порядка и аранжировки» частей.

Вполне понятно, что представители механистического направления, как это мы видели на примере Гольбаха, считают вполне законным объяснять целое законами его частей. В пределах, подчиненных законам механики, подобный прием, конечно, не может вызвать возражения.

Но сущность механической причинности сказанным не исчерпывается. Количественная точка зрения накладывает на механическую причинность и другую характерную черту. Отношение причины к действию остается внешним по отношению друг к другу. Механическая связь представляется связью внешней.

Само понятие внутренней связанности остается для механистов понятием совершенно чуждым. Отсутствует в механической причин-

ности и понятие необходимости. Богданов ведь утверждает, что «причинность—необходимость» понятие устаревшее, соответствующее эпохе менового общества». Гольбах и другие материалисты ведь утверждают всеобщую безусловную необходимость, сводя тем самым ее до случайности.

Внешним мы называем то, что не следует из природы данного. Механизм как раз отличается тем, что его части являются внешними по отношению друг к другу. Гегель дает следующую характеристику механизму. «Характер механизма составляет то, что какое бы отношение не имело место между тем, что соединено, это отношение ему внешне, не соответствует его природе, и если оно даже связано видимостью некоторого единства, оно остается лишь сочетанием, смесью, кучею и т. д. Как материальный механизм, так и духовный состоит в том, что соотносящееся в духе остается и взаимно и относительно его самого внешним» (Н. Л., 108). Гегель в качестве примера приводит, помимо толчка, еще механическую память. В последнем случае «слова не имеют для нас смысла и остаются, так сказать, вне той мысли и того представления, которое они выражают» (М. Л., § 195). Соответственно общей характеристике механизма внешней связью является и механическая причинность. «...В механизме причинность объекта есть непосредственно непервоначальность, он безразличен относительно этого своего определения, что он есть причина, есть поэтому для него нечто случайное... объекты безразличны относительно этого единства и сохраняются вопреки ему» (Н. Л., 112).

Результат может быть получен самым различным образом, он в механизме не связан необходимо с определенным предшествующим. Вещь, к примеру, стакан, может быть сломана или движением руки, падением камня и многими другими способами, но результат совершенно необходимо не связан с каждым из них, он предполагает лишь наличие некоторого количества движения, сообщенного каким-либо материальным телом, не необходимо тем или другим.

Эта внешность связи, равнодушно связывающихся вещей друг к другу, приводит к следующей характерной черте механической причинности. Для последовательного сторонника механистического миропонимания нельзя собственно говорить об одной какой-либо определяющей причине данного действия.

Механист принужден настаивать на множественности причин, о ряде причин, ряде, уходящем в даль. Он это делает потому, что для него все связи представляются одинаково важными. Если он принужден поступать иначе, то тем самым совершает прорыв в своей механической методологии. Он стихийно становится на точку зрения иной трактовки причинности. Наиболее последовательную позицию в этом вопросе представлял Гольбах.

«Если в природе, — говорит Гольбах, — все связано, если все движения возникают друг из друга, хотя часто их скрытые переплетения ускользают от нашего взора, то мы должны быть уверены, что нет столь малой или отдаленной причины, которая не оказывала бы иногда на нас огромнейшего и неожиданнейшего влияния. Может быть,

в бесплодных равнинах Ливии собираются элементы бури, которая, уносимая ветрами, прибудет к нам, бременя нашу атмосферу и действуя на настроения и страсти человека, могущего, в силу сложившихся обстоятельств, влиять на множество других людей и способного по своему произволу решать судьбу многих народов» (Система природы, 46).

Подобное заключение Гольбаха было возможно потому, что механическую точку зрения он переносил на область общественных явлений. Но этого мало. Приведенное утверждение было необходимо связано с признанием безымянной необходимости, полным отрицанием случайности. Что случайность—результат нашего невежества, незнания, не перестают настаивать механисты XVIII и XX века. Это-то обстоятельство препятствует из многочисленных связей, в которых находится тот или иной предмет, выявить случайные и необходимые связи. Как бы об нем сказал Ленин: «Перед нами чистейший метафизик, который понятия не имеет об относительности различия случайного и необходимого».

Едва ли может быть рассматриваемо в качестве конституирующего понятие механической причинности определение последовательности причины и действия. Подобно тому как в вопросе о субстанциональности причинности мы были свидетелями большой разногласности, так же и в вопросе о предшествовании причины во времени нет единства взглядов среди сторонников механической причинности. Материалисты XVIII века, современные российские механисты, Богданов, Планк, Кант и целый ряд других настаивают на причине как на предыдущем в отношении действия. Оствальд, отчасти Зигварт—на сосуществовании причины и действия. Оствальд возражает против характеристики причинности как временной последовательности и требует такой, которой бы устанавливалась связь по существу. «В такой определенной форме закон причинности может быть, следовательно, формулирован следующим образом: без эквивалентного превращения одной или нескольких форм энергии в другие ничто совершиться не может» (Натурфилософия, 216). Эта точка зрения сосуществования связывается у Оствальда с признанием причины как множественности условий и определенным вполне последовательным тяготением к махистской теории функциональности. Сказанным исчерпывается характеристика механической причинности.

Какое отношение диалектического материализма к механической причинности? Точно такое же как и к механическому направлению в целом. Философию марксизма в меньшей степени можно обвинять в игнорировании механической причинности. Нет, диалектический материализм лишь ограничивает применение ее. Ведь мы не можем не согласиться с Гегелем, по которому «механизм составляет первую форму объективности». Ошибка механистов заключается в том, что их размышление «часто останавливается на ней». «Главный недостаток новейших естествоиспытателей состоит в том, что они, вопреки здравому смыслу, смотрят с точки зрения механизма на такие явления, которые выходят из его сферы» (М. Л., § 195).

С этим выводом Гегеля мы должны полностью согласиться. Заблуждение механистов состоит в попытках применить категорию механической причинности к другим областям в качестве единственного возможного методологического приема. На самом деле при исследовании явлений физической, химической, органической и общественных областей механическая причинность входит лишь как момент иной—диалектической причинности. Подобно тому как количество в диалектике составляет момент единства качества и количества. Там, где механическая причинность имеет право и возможность быть примененной, при объяснении механических процессов, там, несомненно, количественное приравнивание причины и действия имеет смысл и значение. Существенным является количественное определение механического процесса, в котором факт, как причина, вызывает другой факт, как действие. Нам важно знание о количестве движения или энергии, вызвавшей результат.

Но совершенно недостаточным является факт равенства причины и действия, когда перед исследователем стоит задача объяснения явлений, которые более сложны, т.е. обладают качественно иной характеристикой, подчинены особым, свойственным данной области явлений, законам. Механическая причинность, будучи примененной, не сможет раскрыть причинный процесс. Скорее она в состоянии лишь дать о нем превратное представление. Попытка универсализирования механической причинности обычно самих его сторонников приводит в тупик и к недоговоренностям. В самом деле, насколько может быть эффективным применение механической концепции причинности хотя бы к таким сложным явлениям, как капиталистические кризисы. С самого начала постановки вопроса становится ясным, что понятие механической причинности не в состоянии ни на шаг подвинуть исследование. Интересно, что Богданов в своей ранней упомянутой работе, выдвинув энергетическое понимание причинности, подойдя к проблеме кризисов, принужден сам пробить брешь в ее универсальности. «Понятие о кризисах нельзя вывести из понятия причинности,—говорит он,—данные факты нельзя предугадать с точки зрения закона: в этом смысле кризисы еще не объяснены. Очень возможно, что для их полного объяснения понятие причинности должно приобрести еще большую определенность, чем в формуле энергии. Но это дело будущего» (стр. 59). Прошло тридцать с небольшим лет, как были написаны эти строки, но «большей определенности» понятие причинности у Богданова не получило. В основе его причинности попрежнему мы видим закон сохранения энергии. При чем в качестве нового: энергия мыслится в несколько своеобразном виде, как практическое отношение общества к природе. Этот социоморфизм ни в какой степени не изменяет существа старого механически понимаемого принципа причинности. Принципиально Богданов считает возможным применение энергетического понятия причинности к общественным и идеологическим областям. В «Науке об общественном сознании» на вопрос о применимости энергетической причинности, и в науках общественной и идеологической он отвечает: «Применимо, хотя в гораздо меньших

размерах, чем для наук естественных. Это зависит от меньшего развития общественных наук, от сложности изучаемых фактов. Измерять энергию явлений идеологических и вообще социальных еще не найдено способов... косвенное применение в иных случаях возможно и полезно в нашей науке» (23).

Богданов—не одиночка. Существовало целое течение, подходившее с энергетической точки зрения к общественным процессам. Степанов в наши дни среди марксистов вновь напомнил о ней.

Развивать здесь, что диалектический материализм не отрицает, не отменяет важности и необходимости законов механики и закона сохранения и превращения энергии, но полагает, что ими не исчерпывается качественное своеобразие общественных и органических явлений, развивать в этой статье нет необходимости. Этот вопрос получил достаточное освещение в ряде работ и прежде всего в работах А. М. Деборина.

Итак, механическое понимание причинности:

Предполагает механическую или энергетическую картину мира.

Основной характерной чертой своей имеет количественное приравнивание причины и действия.

Свойственно различным философским направлениям, как идеалистическим, так и материалистическим.

Неразрывно связано с преувеличением роли аналогии и ей подобных приемов.

Применимо при рассмотрении явлений лишь в ограниченной области явлений, подчиненной действию механических законов.

При объяснении общественных, органических явлений, вообще более сложных, уступает место иной причинности диалектической, представляя в ней лишь снятый момент более богатой и высшей категории.

Все сказанное делает чрезвычайно сомнительным утверждение Варнаша, что «отличие между материализмом и идеализмом в понимании причинности является самым радикальным, какое только можно мыслить» (История новой философии, I, 1 ч., 13).

Марксистский анализ, во-первых, устанавливает, что основное отличие между идеализмом и материализмом идет по другой линии, как это мы уже видели; далее он утверждает, что существуют два рода причинности.

Только материалистическо-диалектическое понимание причинности неразрывно связано с диалектическим материализмом, механическое же в меньшей степени может служить водоразделом между материализмом и идеализмом.

III. Диалектическое понимание причинности

В «Этике» Спиноза определяет субстанцию или природу, как *causa sui*. Это начало Спинозовской системы вызвало незаслуженный упрек со стороны Гегеля. «Субстанция, — заключает Гегель, — которая является в системе Спинозы непосредственно, без предшествующего диалектического развития, представляет не имеющую никакого содержания»

(Энциклопедия, 269). Между тем, начало Спинозы—это его констатирование наличия субстанции, как «*causa sui*», представляет глубокого смысла утверждение, что началом мира, как и началом всякой философии, должен быть внешний объективный материальный мир. Это положение целиком разделяется марксистской философией. Материя проявляет себя в бесконечных формах. Внутреннее этих форм составляет субстанция. Поэтому основное отношение всех предметов действительности есть отношение субстанциональности. Поскольку материя принимает определенные, разнообразные формы, и эти формы приходят в связь друг с другом, постольку субстанциональное отношение переходит в отношение причинности. Первое определение причины, следовательно, заключается в том, что причина, рассматриваемая с точки зрения субстанциональности, является вещной, объективной категорией. Причина—материальна, субстанциональна. Подобное определение является наиболее общим и вместе с тем основным. Оно увязывается с общей концепцией диалектического материализма. Оно является условием правильного разрешения вопроса о причинности. Оно, наконец, отграничивает от идеалистического понимания причинности. Мах, вслед за Юмом, сводит понятие причины к отношению. То же делает и Вундт. Субстанциональное понимание причинности, с точки зрения последнего, имело место в истории. Оно, «несомненно, оказывало полезное влияние». Но оно было дальнейшим ходом науки и философии заменено иной формой—«актуальной причинностью». Причиной в области явлений природы везде признается процесс», — говорит Вундт,—т.-е. причина и действие утратили «субстанциональное значение и приобрели значение феноменологическое, актуальное». Подобное преобразование понятия причинности привело Вундта к тому, что понятия причины и действия сводились им «на познавательные принципы основания и следствия». «Принцип причинности гласит, что всякий эмпирический факт мы должны выводить из имеющих решающее значение эмпирических условий его, определение же того, как это должно делаться, он предоставляет частным законам» (Система философии, 181). Последние являются, с точки зрения Вундта, приложениями принципа причинности. Причинность не является законом, но является лишь формальным принципом, которому подчиняются «все реальные законы природы». Между тем, причинность является не только «логическим требованием», но категорией, присущей самой действительности. Если принять во внимание, что принцип причинности — по Вундту — устанавливает количественные отношения между причиной и действием, что причинность изымается из области психических явлений, что, наконец, все это у него связывается с пониманием мира, как процесса, стремления, имеющего конечной своей целью бога, всеобщую волю, то станет ясным идеалистический характер вундтовского решения проблемы причинности.

На докладе, посвященном вопросу о причинности, нам был одним неосторожным оппонентом брошен упрек, что включение в понятие причины субстанциональности является не чем иным, как «банальностью».

Не говоря уже о том, что «этикетка» без достаточного обоснования остается пустой фразой, не подвигающей ни на шаг разрешение проблемы, подобное возражение противоречит всей революционной практике марксистской философии. Последняя выражается в выяснении всякого вопроса, в первую очередь по линии теоретико-познавательной, разграничивающей философов на два лагеря.

«Действительно важный теоретико-познавательный вопрос, разделяющий философские направления, состоит не в том, какой степени точности достигли наши описания причинных связей и могут ли эти описания быть выражены в точной математической формуле, а в том, является ли источником нашего познания этих связей объективная закономерность природы или свойства нашего ума, присущая ему способность познавать известные априорные истины и т. п. Вот что бесповоротно отделяет материалистов Фейербаха, Маркса и Энгельса от агностиков (юмистов) Авенариуса и Маха». Так говорит по затронутому нами вопросу Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». Мы должны прибавить. Этим отличается диалектически материализм не только от Маха и Авенариуса, но от всех представителей идеалистической философии. Поэтому понятие вещи, субстанциональности является первым существенным определением категории причины. Но только первым.

Субстанция или материя, проявляясь в разнообразных формах, образует «некую совокупную связь тел». Диалектическое мышление преодолело ограниченность метафизического. Последнее имело дело с вещами, но не с процессами. Материалистическая диалектика рассматривает материю в движении, предметы—в процессе их изменения. Ибо «материя без движения так же немыслима, как движение без материи» (Энгельс). Соответственно метафизикой разрешался и вопрос о причине и следствии. Последние представляют для нее как «неподвижные противоположности». Энгельс, критикуя точку зрения, отрицающую за идеологическими явлениями какую-либо историческую роль, говорит: «Это старая история: вначале всегда из-за содержания не обращают внимания на форму... В основе этого лежит заурядное недиалектическое представление о причине и следствии, как о двух неизменно разединенных полкосах, абсолютно не выходящее взаимодействия» (Письмо Энгельса к Меришгу. Письма, стр. 310).

Диалектическая точка зрения снимает эту противоположность утверждением соотносительности понятий причины и действия. Причина становится таковой лишь в действии. Вещь становится причиной, лишь вступая в связь с другой вещью. Блестяще эту мысль выразил Гегель: «Поскольку субстанция, говорит он,—определяет себя к бытию для себя в противоположность некоторому другому, или абсолютное отношение понимается, как реальное, получается отношение причинности» (Наука логики, 137). Иначе говоря: «Только в действии причина является причиной и действительной причиной». Причина из всего сказанного является не только вещью, но и отношением, отношением к чему-либо с ней связанного. «Быть предметным, естественным, чувственным, по Марксу, это все равно, что иметь вне

себя предмет, природу, чувство или быть самому предметом, природой, чувством для некоторого третьего существа... Непредметное существо, это—чудовищное существо. Возьмите какое-нибудь существо, которое не есть само предмет и не имеет предмета. Подобное существо было бы, во-первых, единственным существом, вне его не существовало бы никакого, существовало бы одиноко, одно (Архив III. 267). Этим самым Маркс утверждает о всеобщей связанности природы и ее материальности. Действие и причина—это соотносительные понятия. Без действия не может существовать причины и без причины—действия. Причина, как отношение, представляет вторую характерную существенную черту причинного понятия. Каков же характер возникающего между причиной и действием отношения, связи? Мы уже видели, каков ответ на этот вопрос, даваемый сторонниками механической причинности. С их точки зрения, причина равна действию. Отношения между причиной и действием могут и должны быть выражены количественно. «Всякое действие эквивалентно его причине»,—говорит Вундт. Положение Лейбница—причина равна действию (*causa aequal effectum*). Иначе говоря, по их мнению, в действии нет того, чего не было бы в причине. Качественное своеобразие причины и действия приносится в жертву количественному принципу. Сама связь приобретает внешний характер. Полученное в результате причинного отношения следствие не представляет качественное иное, но лишь известную модификацию количественных элементов. Применение формальной логики лежит в основе механической концепции причинности. Дialectическое понимание причинности устранило недостаточность механического именно dialectической постановкой вопроса о качестве и количестве. Связь между причиной и действием носит dialectический характер. Причина тождественна действию и вместе с тем различна. Гегель поясняет это следующим примером. «Что касается до их содержания, то их тождество замечается и даже в конечных причинах и в нашем представлении о них. Дождь (причина) и сырость (действие) составляют то же самое, именно воду. Что касается формы, причина (дождь) уже не замечается в действии (сырости), но самое действие перестает быть действием независимо от причины, и оно теряет это определение, и остается безотносительная сырость» (М. Логика, 271). Тождество по содержанию имел в виду Гегель, когда говорил: «В причине не имеется ничего, чего нет в действии». Этим преодолевается «недостаточность учения, которое полагает существенное различие между причиной и действием». Мы можем в приведенном примере провести известное количественное измерение, измерить количество воды до и после наблюдаемого явления. Установить, что сколько потеряла туча, столько же приобрела воды земля, предметы. Но спрашивается, сведением к количественным соотношениям исчерпывается ли характеристика причинной связи? Очевидно, нет. Необходимо принять во внимание качественность причины и действия. Сырость могла быть произведена не только дождем, но, к примеру, поливкой из лейки, с аэроплана и т. д. Но в данном случае имелось определенное явление: дождь, качественно характерное. Приведем

другой пример. Причиной войны 1914 г. явился конфликт интересов двух групп держав капиталистического общества. Спрашивается: какое отношение между причиной и действием? Они тождественны по содержанию. Война явилась иным выражением основного противоречия капиталистического строя: общественного труда и частного присвоения. Причина войны есть иное выражение того же противоречия. Следовательно, мы имеем отношение причинности, когда имеется налицо момент тождества причины и действия. Но на ряду с тождеством, имеется и другой момент, столь же характерный для причинной связи. Именно разность, отличие формы. Противоречие экономических интересов капиталистических государств, как причина, и война, как действие, представляют отличные друг от друга качества, различны по форме. Таким образом, в результате причинного отношения мы получаем нечто новое, не сводимое количественно к вызвавшей его причине, качественно иное. Сырость не есть то же, что дождь. Конфликт производительных сил и производственных отношений, противоречие экономических интересов не то же, что война. Постановка и разрешение этого вопроса механистами отчасти основывались на игнорировании формы. «Рассудок, наклонный к отвлечениям, часто прилагает определения содержания и формы и рассматривает содержание как элемент существенный и самобытный, а форму—как элемент несущественный и произвольный. Но оба эти элемента равно существенны, бесформенное содержание не существует точно так же, как не существует бесформенная материя» (Логика, 23). «Смена формы,—говорит Деборин, —сводится прежде всего к качественному изменению, качественное изменение и перемена формы—одно и то же».

Новое, иное, о котором упоминает диалектическое понимание причинности, заключается в том, что составляющие его ингредиенты вошли в действительность и породили новую форму, новое качество, развивающееся по особым, отличным законам. Между причиной и действием имеется существенная связь, и, как таковая, в отличие от механической причинности, она носит не только внешний, но и внутренний характер. Причина не может вызвать любое действие, но только определенное действие, вытекающее из природы связи. Полностью связь раскрывается в законе возникновения данного явления.

Определение причинности, как внутреннего отношения, основывающегося на диалектическом единстве качества и количества, является дальнейшим существенным ее определением. Ее значение выявляется, как только мы от явлений механического порядка перейдем к действительности биологической или общественной. Точка зрения тождества причины и действия, установление механической между ними связи неизбежно приводит к тому, что в качестве причины выдвигаются факты, явления, не связанные по внутренней природе вещей (об этом речь будет идти еще далее), к тому, что все своеобразие возникающего действия погружается в констатирование одинаковых количеств переходящих друг в друга видов энергий или движений.

Между прочим, высказанное выше о связи понятия причины с понятием качества и количества показывает всю необоснованность

высказанного в литературе положения, что категория причины предшествует логически категориям качества и количества. Если понимать под причинностью просто связь, под условием которой должны рассматриваться явления,—так, к примеру, как это делают сторонники теории «функций» или «кондиционализм»,—то можно говорить о логическом предшествовании категории причины. Но в этом случае она превращается в беднейший по содержанию принцип, не увязанный и далекий от диалектического своего выражения.

Сказанным не исчерпывается диалектическое понимание причинного отношения. Причина есть отношение, т.-е. бытие, для другого. Но она в свою очередь является действием для другой причины и т. д. Причина, как конечная субстанция, т.-е. обладающая определенной формой, имеет причину и т. д. Получается регресс причин или «бесконечный прогресс от действия к действию». «Различая конечные причины и конечные действия по их форме и отыскивая связь между предметами, находят, что причина, в свою очередь, есть действие, имеющее другую причину, и т. д., отсюда и здесь,—говорит Гегель,—рождается бесконечный прогресс действий и причин» (Логика, стр. 271). Ту же мысль в приблизительно таких же выражениях высказывает Энгельс, Маркс и Ленин. «Причина и следствие суть представления, которые имеют значение только в применении к данному отдельному случаю... Причины и действия постоянно меняются местами, то, что здесь и теперь является причиной, становится там или тогда следствием или наоборот» (Анти-Дюринг). Об этом же говорит Маркс в «Капитале». «Как небесные тела, раз они приведены в известное движение, постоянно повторяют его, совершенно так же и общественное производство... Следствия, в свою очередь, становятся причинами, и сменяющиеся фазы всего процесса, который постоянно воспроизводит свои собственные условия, принимают форму периодичности». Мысль о том, что причина и действие меняются местами, что познание взаимодействия является нашей задачей, что,—как говорит Энгельс,—позади этого взаимодействия ничего нет—является блестящим достижением диалектического метода. Она пришла на смену положению, когда имели перед собой бесконечную цепь причин и действий. «Конечная рефлексия, с одной стороны, останавливается на этом непосредственном (т.-е. определенном, как один момент формы в противоположность действию. Ф. Т.) отстраняет от него единство формы, вследствие чего оно обращается в одном смысле в причину, в другом—в действие, с другой стороны, она перемещает единство формы в бесконечное и выражает через постоянное движение вдаль свое бессилие достигнуть и удержать его» (Наука логики, 146). На почве «дурной бесконечности» останавливается формально-логическое мышление хотя бы материалистов XVIII века. «Природа, говорит Гольбах,—есть лишь необъятная цепь причин и следствий, непрерывно вытекающих друг из друга» (Система природы). При объяснении общественных явлений французские материалисты запутались в противоречии: мнение правит миром, среда правит мнением. «Эта антиномия—с точки зрения Плеханова—тем более должна была запутать идеи философов,

что понятия о причине и следствии, по крайней мере в применении к социальной жизни, для них, как и для всех метафизиков, представлялись прочными, неподвижными, так сказать, окаменелыми» (Толбах). «Дурная бесконечность» причин и действий должна быть преодолена. И она преодолевается признанием, что в причинном отношении то, что было определено, как действие, само противодействует. Противодействие ее вытекает из того, что она сама представляется как субстанция. «Причина, — говорит Гегель, — имеет действие и есть вместе с тем сама действие, а действие не только имеет некоторую причину, но само есть также причина». Отношение причинности перешло в отношение взаимодействия.

Взаимодействие представляет причинное отношение в его полном развитии. «Взаимодействие образует ближайшую истину причины и действия» (Гегель). Этим окончательно преодолевается метафизическое учение о причине и действии.

Наше рассмотрение сущности причинного отношения привело к вопросу, который вызвал в истории философии при трактовке проблемы причинности немало споров. Мы имеем в виду вопрос: одновременна ли причина с действием или предшествует ему? Обойти эту сторону проблемы, конечно, невозможно. Вспомним, как ставился вопрос в различных направлениях в истории философии. Юм рассматривал причинность под углом зрения последовательности причины и действия. Причинность им определялась, как последовательность. Причиной мы называем «объект, за которым следует другой и появление которого всегда сопровождается мыслью о другом» (Исследования человеческого разума). Если мы видим постоянно, что за определенным явлением следует другое, то мы можем говорить о причинной связи. Милль, особенно много уделивший внимания выяснению причинности, несколько изменил формулировку Юма. Признание причинности при констатировании последовательности могло привести и приводило к таким ложным выводам: день следует за ночью, следовательно, день — причина ночи. Милль считает правильным говорить не просто о последовательности и «неизменной последовательности, а безусловной». «Поэтому, — говорит он, — причину явления можно определить, как «такое предыдущее или такое стечение следствий, за которым данное явление неизменно и *безусловно* следует» (Система логики. 307). Безусловной последовательностью ночи и дня считать нельзя, ибо она обуславливается наличием других предыдущих существованием солнца и отсутствием непрозрачной среды. И далее еще решительнее говорит Милль: «Когда мы затрудняемся решить, какое из двух одновременно существующих явлений есть причина и какое действие — следствие, то мы с полным правом считаем этот вопрос решенным, если можем установить, которое из них предшествовало другому» (там же, 311). Это понимание причины у Милля является для него существенным, на ряду с признанием, что всякой причиной необходимо понимать полноту условий. Зигварт в своей логике вполне справедливо считает недостаточным такое определение причинности. Но все же нам важно подчеркнуть, что и он полагает

возможным говорить в определенном смысле о предшествовании причины. Но вместе с этим Зигварт настаивает и на одновременности. Мы привели свидетельство по занимаемому нас сейчас вопросу лишь некоторых мыслителей. Всем им характерно признание того, что причина предшествует действию. Закон причинности означал и для Канта смену событий во времени. Иначе говоря, для упомянутых представителей различных философских течений при конституировании категории причины необходимо иметь дело с понятием времени.

Гефдинг считает понятие причины «элементарным», если в нем «существенную роль играет вопрос о времени». На смену ему приходит новое понимание причины — «идеальное», по выражению того же Гефдинга, в котором вопрос о времени «почти совершенно устранен». На точке зрения идеального понимания причинности становятся, с одной стороны, английские философы: Френсис Брэдли и Бернард Боэзакет, а с другой — сторонники философии «чистого опыта»: Мах, Авенариус и др. Исходя из феноменалистической теории познания, сводя весь мир к комплексу ощущений, Мах последовательно приходит к отрицанию объективности времени и пространства и тем самым устранению понятия причины и замене его понятием функциональности. Понятие времени устранено из понятия функции. К этому логически должны прийти, если оспаривают принципиальное значение за связью во времени. Это направление возвращает нас к тому периоду истории философии, когда не проводилось различия между понятием причины и понятием оснований. А мы знаем, что большая заслуга еще Канта заключалась именно в том, что он требовал различения основания логического от реального, т. е. от причинности. Философия диалектического материализма признает большое принципиальное значение за понятием времени. Мы можем с известными оговорками согласиться с Гефдингом, заключающим: «причинное отношение отличается от простого логического отношения между основанием и следствием только различием во времени между его членами» (Философские проблемы, 61). Не только различием во времени, но и этим. Вопрос о времени в связи с рассматриваемой нами проблемой важен с двух сторон. Во-первых, причинная связь протекает во времени, существующем объективно. Время является, как и пространство, «основной формой всякого бытия». «Бытие вне времени... по Энгельсу — есть такая же величайшая бессмыслица, как и бытие вне пространства». Время существует — по выражению Планка — абсолютно. На этом он настаивает в противовес мнению пуристов (махистов). «Полное отрицание абсолютного, — говорит он, — обозначало бы то же, как если бы некто, в поисках причины наступившего события, сделав открытие, что обстоятельство, принимаемое им за истинную причину, не может считаться таковой, хотел из этого заключить, что событие вообще не имело причины» (От относительного к абсолютному). «Абсолютное, продолжая словами Планка, представляет необходимый, прочный исходный пункт... иначе понятие, доказательство или относительное висит в воздухе, подобно сюртуку, для которого нет гвоздя, чтобы его повесить» (там же). Теории Маха,

Авенариуса, Ферворна и пр. характеризуются именно отсутствием абсолютного — признания объективности внешнего мира, пространства, времени. Это-то обстоятельство делает все их построения иллюзорными, в частности и решения по вопросу причинности. Другое наше заключение, в связи с понятием о времени, заключается в том, что причина предшествует во времени действию. Сначала идет дождь, потом появляется сырость. Раньше происходит конфликт между производительными силами и производственными отношениями, после его выражение, империалистическая война. Сказать наоборот значит насиловать действительность. «Время обратимо, быть может, в фантазии, в мире отвлеченных понятий, но не в мире реальном, — говорит Деборин. В этом все дело. Представьте себе... на минуту, что время, стало быть, и история, и все процессы в природе потекли назад. Для кинематографа это возможно, но в действительной жизни дело несколько сложнее. Трудно себе представить, каким образом следствие по времени может предшествовать причине... материализм будет отстаивать объективную, закономерную и необходимую связь между явлениями, между предшествующей причиной и следующим за ним действием» (Ленин — «Воинствующий материалист»). На этой же точке зрения и стоит современная наука — физика. Приведем несколько замечаний по этому вопросу. Фридман в работе «Мир, как пространство и время» развивает вполне научно-материалистическую мысль. «Метрика мира определяет сама собой и метрику пространства для любого момента времени, и метрику времени для любой точки пространства. Метрика мира не является вполне произвольной, мы требуем, чтобы расстояния в пространстве выражались вещественными (не мнимыми) числами, точно так же вещественными числами выражается промежуток времени... Постулат вещественности пространства и времени имеет чрезвычайно сильное влияние на метрику мира, с этим постулатом ближайшим образом связан принцип причинности... С помощью постулата вещественности можно было бы доказать, что два явления, лежащие на мировой линии, относящиеся к разным моментам времени, не могут быть с помощью изменений арифметизации, превращены в явления одновременные, коль скоро арифметизация, при своем изменении, не перестает быть избранной; таким образом, два явления, могущие быть рассматриваемы, как причина и следствие, никогда нельзя сделать помощью изменения арифметизации одновременными, иначе говоря, такие два явления всегда будут находиться друг к другу в отношении причины и следствия» (87-89). Если мы изменим мировые координаты, то причинность не нарушится. Эйнштейн — вопреки распространенному мнению — также считает нелепым настаивать на обратимости времени и причинности. Возражая Мошковскому с его образом «Люмена», Эйнштейн говорит: «Тут мы уже совершенно покидаем почву действительности и вступаем в такую область играющей мысли, которая, в конечном счете, приводит к худшему из недоразумений солипсизму. А в этой области, конечно, возможны и такие нелепости, как обращение времени и причинности». То же имеет в виду и Планк, когда пишет: «Закон причинности

требует, чтобы как поступки, так и душевные явления и, в частности, волевые мотивы каждого человека в каждый момент времени полностью определялись бы состоянием всего его внутреннего мира в *предшествующий* (нами подчеркнуто. Ф. Т.) момент и воздействиями внешнего мира» (Физическая закономерность). Свидетельство приведенных авторов имело целью подчеркнуть, что правильное понимание причинности предполагает признание необратимости времени, признание причины, как предшествующего в отношении действия. Значение этого положения вынудило такого мыслителя, как Дицген, при определении причины ограничиться понятием времени. «Причиной считает он то, что *постоянно предшествует* данному *следствию*», *следствием, что за ним постоянно следует* (подчеркнуто Дицгеном). Только потому, что везде и всюду за брошенным камнем следует движение волн, мы его считаем причиной этого явления» (Сущность головной работы мозга, 82—83). Дицген при определении впал в односторонность. Одним признанием, что причина есть предшествующее, вопрос о характеристике причинности не решается. Но, несомненно, причина, как предшествующее, является одним из существенных признаков понятия причины. Но как примирить только-что сделанное заключение с ранее высказанным положением, что причина может быть причиной только в действии, т.-е. действуя на что-либо или порождая действие, причина становится причиной. Дождь становится причиной сырости, лишь породив ее. Брошенный в воду камень становится причиной кругов в воде, лишь породив последние. Производительные силы, пришедшие в конфликт с производственными отношениями через конкретное экономическое противоречие государств, становятся причиной войны, лишь вызвав ее. Таким образом возникает представление об одновременности причины и действия. Представители некоторых философских течений пытаются разрешить проблему путем отказа от признания последовательности между причиной и действием. Но тогда, помимо всего сказанного в отношении их, они неизбежно встанут втупик перед понятием движения. Зигварт столкнулся с только-что выдвинутым нами вопросом. И дал ему своеобразное решение. «Положение, что причина предшествует действию, предполагает совершенно иное значение слова причина, нежели положение, что причина и действие, точнее процесс действия причины и возникновения эффекта, являются одновременными», — говорит Зигварт. Свою мысль Зигварт поясняет примером. На нитке подвешено тяжелое тело. Нить перерезывается, тело падает. Спрашивается, где причина падения. Зигварт отвечает. Можно обозначить, как причину, перерезывание нити, и тогда причина предшествует действию. Но это в сущности *causa occasionalis*. Им создается условие, при котором может действовать сила притяжения, являющаяся *causa efficiens*. Падение тела вызвано не только существованием тяготения, но и существованием тела. «То, что первоначально рассматривалось односторонне, как действие причины *A*, является общей деятельностью *A* и *B*, и ее основание должно отыскиваться одновременно в обоих» (Логика, т. II, вып. I, 136). Возьмем другой приводимый Зигвартом пример. Два тела сталкиваются

друг с другом. «Процесс действия ограничен моментом толчка». «Собственным основанием является *то самое отношение между A и B*, из которого возникает эта форма происшествия соответственно ее обоюдной природе» (стр. 139). Но, помимо столкновения, должны быть выполнены «определенные условия» для осуществления его. Они: «приближение обоих тел с определенной скоростью, отсутствие тел, препятствующих движению B, и т. д.». Получается, что причина и предшествует и одновременна с действием. Зигварт полагал, что его трактовка вопроса значительно перерабатывает «популярное понимание» причинности, развитое Миллем и др. Мы согласны с тем, что предложенное Зигвартом решение значительно тоньше и, пожалуй, глубже, чем решения эмпириков. Но оно также не может удовлетворить философию диалектического материализма. Фактически положения Зигварта утверждают об одновременности причины и действия. Ибо предшествование относится, собственно, не к *causa efficiens*, а к условиям *causa occasionalis*. Между тем, и «действующая причина» находится в состоянии предшествования по отношению к действию. Зигварт различает по времени три момента: 1) состояние причины, предшествующее процессу толчка. Сюда может быть отнесено к примеру, движение толкающего тела; 2) время непосредственного действия причины и, наконец, 3) «раз этот акт прекратился, простое пребывание нового состояния движения». Второй момент, собственно, создает причинное отношение. Когда мы говорим о предшествовании причины, то мы при этом имеем в виду не предшествовавшее состояние предмета, имеющего быть причиной, но именно то, что понимает Зигварт под термином «действующая причина». А мы уже показали, что причина не может не находиться в отношении действия в состоянии предшествования. Ошибка Зигварта заключается, по нашему мнению, во-первых, в том, что он резко отделяет понятие причины, как вещи, от понятия причины, как отношения. «В конце концов,— говорит Зигварт,— причинами все же должны быть вещи, а не их изменения сами по себе, что эти вещи существуют и продолжают существовать одновременно с теми, на которые они действуют» (стр. 132). Причина в диалектическом понимании—это вещь в действии. Это отношение вещи к другой вещи. А как всякое отношение, как всякий процесс она должна протекать во времени. Другая ошибка Зигварта заключается в том, что он на место реальной причинной связи подставил логическую связь основания с следствием. Это основывается у Зигварта на стремлении к установлению единого основания причинного факта, корнящегося, по его мнению, как в причине, так и в действии, одновременном их сосуществованию. Логическое основание и следствие, конечно, не предусматривают понятия времени. Но реальное причинное отношение не мыслимо вне последнего, как бы мал ни был его отрезок. То, что Зигварт назвал собственно причиной, действующей причиной, также предшествует во времени действию. Возможно говорить о существовании двух вещей, но это будет уже не отношением причинности, а взаимодействием. Поэтому, вопреки остроумному и тонкому доказательству Зигварта одновременности

причины и действия, марксистская философия должна утверждать о предшествовании причины в отношении действию. Гегелевское выражение «причина есть первоначальное действие» мы должны понять не только в смысле логического примата причины, но и в смысле предшествования во времени причины. Это утверждение диктуется как теоретико-познавательными соображениями, так и самой жизненной практикой. Поэтому высказанное выше как бы противоречие, заставившее Зигварта стать на точку зрения одновременности, марксистской философией отстраняется признанием причинности, как процесса, и отличием причинного отношения от взаимодействия.

Дальнейшее развитие понятия причинности завершается выяснением вопроса о причине, как определяющем условии или множественности их. Мы видели, как этот вопрос разрешается механическим направлением. Согласно ему, нельзя говорить об одной причине. Последняя постановка не учитывает сложности явлений, факта их связи с многочисленными явлениями. Последовательно проведенная механическая точка зрения приводит к утверждению равенства причин, равенства условий. Аналогичная позиция свойственна позитивистическому направлению в логике и философии — яркому ее представителю Дж. Ст. Миллю, в частности. Остановимся несколько подробнее на учении последнего. Мы уже отмечали выше рассуждение Милля о характеристической черте причинной связи — безусловной последовательности причины в отношении действия. На ряду с этим его внимание привлекает и другой вопрос. «...В качестве «причины» обычно выделяется лишь одно предыдущее, — говорит Милль, — называя все остальные только «условиями». «Так, если человек, поевши какого-нибудь кушанья, после этого умрет, т.е. если можно сказать, что он не умер бы, если бы не поел его, — то обыкновенно говорят, что причиною смерти было здесь употребление этого кушанья» (Система логики, 296). Нет необходимости предполагать какую-нибудь неизменную связь между простым принятием кушанья и смертью... Истинною причиною является здесь вся совокупность этих предыдущих, и, говоря философски, мы не имеем права называть «причиною» лишь одно из них, помимо всех остальных... Таким образом, причина есть полная сумма положительных и отрицательных условий явлений, взятых вместе, вся совокупность всякого рода случайностей, наличие которых неизменно влечет за собой следствие» (там же, стр. 299).

Приведенное рассуждение Милля покоится на определенных основаниях, которые в той или другой степени присущи каждому эмпиристическому направлению в философии и естествознании. Они, коротко говоря, сводятся к следующему. Эмпиризм ограничивается областью явлений. Для него главной формой знания «должно было служить наблюдение». Между тем, еще по Гегелю «наблюдение дает одни разрозненные и преходящие факты». Истинное знание «ищет всеобщего и неизменного». Далее. Эмпиризм не в состоянии разрешить правильно вопрос о сущности и явлении. Одно из них он приносит в ущерб другому. Это обстоятельство приводит к отрицанию их связей по сущности, связей необходимых. Предмет представляется

эмпирикам связанным с многочисленными другими предметами, причем эти связи одинаково важны. Поэтому для них «всеобщность и необходимость суть произвольные определения, субъективные случайности, привычки ума, содержание которых может быть изменяемо по произволу» (Гегель—Энциклопедия, § 39). Милль своими рассуждениями это подтверждает. Он возражает против попыток «проникнуть в сущность и внутреннее строение вещей, чтобы найти истинную причину явления, которая не только сопровождается известным следствием, но действительно вызывает его» (Система логики, 295). Милль считает, что доказательством ненаучности различения причины явления от его условий является «та произвольность, с какой мы выбираем среди условий явления то, которое начинаем называть причиной» (там же, 297). Наконец, Милль утверждает, что условие, которое мы называем причиной, «не стоит к следствию ни в каком более близком отношении сравнительно со всяким другим» (там же, 296). Мы не будем останавливаться на других характерных чертах эмпиризма, в частности на метафизическом употреблении категории «без критики и без разбора». Высказанное выше достаточно для выяснения предпосылок эмпирического решения вопроса о причинности. Характерно, что все почти учения, стоящие на непоследовательно эмпирической точке зрения, приходят к признанию причины, как совокупности условий. Таковы учения Маха, Ферворна, Авенариуса и т. д.

Философия диалектического материализма под причиной, помимо всего выше отмеченного, понимает *определяющее условие*.

Для выяснения интересующего нас вопроса остановимся на проблеме кризисов в капиталистическом хозяйстве, на выяснении причины, вызывающей кризисы. Освещение этой проблемы под углом интересующего нас аспекта позволит попутно указать на существующие в марксистской литературе недоразумения по вопросу о причинности.

«Мировые кризисы—по Марксу должны рассматриваться, как реальное соединение и насильственное уравнивание всех противоречий буржуазной экономики. Отдельные моменты, которые соединены в этих кризисах, должны, следовательно, проявиться и развиваться во всякой сфере буржуазной экономики, чем далее мы в нее проникаем, должны быть развиты, с одной стороны, новые определения этого противоречия, с другой стороны, должно быть доказано, что более абстрактные формы их повторяются и содержатся в более конкретных» (Теория прибавочной ценности, т. II, 2, стр. 177—178). Нам кажется, что данная цитата Маркса содержит следующие утверждения. Во-первых, с развитием капиталистического хозяйства происходит нарастание противоречий, конкретные противоречия развиваются из абстрактных. Далее, Кризис есть реальное разрешение этих противоречий, подчеркиваем, —реальное. Для того, чтобы кризис наступил, необходимо поставить вопрос о причинах. Так Маркс и ставит вопрос. Он, вслед за Гегелем, различает возможность кризиса и его действительность. То, что возможно, не есть еще действительное. Необходимо перевести возможность в действительность. Чем обуславливается возможность кризиса? По Марксу (там же) — первоначальная форма кризиса

заключается в метаморфозе товара, распадении купли и продажи. Следующая—в функции денег как платежного средства. Но «обе эти формы являются совершенно абстрактными» (Маркс). Они создают возможность кризисов, но кризисы могут и не быть. Ибо эти формы имели место «задолго до капиталистического производства», когда кризисов не было. «...Нельзя сказать, что абстрактная форма кризиса есть причина кризиса,—говорит далее Маркс. Если мы спрашиваем о причине, то мы хотим именно знать, почему его абстрактная форма, форма его возможности, из возможности превращается в действительность» (там же, стр. 182), иначе говоря, из возможной действительности превращается в необходимую. Каким образом указанные выше абстрактные формы, свойственные и докапиталистическим формам хозяйства, постепенно перерастают в формы, характерные для капиталистического хозяйства, это показывает история развития хозяйственных форм данной конкретной страны, история превращения ее в капиталистическую страну. Общие условия капиталистического производства превращают абстрактную возможность кризиса в реальную возможность, т.-е. необходимость. Среди этих условий мы наблюдаем наличие основного противоречия капиталистического строя: противоречие между расширяющимся производством и ограниченным потреблением. Его Маркс называет последним основанием кризисов. «Последним основанием всех действительных кризисов,—говорит он,—всегда остается нищета и ограниченность потребления масс в противоположность стремлению капиталистического производства развивать производительные силы так, как если бы только абсолютная потребительная способность общества составляла их границу» (Капитал, III, 2 ч., 20 стр.). Это основное противоречие «не неподвижно, но отталкивает себя от самого себя», т.-е. оно должно что-то основывать. Оно является основанием кризисов, но не их причиной, как думают некоторые. Кризисы в силу наличия основного противоречия неизбежно возникают. Но то, что порождает данный кризис, это определяется особой, связанной с основным противоречием причиной. Гегель различает двух родов причинность: формальную и конечную. «Отношение причинности, как формальное, есть бесконечное отношение абсолютной силы, содержание которой есть чистое проявление или необходимость. Напротив, как конечная причинность, она имеет данное содержание и сводится к внешнему различению в том тождественном, которое в своих определениях есть одна и та же субстанция» (Н. Л., 143).

Этими словами Гегель хотел подчеркнуть, что, говоря о причине, мы имеем в виду то, что имеет конкретное содержание, что находится ближе к поверхности, что связано с основанием, что воспроизводит в иной форме заключенные в основании противоречия. Когда мы имеем дело с анализом кризисов абстрактного капитализма, то мы неизбежно должны признать указанное выше основное противоречие, как основное условие кризисов. Но, переходя к конкретным, совершающимся в действительности кризисам, мы должны отыскивать каждый раз конкретную причину—определяющее условие возникновения данного кризиса.

Маркс, разбирая кризис в 1847 г., говорит не о последнем основании, но причине данного конкретного кризиса. «Главной причиной кризиса 1847 года было колоссальное переполнение рынка и безграничная спекуляция в торговле ост-индийскими товарами» (Н1, 2 ч., — 25 стр.).

Причинное объяснение, следовательно, не удовлетворяется констатированием основных противоречий капиталистического строя, необходимо обуславливающих вообще кризисы, но ищет причины данного кризиса. Конечно, при отыскании причины конкретного кризиса требуется соблюдение указанного выше методологического указания, что причина имеет основание в общих условиях капиталистического хозяйства.

Для того, чтобы это определяющее условие проявилось и вызвало кризис, необходима, во-первых, «масса моментов, условий, возможностей», а, во-вторых, то, что называется еще поводом и что нужно отличать от причины. Поясним нашу мысль несколько подробнее.

Нельзя предполагать действительность, разобленную на отдельные области, не зависящие друг от друга. Действительность, как мы уже это отмечали, представляет взаимодействие бесконечного разнообразия явлений. Настоящая сложная действительность непрерывно порождает из себя новую, которая становится опять настоящей, и т. д. Так вот для того, чтобы какой-либо факт проявился в этой действительности, необходимо: существование этого предмета в внутренней возможности, условия, выводящие предмет в действительность, и, наконец, деятельность, переводящая «условия в предмет и предмет в условия». Если отнестись к этому рассуждению к нашему примеру, то получим, что противоречие между расширяющимся производством и суженным потреблением является внутренней реальной возможностью кризисов, различные иные противоречия и явления хозяйственной жизни — теми условиями, из которых предмет выводится, наконец, движение этого основного противоречия и условий составляет деятельность. Подобная постановка вопроса не разрывает причины от условий, придает важнейшее значение роли условий, но определяет причину, как определяющее условие, которое необходимо связано с результатом. В самом деле. Что такое условие? Гегель совершенно правильно говорит по этому поводу: «Как поставленное, оно (условие. Ф. Т.) существует только по отношению к предмету, которого условием оно служит, но, как предпоставленное, оно имеет независимое существование, оно есть случайное, внешнее обстоятельство, существующее без отношения к предмету» (Энциклопедия, § 148). Вместе с тем, условия не безучастны к появлению эффекта, результата или «предмета». Условия, употребляя выражение Гегеля, «входят в содержание предмета», предмет, благодаря им, «достигает внешнего существования, осуществляет определения своего содержания, которые, с своей стороны, соответствуют условиям, так что предмет ими и им обязан своими определениями» (там же, стр. 261). Таким образом, условие не необходимо, оно случайно, оно «случайная действительность». Причина же необходимо связана с результатом. Кризисы необходимо вытекают из основного противоречия между капиталистическим производством и

потреблением. Случайные обстоятельства, условия могут задержать наступление кризиса, придать ему то или иное конкретное содержание, но, в конце концов, они не в состоянии помешать проявлению необходимости. Причинное отношение представляет конкретное выражение необходимости. В чем заключается необходимость данной вещи, прекрасно поясняет Гегель. «Когда нам говорят, что какая-нибудь вещь необходима, мы спрашиваем, почему она необходима. Следовательно, мы требуем, чтобы нам показали ее условия, ее зависимость от других вещей. Но эта зависимость одной вещи от другой не исчерпывает понятия необходимости. Если вещь обязана своим существованием другой вещи, то она случайна и могла бы и не быть, или иначе быть. Следовательно, условия ее существования должны лежать в ней самой, и она есть продукт своей собственной деятельности» (Энциклопедия, 263). Кризисы необходимы потому, что, представляя «реальное соединение и насильственное уравнивание всех противоречий буржуазной экономики», выражают «поставленную действительность», т.-е. действие «необходимо поставленной деятельностью причины». Итак, методологически является необходимым различать причину от условий. Но этого мало. Причину важно отличать и от того, что может быть названо поводом. «В истории повторяется,—прекрасно выясняет этот вопрос Гегель,—ставшая обычно острота, по которой из малых причин происходят большие действия, и вследствие того для объяснения широко и глубоко захватывающего события находят первую причину в каком-либо анекдоте. Такая, так называемая внешняя, причина должна считаться лишь поводом, лишь внешним возбуждением, в котором внутренний дух события мог и не нуждаться, или вместо того могло бы быть бесчисленное множество других поводов, которые могли бы быть употреблены духом, дабы начать с них явление, удовлетвориться им и проявиться в них. Наоборот, скорее должно считать чем-то мелочным и случайным определяться лишь этим поводом. Эти, подобные арабескам, исторические картины, которые пытаются вырастить какой-либо великий образ на слабом стебле, представляют собой поэтому, конечно, остроумную, но в высшей степени поверхностную обработку истории» (Наука логики, 145). Событие, служащее поводом, не необходимо связано с результатом. Когда кризис назрел, моментами, начинающими его, могут быть самые различные обстоятельства. Обычно поводом к кризисам являются события на товарном и денежном рынке. Крах какого-нибудь фиктивного, спекулятивного предприятия, изменение рыночных цен ведут за собой банкротство тесно с ними связанных организаций и, в конце концов, к кризису, поражающему в целом все капиталистическое хозяйство. Едва ли найдется какой-либо серьезный экономист, который бы счел крах фиктивного предприятия за причину кризиса. Неумение провести различие между упомянутыми выше понятиями привело Осинского к ряду ложных положений, в частности к утверждению, что Маркс не признавал категории причинности.

Все высказанное выше рассуждение о причине, как определяющем условии, имеет отношение не только к области общественных явлений,

но и к другим областям, где может идти речь о применении диалектического метода.

Приведенный пример Милля не составляет исключения. В самом деле. Милль полагает, что не принятие пищи, повлекшее смерть человека, является причиной смерти, но вся совокупность обстоятельств, связанных с фактом принятия и смерти. Диалектическое понимание причинности вовсе не отрицает роли различных условий, связанных с фактом смерти. Оно только ограничивает их до роли обстоятельств, которые не необходимы, но могут повлиять на результат. Основное отношение, которое видит марксистская методология, заключается между пищей, содержащей вредные для организма яды, и всем организмом. Введенное определенное количество пищи внутрь человека необходимо разрушающе действует на органы и на весь организм. Между ядом и следующим от его введения разрушением, параличом органов и центров, существует необходимая связь. Условия, в виде большей сопротивляемости организма и т. д., в состоянии лишь ослабить действие яда, меньшая, наоборот, сопротивляемость усилить. Но каковы бы ни были остальные условия, остается несомненным, что причиной смерти явилось введение пищи. Врач, прежде всего, при явлениях отравления будет стремиться выяснить характер пищи и вводить в организм специальное противоядие. Все условия необходимы, с точки зрения Милля, при чем «одинаково необходимы». Необходимость тем самым сводится до случайности. Случайность возводится в необходимость. Методология же марксизма, признавая многочисленны связи и взаимодействия предмета, отыскивает причинную связь, как связь необходимую, отделяя ее от других зависимостей, носящих случайный характер.

Конституирование причины как определяющего условия, имея большую научную ценность, вместе с тем приобретает и громадное практическое значение.

Возьмем тот же пример с кризисами. В цитированной выше работе: «Теория прибавочной ценности» Маркс полемизирует с Рикардо, Смитом и др., дающими вульгарное объяснение причин кризисов. Последние объясняют кризисы, исходя из простейших противоречий товарного обращения: несовпадения спроса и предложения. Отсюда отрицание необходимости общего перепроизводства. На это Маркс отвечает: разделение купли и продажи лишь абстрактная форма кризисов, «объяснять кризис из этой элементарной формы значит... объяснять кризис кризисом». «Чтобы доказать, что капиталистическое производство не может привести к всеобщим кризисам, отрицаются все условия и конкретные формы, все принципы и специфические отличия, короче, отрицается само капиталистическое производство» (Капитал). Между тем, последнее основание кризисов нужно искать в условиях капиталистического строя. Оно заключается в несоответствии расширенного производства и ограниченного потребления. Установление же причины, связанной с основным противоречием, дает возможность правильно и радикально поставить вопрос об устранении того или иного явления. Выяснение

причины кризисов позволяет наметить пути для их полной ликвидации через революционную замену капиталистического строя социалистическим. Полагаем, что и приведенного примера достаточно для выяснения интересующего нас положения. Ближайшее рассмотрение других примеров подтвердило бы научную и практическую ценность определения причины как определяющего условия.

Анализ причинного понятия должен быть дополнен рассмотрением вопроса о причине как вещи *действующей*.

Нам кажется, что решение этого вопроса предreshается признанием или отрицанием приведенных выше моментов, конституирующих понятие причинности.

Характеризуем ли мы причину, как вещь, как определяющее действие и т. д., или нет, разрешится и вопрос о признании причины как вещи *действующей*. Милль в полном согласии как с своими исходными пунктами, так и пониманием причины критикует возможность проведения различия между «активным» и «пассивным». «Различие между активным и пассивным элементами есть различие,—говорит Милль,—чисто словесное: пассивные элементы всегда бывают в то же время и активными, и в значительной части всех естественных явлений они настолько активны, что сильно противодействуют влияющим на них причинам», и далее: «Все положительные условия явления одинаково представляют собою действующие начала, все они одинаково активны...» (Система логики, 303). Т.-е., иначе говоря, с точки зрения Милля, является вообще неуместным под этим углом рассматривать причинное отношение.

Обратимся к примеру Милля с синильной кислотой. Он утверждает, что и «вся совокупность жизненных и органических свойств» имеет «активное» значение, как и яд, для наступления смерти. Но спрашивается, прекратилась бы жизнь, если бы яд не был введен в организм. Очевидно, действие синильной кислоты подействовало разрушающе на организм, оно было определяющим условием смерти. Милль не различает необходимых связей и связей случайных. И в этом—источник его не выдерживающих критики утверждений. Он, а за ним и родственное ему направление—махизм, эмпириокритицизм,—по существу сводит причинность к констатированию только связи, предоставляя выяснение характера этой связи конкретному исследованию. Между тем, марксизм ставит перед собой задачу выяснения существенных черт причинности, чтобы тем самым обеспечить действительное научное объяснение действительности.

Вполне понятно, что Милль, Мах отрицательно относятся к попыткам вводить момент действия, деятельности в причинное понятие.

Философия марксизма, полагая существенным признаком причинного понятия вещь, определяющее условие, тем самым понимает причину, как нечто действующее. Ибо «причина, которая не действует, не есть причина» (Энгельс). Самоочевидность действия причины настолько была ясной для Энгельса, настолько она вытекала из материалистического мировоззрения, что Энгельс в «Диалектике природы» счел даже необходимым бросить вскользь: «Мы не прибавим к

ней никакого нового определения..., назвав ее действующей причиной» (стр. 147).

Если принять во внимание все сказанное выше относительно понятия причины, то мы должны согласиться с мнением Энгельса, что указание на действительность не дает нового определения. Но тем не менее мы считаем невозможным обойти без внимания этот вопрос при трактовке понятия причинности, ибо анализ его позволит в большей степени выяснить диалектическое понимание причины.

В противовес Миллю, автор солидного труда по логике, Христоф Зигварт, считает деятельность самым характерным признаком причинности. «Анализ представления причинности,—говорит он,—должен исходить от представления о процессе действия одной вещи на другую, которое в обыкновенной речи прежде всего в действительных глаголах повсюду предполагается и в отдельных случаях рассматривается, как несомненно данное» (стр. 117). Мотив, побуждающий к этому, заключается—по Зигварту—в том, чтобы «иметь единое основание для воспринятой связи изменений». Это мотив аналогичный тому, который Зигварт имел в виду, когда настаивал на важности понятия «вещи». Марксизм меньше всего может согласиться с «мотивом» Зигварта. Последний у Зигварта основывается на стремлении к осуществлению целей, обладающих «в наших глазах ценностью». Он имеет в качестве предпосылки идею абсолютной разумности и приводит к понятию бога.

Для философии марксизма предпосылкой является признание движущейся материи. Материя, облеченная в формы, т. е. тела, находится во взаимодействии. Из этого «логически следует, что они действуют друг на друга» (Энгельс). Но здесь возникает вопрос. Раз все тела действуют друг на друга, то, может быть, прав Милль, считающий «активность» характерным свойством не только причины. Конечно, раз существует то или иное условие, то оно оказывает известное влияние, действие. Но, во-первых, оно вовсе не необходимо, оно могло и не быть. Затем, оно не оказывает одинаковую с причиной деятельность. Причина всегда действует, ибо она необходима. Причина действует определяюще. В этом вся разница, но разница чрезвычайно важная. Мы, поэтому, разделяем положение Зигварта, что деятельность есть черта, присущая причинности, но мы считаем, что этот признак — не самый существенный, и что не верны, идеалистичны мотивы, приведшие Зигварта к его утверждению.

Зигварт приводит пример в подтверждение своей мысли. Стоит сосуд. Упал на него камень и разбил. «Не «само собою» упало тело как раз тогда, когда моя рука его коснулась, не «сам собой» разбился сосуд, когда в него попал камень» (Зигварт, Логика, 123). «Камень же действует, падая, при падении на сосуд»,—говорит Зигварт. «Начало произведенного изменения кроется в действующей причине, объект действия не мог бы произвести его из себя самого»,—заключает он дальше. Мы согласны с приведенным рассуждением Зигварта. Мы считаем необходимым лишь добавить, что камень производит указанный эффект, потому что он является определяющим условием.

В чем же заключается деятельность причины? Гегель говорит, что деятельность выражается в том, что она «выводит предмет из условий, уже содержащих его, и уничтожает условия, чтобы дать бытие предмету» (§ 146). Деятельность причины заключается в том, что она «отрицает сама себя и производит действие». С этим ответом Гегеля мы согласны полностью. Каково содержание деятельности причины, определяется сказанным выше о связи причины и действия и затем непосредственным исследованием причинной зависимости.

Наш анализ понятия причины закончен. Мы пришли к выводу, что полное определение причины должно включать: причина, как вещь, и отношение. Причина, как внутренняя необходимая связь. Причина, как предшествующее. Причина, как определяющее действие. Каждое определение является существенно необходимым. Указание на всех их составляет полное определение причины. Если мы сочтем возможным игнорировать любой из указанных признаков, то тем самым сделаем брешь в диалектическом понимании этой важнейшей категории познания и действительности. В самом деле. Если мы под причиной не будем мыслить вещь, объективную категорию, то с самого начала поставим проблему на идеалистический фундамент. Будучи последовательными, должны солидаризироваться с Юмом, Махом и им подобными. Отказ от понимания причины, как отношения, возвращает нас к метафизическому представлению причины, как замкнутого предмета, без необходимого соотношения к действию. Внутренняя, необходимая связь причины и действия, на основе признания единства качества и количества, позволяет отличить диалектическое понимание причинности, в результате которой возникает новое качество, не сводимое к количественным элементам, от механического. Признание причины, предшествующей во времени, отличает марксистскую трактовку причинности от махистской, приводящей к замене причинности функциональностью. Конституирование причины, как определяющего условия, особенно рельефно выделяет диалектическую трактовку от механической и иных. Наконец, все моменты вместе, составляя диалектическое понимание причинности, позволяют разрешить ту противоположность между причиной и целью, причиной и случайностью, в которой путались различные философские направления. (По последнему вопросу смотреть статьи Деборина).

Поэтому мы считаем односторонними или неверными большинство встречающихся в марксистской литературе определений. Остановимся на некоторых из них.

В статье, помещенной во втором сборнике «Диалектика природы», А. Вариаш пишет: «Причинность обыкновенно понимается так. Если из экспериментов получается, что единичное явление a всегда обнаруживается вместе с другим— ϕ , так что их связь (их сосуществование) можно вывести из общих принципов (или гипотез), то мы утверждаем, что a есть причина ϕ . Вместо этого обычного понимания причинности, мы введем следующее обобщенное, по сравнению с только что сказанным. Пусть A будет не одно единичное явление, а совокупность многих явлений или событий ($a, a_1, a_2 \dots a_n = A$). Обозначим

какую-нибудь другую группу событий ($a, a_1 \dots a_n$) через B . Мы наблюдаем, что вместе с a всегда появляется или a или a_1 . Далее, со вступлением a_1 связывается опять или a или a_1 и т. д. При этих условиях мы говорим, что из A всегда следует B , где A и B —не единичные события, а определенная совокупность таковых, при чем все события из группы B осуществляются безусловно при бесконечном числе событий из группы A » (стр. 71). Мы остановились на авторе приведенной цитаты потому, что он, вопреки искреннему и серьезному стремлению к ортодоксальному в духе диалектического материализма разрешению проблем методологии, делается жертвой различных идеалистических и механистических влияний.

Можем ли мы признать сформулированное выше «обобщенное» понимание причинности правильным с точки зрения диалектического материализма. Нам кажется, что оно представляет значительно ухудшенное издание, как автор, выразился, обычного. Не останавливаясь, насколько правильно сформулировано это «обычное» (какое направление при этом подразумевается—неизвестно), мы должны констатировать, что «обобщенное» многим напоминает махистскую теорию функциональности. Мах считал невозможным иметь дело с одной причиной. Обычно явление зависит—говорит Мах—от многих условий. Поэтому причинность необходимо заменить функциональностью. Вариаш, в целях опровержения Планка, заменяет единичные явления совокупностями, полагая, что после этой замены причинность остается. На самом деле, при такой замене рушится и сама причинность. Напрасно думает А. Вариаш, что возможна причинность между одной совокупностью явлений и другой. Энгельс говорит определенно по этому поводу: «Чтобы понять отдельные явления, мы должны вырвать их из общей связи и рассматривать их изолированным образом, а в таком случае изменяющиеся движения являются перед нами—одно, как причина, другое, как действие» (Архив, 27). Тогда же, когда утверждают, что данная совокупность A есть причина другой совокупности B , то фактически имеют дело с констатированием связи, в которой требуется еще отыскать причинные зависимости. Если же принять во внимание трактовку А. Вариаша категории случайности, как субъективной категории, то станет очевидным, что он стоит в понимании причинности далеко не на верном пути.

Обратимся к другому определению причинности, высказанному в брошюре Дингельштедта «Причинность и целесообразность». Прочитавшему ее трудно составить ясное представление о причинности. Самому автору, очевидно, проблема не представилась в достаточно отчетливом виде. Само же его определение причинности указывает, что автор склоняется к механистической концепции причинности. «По Зигварту,—говорит он,—причинность есть не что иное, как синтез, связывание непрерывных в пространстве и времени изменений различных вещей не только по их последовательности (день и ночь), а и по их действительной связи. Такое определение нас вполне удовлетворяет» (стр. 23). А ранее, в начале брошюры, Дингельштедт пишет: «Уже древними мыслителями вкладывается в понятие причин-

ности и современный его смысл, заключающийся в эквивалентности следствия причине, в признании обязательного равенства между отдельными звеньями причинного ряда».

Прежде всего нужно внести поправку. Мысль Зигварта о причинности приведена не точно. Мы уже отмечали, что Зигварт характерную черту причинности видит «в представлении о процессе действия одной вещи на другую». Далее. Не принято во внимание рассуждение Зигварта о предшествовании и одновременности. Наконец, оставлено без внимания чрезвычайно характерное для зигвартовского понимания причинности следующее его утверждение: «Последний пункт, в котором завершается логическое фиксирование причинности, касается количественного установления отношения между причиной и эффектом» (стр. 143).

Что же касается определения причинности Дингельштедом, то оно односторонне: нет существенного признака—причина, как определяющее условие,—которым диалектическое понимание особенно отличается от иных. Выражение «по их действительной связи» ничего существенного в определение не вносит. Ибо, если существует связь, то она всегда есть действительная связь. Механистическая связь является такой же действительной, как и диалектическая. Причинность может носить как механический, так и диалектический характер. Автор, очевидно, знает о существовании только первой, в чем нас убеждает его рассуждение об эквивалентности причины и действия. Поэтому, говоря о причинности, нельзя выдвигать механическую причинность, как вполне соответствующую мировоззрению диалектического материализма. Приведенных примеров достаточно.

Наше определение причинности в значительной степени приближается к определению, выдвинутому А. М. Дебориным в работе «Введение в философию». Он пишет: «Причинность есть в сущности объективная связь явлений в объективно временной последовательности» и далее: «Момент действия», с одной стороны, и «определяющего условия», с другой, констатирует понятие причинности» (стр. 301—303 старого издания). Это понимание, высказанное задолго до того, как марксистская мысль поставила перед собою задачу конкретного анализа диалектических категорий, уже наметило основные вехи, по которым должно было идти дальнейшее конкретное исследование интересующей нас проблемы. В какой степени может удовлетворить принятое нами толкование причинности? Нам кажется, что оно позволит более безошибочно находить причины и тем самым лучше объяснять явления.

Конспектируя «Науку логики», Ленин пишет: «Гегель же требует логики, в коей формы были бы содержательными формами, формами живого, реального содержания, связанными неразрывно с содержанием». Ленин, очевидно, данную мысль Гегеля считал не только важной, но и правильной.

Так вот, исходя из этой несомненно правильной мысли, можно ли считать причинность Милля, эмпирическая логика которого и до сих пор многими разделяется, «содержательной формой». Таковой признать

ее нельзя и прежде всего потому, что она понимается Миллем односторонне. В еще меньшей мере можно рассматривать, как «содержательную форму», понимание причинности Маха и пр. От богатой познавательной формы осталось у него лишь констатирование связи ощущений. На определенной ступени развития научного и философского мышления каждое из упомянутых определений причинности могло быть прогрессивным. Несомненно, попытка Юма дать разрешение проблемы причинности была значительным шагом вперед в свое время. Логика Милля также представляла необходимый этап в некоторых своих частях. Но в наше время, когда философия подверглась решительной переработке со стороны Гегеля, Маркса, Ленина, когда развитие естественных наук привело к невиданным открытиям, в это время возрождение попыток Юма, Канта, Маха, Милля и др. не может иначе расцениваться, как громадный шаг назад. Мы далеки от того, чтобы предложенное понимание причинности считать за безупречное. Но нам кажется только, что оно наиболее соответствует тому, чтобы быть формой «реального содержания». Применяя его, мы стремимся отыскивать причину в предшествующем, связанном необходимо с действием. Мы будем видеть причину в том, что производит действие, что является определяющим условием для возникновения результата. При этом мы не упускаем из виду других условий, которые оказывают свое влияние на появление действия. Далее. Мы будем помнить, что «причина и действие суть представления, которые, как таковые, имеют значение только в применении к отдельному случаю» (Энгельс), в другое время и ином месте то, что считалось за причину, будет выступать, как действие, и наоборот. Наконец, диалектическое понимание причинности не видит в причине и действии «два неизменно-разделенных полюса», но что причина является таковой лишь в действии, что действие, в свою очередь, противодействует, т.-е. что отношение причинности, преодолевая свою ограниченность, превращается во взаимодействие: Задача научного исследования заключается в том, чтоб отыскать определяющий момент в этом взаимодействии, открыть закон явления, в котором с возможной полнотой раскрывается необходимая внутренняя связь причин и действий.

Применяя диалектические категории к познанию действительности, мы в мыслях отражаем ее. Это отражение не абсолютно точно, оно относительно истинно, оно приблизительно. Так же приблизительно мы получаем представления о причинных связях и законах природы. Ленин пишет по этому поводу. «...Человеческое понятие причины и следствия всегда несколько упрощает объективную связь явлений природы, лишь приблизительно отражая ее, искусственно изолируя те или иные стороны одного единого мирового процесса». Но из того, что мы получаем, вопреки нашему желанию, неадекватное представление о причинных связях, вовсе не следует, что не существует объективная причинность и закономерность. Абсолютное существует. «Абсолютное,—как прекрасно выразился Планк,—представляет необходимый, прочный и исходный пункт, его надо только

искать в надлежащем месте». Задача заключается в том, чтоб, вооружившись методом и знаниями, отчетливее стремиться к отражению причинных связей. А это в большей степени становится возможным, когда познавательные категории, в том числе и причинность, являются не внешними формами, но «формами, связанными неразрывно с содержанием», т.-е. когда они более конкретно выражают формы движения самой действительности. Имея в своем теоретико-познавательном арсенале подобные «содержательные формы», исследующая мысль более уверена в успешном результате своей исследовательской работы.

Чем более разработана категория причины методологически, т.-е. чем богаче она отражает форму, каковую причинность принимает в конкретной действительности, тем менее остается работы, приходящейся на долю технических приемов, тем менее ставятся в зависимость от последних результаты исследования.

Милль считал основным путём, благодаря которому мы в состоянии «выйти за пределы непосредственно испытанного», путь, который указывается индуктивной логикой. Поэтому-то Милль обратил особенное внимание на ее разработку. Он установил четыре основных метода для установления причинной связи. Зигварт, доказывая «беспомощность чистого эмпиризма», полагает, «что задача нахождения строгих причинных законов может быть разрешена только при помощи гипотез, выходящих за пределы доступного опыта, и при помощи математической конструкции» (XIII, 86). Мах же привлекает в качестве основного способа метод сопутствующих изменений и аналогию.

Мы не ставим сейчас себе задачи выяснения роли различных приемов и «методов», а также критику приведенных выше. Мы ограничиваемся лишь указанием, что этот вопрос имеет отношение к проблеме причинности и должен подвергнуться отдельному рассмотрению.

До сих пор мы анализировали причинность и не сомневались в объективной ее значимости. Между тем, этот вопрос не раз в истории философии был предметом горячих обсуждений. Наметим несколько направлений в его разрешении. Попытка Юма обосновать причинность на привычке представляла отказ от признания объективности и нерушимости закона причинной связи. Ибо иначе, как на привычке, невозможно утвердить понятие причинности. Привычка порождает веру в причинную связь. Отсюда Юм должен притти, конечно, к признанию, что ценность получаемых выводов в результате установленных причинных отношений сомнительна. Отказ от признания объективного мира привел Юма к отрицанию безусловного значения за причинностью. «Там, где эмпирическая теория, — говорит совершенно правильно Виндельбанд, — проводилась вполне последовательно, там она необходимо должна была переходить в субъективизм и скептицизм, и ей не оставалось ничего другого, как признать весь процесс мышления чисто субъективным изображением, реальное значение которого никогда не может быть доказано (Философия Канта, стр. 46—47).

Неудача Юма в обосновании причастности побудила Канта перевести вопрос на иную почву. Реальная значимость закона причинности обуславливается—по Канту—его логической необходимостью, как условия человеческого познания. Все причинные суждения основываются на основоположении причинности, носящем априорный характер. Благодаря тому, что наш рассудок вносит отношение причинности в порядок следования восприятий, возможно объективно необходимое следование явлений. «Основоположение причинного отношения,—говорит Кант,—в последовательности явлений имеет значение также до всех предметов опыта в условиях последовательности, потому что оно само есть основание возможного опыта». Задача доказательства закона причинности сводится, следовательно, у Канта к тому, чтоб доказать объективную необходимость последовательности явлений в нашем восприятии. Кант потерпел неудачу в логическом доказательстве причинности, прежде всего, потому, что логически доказать причинность невозможно.

Дальнейшие в истории философии решения поставленного вопроса воспроизводят в целом или с изменениями положения Юма и Канта.

По Миллю—доказательство всеобщей причинности основывается на индукции. Чем шире применяется метод простого перечисления, чем более он охватывает фактов, тем большей уверенностью мы обладаем в всеобщность закона причинности. Всеобщность закона причинности—по Миллю—до сих пор не встречала исключений, поэтому он обладает достоверностью. Но эта достоверность может быть поколеблена, если встретится явление, не подчиняющееся наблюдаемому правилу. «В деле доказательства,—говорит Милль,—как и во всем прочем, мы не нуждаемся в абсолютном, да и не можем достигнуть его... доверие к нашим заключениям теряет основания, раз обстоятельства нам не известны и лежат за пределами возможного для нас опыта» (стр. 522). И Милль в дальнейшем приходит к выводу, который подчеркивает лишний раз беспомощность эмпиризма в методологическом отношении. «Относительно' отдаленных звездных пространств,—говорит он,—где явления могут быть совершенно несходны с теми, которые известны нам, столь же безрассудно было бы утверждать, как то, что там господствует рассматриваемый общий закон, так и то, что там имеют силу те частные законы, которые, как оказалось, имеют всеобщее значение для нашей планеты». Но и в самом доказательстве через простое перечисление скрывается ошибка, которая подрывает его силу. Дживонс с особой ясностью ее подчеркнул. «Выходит следующее,—говорит он:—для доказательства причинности вообще нужно доказать причинность в применении к тому или другому частному случаю, причинность же в частных случаях может быть постигнута через употребление метода различия. Но доказательная сила этого метода, как и всякого другого индуктивного метода, основывается на убеждении во всеобщую причинность. Очевидно—логический круг». Зигварт, исходя из стремления установить «высшую цель», которая охватывает в себе все отдельные поступки, приходит к необходимости допущения предпосылок или «постулатов». Таковыми

является, в числе других, и принцип каузальности. Зигварт несколько реформирует положения Канта. Он полагает, что ни опыт «не показывает нам исключительно само собою обнаруживающейся правильности в подчинении событий законам», ни метафизика «не сможет убедить нас в том, что сущее нельзя мыслить иначе, как закономерно определенным другим сущим». Не дает правильного решения, с его точки зрения, и кантовская теория априоризма. Принцип причинности априорен—по Зигварту—«не в смысле само собою разумеющихся истин, а лишь в смысле таких предпосылок, без которых мы не могли бы ожидать никакого успеха... в которые, следовательно, мы должны верить, если наше стремление к познанию не должно быть лишено смысла, они суть постулаты и родственны основоположениям в этической области, при помощи которых мы имеем вообще в виду определять и руководить нашей свободной и сознательной деятельностью» (II, 21).

Свидетельства представителей двух направлений в философии убеждают, что вопрос о всеобщности причинности не может быть разрешен на почве чистого эмпиризма и априоризма. Феноменалистический эмпиризм не в состоянии преодолеть «дурной бесконечности» подлежащих наблюдению фактов. Для утверждения какого-либо заключения он требует всей их полноты. Но еще Гете по этому поводу высказал: «чтоб понять, что небо везде синее, не надо обехать вокруг света». Но так как, к примеру, и Юм и Милль на этом настаивают, и так как исчерпать полностью факты невозможно, то не остается для них ничего другого, как или отказать от доказательства всеобщности принципа причинности, или обосновывать его на психологическом основании. Критицизм, пытавшийся логически обосновать причинность, превратил ее в субъективное основоположение человеческого разума, тем самым отрезавши возможность доказательства ее необходимости и объективности. «Никто не может,—сказал в наше время Планк,—на чисто логическом основании быть принужден признаться, даже тогда, когда имеется налицо абсолютная правильность, причинную зависимость» («Закон причинности и свобода воли», 36).

Также мало убедительна попытка Зигварта. В меньшей степени можно считать вопрос решенным, признав причинность постулатом. Важно обоснование признания постулата. Допущение этих предпосылок покоится, по собственному выражению Зигварта, «на нашем хотении» (§ 62). Установление цели же и желание ее достижения «вытекает, в конце концов, из значимости нравственного идеала». Т.-е. всеобщность причинности покоится на шатком идеалистическом фундаменте. Правильное решение проблемы предполагает совершенно иные исходные пункты, чем то мы видали у эмпиристов и кантианцев. Предпосылка объективности внешнего мира является и здесь необходимым условием правильного решения вопроса о всеобщности причинной связи.

Объективная значимость причинности, а также доказательство причинности в каждом отдельном случае заключается в общественной

практике людей, их деятельности. Значение общественной практики для теории познания было сформулировано Марксом в одном из тезисов его о Фейербахе. Значение же ее в отношении причинности исключительно ярко подчеркнуто Энгельсом в «Диалектике природы». «Деятельность человека, — пишет Энгельс, — дает возможность проверки причинности. Если, взявши зажигательное зеркало, мы концентрируем в фокусе солнечные лучи и вызываем ими такой эффект, какой дает обыкновенный огонь, то мы доказываем этим, что от солнца получается теплота. Если мы вложим в ружье порох, капсулю и пулю и затем выстрелим, рассчитывая на известный заранее по опыту эффект, то мы должны быть в состоянии проследить во всех его деталях весь процесс зажигания, сгорания, взрыва от внезапного превращения в газы, давления газа в пулю. И в этом случае скептик не в праве уже утверждать, что из прошлого опыта не следует вовсе, будто и в следующий раз повторится то же самое. Действительно, иногда не повторяется то же самое, что капсуля или порох отказываются служить, что ствол ружья разрывается и т. д. Но именно это *доказывает* причинность, а не *опровергает* ее, ибо при каждом подобном отклонении от правил можно, производя соответствующее исследование, найти причину этого: химическое разложение капсули, сырость и т. д. пороха, поврежденность ствола и т. д., так что здесь собственно, производится двойная проверка причинности» (217). При такой постановке и разрешении вопроса причинность из субъективного убеждения нашего сознания превращается в объективно значимый принцип, который — перефразируя слова кенигсбергского мыслителя — есть лучшее дитя человеческого познания; он есть всеобщий принцип, вышедший из тех, которые когда-либо предписывала природа пытливому уму человека.

IV. Теория функциональности и причинное объяснение

«Слово «причина», не имея своего определенного места в науке и философии, может быть с некоторой пользой употреблено в разговоре и изящной литературе для обозначения связи, существующей между объективными фактами, для описания частей мира, данного нам в явлениях». Так формулирует свое отношение к понятию причинности Клиффорд, один из представителей течения в философии и науке, особенно развившегося в конце прошлого столетия.

Это направление представляло из себя возрождение теоретико-познавательных взглядов Юма и Беркли на почве новейших достижений естественных наук. Всем сторонникам этого течения свойственно отрицательное отношение к познавательной ценности понятия причины. Мах, Петцольд, Авенариус, Ферворн и др. не удовлетворились решением Юма. Последний вовсе не думал отказываться от понятия причины; он считал, что это понятие в философии и науке нуждается лишь в солидном обосновании. Отрицая решения рационалистов, Юм попытался, оставаясь на почве опыта, дать психологическое решение вопроса. Основание причинного мышления лежит в повторяющемся

ряде наших переживаний. Но, несомненно, такое заключение Юма, при сохранении логичности в рассуждении, должно было привести к отрицанию познавательной ценности понятия причины/и совершенному его изгнанию из научного арсенала. В самом деле. Если причинность является лишь только приобретенной привычкой мыслить за одинаковыми явлениями определенные следствия, то очевидно, что она не носит безусловного характера. Она построена на субъективном убеждении. Причинность превратилась в простое констатирование правильности сменяющихся ощущений. Понятие причины, которое было предметом особенно внимательной защиты со стороны Юма, последним было обращено в призрак человеческого воображения, в иллюзию. Фактически вера в его познавательную ценность была разрушена. Оставалось сделать дальнейший шаг: вывести его из философии и науки. То, чего не сделал родоначальник субъективного идеализма, совершили его последователи: Мах, Петцольд и др. Они сделали попытку устранить понятие причины и действия, как методологических орудий человеческого познания. На смену им были выдвинуты другие понятия, как понятие функциональности, понятие однозначности. Разбор этих теорий, претендовавших на исключительно научную ценность, является предметом настоящей главы. Остановимся на теории функциональности, предложенной Махом.

Мах, одновременно естествоиспытатель и философ, явился наиболее ярким выразителем позитивистского течения в естествознании и философии конца девятнадцатого века. Он наиболее решительно подверг переоценке теоретико-познавательный багаж, накопленный предшествующей ему научной и философской мыслью. Он отвергнул трактовку целого ряда понятий, незыблемость которых казалась несомненной. Маха не удовлетворили объяснение задач научного познания, анализ и решение проблемы пространства и времени, деление на физическое и психическое, трактовка понятий закона, причины и т. д. Вместо укоренившихся решений этих проблем и вопросов, Мах, в соответствии с общими философскими предпосылками, предлагает новые решения, которые, как он думает, соответствуют достигнутой стадии научного развития. Он не прошел мимо и понятия причины, подверг его критике, признал сомнительную его ценность, отверг, выдвинув, вместо него, понятие функциональности.

Выдвигается Махом в пользу устранения понятия причины целый ряд аргументов. При этом его доводы направляются на понятие причины, развиваемое сторонниками механического понимания природы, но никак не диалектического. Маху кажется упрощенством, когда говорят, что за известной дозой причины следует известная доза следствия. «Здесь,—говорит Мах,—проглядывает какое-то примитивное аптекарское мировоззрение, напоминающее учение о четырех стихиях». Подобное понятие причины не удовлетворительно, ибо оно упрощает отношения между вещами. «Связи в природе редко настолько просты, чтобы в каком-нибудь данном случае можно было бы указать одну причину и одно следствие». Поэтому Мах считает необходимым заменить понятие причины понятием функции. Далее. В современной

Маху физике существовала тенденция свести механику к кинематике. Это обстоятельство неизбежно—по Маху—связано с необходимостью пересмотра основных понятий механики. Последние не содействуют задаче науки—создать экономию в мыслях. Механические понятия, развившиеся в феодальную эпоху, проникнутую теологическим, мистическим мышлением, носят характер породившей их социальной обстановки. Понятие причины, действующей причины, также «ведет свое начало от анимистических представлений». «Понятие причины неизбежно предполагает существование необходимой связи. Между тем иной необходимости, кроме логической, например, необходимости физической, вовсе не существует» (Науч. поп. очерки. I т., стр. 93). Идея принуждения, которая при этом фигурирует и является порождением того представления, ощущения, которое появляется в человеке при соприкосновении его с различными предметами. Антропоморфизм понятия причины является—по Маху—одним из доводов в пользу его устранения.

Но этого мало. «Природа нам дана только раз». Только в абстракции «существуют повторения одинаковых случаев, в которых *A* было бы всегда связано с *B*» (Механика, стр. 404—405). Поэтому мы не можем говорить ни о причине, ни о действии, но о «зависимости признаков явлений друг от друга». К числу перечисленных мотивов присоединяют «неясность», которая заключается в понятии причины. Равна, эквивалентна ли причина действию, или малая причина в состоянии вызвать большие следствия, предшествует ли причина действию или одновременно—в этих вопросах нет единодушия между философами и учеными. Царит разноречие, «путаница». Целесообразно ли при этих условиях оставаться на точке зрения причинного понимания мира? Не будет ли оно тормозом научного знания? По всему этому «я давно уже пробовал заменить понятие причины математическим понятием функции, зависимостью явлений друг от друга или, точнее, зависимостью признаков явлений друг от друга» (Анализ ощущений, 89).

Насколько правомерна предпринятая Махом замена, насколько научно обоснован совершаемый им переворот в применении научных и философских понятий? Чтоб ответить на этот вопрос, мало оценить предлагаемую Махом теорию функциональности. Последняя является неизбежным следствием его философских взглядов в целом. Поэтому критика теории функциональности немыслима без анализа теоретико-познавательных взглядов Маха.

Последние не раз находили своих передатчиков и критиков. Нам необходимо лишь их напомнить. Являясь учеником Юма, Мах оставался эмпириком и наиболее последовательным позитивистом. Вне нас существующий мир—по Маху—только комплекс ощущений. «Вещь, тело, материя—ничто вне комплекса цветов, звуков и т. д., вне так называемых признаков» (Науч. поп. оч., 119). «Восприятия, как и представления, воля, чувствования, одним словом, весь внутренний и внешний мир составляется из небольшого числа однородных элементов» (Анализ ощущений, стр. 39). Иначе говоря, устраняется

пропасть между психическим и физическим, проводится попытка, на основе признания первичными ощущений, утвердить новое здание монистической философии. Вполне становится понятным, почему целый ряд проблем, бывших предметом самого тщательного обсуждения со стороны ряда поколений философов и ученых, для Маха не существует. В соответствии с исходной точкой зрения Махом разрешается и вопрос о субстанции. Понимание субстанции, как нечто постоянного в вещах, признается Махом ненаучным и наивным. Ненаучно, к примеру, и представление о субстанции современной атомистики. Можно лишь ставить вопрос о практическом использовании понятия субстанции, но не более. «Безусловного постоянства в действительности нет, остается только один род постоянства—постоянства связи (или соотношения) (Анализ ощущ., 20). Чего? Не материи, конечно, но ощущений. И далее. «Если бы можно было все чувственные элементы измерять, то мы сказали бы, что тело состоит в выполнении известных уравнений между чувственными элементами... Таким образом, постоянными являются собственно эти уравнения или отношения» (Науч. поп. оч., 79). Фактически понятие субстанции Махом, подвергаясь коренной переработке, изгоняется из научно-философского оборота.

Необходимо нам остановиться еще на одной стороне учения Маха. На освещении им проблемы времени и пространства. Поставив себе задачу очищения современной философии и науки от остатков и следов антропоморфизма, фетишизма и метафизики, Мах не мог пройти мимо трактовки пространства и времени. «Мы не в праве приписывать пространственные свойства вещам... Мы не в праве мыслить атомы пространственными» (Принципы сохр. работы, 64). Нет пространства и времени, существующих вне нашего сознания, ощущения. «Пространство и время суть упорядоченные системы ощущений» (Механика). Это определение в физиологическом отношении. В физическом же отношении пространство и время представляют «функциональные зависимости друг от друга элементов, охарактеризованных чувственными отношениями» (Анал. ощущ., стр. 282). Приведенных мыслей Маха уже достаточно, чтоб понять, что все теоретико-познавательные вопросы увязаны в единое целое: в стройную идеалистическую философскую систему. Можно ли предполагать, что воззрение, кладущее в основу мира «ощущения», рассматривающее субстанцию только как «постоянство связи» ощущений, наконец, отрицающее объективность пространства времени, не будет поставлено перед необходимостью радикального пересмотра понятия причины и действия. Можно ли сомневаться в том, что понятие причины, связанное с признанием объективности мира, объективно существующим временем и пространством и т. д., не будет третировано как неясное, ненаучное, метафизическое? Отказ от причинного понимания мира, переход на точку зрения функциональности, у Маха, является результатом его идеалистического разрешения коренного вопроса философии, отношения бытия к мышлению. Не раз история философии давала блестящие примеры тому, как заблуждение в основной проблеме являлось источником

сомнительных решений отдельных проблем и вопросов. Юм, Кант, Вундт, Зигварт, Милль—вся галерея представителей идеалистической философии—являются неоспоримым тому доказательством. Конечно, высказанное когда-то положение Фейербаха, что всякий идеализм является извращенным материализмом, приобретает в настоящее время характер мудрого афоризма, указывает на то, что и в решениях идеалистов не все ложно. Отдельным мыслям, хотя бы Зигварта, Канта и т. д., сказанным по поводу причинности, нельзя отказать в правильности и сходности с положениями в этом вопросе марксистской философии. Но дело в том, что идеализм обязывает. Он приводит к тому, что при правильности отдельных положений остается невыдержанным все решение в целом, идеалистическим по существу. У Маха мы не видим и этого. Все его рассуждения о причинности от начала до конца не имеют сходных точек соприкосновения с марксизмом.

Его теория функционального понимания явлений, противореча основам философии диалектического материализма, вместе с тем не может быть признана последним и как прием, способ изучения мира.

Мах, поддерживая функциональное объяснение, понимает под функцией то, что обычно понимается математиками. Определенному значению A соответствует определенное значение B , при чем оба члена могут представлять собою как два стоящих в связи друг с другом факта, так и совокупности фактов. Т.-е. связь может носить характер непосредственной зависимости и зависимости опосредованной несколькими звеньями элементов. Определить характер связи можно только опытным путем. Поэтому, как и в математике, существуют различные формулы или функции, характеризующие данную связь. Критикуя причинное объяснение, Мах приводит такой пример: пред массой A появляется масса B . Происходит движение от A к B . Налицо, как говорит Мах, взаимозависимость, не более. «Уже в этом простейшем случае старая формула не может охватить многообразия соотношений, существующих в природе». На это необходимо возразить следующее. Причинное объяснение не ограничивается, как мы уже видели, констатированием связи. Оно пытается в данной связи отыскать определяющее, т.-е. причину. В данном случае B , как определяющий момент, и является причиной. Но мы помним, что причина может стать причиной только в действии. Вывод Маха основывается на выключении понятия последовательности при установлении связи. Ускорения, которые вызываются указанными выше массами, «даны одновременно с положением масс» и далее. «Все зависимости, изученные точно и ясно, могут рассматриваться как одновременные и взаимные отношения» (Ан. ош., 91), т.-е., иначе говоря, понятие времени не играет роли при объяснении явлений. «Я должен все же прибавить, что определенное привлечение к закону причинности элементов пространства и времени, по меньшей мере, излишне» (Сохр. раб., 40—41). Такое рассуждение Маха становится понятным, коль скоро мы исключим его понимания пространства и времени. Можно—по Маху—исключить пространство и время, подставив вместо них другие явления.

Время можно заменить явлением, зависящим от угла вращения земли. Опять мы будем иметь явление, как функцию других явлений. «Для мира нет времени»,—декларирует Мах. Существует только факт вращения земли. Все потонуту в одновременной взаимозависимости, являющейся человеческому мышлению в виде многочисленных математических функций. Исключение пространства и времени из закона причинности ведет к тому, что выключается понятие развития. Мы не в состоянии представить, каким образом возникает новое явление. А развитие является не чем иным, как становлением нового. Задача научного познания—по Маху—будет заключаться лишь в регистрировании наблюденных фактов, в описании являющегося. Ничего более и не хочет Мах. Ничего большего и не может дать математическая функция. Отсутствие идеи развития у Маха связывается с соответствующим его представлением о качестве и количестве. Где-то было высказано мнение, что Мах стоит на качественной, по преимуществу, точке зрения.

Едва ли это утверждение является правильным. Правда, Мах говорит, что «количественное исследование есть только частный и более простой случай качественного» (Поз. и заб., 326). Правда, Мах утверждает, что научное познание заключается в открытии «связи между реакциями или группами реакций A и B в каком-нибудь объекте, в относительно устойчивом комплексе чувственных элементов». Но, несмотря на это, он считает, что количественное исследование имеет ряд преимуществ перед качественным, ибо первое позволяет выражать наиболее просто зависимость и ведет «к более общим правилам зависимости». Будущее, несомненно, принадлежит количественному методу. Его преимущества должны вызвать стремление к тому, чтобы «свести все качественные исследования к количественным». Рассуждение Маха о роли функционального объяснения значительно подтверждает только-что сказанное и позволяет высказать мнение, что Мах по существу оставался стоять на механической точке зрения. Интересно привести мнение по затронутому только-что вопросу механиста Больцмана, высказанное в его речи в 1899 г. «Совершенно очевидно, что феноменологическая физика только прикрывается облачением дифференциальных уравнений, на самом деле она исходит равным образом из атомообразных отдельных существ». Признание примата количества над качеством, несомненно, содействовало устранению причинности и замены ее функциональностью. Эта замена привела к тому, что связь получила лишь внешний характер. Понятие внутренней необходимости, которое является обязательно присутствующим в причинной связи, оказалось для Маха неприемлемым. Необходимость не может быть наблюдаема в вещах и в их отношениях. О чем можно говорить, так о логической необходимости. Дается изначальная точка, т.-е. констатируется определенный факт, и он, как выражается Мах, становится «основанием познания». Так, при стрельбе из орудия начальная скорость и направление ядра становятся «основанием познания», «из которого элемент пути вытекают как логически необходимое следствие». Данное выражение Маха побудило

Вундта признать, что «в этих словах содержится не только в существенных чертах определение причинности, но и молчаливое признание ее правомерности и даже ее необходимости». Подобное утверждение Вундта вполне соответствует его учению о причинности. По Вундту—«принцип причинности представляет собой не что иное, как применение логического принципа основания к опыту». Этот принцип является «общеобязательным принципом нашего мышления». Мы знаем, что в первоначальные годы своей научной деятельности Мах испытал на себе влияние Канта. Признание иллюзорности кантовских построений о «вещи в себе» привело его к Беркли и Юму. Поэтому является едва ли соответствующим научной точности кантизировать учение Маха о причинности. Ведь совершенно недвусмысленно утверждает Мах, понятие причины развилось «в самом опыте», при чем Мах склонен признать, что «чувство причинности» приобретено «развитием рода», но не индивидуумом. Приведенные выше слова Маха нужно понимать не в смысле утверждения им причинности, но в смысле признания законов формальной логики. В одной из своих ранних работ «Принцип сохранения работы» Мах прямо заявляет: «Закон достаточного основания ничем существенным не отличается от закона причинности или положения действия определяется причиной». А если принять во внимание, что математическое мышление базируется на законах формальной логики, то вывод Вундта станет до очевидности неверным. Мах устраняет понятие причины и действия. Так же нельзя согласиться и с другим заключением Вундта, что речь идет только об изменении названия, заключающего анимистические пережитки. Мы уже говорили о том, что изгнание понятия причины у Маха связано со всей совокупностью воззрений. Поэтому дело идет не только о перемене одного слова другим, но кардинальном изменении понятия,—имеющем большое теоретико-познавательное значение. Но вернемся к рассуждению Маха.

Для доказательства ненаучности понятия причины Мах приводит следующий пример. Солнце S освещает только тело K , находящееся в какой-нибудь среде. Если бы отсутствовала промежуточная среда, тогда мы в праве (по Маху) утверждать о взаимодействии S и K . Но так как присутствуют промежуточные звенья, то они, в свою очередь, вызывают изменения как в K , так и других элементах. Поэтому нельзя говорить о связи K и только с S , но с бесчисленным множеством элементов. На этом основании Мах считает понятие причины «примитивным» и подлежащим замене понятием функции. Может ли приведенный пример и его рассуждение убедить в правомерности выводов Маха? Ни в малой степени. Мах констатирует всеобщую связь явлений, в частности многочисленную связь с K . Против этой мысли возражать не приходится. Диалектический материализм настаивает на необходимости рассмотрения явлений в многосторонней связи их с другими явлениями. Но этим он не ограничивается. Он ставит себе задачей среди сложного клубка взаимоотношений отыскать определяющие, связанные отношения причины и действия. В приведенном примере, конечно, происходит взаимодействие между S , K и промежу-

точными звеньями среды. Но последовательный анализ должен нас привести к утверждению, что именно солнце является причиной нагревания камня *K*. Заход солнца или наличие промежуточной среды, не пропускающей солнечных лучей, ведет к понижению температуры камня. Могут существовать много условий, препятствующих осуществлению причинной связи между *C* и *K*. Но эти препятствующие условия не стоят в какой-либо внутренней связи между *C* и *K*. Они являются, так сказать, внешними. Мах, заменяя причинность функциональностью, стоит на точке зрения равенства условий. Этому вполне соответствует его постановка о случайности. «Они появляются,—говорит Мах,—помимо нашего желания, не предвиденные нами, или вопреки нашим предвидениям получаются случайно, т.-е. по обстоятельствам, конечно, не лишенным порядка, но нам неизвестным и от нас независимым» (Позн. и забл., 256). Случайное—результат нашего неведения. «Случайность» не может считаться принципом действенным». (Анал. общ., 82). Об'ективно случайного не существует. Случайное, как об'ективное и внешне данное причинному ряду, чуждо воззрению Маха. Для него все моменты связи в принципе могут и должны играть решающую роль. Таков по существу характер функциональной связи. Поэтому-то Мах и признает ее наиболее совершенным принципом познания явлений. Если дано такое-то значение *X*, то совершенно определенное значение получает и противоположная сторона отношения *Y*. (*X* и *Y*—по Маху—представляют комплексы). Устанавливается отношение однозначности. Но это только при определенном случае. Если будут данными все условия. При этом, по мнению Маха, устраняется разногласие с Петцольдом, критиковавшим причинность за ее неопределенность и пытавшимся заменить причинность своеобразным понятием однозначностью. Но спрашивается, чего существенного достигается констатированием однозначности связи. Не что иное, как описание, что изменение такой-то группы фактов связано с изменением другой. Задача научного анализа заключается в том, чтоб понять, почему происходит наступление данных явлений, какова определяющая причина и т. д. Мало, вопреки мнению Маха, отыскания рода существующей здесь зависимости, необходимо исследование в ней причинной зависимости. Подведем итог рассмотрению теории функциональности Маха.

Теория функциональности Маха покоится на двух неправильных положениях. Идеалистическая теория познания обусловила отрицательное отношение к причинному объяснению. Феноменализм в духе Юма, Маха, Петцольда и др. не в состоянии предложить правильное решение проблемы причинности, ибо неверны, ложны исходные пункты.

Как нам уже приходилось отмечать, идеализм, сочетающийся с формальным методом, в лучшем случае может говорить о механическом понимании причинности. У Маха же, в полном соответствии с его постановкой вопроса о физическом и психическом, мы видим переход на функциональную точку зрения, мы наблюдаем универсализирование математического метода. Это универсализирование функционального способа познания явлений является у Маха другим основным

неправильным положением. Мах не удовлетворяется приложением теории функциональности к механическим и физическим явлениям, но он распространяет ее и на биологическую область. «Понятие функции могло найти применение как в физической, так и в биологической области и удовлетворять всем требованиям», — говорит Мах в «Анализе ощущений» (стр. 92). Подобное перенесение математического метода вызвало возражение даже у Вундта. «Понятия и способы рассмотрения, правомерные в математической области, переносятся в область эмпирического исследования, где они неправомерны» (О наивном и крит. идеал., 314). Тем менее, может удовлетворить и универсализирование способа функций, как приема познания, философия марксизма.

Функции, уравнения, как все вообще приемы математического метода, имеют лишь ограниченное применение. Благодаря им устанавливаются количественным способом зависимости среди совокупности фактов, ограниченных от другой, качественно иной, группы начальными условиями. Поэтому, применяя количественный способ, мы получаем множество зависимостей, имеющих значение только для отдельных областей. Математический метод, основывающийся на законах формальной логики, имеет все недостатки последней. Он чужд для познаваемой им действительности. Блестящую характеристику математического метода дал когда-то Гегель. «Цель или понятие математического познания — величина. Это есть именно несущественное, не выражаемое в понятиях отношение. Движение знания совершается, поэтому, в математике на поверхности. Истина представляет собою ее движение к себе самой, метод же математики есть познание, внешнее материалу» (Феноменология, стр. 20—22). «Внешность», обусловливаемая применением формального метода, приводит к игнорированию разнообразия действительности. «Этот прием завершается, говоря словами Гегеля, одноцветной абсолютной живописью», где все погружается в абсолютное тождество. По всему этому функциональному способу должны быть отведены вполне определенные и ограниченные пределы в применении его, как способа научного познания. Искключительно научным методом познания мира является диалектический метод. О нем у Маха нельзя встретить и слова. Это соответствует его теоретико-познавательным взглядам, его формально-логическому мышлению. В самом деле, каков тот инвентарь, с помощью которого достигается — по Маху — познание явлений действительности.

Цель научного мышления заключается в наиболее полном и экономном описании фактов. Всякое новое открытие представляет не что иное, как наиболее упрощенное описание ранее известного. Каким образом достигается цель научного познания? Метод сопутствующих изменений является наиболее действительным средством по Маху. «Метод сопутствующих изменений, — говорит он, — является везде руководящей нитью исследований». Другие методы, о которых упоминает Милль, являются для Маха лишь частными случаями метода сопутствующих изменений. Этот прием дополняется другим: сравне-

нием и аналогией. «Сравнение является самым могучим внутренним жизненным элементом науки» (Научно-попул. очерки, т. I, стр. 50). «Аналогия является действительным средством подчинить разнородные области фактов одному единому взгляду». Силлогизм и индукция не ведут, с точки зрения Маха, к новому познанию. Они «обеспечивают только уничтожение противоречий, восстановление согласия между нашими познаниями, выясняют связь их»: абстракция, «фантазия», интуиция—вот что лежит в основе всякого познания. Мы не можем останавливаться в данный момент на подробной критике выдвигаемых Махом методов исследования, ограничимся лишь некоторыми указаниями. Все вышеприведенные «Методы» являются не чем иным, как приемами при исследовании, при чем приемами технического характера. Метод сопутствующих изменений, будучи применен, является лишь приемом, при помощи которого констатируется наличие связи между двумя или несколькими явлениями.

Для Маха этого было вполне достаточно. Между тем, мы выяснили, что для научного объяснения подобное констатирование является лишь одним из первых шагов. Найти при помощи метода сопутствующих изменений содержание связи, внутреннюю зависимость, т.-е. характер действительной связи, конечно, невозможно. Так же недостаточны и другие приемы, упоминаемые Махом. Сравнение является лишь одним из приемов отвлеченного мышления. Но оно далеко от того, чтобы служить самостоятельным орудием познания. Еще менее может быть признана в качестве такового и аналогия. При применении в определенной области аналогия может сослужить некоторую пользу, как второстепенный, подсобный прием. Он может дать указание на направление, в котором должно идти научное исследование. Но, будучи использован в различных сферах, качественно отличных друг от друга, аналогический метод приводит к совершенно ложным результатам. Достаточно сослаться на попытки Спенсера, Конта и др. Далека от правильного разрешения и постановка вопроса Маха об аналитическом и синтетическом методе. Он придает особенное значение аналитическому методу, считая возможным применение и синтетических приемов. Для него «синтетический и аналитический методы взаимно исключают друг друга». Между тем, истина заключается не в разделении этих двух методов, а в их единстве. Мы, применяя анализ, ищем в единичном всеобщее, мы расчлняем сложное, находим его «сущность», «закон», с тем, чтоб, выполнив это, проследить проявление в сложной наполненной конкретной действительности.

Диалектический метод, представляющий единство синтеза и анализа, единство качества и количества, единство противоположностей, являющийся основным методом познания мира, был чужд позитивистскому мышлению Маха. На место его, в полном соответствии с своими теоретико-познавательными предпосылками, им выдвигается в качестве всесильного познавательного орудия функция функциональности, вместе с «методом» сопутствующих изменений. Но она, как покоящаяся на идеалистическом фундаменте, как незаконно

претендующая на универсальность, как не отвечающая требованиям научного познания и объяснения, должна быть признана несостоятельной и, как таковая, устранена из инвентаря научно-познавательных категорий. Вместе с попыткой Маха должны быть признаны неудовлетворительными и другие теории, устраняющие причинность: теория «однозначности», «кондиционализма», покоящиеся на одинаковой с Махом основе — идеалистическом феноменализме.

Библиография

Полагая, что наша попытка анализа причинности не останется одинокой и привлечет внимание к столь важной и интересной проблеме как общественников, так и естественников, мы считали целесообразным в заключение привести библиографию вопроса. Так как в марксистской литературе почти отсутствует специальный разбор причинности, то указание на разбросанные страницы, подчас отдельные замечания представлялось необходимым. Библиография не претендует на исчерпывающую полноту.

1. Маркс. «Теории прибавочной ценности». Т. II, ч. 2, гл. 3.
2. Маркс. «Капитал». III т., 2 ч., изд. 1908 г., стр. 22—25.
3. Энгельс. Диалектика природы. Стр. 9, 13, 23, 25, 27, 29, 145, 147, 199, 201, 217.
4. Энгельс. Антидюринг. Изд. 1918 г., стр. 20—21, письма под №№ 204, 217, 219, изд. 1922 г., Моск.
5. Ленин. Материализм и Эмпириокритицизм. III гл., § 3.
6. Плеханов. VIII т., стр. 153. Аналогично в др. местах.
7. Деборин. Введение в философию. Гл. 8, § 4.
8. Деборин. Вступление к книге Ленина «Матер. и Эмпири», изд. 1925 г.
9. Разумовский. Курс теории исторического материализма.
10. Бухарин. Теория исторического материализма. Гл. I.
11. Вишневский. Исторический материализм. II гл., § 4.
12. Вайнштейн. Организационная теория и диалектический материализм. III гл.
13. Вариаш. История новой философии. I т., 1 ч. Введение, I т., 2 ч., стр. 172.
14. Осинский. Мировое хозяйство и кризисы. Изд. Ком. Акад., 1925 г.
15. Дингельштедт. Причинность и целесообразность. Изд. 1925 г.
16. Познер. Причинность и целесообразность в учении Спинозы. «Историко-философский сборник». Изд. Комм. Акад. 17.
17. Богданов. «Философия живого опыта».
18. Богданов. «Падение великого фетишизма».
19. Богданов. Наука об общественном сознании.
20. Богданов. Основные элементы исторического взгляда на природу.
21. Борель. Случай. изд. 1923 г.
22. Вундт. Система философии. Изд. 1902 г., III и VI отд. 23. Вундт. О наивном и критическом реализме. Изд. 1910 г.
24. Гегель. Энциклопедия. Отдел «Действительность» и § 195.
25. Гегель. Наука логики. III отдел «Действительность» и 3-я кн. II от. 1 г.
26. Гельмгольц. Ст. в сб. «Философия Науки». Ч. 1, вып. 1.
27. Бюхнер. Сила и материя.
28. Гольбах. Система природы.
29. Дицген. Сущность головной работы человека. Изд. 1913 г., § 4.
30. Зигварт. Логика. § 73 и 95.
31. Зигварт. Борьба против телеологии. Изд. 1907 г.
32. Зеньковский. Проблема психической причинности. Изд. 1914.
33. Бергсон. Заметка о психологическом происхождении нашей веры в закон причинности. Изд. Семенова С.-П.
34. Гелфинг. Философские проблемы.
35. Мах. «Научно-популярные очерки». II т., «Анализ ощущений», «Познание и заблуждение». Принцип сохранения работы (соотв. места).
36. Милль. Система логики.
37. Мольшотт. Причина и действие

в учении о жизни. М., 1868. 38. Мейерсон. Тождественность и действительность. 39. Орлов. Логика естествознания. IV и VI гл. 40. Освальд. Натурфилософия. 41. Петцольд. Введение в философию чистого опыта. II и III гл. 42. Планк. «От относительного к абсолютному». «Физические очерки» (Динам. и статистич. закон). Физическая закономерность в свете новых исследований. Успехи физ. наук. VI т., 3 вып. 1926 г. 43. Риккерт. Границы естественно-научного образования понятий. I гл., § V, IV, гл. §§ 3 и 4. 44. Ферворн. Вопрос о границах познания. Изд. 1909 г. 45. Шопенгауэр. О четвертом корне закона достаточного основания. 46. Фридман. Мир как пространство и время. 47. Борецкая. «Принцип превращения причины в действие». Ж. Науч. Обзор., 1899, 7. 48. Мошковский. Альберт Эйнштейн. VII гл. 49. Семковский. Диалектический материализм и принцип относительности. IV гл. 50. Авенариус. Философия как мышление о мире. Изд. 1912. 51. Риккерт. Психофизическая причинность. Ж. Новые идеи в филос. № 8. 52. Пирсон. Грамматика науки. 53. Лопатин. Положительные задачи философии. II т. 54. Шлетт. Проблема причинности у Юма и Канта (Труды психологич. семинария). Изд. Киев, 1907 г. 55. Работы Декарта, Спинозы, Лейбница, Юма, Канта и др.

Литература на иностранных языках

1. Blanger. Les concepts de cause et l'activité intellectuelle de l'esprit.
2. Brunschwig. La causalité physique et l'expérience humaine. Alcan 1922.
3. Kozlovski. L'explication scientifique et la causalité. Revue philosophique 1909 г., № 9. 4. Marchal Robert. Etudes sur la causalité. Bibliothèque des Archives de Philosophie. Paris. 5. Meyerson. Hegel, Hamilton, Hamelin et le concept de cause. Revue Philos. 1923 г. № 78. 6. Piaget. L'expérience humaine et la causalité physique. Journal de Psychologie 1924, № 6. 7. Prudhomme Sully. Le problème des causes finales. Paris. Alcan. 1907 г. 8. Fongrave. La causalité efficiente. Paris. 1893 г. 9. M. Adler. Kausalität und Teleologie. Marxstudien. 1909 г. 10. Burkamp. Die Kausalität des psychischen Prozesses. Berlin. 1922.
11. Freundlich. John Stuart Mills Kausaltheorie. Düsseldorf. 1913. 12. Wundt. Die physicalischen Axiome und ihre Beziehung zum Kausalprinzip. 1866. 13. Heuer (W). Kausalität und Willensfreiheit. Heidelberg. Winter. 1924. 14. Sigwart. Der Begriff des Willens und sein Verhältnis zum Begriff der Ursache. Kleine Schriften. II, 115. 15. Benno Kohn. Untersuchungen über das Causalproblem. 16. König. Entwicklung des Causalproblems von Cartesius 17. Lamprecht. Das Prinzip der Kausalität des seelischen und sozialen Geschehens in besondere des Wirtschaftens. 1925 г. 18. Lamprecht. Kausalität der Volkswirtschaft. 1925 г. 19. Becher S. Erkenntnistheoretische Untersuchungen zu John Stuart Mills Theorie der Kausalität. Halle. 1906. 20. Planck M. Kausalgesetz und Willensfreiheit. Berlin. 1923 г. 21. Lang Albert. Das Kausalproblem. Köln. 1904. 2. Stern. Substanz und Causalitäts idee S. M. 1904, N 10. 23. Stumpf. Leib und Seele. 24. Erdmann. Über Inhalt und Geltung des Kausalgesetzes. 1905. 25. Wentscher E. Geschichte des Kausalproblems. Leipzig. 1921. 26. Petzold. Das Gesetz der Eindeutigkeit. Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie XIX. 1895. 27. Wundt. Logik.

Ф. Тележников.

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ ДЖОНА ДЬЮИ

Одним из наиболее интересных и содержательных философских направлений современной Америки следует признать *инструментализм Джона Дьюи*, занимающий девый фланг прагматической философии.

Инструментализмом учение Джона Дьюи называется потому, что, согласно его воззрениям, всякая теория, прежде всего, есть орудие. *инструмент* (tool), который должен помочь нам анализировать известные факты, чтобы найти наилучший способ поведения по отношению к каждому из них.

Эта инструментальная точка зрения является дальнейшим развитием прагматической философии *Пирса* и *Джемса*: по определению Уильяма Джемса, теория — не ответ на загадки бытия, но *орудие* для согласования нового опыта со старыми убеждениями. Вместе с тем Дьюи далеко отходит от философии Джемса; подчеркивая свое отличие от его спиритуалистического прагматизма, он заявляет, что интересуется не «разумом, который раз навсегда сотворил вещи, но разумом, создаваемым вещами даже теперь».

В то время как Уильям Джемс, в конечном итоге, подчиняет философию — религии, интеллект — мистической вере. Джон Дьюи не обнаруживает в своих построениях никакого мистицизма, никакой тенденции дискредитировать научное знание; сосредотачивая свое внимание на социальном значении философии, он видит в ней одно из орудий общественного прогресса.

Это различие основных интересов Уильяма Джемса и Джона Дьюи характеризует позицию, занимаемую инструментализмом в прагматическом движении; благодаря деятельности Дьюи сильная струя здорового реализма проявилась в американской философии двадцатого века.

Для понимания инструментализма весьма важным оказывается то обстоятельство, что философские взгляды Джона Дьюи вырастали, в значительной мере, на гегельянской основе, а вместе с тем продолжали традиции английской эмпирической философии.

Уже в девяностых годах прошлого столетия Дьюи резко выступил против формального мышления; по мере развития философии инструментализма эта позиция получала дальнейшее подкрепление и развитие. Формальной, или эпистемологической, логике Дьюи противопоставил логику инструментальную, эволюционистическую.

По мнению Дьюи, формальная логика имеет дело с мыслью, оторванной от вещей, неподвижной, обладающей своими особыми законами,

которые она навязывает предметам. Эта средневековая концепция отразилась и в индуктивной логике; формализмом страдала вся новая идеалистическая философия, в том числе и Кант, и только Гегель разрушил старую логику, показав, что формы мысли прогрессивно создаются самой реальностью, в ее развитии по направлению ко все большей разумности.

Как мы видим, инструментальная логика Джона Дьюи генетически тесно связана с гегелевской критикой формального мышления; в самом отношении к Гегелю проявилось существенное различие между прагматизмом Джемса и инструментализмом Дьюи; действительно, в то время как Джемс считал своим долгом упорно бороться с философией Гегеля, Дьюи тесно примкнул к великому немецкому диалектику.

Формальные понятия обладают незначительной ценностью для американского инструменталиста, главное внимание он уделяет содержанию мышления, его значению (meaning), как «знаку реальности».

Следуя за Гегелем, Дьюи подчеркивает динамический и органический характер действительности; отвергая классический идеализм, с его стремлением изолировать неподвижный мир нравственных ценностей, он выдвигает подвижной идеал, находящийся в тесном взаимодействии с состояниями нашей активности.

Такова в главных чертах методологическая зависимость инструментальной логики от гегельянства. Свое отношение к Гегелю Джон Дьюи выразил в энергичной характеристике последнего, как «квинт-эссенции научного духа».

Не менее существенным признаком инструментализма является его связь с английской эмпирической философией.

В своей книге «Reconstruction in philosophy», вышедшей в 1921 году, Джон Дьюи выпукло и ярко обрисовывает громадное значение философии Френсиса Бэкона для европейской культуры. Нужно заметить, что материалистическая философия Бэкона, возникшая в эпоху первоначального капиталистического накопления в Англии и отразившая в себе революционные устремления восходящего в то время класса буржуазии, в наши дни не пользуется особыми симпатиями у буржуазных идеологов. За особую заслугу Джона Дьюи следует признать то обстоятельство, что наперекор установившейся идеалистической традиции он высоко оценивает воззрения Френсиса Бэкона и, более того, кладет их в основу прогрессивного развития всей новой философии.

Бэкон для него—великий предтеча (the great forerunner) духовного развития современности, а его философия—новое евангелие (the new gospel) для человечества.

Подобная характеристика философии Бэкона, в соединении с отрицательным отношением к классическому идеализму, подчеркивает реалистическую тенденцию инструментализма.

В противовес Уильяму Джемсу, который, пользуясь прагматической теорией, пришел к религиозной практике, Джон Дьюи склонен к реалистическому истолкованию прагматизма и родоначальником его считает Френсиса Бэкона; последний, по его словам, является пророком

прагматической концепции знания. Дьюи особое значение придает борьбе Бэкона против логики Аристотеля, а также прагматическому смыслу его афоризма «знание—сила» и всего его учения о господстве человека над природой.

Современная философия, по мысли Дьюи, должна избегнуть недостатков как германского «рационалистического идеализма», так и английского «эмпирицизма», которые являются крайностями, нуждающимися в согласовании: разлагающий анализ или строгий синтез; полный радикализм, пренебрегающий историческим прошлым, или полный консерватизм, идеализирующий общественные учреждения, как воплощение вечного разума; разложение опыта на атомические элементы, исключающие возможность стабильной организации, или подчинение опыта неподвижным категориям и необходимым понятиям, — таковы противоположные точки зрения, являющиеся результатом традиционного противопоставления чувства и мысли, опыта и разума.

«Признание места активной и планирующей мысли в пределах эмпирических процессов радикально изменяет традиционное понимание специальных проблем частного и общего, чувства и разума, восприятия и понятия. Но это изменение имеет более чем специальное значение, ибо разум—это экспериментальное мышление (*reason is experimental intelligence*), понятое по образцу науки и использованное в общественной творческой деятельности. Разуму необходимо что-либо делать. Он освобождает человека от подчинения прошлому, подчинения, вызываемого невежеством и случайными явлениями, превратившись в обычай. Он проектирует лучшее будущее и помогает человеку осуществить его. И его действие всегда является предметом опытного испытания. Планы, формируемые человеком, проектируемые им руководящие принципы реконструктивного действия отнюдь не являются догмой; это—рабочие гипотезы для практического применения, которые отбрасываются, исправляются или расширяются в зависимости от того, терпят ли они неудачу или увенчиваются успехом в руководстве нашим текущим опытом. Мы можем называть их программами действия, но они обладают гибкостью, поскольку должны быть использованы для того, чтобы сделать наши будущие действия менее слепыми и более плановыми. Разум не есть нечто раз навсегда данное. Он находится в процессе постоянного формирования, и сохранение его за собой требует постоянной готовности к наблюдению последствий, искреннего желания учиться и смелого приспособления к новым обстоятельствам»¹.

В своем докладе на VI Международном философском конгрессе Джон Дьюи проводил мысль, что философия, находящаяся в самой тесной связи со всем развитием культуры, оплодотворяется новыми изобретениями в индустрии, новыми открытиями на земном шаре, новыми завоеваниями в науке, в то же время отнюдь не является пассивным отражением изменений, происходящих в культурном развитии человечества, но и сама служит орудием социального прогресса.

¹ John Dewey, *Reconstruction in philosophy*. London, 1921, p. 96.

«Thus philosophy makes a change of culture. In forming patterns to be conformed to in future thought, and action, it is additive and transforming in its rôle in the history of civilisation»¹.

Спрашивается, однако, каким образом разрешает инструментализм это бэконовское требование философского синтеза рационального и эмпирического моментов?

Инструментальная логика, в противовес формальной, ставит проблему изучения мышления, как конкретного явления, доступного эмпирическому наблюдению.

Логическая работа, по учению Дьюи, начинается всякий раз среди существовавшей уже прежде активности в тот момент, когда последняя встречает препятствие своему привычному развитию. При нарушении единства опыта получается известный конфликт, столкновение различных факторов, и для того, чтобы снова установилась гармония, необходим опыт более широкий².

Процесс мышления и состоит в усилии положить конец этому беспорядку, реализовать новое согласие и тем самым установить новую привычку; познание не следует понимать абстрактно, как представление неподвижной реальности, но «по-человечески», как функцию, предмет которой—реконструкция, или трансформация опыта.

При более подробном рассмотрении того смысла, какой придается опыту» Джоном Дьюи, становится ясной идеалистическая сущность инструментализма; несмотря на все свое стремление к конкретности и практичности мышления, «инструментализм» Дьюи так же, как и «прагматизм» Джемса, «прагматизм» Пирса и «гуманизм» Шиллера, в основном вопросе теории познания—о реальном существовании внешнего мира—оказывается только одним из видоизменений идеализма.

Реальная действительность, существующая вне человеческого сознания и в нем непосредственно или посредственно отражающаяся, не находит себе места в инструментальной теории познания.

Весь опыт, по мысли Дьюи, тесно примыкающего в этом отношении к Джемсу, можно условно разбить на две группы элементов, различных по функциям: (1) факты (existences)—элементы, составляющие предмет суждений, и (2) идеи, мысли, значения (meanings)—элементы, предназначенные дополнить первые и представляющие собою изменчивые, подверженные сомнению предположения.

Таким образом, факты, составляющие предмет познания, лишены для Дьюи значения объективной реальности; более того, само различие между фактами и идеями условно, относительно, инструментально, исторично; оно приемлемо лишь как удобное предположение, необходимое для развития знания.

¹ John Dewey. The rôle of philosophy in the history of civilisation. — «The philosophical Review» 1927. v. XXXVI, № 1, p. 6.

² In other words, reflection appears as the dominant trait of a situation when there is something seriously the matter, some trouble, due to active discordance, dissentiency, conflict among the factors of a prior non-intellectual experience; when, in the phraseology of the essays, a situation becomes tensional». John Dewey, Essays in experimental logic. Chicago, 1920, p. 11.

Факты и идеи—инструменты, сфабрикованные для одной и той же цели; все значение их в том, что они помогают разрешать конфликты, возникающие в процессе человеческой активности.

«Критериумом ценности идеи является ее способность... действовать при осуществлении объекта, ради которого она была спроектирована. Способность действовать таким образом является испытанием, измерением, или критериумом истины (*Capacity of operation in this fashion is the test, measure, or criterion of truth*). Следовательно, этот критериум практичен в наиболее широком смысле этого слова»¹.

Вся реальность, согласно инструментальной теории познания, должна быть определена в терминах опыта; истина для Дьюи обозначает успех познавательной функции (*success of the knowing function*) и только.

Идеалистическая позиция Дьюи, занятая им в вопросе о существовании объективной реальности, является логическим завершением джемсовской точки зрения, согласно которой истинно все, что полезно; инструментализм развивает дальше эту прагматическую теорию познания и под критериумом истинности подразумевает, вместо полезности, успех познавательной функции.

Свою мысль Джон Дьюи иллюстрирует примером заблудившегося в лесу путешественника, который ищет убежища и в этих поисках создает гипотезу о правильной дороге. Успех его идеи о дороге и составляет ее истинность; успех этот вовсе не предполагает соответствия между идеей и окружающей реальностью; сама идея, с точки зрения инструментализма, является своего рода картой, созданной путешественником, идущим от места, где он заблудился, к месту, где он желает быть. Идея—это гид, план действия и больше ничего. В свою очередь, окружающая обстановка целиком определяется отношением к практическим фактам блуждания и желания найти дорогу. Наконец, выражение: «идея согласуется с реальностью» обозначает только то, что она приводит к предполагаемому результату; это согласие между идеей и реальностью в действительности является соответствием между намерением и его выполнением и ничем не отличается от успеха².

Таким образом, объективная реальность лежит вне поля зрения инструментальной теории познания; в самом понимании реализма Дьюи тесно примыкает к прагматической позиции Пирса и Джемса.

«В конечном итоге, Пирс и Джемс—оба реалисты. Рассуждение их обоих основано на допущении реальных вещей, которые реально имеют последствия (*effects or consequences*). Из них обоих Пирс с большей ясностью отмечает тот факт, что в философии, по крайней

¹ John Dewey, *Reality and the criterion for truth of ideas*,—«Mind», 1907, v. XVI, № 63, p. 341.

² «The agreement, correspondence, is between purpose, plan, and its own execution, fulfillment, between a map of a course constructed for the sake of guiding behavior and the result attained in acting upon the indications of the map. Just how does such agreement differ from success?» John Dewey, *Essays in experimental logic*, Chicago, 1920, p. 240.

мере, мы имеем дело с *концепцией* реальности, с реальностью, как термином, имеющим рациональное значение, а, следовательно, с чем-то, чье значение само должно быть определено в терминах последствий. Эта «реальность» обозначает предметы тех верований (beliefs), которые сделались устойчивыми после продолжительного коллективного исследования, а «истина» — качество этих верований...

Возврат к Пирсу не оказал ли бы благотворнейшего влияния на современные споры? Не возникает ли значительная доля наших эпистемологических затруднений благодаря попытке определить «реальное», как нечто, данное прежде рефлексивного исследования (as something given prior to reflective inquiry), а не как то, чего рефлексивное мышление вынуждено добиться (as that which reflective inquiry is forced to reach), и к чему, когда оно достигнуто, может стабильно прикрепиться верование»¹.

Вместе с тем фактически Дьюи вынужден признать существование объективной реальности в тех случаях, когда ему приходится различать между образом фантазии и познанием действительной связи реальных вещей: «Думать о воздушных китах и верблюдах в облаках значит заниматься мыслями, которые по желанию можно бросить и которые не приводят ни к какой уверенности в частности. Но мыслить землю плоской — это значит приписывать качество реальной вещи, как ее реальное свойство. Это заключение указывает на связь между вещами и потому не может, подобно образам фантазии, изменяться по нашему желанию»².

Нео-реалист Ральф Бартон Пирри в своей книге «*Современные философские тенденции*» отмечает эту двойственность гносеологической позиции Джона Дьюи, как и всех вообще прагматистов; по его словам, в прагматической теории познания следует различать две тенденции, две версии: реалистическую и субъективистическую. Реалистическая версия прагматизма, — говорит Р. Б. Пирри, — утверждает, что многообразные компоненты познавательного процесса независимы от места, занимаемого ими в этом процессе. Реалистический прагматист склонен рассматривать в своей теории познания чувственные природные факты, как термины, к которым идеи приводят, но он не склонен предполагать, что подобные факты относятся к идеям по своему бытию (in order to be). Подобная точка зрения в прагматизме объясняется приятием общих биологических категорий и определением знания, как формы адаптации, к прежде существовавшему окружению (to a preëxisting environment)³.

С другой стороны, субъективистическая версия прагматизма, — продолжает Р. Б. Пирри, — отождествляет компоненты познания с местом, занимаемым ими в познавательном процессе, и отсюда возникает метафизика, в которой реальность совпадает с историей познания (a metaphysics in which reality coincides with the history of knowledge):

¹ John Dewey, The pragmatism of Peirce (Charles S. Peirce, Chance, Love and Logic. London, 1923, p. 308).

² Джон Дьюи, Психология и педагогика мышления. М., 1919, стр. 4.

³ Ralf Barton Perry, Present philosophical tendencies. London, 1925, p. 155.

вся реальность вещей сводится к тому обстоятельству, что они познаются¹.

Однако Пирри слишком переоценивает «реалистическую версию» прагматизма, ибо последний, отказавшись от своей «субъективистической версии», тем самым отвергнул бы основное свое учение об истинности идеи, как об ее полезности или успешности, т.-е., другими словами, перестал бы быть прагматизмом; между тем, отказ от «реалистической версии» только сделал бы прагматизм вполне последовательным в его идеалистической теории познания.

Самым выпуклым проявлением реалистической тенденции Джона Дьюи — наибольшего реалиста среди крупнейших представителей прагматической философии — является его утверждение, что идеи являются «ответными установками», принятыми по отношению ко вне-идеальным, вне-духовным вещам, — «According to pragmatism ideas... are attitudes of response taken toward extra-ideal, extra-mental things»².

Казалось бы, что подобная точка зрения является признанием объективно, вне человеческого сознания существующей реальности, однако, основная позиция инструментальной теории познания приводит к прямо противоположному выводу. Реальность для Дьюи — не предмет познания, но его результат.

Предполагая, что истинность идеи определяется ее успехом, а вместе с тем, не видя принципиального различия между идеями и фактами, т.-е., другими словами, сводя всю реальность к чувственному опыту, инструментализм, как и всякое другое прагматическое учение, несмотря на жестокую борьбу с традиционным идеализмом, сам оказывается лишь новым течением идеалистической философии, родственным махизму и эмпириокритицизму³.

Таким образом, в основном вопросе теории познания Дьюи занимает позицию, характерную для всей вообще новейшей идеалистической философии.

Уильям Джемс совершенно правильно связывает инструментализм Дьюи с философскими воззрениями Маха, Освальда, Пирсона, Пуанкаре, Дюгема и т. п.

«Несомые на гребне этой научной волны, появляются затем Шиллер и Дьюи со своим прагматическим объяснением того, что повсюду обозначает истина. «Истина», — учат они, — означает в наших мыслях (ideas) и убеждениях то же самое, что она значит в науке. Это слово обозначает только то, что мысли (составляющие сами лишь часть нашего опыта) становятся истинными ровно постольку, поскольку они помогают нам приходить в удовлетворительное отношение к другим частям нашего опыта, суммировать их и резюмировать с помощью логических сокращений вместо того, чтобы следовать за нескончаемой сменой

¹ Ralf Barton Perry, *ibid*, p. 215.

² John Dewey, *The influence of Darwin on philosophy*. N. Y., 1910, p. 155.

³ В этом смысле необходимо понимать и замечание о теории познания Дьюи, сделанное Шиллером: «Prof. Dewey had put absolute idealism in the same box, or rather in the same hole, with realism». F. C. S. Schiller. *Studies in humanism* 2. London, 1912, p. 151.

отдельных явлений. Мысль, которая может, так сказать, вести нас на себе; мысль, которая успешно ведет нас от какой-нибудь одной части опыта к любой другой, которая целесообразно связывает между собой вещи, работает надежно, упрощает, экономизирует труд,—такая мысль истинна ровно постольку, поскольку она все это делает. Она истинна, как орудие логической работы, инструментально. В этом заключается «инструментальная» точка зрения на истину, с таким успехом развиваемая в Чикаго (Дьюи), та точка зрения, что истина наших мыслей обозначает их способность «работать» на нас («work»), с таким блеском возведенная в Оксфорде¹.

Реальные вещи отождествляются Дьюи с чувственным опытом («Things are what they are experienced to be»); в инструментализме, как в зеркале, отражается исторический путь английской эмпирической философии от Бэкона через Локка к Беркли и Юму.

В своем скептицизме Дьюи оказывается столь решительным, что приходит к отказу от самого термина «истина»: «Было бы большим выигрышем для логики и эпистемологии, если бы мы существительное «истина» всегда заменяли прилагательным «истинное», а последнее—наречием «истинно»—(«It would be a great gain for logic and epistemology, if we would always translate the noun «truth» back into the adjective «true» and this back into the adverb «truly»)².

Философия, по мысли Дьюи, должна окончательно отказаться от размышлений о сущности бытия, о его первоисточнике, о высшем благе и о прочих «вечных вопросах»; равным образом, Дьюи склонен исключить из круга плодотворных гипотез веру в бессмертие и понятие бога, как вечного источника нравственных ценностей.

Эта позиция не может, однако, ввести нас в заблуждение относительно действительного реакционного значения инструментальной теории познания, или эпистемологии, как называют теорию познания в Америке.

Несмотря на то, что субъективно Джон Дьюи склонен поддерживать тесный союз между философией и наукой, объективно инструментальная теория знания, отрицая реальную действительность, тем самым делает всякое научное исследование беспредметным, а, сводя истину к успеху гипотетических предположений, впадает в абсолютный релятивизм по отношению к научному знанию³ и косвенным образом открывает широкие возможности для религии. Не следует забывать, что рационалистического прагматиста Дьюи и мистического прагматиста Джемса объединяет общая эпистемологическая платформа, значение которой следующим образом охарактеризовано Лениным: «Вот

¹ У. Джемс, Прагматизм. СПб., 1910, стр. 41.

² John Dewey, The experimental theory of knowledge,—«Mind», 1906 г. XV, № 59, p. 305.

³ Именно в идеалистической сущности теории познания Дьюи следует искать объяснения тому его взгляду, что язык является «орудием орудий»: «Language, being the tool of tools, is the cherishing mother of all significance... only language, or some form of artificial signs serve to register the relationship and make it fruitful in other contexts of particular existence». John Dewey, Experience and nature. Chicago-London, 1926, p. 186—187.

еще пример того, как широко распространенные течения реакционной буржуазной философии на деле используют махизм. Едва ли не «последней модой» самоновейшей американской философии является прагматизм... Прагматизм высмеивает метафизику и материализма и идеализма, превозносит опыт и только опыт, признает единственным критерием практику, ссылается на позитивистское течение вообще, опирается специально на Освальда, Маха, Пирсона, Пуанкаре, Дюгема, на то, что наука не есть «абсолютная копия реальности и... благополучно выводит из всего этого бога в целях практических, только для практики, без всякой метафизики, без всякого выхода за пределы опыта... Различия между махизмом и прагматизмом так же ничтожны и десятистепенны, с точки зрения материализма, как различия между эмпириокритицизмом и эмпириомонизмом. Сравните хотя бы богдановское и прагматистское определение истины: «Истина для прагматиста есть родовое понятие для всяческого рода определенных рабочих ценностей (Working-Values) в опыте»¹.

Известная двойственность, характеризующая эпистемологию Дьюи, сказывается и в других отделах его философии. Применение общих положений прагматической эпистемологии к вопросам общественного развития приводит Джона Дьюи, прежде всего, к отрицанию традиционной идеалистической теории нравственности.

Инструментальному пониманию теории познания соответствует инструментальное истолкование этики: моральные теории,—говорит Джон Дьюи,—находятся в самой тесной связи с человеческой практикой; это инструменты, при помощи которых следует попытаться разрешить реальные, современные проблемы нравственности и способствовать общему благу.

«Мораль связана с актуальностями существования (actualities of existence), а не с идеалами, целями и обязательствами, независимыми от конкретной деятельности. Факты, от которых она зависит, возникают из активных связей одних человеческих существ с другими, как следствие их взаимно влияющих друг на друга активностей в области желания, веры, суждения, удовлетворения и неудовлетворения. В этом смысле поведение, а, следовательно, мораль социальны (In this sense conduct and hence morals are socialist)»².

Философы, — говорит Дьюи, — должны обратить внимание на великие социальные и нравственные дефекты, от которых страдает человечество, и, выяснив причины и настоящую природу этих бедствий, развить ясную идею о лучших социальных возможностях. Вместо того, чтобы бесплодно размышлять о потустороннем мире, философы должны обосновать учение, которое могло бы послужить «методом понимания и исправления специальных общественных болезней»³.

Французский исследователь англо-американского прагматизма, Леру, совершенно справедливо сближает Джона Дьюи с энциклопедистами,

¹ Н. Деннин, Сочинения. Т. X, стр. 289.

² John Dewey, Human Nature and Conduct. N. Y., 1922, p. 329.

³ John Dewey, Reconstruction in Philosophy. London, 1921, p. 124.

подчеркивая его стремление рассматривать разум, как великую освободительную силу, как инструмент общественного прогресса¹.

Действительно, сделав лозунгом инструментальной теории бэковский афоризм «знание—сила», Дьюи в то же время прославляет «великие идеи XVIII века, этой эпохи экспансивного морального творчества», однако, революционный пафос французской просветительной философии совершенно чужд инструментализму.

«Основным мотивом всей философии Дьюи является стремление найти солидный логический базис для прогресса—прогресса в индивидуальной, но еще более—в социальной жизни. Прагматизм—это экспериментальное использование разума для освобождения и либерализирования действия. Растущим изменяющимся миром он интересуется больше, чем неподвижным; мышление—это не удвоение уже законченной реальности, но актуальный метод общественного развития, метод, задача которого освободить нас от неподвижных идеалов обскурантизма, а также и от безудержного требования всего нового, свободного от контроля прошлого. Логика рациональной эволюции (the logic of rational evolution) требует, чтобы, на ряду с постоянной готовностью к изменению ситуации и отсутствием ненужного подчинения старому, новое в то же время закономерным и достойным образом было связано со старым»². Если философия, по мысли Джона Дьюи, призвана выработать методы реорганизации общества, то сама эта реорганизация понимается им ни в коем случае не как социальная революция, но только как психологическая реконструкция; поэтому-то именно научная психология,—думает он,—должна помочь нам правильно *поставить* социальную проблему.

По своим психологическим взглядам Джон Дьюи—бихевиорист; старой психологии, господствовавшей в философии XVIII и XIX вв., он противопоставляет «психологию поведения». «Повсюду, где есть жизнь, имеется поведение (behavior), активность»,—это «поведение» и составляет предмет исследования для научной психологии. В основе наблюдения, памяти, суждения и вообще всех психических процессов Джон Дьюи видит известное «деликатное сочетание привычки и импульса» (a certain delicate combination of habit and impulse).

«Моряк чувствует себя дома на море, охотник—в лесу, художник—в своей студии, человек науки—в своей лаборатории. Эти общие места всеми признаются в конкретной жизни, но их значение затемнено, и их истина отрицается в распространенной общей теории духа. Ибо они обозначают не более и не менее как тот факт, что привычки, образовавшиеся в процессе упражнения биологических наклонностей, суть единственные агенты наблюдения, воспоминания, предусмотрительности и суждения: дух, сознание или душа вообще, которые якобы совершают эти операции, являются мифом»³.

¹ E. Leroux, Le pragmatisme américain et anglais. Paris, 1923, p. 225.

² A. K. Rogers, English and american philosophy since 1800. N.-Y., 1923 p. 391.

³ John Dewey, Human Nature and conduct. N.-Y., 1922, p. 176.

Психическая жизнь в ее конкретности, по мысли Дьюи, может быть понята только как система верований, желаний и намерений, которые образуются путем взаимодействия биологических наклонностей и социального окружения.

По замечанию английского прагматиста Шиллера, инструментализм Дьюи является приложением дарвинизма к психологии; действительно, эволюционная теория оказала громадное влияние не только на психологические воззрения, но и на всю философскую систему Дьюи.

Вместе с тем, следует учесть то обстоятельство, что «прагматический бихевиоризм» Джона Дьюи нужно отличать от «чистого бихевиоризма» Уотсона¹; Дьюи настаивает на наличии в человеческом поведении целевой активности, без которой, по его мнению, психология лишается своего предмета; бихевиоризм же Уотсона он обвиняет в том, что он «подражает манерам физики», т.-е., другими словами, механизмирует психологию.

Разлагая «поведение» человека на привычки (*habit*) и импульсы (*impulse*), а вместе с тем не упуская из виду социальной значимости психологии, Джон Дьюи приходит к выводу, что признание правильной психологической теории помогает только поставить проблему реорганизации общества, но не гарантирует ее разрешения.

Необходимо сказать, что эта попытка Дьюи поставить социальную проблему современности, основываясь на данных психологии, — хотя бы и в том бихевиористическом виде, какой она принимает в инструментальной философии, — заранее обречена на неудачу. Игнорирование материальных предпосылок общественного развития логически привело Джона Дьюи к той же дилемме, к которой пришел и которой не мог разрешить уже французский материализм XVIII века.

С первого взгляда кажется, говорит Дьюи, что всякая попытка разрешить социальную проблему и обеспечить фундаментальную реорганизацию общества попадает в порочный круг, так как направление природной активности зависит от полученных привычек, а приобретенные привычки могут быть видоизменены только путем изменения импульсов. Между тем, существующие учреждения накладывают свой штамп на импульсы и инстинкты, воплощая в себе их прежние изменения. Каким же образом можем мы привести в действие рычаг для того, чтобы изменить учреждения? (*How then can we get leverage for changing institutions?*)

Таким образом, с одной стороны, для изменения привычек, нравов необходимо изменение учреждений; с другой стороны, учреждения отражают в себе предварительные изменения нравов, — таков порочный круг (*a vicious circle*), в который попадает, по собственному его признанию, Джон Дьюи.

Между тем, он ясно видит, что современное общество нуждается в реорганизации; более того, он уверен, что социальная проблема разрешима именно в той ее постановке, которая «с первого взгляда» приводит к противоречию.

¹ Об этом см. М. С. О'тто, *Instrumentalism* — «The Monist», 1926, v. XXXVI, № 4.

В то время как проблема, намеченная американским инструменталистом, теоретически разрешается историческим материализмом, а практически — международным революционным движением пролетариата, — Джон Дьюи, сделав филистерский выпад против «некоторых лиц, которые перед лицом этих трудностей ищут дешевого удовлетворения в мысли о всеобщей гражданской войне (и революции)», думает найти более мирный выход из «порочного круга» и заявляет, что в первую очередь общественная реорганизация должна производиться... путем воспитания юношества.

Как мы видим, в роли общественного реформатора Джон Дьюи более чем скромнен; философ, ставящий проблему фундаментальной реорганизации (*fundamental reorganisation*) общества, приступая к конкретному обсуждению плана действия, превращается в педагога, воздействующего на пластичную детскую психику и в этой воспитательной работе усматривающего главный способ устранения общественных бедствий.

«Успех» подобной идее в капиталистическом обществе обеспечен, и в глазах буржуазии она, несомненно, обладает всеми признаками «истины», но наивно видеть в ней выход из порочного круга современности.

Между тем, независимо от своего социального утопизма, Джон Дьюи, несомненно, должен быть признан одним из вылающих представителей передовой педагогической мысли.

Старой, формальной системе образования он противопоставляет новую, трудовую школу; исходя из общих предпосылок инструментальной философии и бихевиористической психологии, он горячо защищает ту мысль, что педагогическая методика должна всемерно учесть активный характер человеческой психологии вообще и детской психологии в частности.

«Наша современная школа в высшей степени специальна, однобока и узка; обучение в ней проникнуто всецело средневековым пониманием науки; она стремится удовлетворить по большей части лишь интеллектуальным запросам нашей природы, нашему стремлению учиться, накапливать сведения и достигать возможности распоряжаться научными понятиями, но она совершенно не удовлетворяет наших стремлений и склонностей к активной работе, к творчеству, к созиданию, будь это в форме полезностей или в форме предметов искусства»¹.

Именно педагогические работы Джона Дьюи переведены на русский язык; большой преподавательский опыт удачно соединяется в них с искренним стремлением наилучшим образом обосновать теорию трудового воспитания.

Но если педагогическая методика Джона Дьюи, как высокоразвитая техника преподавательской деятельности, несмотря на известную спорность отдельных утверждений, объясняемую общепсихологической, прагматической позицией автора, может оказаться полезной в стране

¹ Джон Дьюи, Школа и общество. М., 1925 г., стр. 23.

победившего пролетариата, то, с другой стороны, его оценка системы народного образования, как главного рычага социальных преобразований, должна быть признана глубоко ошибочной, а, кроме того, в условиях капиталистического общества, крайне вредной для дела революции, как одна из иллюзий утопического реформаторства.

Между тем, аналогично реалистической тенденции в общесоциологических воззрениях Дьюи, в его понимании социального развития также можно установить известное стремление к материалистическому объяснению:

«Производственные отношения играют роль в известной ситуации, поскольку общественные переживания отражают данные фазы экономического развития»¹.

Что же касается взглядов Дьюи на общественную роль народного образования, то при их анализе не следует упускать из виду, что по своим политическим убеждениям он является апологетом буржуазной демократии, которая представляется ему орудием, инструментом для прогрессивного развития общественной жизни.

В этом своем социальном применении инструментализм не отличается особой оригинальностью. В демократии, — говорит Джон Дьюи, — осуществляется индивидуализм, которого лишена аристократия; это — индивидуализм этический, а не количественный, это — индивидуализм свободы, ответственности и инициативы в борьбе за идеал, а не индивидуализм беззакония. Одним словом, демократия считает личность первой и последней реальностью (*democracy means that personality is the first and final reality*).

Главной задачей демократии и школы Дьюи считает затушевывание классовых противоречий современного общества; с этой точки зрения сама инструментальная теория оказывается орудием классовой борьбы в руках американской буржуазии.

«Демократия сделает роковую ошибку, если допустит деление на классы. Разница состояний, существование широких масс неквалифицированных рабочих, распространенное презрение к физическому труду, трудность получить подготовку, чтобы пробиться вперед, — все это ведет к усилению классовых противоречий. С этим злом до известной степени могут бороться государственные деятели и законодатели. Кое-что может сделать разумная филантропия. Но единственным решительным борцом за лучшее является общественная школа. Каждый американец гордится тем, что было сделано в прошлом для того, чтобы спаять воедино разношерстные элементы, чтобы укрепить общие цели и интересы над силами, делящими население на классы. Усложнение жизни, накопление богатств одними, обеднение других делает положение демократии все труднее и труднее. Время, когда простая система школ, где сталкивались все классы, разрешала задачи демократии, отходит в область прошлого. Теперь нужно идти дальше: содержание школьной работы и методы обучения должны

¹ Джон Дьюи и Эвелина Дьюи, Школы будущего. Берлин, 1922 г., стр. 138.

соответствовать и соответствовать положительно и «активно» поставленной цели—развитию демократии»¹.

Демократическая школа, по мысли Дьюи, должна смягчать то «глубокое различие в умственных и моральных навыках, идеалах и взглядах», какое характеризует современное общество, т.-е., другими словами, школа должна быть орудием затемнения классового сознания пролетариата, ибо не может же она изменить классовый характер капиталистического способа производства.

При всей радикальности своих взглядов Джон Дьюи целиком остается в пределах буржуазного понимания демократии и всего процесса развития общества; то же следует сказать и обо всей системе его философии, хотя при этом отнюдь не следует забывать о той его реалистической тенденции, благодаря которой ему остается совершенно чуждым тот мистический туман, какой окутывает философские построения Уильяма Джемса, а также родственных заокеанскому прагматизму мыслителей, вроде Бергсона, Бутру, Леруа.

Весьма знаменательны рассуждения Дьюи о роли и значении социальных противоречий. На ряду с гармонией,—говорит он,—в общественной жизни проявляется дисгармония, столкновение, и задача философии—найти путь к примирению обоих этих элементов. Ссылаясь на Дарвина, он указывает, что после того, как наука нашла место борьбы, конфликта в природе, необходимо установить их место в человеческих потребностях и человеческой мысли.

«Конфликт —это овод мысли (Conflict is the gadfly of thought). Он побуждает нас к наблюдению и запоминанию. Он подстрекает к изобретению. Он выводит нас из состояния малодушной пассивности и способствует предприимчивости. Нельзя сказать, что он всегда приводит к подобным результатам, но, во всяком случае, он является *sine qua non* размышления и изобретательности. В тех случаях, когда бывает отмечена эта возможность использовать конфликт, следует использовать его систематически для того, чтобы заменить посредничеством разума грубое нападение и грубое столкновение. Но тенденция превратить природный закон в норму поведения, заимствованная *quasi*-учеными у рационализма восемнадцатого столетия, приводит к идеализации самого принципа конфликта, как такового. Не учитывается его роль—только содействовать прогрессу путем пробуждения разума, и самого его превращают в источник прогресса»².

Несмотря на всю свою близость к учениям Гегеля и Дарвина, Дьюи резко выступает против диалектического понимания общественного развития и, более того, придавая всей проблеме психологическое истолкование, вульгаризирует ее до *non plus ultra*:

«Люди не могут легко отбросить свои старые привычки и никогда не могут отбросить их всех. Развивая, изучая и приобретая новые идеи.

¹ Джон Дьюи и Эвелина Дьюи, Школы будущего. Берлин, 1922 г., стр. 147.

² John Dewey. Human nature and conduct. N.-Y., 1922, p. 300.

мы вынуждены пользоваться некоторыми старыми, как орудиями понимания и общения (as tools of understanding and communication)»¹.

Социальная проблема сводится Джоном Дьюи к проблеме психологической. Подобно тому, как в своей теории познания он заменяет объективную реальность «чистым опытом» и критерием истины считает успех идеи, точно так же в своей трактовке социальных вопросов он обнаруживает упорное стремление подменить реальные противоречия капиталистического общества «конфликтами», происходящими в человеческой психике, и в воспитании видит наиболее «разумный» инструмент общественного развития.

Отсюда становятся вполне понятными выпады Дьюи против учения Карла Маркса о диалектике общественного развития:

«Карл Маркс заимствовал из диалектики Гегеля идею о необходимости отрицательного элемента, противоположности—для движения вперед. Он распространил ее на область социальных явлений и пришел к выводу, что все социальное развитие происходит благодаря конфликту между классами. Исходя из этого, мнимо научная форма учения о социальной эволюции (a supposedly scientific form of the doctrine of social evolution) проповедует общественную враждебность, как путь к общественной гармонии»².

Итак, марксизм представляется Джону Дьюи quasi-научной теорией, философ-инструменталист противопоставляет социальной революции воспитание, борьбе классов—посредничество разума.

С ужасом взирает Дьюи на обострение классовых противоречий и, упрекая буржуазию в лицемерии за ее слова о мире, во время происходящих столкновений, за ее стремление монополизировать моральные идеалы, он одновременно обвиняет пролетариат в стремлении найти выход из положения путем применения грубой силы³.

Растерявшийся перед лицом великих социальных потрясений философ, сам уже, вероятно, не веря себе, заявляет, что еще остается возможность примирить факты и разум, борьбу и гармонию, т.е., другими словами, избежать социальной революции путем разумного видоизменения общественной среды и привычек⁴.

Довольно плотная кора реализма и радикализма, покрывающая прагматический ствол философии Джона Дьюи, не может скрыть от нашего взгляда идеалистической и реакционной сердцевины его мировоззрения.

Как это ни кажется парадоксальным, но следует признать, что инструментализм, это новейшее течение американской философии, наиболее «революционен» именно в тех своих положениях, где он наиболее тесно примыкает к такому старому учению, как эмпирическая философия Френсиса Бэкона.

¹ John Dewey, *Reconstruction in philosophy*. London, 1921, p. 75.

² John Dewey, *Human nature and conduct*. N.-Y., 1922, p. 300.

³ Ibid., p. 301.

⁴ Ibid., p. 302.

В этом внутреннем противоречии инструментализма отразились реальные противоречия современного капиталистического общества, в котором логика классовой борьбы предопределяет реакционный характер буржуазной идеологии.

Вот почему даже такой «радикальный» мыслитель, как Джон Дьюи, такой «прогрессивной» страны, как С.-А. С. Ш., желая заглянуть в будущее человечества, вынужден обернуться назад и искать поддержки своим мыслям у действительно революционного идеолога своего класса. Но те времена прошли невозвратно, столетия отделяют эпоху первоначального капиталистического накопления от современного империализма.

Идейное наследие материализма Бэкона, как и всей вообще материалистической и диалектической философии некогда революционной буржуазии, в наши дни по праву принадлежит пролетариату и подвергается дальнейшей научной разработке в марксистской теории.

Элементы материализма и диалектики, заключенные в учениях Бэкона, Гегеля, Дарвина, вдохновляющих Джона Дьюи, не могут найти органической составной частью в философию инструментализма, этого своеобразного видоизменения прагматизма—идеологии класса, уходящего с арены истории.

Именно в этом смысле Джон Дьюи и Уильям Джемс, при всем отличии отдельных их взглядов, оказываются столь близкими друг другу по общему духу их прагматической философии.

Михаил Дынин.

ТЕОРИЯ ВАЛЬРАСА¹

7

Своей теории производства Вальрас ставит следующие задачи. При анализе предельной полезности и цен, он совершенно абстрагировался от условий производства. Количество имеющихся благ принимается за определенную фиксированную величину. Решив проблему о соотношении между предельными полезностями и ценами, с одной стороны, и количеством имеющихся благ, с другой стороны, Вальрас считает себя в праве задать новый вопрос: а чем же определяется количество произведенных благ? Тут он вплотную подходит к вопросу об определении количества и ценности производительных благ, к вопросу об издержках производства. Тут он вынужден констатировать, на ряду с существованием закона предельной полезности и вытекающего из него закона спроса и предложения, наличие другого закона — закона издержек производства (*la loi des frais de production*)². Сущность последнего заключается в том, что цены всех свободно воспроизводимых благ равны издержкам производства. Остается увязать этот закон со всей экономической системой. Остается решить вопрос, являются ли издержки производства, в конечном счете, определяемыми или определяющими факторами.

Эту весьма ответственную и, в известном смысле, решающую для всей теории ценности задачу ставит себе теория производства Вальраса. «Остается выяснить», — пишет он³, — стоит ли бутылка вина 5 фр. потому, что уплачено 2 фр. арендной платы, 2 фр. зарплаты и 1 фр. процентов на капитал, или, быть может, скорее, потому-то именно, что эта бутылка вина стоит 5 фр., платят 2 фр. арендной платы, 2 фр. зарплаты и 1 фр. процентов на капитал. Одним словом, остается выяснить, цена ли, как говорят, производительных услуг определяет цену продуктов, или, быть может, скорее, цена продуктов, определяемая, как мы видели, законом спроса и предложения, определяет цену производительных услуг, согласно закону издержек производства

¹ См. Вестн. Комм. Акад., кн. 23.

² *Eléments*, стр. 176.

³ *Eléments*, стр. 176.

или себестоимости». Задача теории, как видим, формулирована в весьма решительных выражениях. Вопрос поставлен ребром¹.

Теория обмена Вальраса построена на предположении, что запас благ, имеющийся в распоряжении отдельных субъектов, является постоянным. При анализе законов образования цен Вальрас совершенно абстрагировался от производственных условий, издержек производства и т. д. Предпосылка о неизменности запаса потребительских благ играет очень существенную роль. Она дает возможность Вальрасу установить связь между величиной предложения данных товаров и размером собственного потребления этих товаров их владельцем. Отсюда положение о зависимости между величиной предложения и потребительной ценностью этих товаров для их владельца. Отсюда вытекает невозможность, при условии существования неизменных цен, увеличения запаса меновых ценностей (поскольку этот запас равен произведению количеств товаров на их цены, оба множителя, в данном случае, являются неизменными). Отсюда вытекает, что внимание всех участников обмена направлено лишь в сторону увеличения общей суммы полезности. Отсюда вытекает, что всякий обмен есть обмен излишками, поскольку исключается возможность расширения количеств данных благ. Теория обмена построена, таким образом, для совершенно гипотетического хозяйства, которое не знает производства. Мы видели, что и для этого гипотетического хозяйства теория Вальраса оказывается неверной. Она предполагает возможность устойчивого равновесия цен в таких условиях, где это равновесие невозможно.

Но Вальрас пытается перенести свою теорию и на область производительного хозяйства. Он пытается доказать, что между принципом спроса и предложения, основанном на теории максимума полезности и определяющим цены в потребительском хозяйстве, с одной стороны, и принципом издержек производства, определяющим цены в производительном хозяйстве, с другой стороны, нет никакого противоречия. Оба принципа, по мнению Вальраса, находятся между собой в трогательном единогласии. Доказать это единство обоих принципов составляет одну из важнейших задач теории производства Вальраса (*théorie de la production*). Постановка этой задачи сразу вызывает целый ряд вопросов. Ведь теория обмена построена на предпосылке неизменности запасов потребительских благ. Между тем, сам факт наличия производства приводит к отрицанию этой предпосылки. Величина запаса благ становится переменной величиной. В связи с этим разрывается связь между величиной предложения и размером собственного потребления. При неизменной величине последнего предложение данных товаров может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от рыночной конъюнктуры. Далее, производство.

¹ Термин «издержки производства» является переводом французского *coût de production*. Вальрас в этот термин вкладывал другое содержание, чем Маркс. Под издержками он понимает не только затраты капиталиста, но и среднюю прибыль плюс рента.

развиваясь, может превратиться в товарное; на рынок начинают поступать не излишки, а вся данная товарная продукция. Методы оценки товаров радикально меняются. Основной стимул заключается в увеличении количества меновых ценностей, в накоплении. Спрос перестает влиять на средний уровень цен. Обстановка, таким образом, радикально меняется. Величина предложения становится неопределенной. Поэтому, если бы даже теория обмена Вальраса могла быть признана верной для гипотетического случая чисто потребительского хозяйства, то является вопрос, как ее можно приспособить к производственному хозяйству. Есть ли связь между обоими принципами (спроса-предложения и издержек производства) чисто механическая связь, т.-е. ограничился ли Вальрас признанием сосуществования этих принципов, имеющих различную природу, или же эта связь имеет более глубокий, так сказать, органический характер? Учил ли Вальрас изменившуюся обстановку или нет? Есть ли какая-нибудь логическая зависимость между теорией обмена и теорией производства или нет? Можно ли оправдать применение методологического приема Вальраса, выражающегося в том, что он начал с анализа потребительского хозяйства?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно познакомиться с теорией производства Вальраса. Предварительно сделаем следующее замечание. Если сопоставить теорию производства Вальраса с теорией Госсена и Джеворна, то мы должны будем констатировать следующее различие. Госсен и Джеворн оперируют лишь с трудовыми затратами (в их субъективном выражении); они имеют дело с простейшим изолированным хозяйством. Вальрас же пытается установить связь между ценами и издержками производства, т.-е. он берет для исследования более сложный случай. Сам Вальрас подчеркнул это различие между своим учением и учением своих предшественников в своей статье о Госсене¹. «Таково положение вещей (т.-е. так, как его рисуют Госсен и Джеворнс. II. В.) для Робинзона на его острове; возможно такое положение вещей в изолированном или примитивном государстве; не таково оно, я бы не сказал в нашем общественно-экономическом строе, но в абстрактном и идеальном общественно-экономическом строе, теорию которого дает политическая экономия. В этом строе не всегда в нашем обладании находятся труд, земля и капитал, и никогда в нашем обладании нет всех видов труда, земли и капитала, необходимых для снабжения нас различными продуктами, в которых мы нуждаемся. Как же мы поступаем? Мы продаем за плату свой труд или услуги своей земли, мы продаем свою прибыль или услуги своего капитала за проценты, и за таким образом полученные зарплату, арендную плату и проценты мы покупаем продукты».

Эта новая особенность учения Вальраса дополняет его характеристику. Вальрас, как мы выше установили, является представителем переходного течения. С одной стороны, у него весьма сильно выражен психологический элемент, но, с другой стороны, он является

¹ «Un économiste inconnu», в «Journal des économistes», avr., 1885 г., стр. 77.

ярким выразителем частно-хозяйственного подхода к экономическим явлениям. Во всяком случае, влияние товарно-капиталистического хозяйства сильнее сказалось на его учении, чем на системе Госсена и Джевонса. Учение Вальраса менее последовательно, с точки зрения субъективизма, чем учение его предшественников. Это выразилось в том, что у него каузальный анализ часто переплетается с функциональным, что он учитывает возможность расхождения между спросом и предложением, в отличие от Джевонса; что он оперирует не только с изолированным обменом, но и с более сложными формами последнего; что он начинает свой анализ с выяснения вопросов спроса и предложения, а не с изучения потребностей; что он оперирует не с трудовыми затратами, а с издержками производства. Поэтому проблема распределения занимает у него более значительное место, чем у Госсена и Джевонса.

Вальрас предварительно дает определение понятий капитала и дохода (*revenu*). Эти определения чрезвычайно характерны. Под капиталом он понимает ¹ «все долговременное, всякий вид общественного богатства, не потребляющийся вовсе или потребляющийся лишь с течением времени, всякую количественно ограниченную полезность, продолжающую существовать после первого использования ее, служащую, короче, не один раз: дом, мебель». Под доходом *revenu* он понимает «все потребляемое единовременно, всякий редкий предмет, исчезающий после первого использования его, короче, служащий лишь один раз: хлеб, мясо».

Необходимо отметить, что определение капитала Вальраса и его классификация капиталов заимствована у Авг. Вальраса (отца). Последний ² дает следующее определение капитала: «Блага, обладающие неопределенной долговечностью и не потребляемые и обладающие большей или меньшей долговечностью, потребляемые лишь в течение известного промежутка времени, оказали нам неоднократно своюственную им услугу. Эти два вида благ составляют то, что называют капиталами. Наоборот, блага, потребляемые немедленно, не обладающие никакой долговечностью в отношении их полезности, образуют то, что называется доходами».

Итак, характернейшая особенность капитала заключается в продолжительности потребления. Капитал представляет собою благо, которое, по своей природе, может потребляться не в течение одного акта, а в течение целого ряда актов. Поэтому его полезность представляет совокупность всех полезностей, которые будут получаться в течение отдельных актов потребления. Капитал является как бы аккумулятором полезности ³.

¹ *Éléments*, стр. 177.

² «*De la nature de la richesse et de l'origine de la valeur*», стр. 40.

³ Из современных экономистов такую классификацию проводит Антонелли см. статью «*L'économie pure du système économique présent*», «*Revue d'économie politique*», 41 année, Sept., Oct., 1927).

С этой точки зрения вопрос об источниках доходов чрезвычайно упрощается. Капитал, в силу определения Вальраса, представляет собою комплекс целого ряда полезностей, получаемых от каждого отдельного потребительского акта. Эти элементарные, если можно так выразиться, полезности будут соответствовать *revenus*, или, как их называет в данном случае Вальрас, *services* (т.-е. когда *revenu* является не самостоятельным благом, а продуктом капитала). Доход есть отщепившаяся часть капитала. Капитал есть сумма, вернее, последовательность отдельных доходов, или *services* (буквально услуг). Соотношение между капиталом и доходом упрощено до виртуозности. По существу, никакой проблемы даже нет. Все дело сводится к нескольким немногосложным арифметическим операциям.

«Капиталы,—пишет Вальрас¹,—согласно нашему определению, продолжают существовать после первого пользования ими; следовательно, ими пользуются последовательно много раз; последовательность этих употреблений есть, очевидно, последовательность получения доходов. Почва ежегодно производит урожай; дом защищает нас от перемен погоды как зимой, так и летом. Это плодородие почвы, эта защита, оказываемая домом, составляют ежегодные доходы. Рабочий ежедневно работает в мастерской; адвокат, врач ежедневно дают консультации; эта работа, эти консультации суть ежедневные доходы этих трудящихся. То же самое относится к доходам от машин, инструментов, орудий, мебели и одежды».

С этой точки зрения становятся понятными те иллюстрации образования прибыли, которые дает Парето, всецело стоящий по данному вопросу на точке зрения своего учителя, Вальраса. «Пара кроликов—это капитал,—пишет он²,—и он производит маленьких кроликов. Вишневое дерево дает вишни».

Процесс образования прибыли сравнивается с естественным процессом размножения. В этом нет ничего парадоксального, поскольку капитал определяется сторонниками так называемой Лозаннской школы (т.-е. Вальрасом и Парето), как вещь, выделяющаяся своими физическими свойствами, заключающимися в том, что она способна давать ряд отдельных удовлетворений³.

Конечно, всякое определение условно. И можно было бы не спорить против определения Вальраса, если бы он все время оставался на почве потребительских благ, если бы слово «капитал» применялось все время в этом определенном смысле. Но Вальрас, к сожалению, не остается строго последовательным. Со смелостью опытного гимнаста он совершает стремительное *salto mortale* из царства индивидуального потребления в область сложнейших вопросов современного капиталистического производства. На ряду с обычными *services*,

¹ *Éléments*, стр. 178.

² «*Cours d'économie politique*», стр. 425.

³ Любопытно отметить, что имеются попытки доказать родство Маркса и Вальраса. Так, Bousquet пишет («*Observations sur l'intérêt du capital*» в «*Revue d'économie politique*», 1927, № 4, стр. 1093), что объяснение процента, данное Вальрасом, есть по существу то же, что и... у Маркса.

которые являются, как мы видели, просто подгруппой потребительских благ, он выделяет 3 основных, играющих важнейшую роль в процессе производства. Это—«зарплата, рента, прибыль». Таким образом, ничтоже не сумняшеся, Вальрас в категорию своих доходов включает и основные доходы капиталистического общества. Специфический социально-исторический характер последних, благодаря этому смелому маневру, испаряется. Остается лишь голая форма явлений, лишенная всякого содержания. Вальрас здесь строго последователен.

Из практики изолированного потребителя он выводит несколько принципов, с помощью которых он пытается объяснить все явления современного капиталистического хозяйства. Конечно, эта экспансия экономических принципов Робинзона возможна лишь за счет уничтожения всех важнейших специфических особенностей современного капитализма.

Но Вальрас идет дальше в своем неудержимом беге к обобщениям. Он стирает не только грань между капиталистическими доходами и теми *revenus*, которые являются продуктом пользования некоторых потребительских благ; он фактически стирает грани между отдельными видами доходов в капиталистическом обществе. Он идет дальше теоретиков «триединой формулы», столь зло и остроумно высмеянной Марксом в 48 главе III тома «Капитала». Заработная плата, прибыль и рента проистекают не из 3 совершенно различных источников. Нет, тройному делению доходов соответствует тройное деление капиталов. Поэтому всякий доход можно рассматривать, как продукт какого-нибудь капитала; например, рента проистекает от земельного капитала, заработная плата—от личного капитала, прибыль—от капитала в собственном смысле или движимого капитала (*capitaux mobiliers*). Между отдельными видами капиталистических доходов устанавливается, таким образом, трогательное единство, все они являются детьми одного и того же отца—капитала. Несмотря на отдельные различия между этими капиталами, все они, в конечном счете, могут быть сведены к единству и, что всего важнее, уложены в одну формулу.

Трехчленная классификация капиталов, установленная еще отцом Вальраса—Августом Вальрасом—в его книге «*Théorie de la richesse sociale*» (1849) и поддержанная вполне Парето, стоит, чтобы на ней немного остановиться. Как указывалось выше, эта теория выделяет 3 группы капиталов: земельных, личных и движимых. Наибольший интерес, конечно, представляют первые 2 группы.

К первой группе Вальрас относит всевозможные земли, как получившие производительное применение (например, в сельском хозяйстве или в промышленности), так и не получившие такового. «К первой категории,—пишет он¹,—мы относим земли, на которых разбиты парки и служащие для развлечения сады—как частные, так и общественные; земли, производящие деревья и всякого рода растения: фрукты, овощи, злаки, кормовые травы, идущие в пищу людям

¹ *Éléments*, стр. 179—180.

и животным; земли под жилыми домами или общественными зданиями, под строениями предприятий, фабриками, мастерскими или магазинами; земли, служащие путями сообщения: улицы, дороги, площади, каналы, железные дороги. Все эти земли определенно являются капиталами». Вальрас является, таким образом, сторонником того мнения, которое получило очень большое распространение в работах различных представителей американской школы, что земля может быть также причислена к категории капитала. Это положение основано на игнорировании тех специфических особенностей, которые представляет земля. Вальрас, правда, отмечает, что земельные капиталы отличаются 2 особенностями: «Земли суть капиталы естественные, а не искусственные или сфабрикованные; они—также капиталы не потребленные, не уничтожающиеся от употребления и не гибнущие от случайности». Благодаря этим двум особенностям, количество земель остается постоянным, если отвлечься от возможности обработки земель, которые прежде были недоступны для таковой. Вальрас ограничивается указанием этого отличия. Для него, конечно, остаются книгой за 7 печатями те трансформации социальных отношений, которые образуются благодаря наличию такого фактора, как земля. Последняя в известной степени (если, повторяем, отвлечься от улучшения самой земли) является монопольным благом. Она не может быть произведена и воспроизведена.

Ограниченность земли вообще и хороших земель в частности, наличие земельной монополии оказывают определенное влияние на процесс ценообразования в земледелии. Ценность хлеба регулируется не средними трудовыми затратами, а затратами на наихудших участках. Рыночные цены тяготеют не к цене производства, а к ценности. В связи с модификацией закона ценности возникают дополнительные источники дохода в виде дифференциальной и абсолютной ренты. Эта модификация вытекает из наличия монополистических элементов в земледелии².

Любопытно сопоставить теорию ренты Вальраса с теорией Бастиа. Для того и другого нет принципиального различия между рентой и прибылью, на капитал. Эта одинаковая точка зрения вытекает из диаметрально противоположных источников. Вальрас, как увидим ниже, принимает запас производительных благ (следовательно, капитал и услуг, по его терминологии) за величину постоянную. Он, следовательно, абстрагируется (по крайней мере в пределах теории производства) от возможности увеличения количества капиталов. Иными словами, он всякий капитал рассматривает, как монопольное

¹ *Éléments*, стр. 182.

² Необходимо отметить, что теории земельной ренты вообще не посчастливилось у экономистов субъективной школы. Нам известны лишь две монографии, освещающие вопрос с субъективной точки зрения: а) Schullern—Schratzenhofen «*Untersuchungen über Begriff und Wesen der Grundrente*», Leipzig, 1889, и б) критическая работа Edith Lehmann «*Die Grundrentlehre der wichtigsten österreichischen Grenznutzentheoretiker*», 1917 (автор критикует австрийцев на основе теории Опенгеймера).

благо. Отсюда вытекает тот вывод, что принципиального различия между «земельными капиталами» и «движимыми капиталами» нет, ибо те и другие невоспроизводимы. Цена капиталов и услуг поэтому определяется на общих основаниях.

Бастия не видит различия между рентой и прибылью потому, что предполагает наличие огромного количества свободной земли. Героем теории Бастия является брат Ионатан, отправляющийся для проверки теории ренты Рикардо в Америку, в штат Арканзас, где он «находит прекрасную землю, которую государство продает в любом количестве по цене 1 доллар за акр¹». В этом случае, где спрос на хлеб может быть удовлетворен при помощи производства на любом участке, цена земледельческих продуктов ничем не отличается от цен индустриальных товаров и не дает возможности для получения ренты. При этих условиях цена земли равна не капитализированной ренте, а определяется трудовыми затратами, необходимыми для приведения первобытной почвы в современное состояние, или тем, что Маркс называет «землей-капиталом»².

Наибольший интерес представляет 2 член этой классификации—личные капиталы. В эту группу, как ни странно, входят все люди, без различия пола, возраста, национальности, профессии. Сюда входят как трудящиеся, так и бездельники. Послушаем по этому поводу Вальраса. Он пишет³: «Ко второй категории мы относим людей ничем не занимающихся, кроме путешествий и собственных развлечений; также находящихся в услужении у других людей: кучеров, поваров, лакеев, горничных; чиновников, находящихся на службе у государства, как-то: администраторов, судей, военных; рабочих и работников, занятых в земледелии, промышленности и торговле; людей, занимающихся свободными профессиями: адвокатов, врачей, артистов. Бездельник, фланирующий сегодня, будет фланировать завтра; кузнец, окончивший свой трудовой день, проведет еще много ему подобных; адвокат, покидающий суд, вернется еще туда неоднократно, чтобы попрежнему вести защиту. Итак, люди целиком продолжают свое существование после первой услуги, которую они оказывают, и ряд оказываемых ими услуг составляет их доход. Удовольствие, вкушенное бездельником, работа, произведенная мастеровым, речь, произнесенная адвокатом,—суть доходы этих лиц».

Парето делает попытку определить среднюю ценность единицы персонального капитала, т.-е. среднего человека. В § 253 его курса политической экономики (этот параграф носит весьма характерное название—«*Coût de production de l'homme*») он, ссылаясь на вычисления известного немецкого статистика Энгеля и принимая среднюю цену одного эмигранта из Германии в 3162¹/₂ марок для 1891 г., определяет, что Германия, благодаря эмиграции, потеряла с 1881 по 1890 г. сумму, равную 4.260 млн. франков.

¹ «*Harmonies économiques*», стр. 264.

² В 37 главе III тома «Капитала».

³ *Éléments*, стр. 180.

Такое же вычисление Парето производит и по отношению к Италии. Уменьшив цифру Энгеля на 10%, он определил, что потеря Италии от эмиграции за 7 лет, с 1887 по 1893 г., равна 3.340 млн. фр., или 477 млн. в год.

Для Парето не существует никакого различия между производством вещей и размножением населения или, как он предпочитает выражаться, производством людей. Оба вида производства подчиняются одним и тем же законам. Основные руководящие принципы и здесь и там — аналогичны. Резюмируя все содержание главы, посвященной анализу персональных капиталов¹, Парето дает следующее замечательное положение, весьма характерное для его мирозерцания: «Вопреки всем метафизическим теориям, которые можно построить по этому поводу, несомненно, что максимум полезности достигается лишь при условии пропорционального приноравливания человеческого производства к потребностям личных капиталов; точно так же как максимум этот достигается лишь при пропорциональном приноравливании количеств паровозов, швейных машин, быков, лошадей и т. д. к полезности, которой эти капиталы обладают для общества».

Вальрас и Парето не боятся сделать решительных выводов из этого исходного положения о личном капитале². Считая, что цена всякого капитала может быть определена на основании капитализации дохода, приносимого этим капиталом, и полагая, с другой стороны, что по мере технического прогресса норма процента будет понижаться, между тем как заработная плата остается неизменной, Вальрас приходит к выводу о тенденции к повышению цены личных капиталов³: «В прогрессирующем обществе при, строго говоря, неизменной цене капитала цена личных способностей повышается вследствие понижения нормы прибыли, а цена земли повышается вследствие одновременного понижения нормы прибыли и повышения арендной платы».

Теория о существовании персонального капитала весьма характерна для представителей математической школы. В своей погоне за максимальными обобщениями они не остановились перед тем, чтобы загнать в группу капитала такую категорию, которая не может быть продана и отчуждена и вообще не может быть объектом частной собственности. Сам Вальрас установил, что экономическое благо отличается тремя особенностями: а) они могут быть объектом присвоения, б) они оцениваются и обмениваются и в) они могут быть произведены или увеличены в своем количестве⁴. В обществе, не принадлежащем к типу рабовладельческого или крепостного, человек не является товаром. Поэтому человек не является меновой ценностью. Поэтому невозможно

¹ В «Cours d'économie politique», § 268.

² Ив. Фишер («The nature of capital and income», стр. 5. Примеч. 2) приводит следующий список экономистов, включающих человека в состав богатства: Давенианта, Петти, Канара, Сэя, Мак Куллоха, Рошера, Витштейна, Вальраса, Энгеля, Вейсса, Диргуна, Оффнера, Никольсона и Парето.

³ *Éléments*, стр. 393.

⁴ *Éléments*, стр. 23—24.

сопоставление людей с тем, что Вальрас называет движимым капиталом, и с землей, поскольку последняя может быть отчуждаема и имеет цену.

Убийственную критику теория личных капиталов нашла себе у Маркса, хотя последний не был знаком с наиболее последовательными формами этой теории¹. «Заработная плата рассматривается здесь, как процент, а, следовательно, рабочая сила—как капитал, приносящий эти проценты. Если, например, годовая заработная плата—=50 ф. стерл., а размер процента 5%, то годовая рабочая сила считается равной капиталу в 1000 фунт. Нелепость капиталистического способа представления достигает здесь своего апогея: вместо того, чтобы возрастание стоимости капитала объяснять эксплуатацией рабочей силы, производительность рабочей силы объясняется, наоборот, тем, что сама эта рабочая сила—мистическая вещь, капитал, приносящий проценты». «К сожалению, имеются два неприятные обстоятельства, нарушающие это бессмысленное представление: во-первых, рабочий должен работать, чтобы получить свои проценты, и, во-вторых, он не может обратить звонкую монету в капитальную стоимость своей рабочей силы путем ее передачи другому. В действительности годовая стоимость его рабочей силы равна его средней годовой заработной плате, и своим трудом он должен возместить для покупателя его рабочей силы именно эту стоимость плюс прибавочная стоимость, результат ее возрастания. При системе рабства рабочий представляет сам капитальную стоимость, имеет покупную цену. И если его берут в наем, то наниматель должен, во-первых, уплатить процент на его покупную цену и, кроме того, возместить ежегодное снашивание капитала».

Теория личных капиталов представляет интерес с другой стороны. Отождествление человека и вещи исходит в данном случае от представителей субъективной школы. Последняя, как известно, кладет в основу анализа субъективные оценки. Субъекту приписывается решающая роль в определении всех экономических категорий. Субъект является демиургом всех экономических понятий. Все пути экономической школы ведут в Рим, к конечной пристани—к мотивам отдельных индивидуумов, к их сознанию. И в то же время носители этих субъективных оценок ставятся на одну доску с вещами. И в то же время человек включается в одну категорию с землей.

Во всяком случае, теория личных капиталов, с точки зрения последовательного субъективизма, должна быть признана непоследовательной. На это обратили внимание некоторые буржуазные критики². Леоне совершенно справедливо замечает по этому поводу, что такая постановка вопроса возможна лишь в случае признания решающими

¹ «Капитал», т. III², стр. 3--4.

² Например, Леоне в статье, посвященной Вальрасу: «L. Walras und die hedonistische mathematische Schule von Lausanne» в «Archiv für Sozialwissenschaft und Soz. Politik», Band XXII и Борткевич о Парето в статье «Die Grenznutztheorie als Grundlage einer ultra liberalen Wirtschaftspolitik», в «Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft», 22 Band.

оценок предпринимателей, противопоставленных всем остальным субъектам общества. Поэтому можно было говорить не просто о субъективной школе, а о «предпринимательски-субъективной школе». Конечно, последний термин меньше всего способен укрепить позиции субъективистов. Ибо предприниматель является наиболее типичным представителем товарно-капиталистического общества. В его психологии днем со свечой не отыщешь всех этих предельных полезностей, конструированных для Робинзона. Его оценки определяются исключительно существующими рыночными ценами.

Необходимо отметить, что эта непоследовательность Лозаннской школы не является случайной,—она в более слабой форме встречается у других представителей психологической школы. При изложении теории производительных благ Госсена и австрийцев мы обратили внимание на ту особенность, что человеческий труд ставится рядом с всевозможными производственными благами, например, сырьем, землей и т. д. По этому поводу Штольцманн совершенно верно отмечает¹: «Из этих положений (имеются в виду положения Бема о труде, который рассматривается, как одно из комплементарных благ) становится особенно ясно, как мало в общем «субъективная» теория предельной полезности заботится о субъективном моменте издержек, т.-е. о людях, которые стоят за факторами производства. Совершенно забывается, что производят не только для людей, но и люди. В картине «рассасывания» благ народного хозяйства, которую нам вместо этого подбрасывает Бем, производители являются как бы тенями, они суть лишь послушные «исполнители» и «посредники» субъективной оценки, исходящей от спрашивающих потребителей».

Примат потребительской точки зрения мешает патентованным защитникам психологического направления в политической экономии понять психологию производителя (какого угодно производителя, не только товарпроизводителя). Для них производитель всегда приспособляется к потребителю. Вопросы о количестве затраченного труда являются посторонними вопросами для него; они находятся вне сферы его сознания. Единственную и то крайне неудачную попытку ввести этот фактор в систему мотивов, определяющих человеческую деятельность, сделали Госсен и Жевонс. Благодаря полному игнорированию психологии производителя, благодаря тому, что психологическая школа ограничилась лишь изучением потребительской психологии, для нее человек, производящий те или иные полезности (а не потребляющий их), не является субъектом; он равноценен всем объектам. Непоследовательность в теории личных капиталов, с точки зрения субъективизма есть результат ограниченного и узкого применения субъективного метода.

Теория личных капиталов представляет интерес еще с одной стороны. Она является чрезвычайно яркой попыткой маскировки классовых противоречий. Предоставим по этому поводу слово Бем-Баверку, которого меньше всего можно заподозрить в желании обострить

¹ Der Zweck in der Volkswirtschaft», стр. 710.

классовые противоречия в теории. Он пишет ¹: «У нас очень охотно сглаживают неудобные противоречия и затушевывают наболевшие вопросы. Как же можно было упустить столь ценную возможность, которую представлял новый смысл слова «капитал»? До сих пор считалось, что между капиталом и трудом царят дисгармония, контрасты, конфликты. Ничего подобного. Одно единственное удачное слово сглаживает все контрасты, то, что считалось противоречивым, становится однородным, труд ведь сам является капиталом, зарплата и процент на капитал, по существу, одно и то же. Она (эта теория) вымышлена для того, чтобы помочь несчастным и всех утешить. Она держится на утешающей середине между железным законом зарплат, безнадежно обрекающим рабочего на голую нужду, и социалистическими теориями, признающими все за рабочими и ничего за имущими классами, она оставляет за собственниками вещественного капитала их жестоко оспариваемую ренту, они должны лишь делиться ею с владельцами личных капиталов. В устах этого учения приобщение рабочих к капиталу становится волшебной формулой, источающей золотые плоды утешения и человеколюбия. Жаль лишь, что она всего только голая формула, словесное упражнение без внутренней истины».

Теория распределения Вальраса может быть сведена к нескольким элементарным положениям. Во-первых, Вальрас является сторонником теории производительности. Капитал производит прибыль, земля — ренту. Как это имеет место у большинства представителей теории производительности, способность капитала производить новую ценность Вальрас считает столь очевидной, что он не приводит никаких доказательств в пользу этого положения. Теория нашего автора основана на грубом смешении материальных и ценностных моментов. Раз средства производства принимают участие в материальном процессе производства, то, следовательно, они принимают участие в производстве новой ценности (сверх той, которую они переносят на продукт). Во-вторых, Вальрас является сторонником монистической формулы распределения. Все основные категории распределения — заработная плата, прибыль и рента — подчиняются аналогичным законам и получают одинаковое объяснение. Это положение основано на полном игнорировании социально-экономических особенностей наемного труда, капитала и землевладения. Труд, капитал и земля выступают, как три равноправных фактора производства, отличающихся друг от друга только в материально-техническом отношении. В-третьих, Вальрас отрицает существование предпринимательской прибыли в условиях равновесия хозяйственной системы. Иными словами, класс активных капиталистов теряет свою экономическую базу (поскольку он лишается определенного дохода). Из капиталистической системы выпадает ее важнейшее звено — руководящий класс капиталистов. Предприниматель приравнивается простому товаропроизводителю. Этим самым стирается важнейшая грань между простым товарным и капи-

¹ Kapital u. Kapitalzins», 2 Abt, 1889, стр. 59.

талистическим производством. Эта тенденция вообще свойственна буржуазной теоретической экономии.

Маркс очень метко характеризовал один из важнейших пороков теории А. Смита в следующих словах¹: «А. Смит отождествляет товарное производство вообще с капиталистическим товарным производством. Средства производства—с самого начала—являются «капиталом»; труд—с самого начала—«наемным трудом», и поэтому «число полезных и производительных рабочих всюду пропорционально величине капитала, который употребляется на то, чтобы дать им работу». Поэтому анализ товарной стоимости непосредственно совпадает с выяснением того, насколько эта стоимость составляет, с одной стороны, эквивалент затраченного капитала и насколько, с другой стороны, образует «свободную» стоимость, не возмещающую какой-либо авансированной капитальной стоимости, т.-е. образует прибавочную стоимость». Всякая стоимость—по А. Смиту—разлагается на 3 составных части: заработную плату, ренту и прибыль. Это деление, по его мнению, можно распространить и на продукты отдельных независимых товаропроизводителей, напр., на продукты садовника, который в своем лице совмещает земельного собственника, капиталиста и рабочего.

Эта ошибка, в менее грубой форме, красной нитью проходит через всю экономическую систему Рикардо. Основной порок его теории, как указал Маркс во 2-м томе «Теорий прибавочной ценности», заключается в смешении понятий ценности и цен производства. С одной стороны, ценность определяется количеством затраченного труда, с другой, Рикардо в IV и V отделах I главы «Начал политической экономии» рассматривает вопрос о влиянии периода оборота и зарплаты на величину ценности.

Теория производства Вальраса является в этом отношении антиподом теории Маркса. Она не только стирает все грани между простыми товарно-производственными отношениями и капиталистическими,—она доводит это нивелирование до крайнего пункта, она устраняет самой возможность эксплуатации. У Вальраса все дело сводится к обмену между различными владельцами капиталов и предпринимателей. Рабочие, капиталисты и землевладельцы выступают просто, как продавцы известных товаров. Различие между этими товарами только количественно, а не качественно отличается от различия между продуктами текстильной и металлической промышленности. Каждый из этих продавцов получает нормальную рыночную цену, ничем принципиально не отличающуюся от цены продуктов. Социальному развитию между отдельными капиталистами (вспомним, что и рабочие, по Вальрасу,—капиталисты) нет места. Есть лишь различие вещественной природы и потребительной ценности отдельных услуг, т.-е. то различие, которое существует и в простом товарном хозяйстве. Все типические для капиталистического общества производственные отношения куда-то исчезли, испарились. Всякая зависимость отдельных товаропроизводителей аннулирована.

¹ «Капитал», том II, стр. 363.

Основной фронт капиталистического общества—фронт борьбы наемного труда с капиталом—отсутствует. В теории Вальраса капитал не встречается с рабочим, не вступает с ним ни в какие производственные отношения. Они изолированы друг от друга. Они встречаются лишь, как два конкурирующих продавца различных товаров. Роль изолятора в системе Вальраса играет предприниматель. Все капиталисты, без различия вещественной формы своих капиталов, противостоят предпринимателю. У рабочих и капиталистов имеется единый фронт. Но этот антагонизм интересов капиталистов и предпринимателей есть обычный антагонизм интересов покупателя и продавца. Этот антагонизм лежит в основе всякой рыночной конкуренции. Этот антагонизм ничего принципиально нового не представляет собою.

Разграничению понятий предпринимателя и капиталиста придается очень важное значение также в американской школе. По существу основные идеи Кларка о предпринимательской прибыли и о различных доходах капиталистических классов сходятся с идеями Вальраса. Благодаря этому разграничению, которое кладется в основу анализа, отпадает экономическая основа предпринимательской прибыли, ибо предприниматель рассматривается не как член класса капиталистов, получающий свою долю из общего пирога, а как лицо, стоящее рядом с капиталистом, имеющее свою экономическую базу, свой отдельный источник доходов. Изгнанные из всех 3 классов капиталистов Вальраса (а этим 3 классам принадлежат владельцы всех производственных факторов), предприниматели, естественно, лишаются всякой экономической базы, и предпринимательская прибыль имеет тенденцию стремительного приближения к нулю. Изгнанные из экономической системы, противоречия капиталистического хозяйства контрабандой проходят в эту систему и воплощаются в противоречивой и экономически нелепой фигуре предпринимателя. Последний, с одной стороны, держит в своих руках руль капиталистического производства, он дает тон всей хозяйственной жизни, он занимает командные, руководящие посты,— и в то же время он оказывается наиболее обиженной фигурой капиталистического хозяйства. Какие экономические мотивы заставляют предпринимателей Вальраса брать на себя столь ответственные задачи, совершенно не понятно. Остается предположить, что они это делают из любви к человечеству или из любви к искусству. В том и другом случае Вальрас искажает психологию предпринимателя. В том и другом случае у него имеется разительное противоречие—люди, дающие тон всей хозяйственной жизни, поступают вопреки основному экономическому принципу.

Благодаря ампутации предпринимательской прибыли, прибыль сводится к проценту на капитал, а капитал, приносящий прибыль, тем самым превращается в капитал, приносящий проценты. Несчастная фигура предпринимателя оказывает Вальрасу двойную услугу: с одной стороны, она изолирует капиталиста от рабочего и тем освобождает Вальраса от труда объяснения основных классовых противоречий; с другой стороны, она дает ему возможность процент рассматривать,

как непосредственный плод капитала в собственном смысле (того, что Вальрас называет движимым капиталом).

Тенденция Вальраса подменить капиталистические производственные отношения отношениями товаропроизводителей объясняет другую тенденцию нашего экономиста — представить всякий капитал в виде ссудного капитала и всякого капиталиста — в виде денежного капиталиста. Вальрас рассматривает капиталиста, как продавца определенного товара, на ряду с рабочими и землевладельцами. Капиталист устраняется нашим экономистом от управления производством. Капиталист, по теории Вальраса, выступает лишь на рынке. Специфические функции капиталиста (в собственном смысле этого слова, в отличие от земельных и «рабочих» капиталистов) в народном хозяйстве определяются специфическими особенностями того товара, который он продает. Отсюда один шаг к тому, чтобы всякий капитал рассматривать, как ссудный или денежный капитал, ибо только в этой последней форме капитал, как таковой, становится товаром. «Помимо¹ потребительной стоимости, которой они обладают в качестве денег, они (деньги. И. Б.) приобретают добавочную потребительную стоимость, именно ту, что они функционируют, как капитал. Их потребительная стоимость состоит здесь как раз в той прибыли, которую они производят, будучи превращены в капитал. Благодаря этому своему свойству возможного капитала, средства для производства прибыли, деньги, становятся товаром, но товаром *sui generis*, или, что сводится к тому же, капитал, как таковой, становится «товаром». В отличие от ссудного капитала, «в акте обращения товарный капитал функционирует лишь как товар, а не капитал²». «В действительном движении капитал существует, как капитал не в процессе обращения, а лишь в процессе производства, в процессе эксплуатации рабочей силы. Но иначе обстоит дело с капиталом, приносящим проценты, и как раз в этом-то и заключается его специфический характер. Владелец денег, желающий использовать свои деньги как капитал, приносящий проценты, отчуждает их третьему лицу, бросает их в обращение, делает их товаром как капитал, — как капитал не только для себя, но и для других; это не только капитал для того, кто отчуждает деньги, но и третьему лицу они передаются как капитал, как стоимость, обладающая той потребительной стоимостью, что она создает прибавочную стоимость, прибыль; как стоимость, которая в движении сохраняется и после своего функционирования возвращается к первоначально израсходовавшему их лицу, в данном случае, к владельцу денег»³. Признавши ссудный капитал единственной формой капитала, Вальрас неизбежно должен был притти к отождествлению прибыли и процента, т.-е. к отрицанию второй составной части прибыли — предпринимательской прибыли.

¹ «Капитал», том III, стр. 323.

² Ibid, стр. 326.

³ Ibid, стр. 328.

С помощью своей теории капитала и «услуг» (services) Вальрас дает следующее схематическое объяснение механизма капиталистического производства. Для этого он конструирует теорию двух рынков—рынка производительных услуг (services) и рынка продуктов. На первом рынке в качестве покупателей выступают предприниматели, организующие производство (*les entrepreneurs*). Они покупают земельные services, земельные услуги у владельцев земли, трудовые услуги—у рабочих (*travailleurs*), и услуги капитала, в собственном смысле, т.-е. движимых капиталов,—у владельцев этих капиталов. Происходит обычная рыночная сделка, которая подчиняется прежде выведенным законам рыночного обмена¹. «Эти производительные услуги обмениваются по законам свободной конкуренции посредством денег. Для каждой из них предлагается какая-либо денежная цена; если по данной цене действительный спрос превосходит действительное предложение, то предприниматели накидывают, и происходит общее повышение; если действительное предложение превышает действительный спрос, то земельные собственники, рабочие и капиталисты скидывают, и происходит общее понижение. Текущей ценой каждой услуги является та, при которой действительные спрос и предложение равны». Никаких новых проблем здесь не возникает. Перед нами обычный рынок, где товарами выступают различные услуги различных капиталов. Никаких усложнений теория ценности не претерпевает.

На ряду с этим рынком существует и другой рынок—рынок продуктов. Там роли меняются. В качестве продавцов уже выступают предприниматели, а в качестве покупателей—владельцы и носители отдельных капиталов. Очевидно, что механизм этого рынка ничем не отличается от механизма рынка услуг. И здесь первоначально объявляются произвольные цены. Если спрос превышает предложение, то цены повышаются. В обратном случае цены понижаются. Эти 2 рынка, конечно, не нужно представлять в виде двух отдельных географических пунктов. Скорее здесь идет речь о 2 типах рыночных сделок. В одном и том же предприятии могут и должны встречаться оба типа.

Таким образом, с точки зрения предпринимателя, который является связующим звеном между этими 2 рынками, система цен на рынке услуг выражается в издержках производства—*prix de revient en services producteurs*, а на рынке продуктов—в продажных ценах продуктов, или, как Вальрас называет, *prix de vente des produits*. Между этими 2 системами цен устанавливается полное согласие. Это согласие выражается в законе издержек производства, согласно которому цены всех продуктов должны равняться их издержкам производства.

Механизм установления этого закона чрезвычайно прост по идее Вальраса. Регулирующей силой является конкуренция между предпринимателями. Если продажная цена будет выше издержек

¹ *Éléments*, стр. 191—192.

производства, то предприниматели получают в свою пользу эту разницу. Они получают чистый выигрыш (benefice). Такое положение долго не может протянуться. Чистый выигрыш у предпринимателей послужит приманкой для расширения производства и тем самым вызовет понижение цены. В противном случае, т.-е. в случае превышения издержек производства над ценами, предприниматели будут терпеть известный убыток (la perte). Благодаря этому сократится производство соответствующих товаров, и цены повысятся. Для общества, находящегося в состоянии равновесия, предприниматели не получают ни барышей, ни убытков.

Конечно, при этом нужно абстрагироваться от того, что предприниматель чаще всего является сам капиталистом. Мы аналитически разлагаем обычного владельца предприятия на 2 лица—на собственника и предпринимателя. При этом нужно также отвлечься от платы, получаемой предпринимателем за производимую работу, напр., за надзор. Эта плата войдет в рубрику зарплаты. Предприниматель здесь выступает не только, как собственник движимых капиталов, но личного капитала.

Согласно Вальрасу, цены производительных и потребительных услуг (services) регулируются теми же принципами, что и цены товаров. Теория обмена нашего автора, как мы видели, устанавливает то основное положение, что цены готовых продуктов регулируются соотношением спроса и предложения. Величина последних, в свою очередь, зависит от характера потребностей и от наличных запасов данных благ, имеющихся в распоряжении отдельных субъектов. На основании 2 закона Госсена, Вальрас считает возможным дедуцировать функции спроса и предложения, которые дают ключ к определению уровня существующих цен.

Регулирующая роль закона спроса и предложения сохраняется и в теории производства Вальраса. Единственное усложнение заключается в том, что наш автор вынужден учесть два фактора: спрос готовых товаров и предложение производительных услуг. Оба промежуточных звена—предложение готовых продуктов и спрос производительных услуг—отпадают. Теория производства Вальраса предполагает, что количество готовых товаров может быть увеличено в каких угодно размерах. Следовательно, предложение этих товаров должно рассматриваться как производная величина. Точно так же спрос производительных услуг есть производная величина по отношению к спросу готовых товаров, которые из этих услуг могут быть получены. Поэтому обе эти величины (предложение готовых товаров и спрос производительных услуг) отбрасываются нашим автором, и последний в своей теории производства оперирует лишь с двумя величинами: со спросом готовых товаров и с предложением производительных услуг. Из этих двух величин первая (спрос готовых товаров) определена Вальрасом в его теории обмена. Следовательно, остается выяснить принципы, регулирующие предложение производительных услуг.

В этом заключается вся суть теории производства Вальраса. Она может быть резюмирована в его положении об условиях равновесия

производства. Этих условий—3¹. «Это такое состояние, при котором: во-первых, действительные спрос и предложение производительных услуг равны и при котором существует постоянная устойчивая цена на рынке этих услуг; во-вторых, действительные спрос и предложение продуктов равны, и существует постоянная устойчивая цена на рынке продуктов; и наконец, продажная цена продуктов равна себестоимости, выраженной в производительных услугах. Два первых условия относятся к равновесию обмена, третье—к равновесию производства». Эта теория получает математическое оформление в следующей системе уравнений.

Если под O_t , O_p , O_k обозначить размеры предложения различных услуг (значком t обозначаются земельные услуги; p —трудовые и k —капиталов движимых), если d_a , d_b , d_c попрежнему обозначают размеры спроса на продукты— a , b , c , то можно построить ряд формул.

$$\begin{aligned} \varphi_t (q_t - O_t) &= P_t \varphi_a (d_a); \quad \varphi_p (q_p - O_p) = P_p \varphi_a (d_a); \\ \varphi_k (q_k - O_k) &= P_k \varphi_a (d_a). \end{aligned}$$

Все эти формулы обозначают, что отношения предельных полезностей как продуктов, так и услуг пропорциональны ценам. Эти формулы получены на основании общей формулы $\varphi_{a'} (d_a) = P_a \varphi_{b'} (q_b - d_a P_a)$; $q_t - O_t$, $q_p - O_p$, $q_k - O_k$ выражают величину собственного потребления производительных услуг их продавцами; φ_t , φ_p , φ_k — полезности соответствующих количеств; товар a служит мериллом ценности. Эти формулы могут быть также выражены следующим образом:

$$\begin{aligned} r_a : r_b : r_c : r_d : \dots : r_t : r_p : r_k = \\ = r_{a,1} : r_{b,1} : r_{c,1} : r_{d,1} : \dots : r_{t,1} : r_{p,1} : r_{k,1} = \\ = r_{a,2} : r_{b,2} : r_{c,2} : r_{d,2} : \dots : r_{t,2} : r_{p,2} : r_{k,2} = \end{aligned}$$

(r означает пред. полезности товаров a , b , c , d , t для 1, 2, 3 субъекта).

Этот вопрос Вальрас решает следующим образом. Для него капитал не является обязательно производительным благом. Он может быть и потребительским благом. Поэтому услуги капитала (services) могут носить как потребительский, так и производственный характер. К первым относятся² «доходы непосредственно потребляемые, будь то самими владельцами капиталов или покупателями этих доходов, будь то отдельными личностями или общинами, или государством». Ко вторым относятся³ «доходы, подлежащие превращению в продукты через посредство земледелия, промышленности или торговли». Вальрас, таким образом, исходил из того положения, что продавец услуг стремится получить максимум полезности. Необходимым условием последнего является равенство предельных полезностей проданных услуг и купленных товаров или пропорциональность цен и предельных

¹ *Éléments*, стр. 193—194.

² *Éléments*, стр. 185—186.

³ *Éléments*, стр. 186.

полезностей услуг. На основании своих формул о пропорциональности предельных полезностей и цен, Вальрас способом, рассмотренным выше, устанавливает следующие уравнения, выражающие величину предложения услуг и спроса на продукты (поскольку вопрос рассматривается с точки зрения капиталистов, продающих различные услуги (services) и покупающих готовые продукты).

$$\begin{aligned} 1) \quad O_i &= F_i(P_i, P_p, P_k, \dots, P_b, P_c, P_d, \dots) \\ O_p &= F_p(P_i, P_p, P_k, \dots, P_b, P_c, P_d, \dots) \\ O_k &= F_k(P_i, P_p, P_k, \dots, P_b, P_c, P_d, \dots) \end{aligned}$$

Если таких услуг имеется n , то всего получится n уравнений.

$$\begin{aligned} 2) \quad D_b &= F_b(P_i, P_p, P_k, \dots, P_b, P_c, P_d, \dots) \\ D_c &= F_c(P_i, P_p, P_k, \dots, P_b, P_c, P_d, \dots) \\ D_d &= F_d(P_i, P_p, P_k, \dots, P_b, P_c, P_d, \dots) \end{aligned}$$

$$D_a = O_i P_i + O_p P_p + O_k P_k + \dots - (D_b P_b + D_c P_c + D_d P_d + \dots).$$

Если из данных n производительных услуг можно получить m готовых продуктов, то уравнений второго типа получится m . Итак, на основании применения своих формул Вальрасу удалось получить $m + n$ уравнений. Но задача определения цен услуг и продуктов этим еще не разрешена. $m + n$ уравнений в данном случае соответствует $2m + 2n - 1$ неизвестных, ибо, с одной стороны, неизвестны количества спрашиваемых и предлагаемых услуг и продуктов (т.-е. величины $O_i, O_p, O_k, P_b, D_c, P_d, D_a$), а, с другой стороны, — цены этих услуг и продуктов (т.-е. $P_i, P_p, P_k, P_b, P_c, P_d$), за исключением цены первого продукта a , принимаемой за единицу измерения. Число неизвестных превышает число уравнений, и задача оказывается неопределенной.

Для разрешения этой задачи необходимо откуда-то получить еще новые уравнения, и тут на помощь Вальрасу приходит спасительный закон издержек производства.

Допустим, что $a_i, a_p, a_k, \dots, b_i, b_p, b_k, \dots, c_i, c_p, c_k, \dots, d_i, d_p, d_k, \dots$ суть то, что Вальрас называет коэффициентами производства (les coefficients de fabrication), т.-е. количества каждой производительной услуги (T), (P), (K), идущие на производство одной единицы a, b, c . Предположим, что технический уровень остается неизменным, а в связи с этим не подвергаются колебаниям величины коэффициентов производства. Тогда, зная величины спроса готовых продуктов, легко можно будет определить потребное количество услуг для производства этих готовых продуктов. Так, для производства D_a потребуется $a_i D_a$ — услуг T , $a_p D_a$ — услуг P , $a_k D_a$ — услуг K и т. д.

На этом основании можно составить следующий ряд уравнений, выражающих, что количество потребленных производительных услуг равно количеству предложенных производительных услуг¹.

$$\begin{aligned} 3) \quad & a_i D_a + b_i D_b + c_i D_c + d_i D_d + \dots = O_i \\ & a_p D_a + b_p D_b + c_p D_c + d_p D_d + \dots = O_p \\ & a_k D_a + b_k D_b + c_k D_c + d_k D_d + \dots = O_k \end{aligned}$$

всего n уравнений (по числу производительных услуг), в которых нет новых неизвестных.

Наконец, можно получить ряд уравнений для определения цен готовых продуктов. Согласно закону издержек производства, цены готовых продуктов равны сумме цен всех затраченных на производство данных продуктов производительных услуг. Если, например, для получения единицы b необходимо было затратить b_i, b_p, b_k разных услуг, если цены этих услуг равны P_i, P_p, P_k , то можно закон издержек производства аналитически выразить следующим образом:

$$b_i P_i + b_p P_p + b_k P_k + \dots = P_b.$$

Аналогично можно составить m следующих уравнений¹⁾:

$$\begin{aligned} 4) \quad & a_i P_i + a_p P_p + a_k P_k + \dots = 1 \\ & b_i P_i + b_p P_p + b_k P_k + \dots = P_b \\ & c_i P_i + c_p P_p + c_k P_k + \dots = P_c \\ & d_i P_i + d_p P_p + d_k P_k + \dots = P_d \end{aligned}$$

в которых нет новых неизвестных.

Обозревая все эти уравнения, мы заметим, что всего получится уравнений n (сист. 1) + m (сист. 2) + n (сист. 3) + m (сист. 4), т.е. $2n + 2m$ уравнений, тогда как число неизвестных равно $2m + 2n - 1$, т.е. на 1 единицу меньше. Но из этого затруднения легко выйти. Если обе части уравнений системы (3) помножим на P_i, P_p, P_k , то получим.

$$\begin{aligned} 3') \quad & a_i P_i D_a + b_i P_i D_b + c_i P_i D_c + d_i P_i D_d + \dots = O_i P_i \\ & a_p P_p D_a + b_p P_p D_b + c_p P_p D_c + d_p P_p D_d + \dots = O_p P_p \\ & a_k P_k D_a + b_k P_k D_b + c_k P_k D_c + d_k P_k D_d + \dots = O_k P_k \end{aligned}$$

Помножим обе части уравнений системы (4) на D_a, D_b, D_c, D_d получим:

$$\begin{aligned} 4') \quad & a_i P_i D_a + a_p P_p D_a + a_k P_k D_a + \dots = D_a \\ & b_i P_i D_b + b_p P_p D_b + b_k P_k D_b + \dots = P_b D_b \\ & c_i P_i D_c + c_p P_p D_c + c_k P_k D_c + \dots = P_c D_c \\ & d_i P_i D_d + d_p P_p D_d + d_k P_k D_d + \dots = P_d D_d \end{aligned}$$

Сложив почленно правые части уравнений системы (3') и (4'), мы заметим, что их левые части равны. На этом основании можно написать:

$$O_i P_i + O_p P_p + O_k P_k + \dots = D_a + D_b P_b + D_c P_c + D_d P_d.$$

¹⁾ Éléments, стр. 242.

Это уравнение и есть последнее m -ое уравнение системы (2) (если переставить члены последнего уравнения). Иными словами, это уравнение можно исключить из общего числа уравнений, поскольку оно является производным. В результате, задача решена.

Таковы знаменитые уравнения производства Вальраса, которые являются математическим выражением основных условий равновесия производства. Эти уравнения пытаются охватить весь процесс производства в целом. Ш. Жид в своей «Истории экономических учений» сравнивает экономическую систему Вальраса, нашедшую свое наиболее законченное выражение в приведенных выше уравнениях, с системой мира Лапласа или с экономической таблицей Кене. «Мы находим здесь нечто подобное знаменитой экономической таблице Кене, но ближе стоящее к действительности».

Экономическое содержание этих уравнений является весьма элементарным. Вальрас предполагает, что запас услуг является фиксированным. Но эти услуги могут получить различное производственное применение. В связи с этим количество отдельных потребительских товаров может быть изменено в какой угодно пропорции. Благодаря конкуренции предпринимателей цены готовых товаров устанавливаются на определенном уровне, соответствующем нормальным издержкам производства. Высота последних, в свою очередь, зависит от цен производительных услуг, как видно из системы уравнений (4).

Как же определить эти цены? Для этого необходимо установить величину спроса и предложения производительных услуг. Спрос этих услуг, как видно из системы уравнений (3), зависит от спроса готовых товаров. Последний спрос, в свою очередь, зависит от цен услуг и готовых товаров, как видно из системы уравнений (2). Таким образом, уравнения (2) и (3) служат для определения спроса производительных услуг. Остается определить величину предложения этих услуг. Эту функцию выполняет система уравнений (1). Если предположить, что весь запас производительных услуг, имеющийся в распоряжении их владельцев, поступает в продажу, то нужно было бы отбросить идею о зависимости величины предложения производительных услуг от существующих рыночных цен. Поскольку величина производительных услуг признается фиксированной, величину предложения этих услуг можно определить очень легко путем приравнивания запаса и предложения производительных услуг. Так поступает Кассель (см. ниже). Тогда эта система уравнений выражает очень элементарную истину, что цена готовых товаров зависит от цены производительных услуг, а цена последних от спроса на готовые товары и наличных запасов производительных услуг. Вальрас лишь усложняет данный вопрос, поскольку он предполагает, что часть производительных услуг потребляется продавцом последних. Продажу этих услуг наш автор рассматривает, как продажу излишков. В связи с этим получается возможность приложения принципа максимума полезности и 2 закона Госсена к определению величины предложения производительных услуг. В результате, это предложение рассматривается, как функция существующих рыночных цен. Этот момент нашел себе отражение

в системе уравнений (1). Своеобразие теории производства Вальраса заключается в том, что она выражает не только теорию монопольных цен, но—и теорию цен в условиях примитивного обмена излишками. Эта попытка перенести исходную точку теоретического анализа в сферу примитивного обмена является данью со стороны Вальраса последовательному психологизму. Но благодаря этой тенденции сближения принципов, регулирующих цены в различных исторических формациях, Вальрас вводит в свою теорию новые противоречия, которые являются новым выражением того противоречия, которое мы установили в его теории обмена. С одной стороны, Вальрас предполагает действие 2 закона Госсена, т.-е. развитое товарное хозяйство, в котором устанавливается устойчивая система цен. С другой стороны, он исходит из того, что продавца готовых товаров (в теории обмена) или производительных услуг (в теории производства) интересует исключительно потребительная ценность его товаров. Это противоречие может быть установлено в рамках отдельных систем уравнений Вальраса (напр., системы 1).

Из теории Вальраса логически вытекает вывод о взаимодействии между ценой потребительских благ и производительных благ (или издержками производства). Дело в том, что цены потребительских благ равны издержкам производства; последние зависят от цен производительных благ, которые, в свою очередь, зависят от спроса и предложения этих благ. С одной стороны, спрос производительных благ зависит от спроса потребительских благ, а последний—от их цены. Следовательно, цена потребительских благ определенным образом влияет—по Вальрасу—на цены производительных благ. Этим объясняется следующее положение Вальраса¹: «Если при прочих равных условиях, полезность одного продукта (или потребительского блага. *И. Б.*) для одного или нескольких потребителей увеличится или уменьшится, то спрос увеличится и уменьшится, вследствие чего цены (на этот продукт. *И. Б.*) повысятся или понизятся, что, в свою очередь, вызовет повышение или понижение цен услуг, участвующих в производстве данного продукта».

С другой стороны, цены производительных благ (или производственных услуг, по терминологии) зависят непосредственно от предложения этих благ. По этой линии цены производительных благ оказывают влияние на цены потребительных благ. Отсюда вытекает следующее положение Вальраса²: «Если, при прочих равных условиях, количество услуг (*services*), которыми располагает один или несколько индивидов, увеличивается или уменьшается, то предложение последних увеличится или уменьшится, вследствие чего их цены понизятся или повысятся, и, наконец, понизятся или повысятся цены тех продуктов, в производство которых входят данные услуги».

Таким образом, взаимодействие цен потребительских и производительных благ есть дуализм спроса и предложения. Дуализм факторов,

¹ *Éléments*, стр. 236.

² *Éléments*, стр. 236.

определяющих цены, выступает у Вальраса весьма отчетливо. Этот дуализм прикрывается лишь тем, что производительные блага облекаются в тогу потребительских благ, наделяются всеми свойствами последних. Поэтому предложение всех услуг—по Вальрасу—зависит от их полезности, от потребности в этих услугах их владельцев. Поэтому теория производства нашего автора тоже проникнута духом психологизма. Поэтому принцип максимума полезности сохраняет свою регулирующую роль.

Но, как мы видели, это сближение обеих категорий ошибочно. Оно основано на совершенно случайном факте, что некоторые производительные блага могут быть использованы для потребления. Если вспомнить, что целый ряд производительных благ может быть использован лишь для производственных целей и не имеет, следовательно, собственной потребительной ценности, то вся искусственность построения Вальраса станет очевидной.

Очевидно, что определение предложения производительных благ или производственных услуг, даже с точки зрения последовательного субъективизма, должно быть отброшено, по крайней мере, для подавляющего числа случаев. Так, например, один из последователей Вальраса, Гебер¹, трактует теорию последнего в том смысле, что для целого ряда производительных благ (тех, которые не имеют своей потребительной ценности) предложение равно наличному запасу этих благ. «Если предлагаемые количества не обладают непосредственной предельной полезностью для предлагающих, то предлагается весь запас их. Тогда для данных производительных услуг, вместо условия, согласно которому предельные полезности обмениваемых количеств производительных услуг должны быть равны, наступает другое, согласно которому количества предлагаемых производительных услуг должны быть равны количествам, имеющимся в наличности вообще, с обязательным учетом каждой отдельной личности, участвующей в обмене и продукте».

Таким образом, из теории производства Вальраса следует, что между ценами готовых продуктов и издержками производства существует взаимодействие, а не отношение причины и следствия. Каждый из этих 2 рядов цен по существу является независимым. Движение каждого ряда подчиняется своим законам. Между обоими рядами существует лишь взаимодействие, при чем, в случае расхождения между этими 2 рядами, регулирующую роль играют цены издержек.

У самого Вальраса не хватает смелости принять все эти выводы, которые указаны были выше. В противоречии с последними он утверждает²: «Не цена производительных услуг определяет продажную цену продуктов, но скорее продажная цена продуктов определяет цену издержек. В самом деле, цена производительных услуг устанавливается на рынке этих услуг посредством предложения их землевладельцами,

¹ В статье «Die sogenannte Lausanner Schule der Politischen Oekonomie» в «Zeitschrift für Sozialwissenschaft», 1910 г., стр. 711.

² *Eléments*, стр. 394.

рабочими и капиталистами и спроса на них со стороны предпринимателей. От чего же зависит этот спрос? Именно от цен продуктов. Спрос со стороны предпринимателей на продукты, себестоимость которых была выше продажных цен, уменьшается, и цена производительных услуг падает. Спрос предпринимателей на продукты, стоившие им менее продажных цен, увеличивается, и цена производительных услуг подымается. Такова взаимозависимость явлений, и неверно было бы представлять ее поинному».

Ученики Вальраса сделали дальнейшие логические выводы из его теории производства. Так, Парето определенно заявляет, что вопрос о примате цен издержек производства или цен готовых продуктов потребления является результатом ненаучного подхода. Искание причинности в экономических явлениях должно быть признано делом метафизическим. Доминирующей идеей в теоретической экономии должна стать идея взаимодействия. «Нельзя отвлечься—пишет Парето¹,—от прочих условий экономического равновесия и определять отдельно издержки производства. Издержки производства не являются причиной, определяющей продажную цену, точно так же, как и продажная цена не является причиной, определяющей издержки производства. Величины эти просто связаны между собой определенными условиями, которые, вместе с другими условиями экономического равновесия, определяют неизвестные величины проблемы».

9

При рассмотрении теории производства Вальраса возникает вопрос: почему для этого случая признается регулирующая роль закона спроса и предложения? Эту роль можно было еще объяснить для теории обмена нашего автора, которая абстрагируется от производства и, следовательно, от возможности свободного воспроизводства. Но теория производства, как это явствует из самого названия, отбрасывает эту искусственную предпосылку. Наоборот, предполагается, что можно в каких угодно размерах расширить производство отдельных товаров. Почему же соотношение спроса и предложения все же сохраняет свое доминирующее значение? Объяснение этого факта нужно искать в том, что в основе теории производства лежит предпосылка о фиксированной величине запаса производительных товаров или производственных услуг по терминологии нашего автора.

Перед Вальрасом и его учениками остаются 2 выхода: а) признать, что количество производительных благ может быть увеличено в каких угодно размерах; это положение означало бы эмансипацию теории цен производительных благ от всякого влияния потребительных благ, а, следовательно, от влияния спроса. Вальрасу и его ученикам в данном случае пришлось бы выбирать между вульгарной теорией издержек производства и трудовой теорией ценности; тот и другой выбор был бы связан с отходом от психологизма, с отступлением от исход-

¹ «Cours d'économie politique», § 697.

ных положений; или б) признать, что количество производительных благ является постоянным и равно их предложению. На такую позицию стал, напр., Кассель. Последний, подобно Вальрасу, принимает запас производительных благ или производственных факторов за постоянную величину. Но, в отличие от Вальраса, Кассель считает, что величина предложения тоже является постоянной. Поэтому в системе уравнений Касселя нет уравнений (I), т.-е.

$$\begin{aligned} O_i &= F_i (P_v, P_p, P_k, \dots, P_d, P_c, P_d, \dots) \\ O_p &= F_p (P_v, P_p, P_k, \dots, P_v, P_c, P_d, \dots) \\ O_k &= F_k (P_v, P_p, P_k, \dots, P_v, P_c, P_d, \dots) \end{aligned}$$

Изменение цены не может отразиться на предложении T, P, K , поскольку это предложение не изменяется, или изменения не поддаются регулированию со стороны производителей.

Таким образом, психологизм неизбежно должен притти к той теории производительных благ, которая получила наиболее отчетливое выражение у Касселя. В этом заключается значение работ последнего. Остановимся немного на уравнениях Касселя, которые значительно приближаются к уравнениям Вальраса. В отличие от последнего, Кассель выступает противником употребления в экономике методов дифференциального исчисления. Непреодолимое препятствие для употребления последнего лежит в прерывном характере экономических функций. Кассель, как мы видели выше, выступает с решительной критикой возможности бесконечного деления продуктов. Поэтому он считает возможным ограничиться лишь рассмотрением элементарных уравнений, известных каждому, как он говорит, с школьной скамьи.

В основу своего анализа он кладет следующее положение¹: «Сразу заметно при таком анализе, что запасы готовых товаров зависят от количества сырья, или, более широко, от производственных факторов. В какой мере последние опять-таки могут быть рассматриваемы, как решающие,—это вопрос, который я пока оставляю открытым. Во всяком случае, мы, несомненно, в праве пока доводить анализ только до этой точки и тем самым временно рассматривать массы сырья, как данные». Необходимо отметить, что понятие «Rohstoffe» у Касселя совпадает с понятием производительных благ у австрийцев. Он сам подчеркивает необходимость такого расширительного толкования термина «Rohstoffe». Так, он пишет²: «Под выражением «производительные блага» нужно понимать, как выше указано, вообще все факторы, участвующие в производстве. Сюда относится также человеческий труд, и даже каждый отдельный вид труда должен учитываться, как особое «производительное благо».

Кассель считает, что количество производительных благ является постоянным. Это — чрезвычайно важная предпосылка, которую Кассель

¹ «Grundriss einer elementaren Preislehre», «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft», 55 Band, стр. 439.

² Там же, стр. 443.

рассматривает денежные доходы каждого покупателя, как определенные и данные величины. Затем¹ он рассматривает случай, когда денежные доходы являются искомыми величинами. В этом случае цена производительных благ будет определять денежные доходы отдельных покупателей, а доходы определяют соответствующие расходы (принимается упрощающая предпосылка, что доходы равны расходам).

Затем² Кассель рассматривает случай динамики—случай равномерно и в строго определенном порядке развивающегося производства. В этом случае, в отличие от статистической системы, $R_1, R_2, \dots, R_r$ будут возрастать на определенный неизменный процент— C . Соответственно будут возрастать денежные расходы отдельных покупателей. В связи с этим, в уравнении (4) коэффициенты $\alpha_{11}, \alpha_{12}, \alpha_{21}, \dots$ и т. д. должны быть заменены новыми коэффициентами, возрастающими в том же определенном порядке (на $C\%$).

Виксель совершенно верно отметил два формальных недостатка уравнений Касселя³. С одной стороны, в системе уравнений (2) величина спроса отдельных потребительских благ является функцией не только цен предметов потребления, но и средств производства, поскольку потребительские блага могут фигурировать также в роли средств производства. С другой стороны, в этой системе число неизвестных превышает число уравнений. Если сложить ценность всех производительных благ и потребительских, то получим равенство (необходимо вспомнить, что Кассель труд, непосредственно затраченный в данном производстве, тоже относит к производительным благам). Поэтому одно уравнение может быть исключено, напр., из системы (1); в результате, число уравнений будет на одно меньше числа неизвестных.

Вся эта система уравнений держится на основной предпосылке, что величины запасов производительных благ— $R_1, R_2, R_3, \dots, R_r, \dots$ являются постоянными, и, следовательно, определенными величинами. Стоит только допустить обратное, т. е. предположить, что запасы производительных благ могут меняться количественно, как уравнения Касселя превращаются в неопределенные. Тогда придется допустить, что $R_1, R_2, \dots, R_r$ являются неизвестными, а, следовательно, у нас $3n + r$ уравнений будет противостоять не $3n + r$, а $3n + 2r$ неизвестных. Количество неизвестных превысит число уравнений, и задача будет допускать множество решений.

Предпосылка Касселя о неизменной величине производительных благ играет решающее значение в его системе. Важнейшим экономическим принципом, по мнению Касселя, является Prinzip der Knappheit (принцип ограниченности). Задача всякого хозяйства, по его мнению⁴, заключается в том, чтобы установить наиболее рациональным образом соответствие между потребностями и средствами удовлетворения

¹ Sozialök., стр. 126.

² Ibid., стр. 126—127.

³ В статье «Zur Verteidigung der Grenznutzenlehre» в «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft», 56 Band, 1900, стр. 588.

⁴ Sozialök., стр. 3.

последних. Потребность в рациональном хозяйствовании является продуктом ограниченного количества средств удовлетворения наших потребностей. Prinzip der Knappheit, по мнению нашего автора, является также определяющим в области товарного хозяйства. Отсюда выводится нашим автором функция цен, которые должны облегчить установление соответствия между потребностями и средствами. «Процесс образования цен—пишет он¹—имеет также социально-экономическую задачу ограничивать претензии на блага настолько, чтобы они могли быть удовлетворены наличными средствами». Prinzip der Knappheit проявляется благодаря ограниченности запасов производительных благ. Всякий² спрос на готовые продукты есть в то же время спрос на средства производства. Спрос на готовые продукты зависит от их цен, которые, в свою очередь, зависят от цен производительных благ. От чего же зависят последние цены? Если бы производительные блага имелись в неограниченном количестве, то спрос на них мог бы быть полностью удовлетворен, и они представляли бы из себя даровые блага. Цены не могли бы в данном случае выполнить своей функции. Положение резко меняется для тех случаев—по Касселю,—где производительные блага имеются в ограниченном количестве. Для того, чтобы можно было установить соответствие между наличными запасами благ и потребностями в них, нужно ограничить последние. Эту функцию выполняют цены, которые устанавливаются на таком уровне, при котором предложение производительных благ становится равным их спросу³. Положение о неизменной величине запасов производительных благ есть, таким образом, опорная точка всей его системы.

В своей статье «Die produktionskostentheorie Ricardo und die ersten Aufgaben u.s.w.» в «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft», Band 57, стр. 90, Кассель указывает, что количество производительных благ или, вернее, их предложение не зависит от цены. «В гипотетическом народном хозяйстве, рассматриваемом нами, каждый отдельный производственный фактор является редкостным благом; чтобы оценить это еще резче, желательно предположить, что запас возможностей всякого рода, будучи задан наперед, не зависит от случайных цен. Изменения, которые показывают эти запасы, в результате колебания цен по отношению к их абсолютным величинам в общем малы,—это, как выражаются математики,—величины второго порядка; и в теории, которая представляет собой первое приближение, ими можно и должно пренебречь».

Это положение Касселя является вполне последовательным. Если производительные блага являются фиксированными, то никакое изменение цены не в состоянии оказать на них влияние.

Если под производительными благами понимать обычные средства производства, то произвольность предположения Касселя об их

¹ Ibid., стр. 55.

² Ibid., стр. 71.

³ Ibid., стр. 75.

неизменности становится очевидной. В своем курсе¹ Кассель дает другое толкование этому принципу. Он принимает, что только элементарные производительные блага имеются в ограниченном количестве. «Поэтому мы теперь сделаем предпосылку, что различные элементарные производительные блага, т.-е. те из них, кои не могут быть умноженными посредством производства,—мы в дальнейшем будем называть их «производительными благами» коротко, имеются в виде определенных запасов или, вернее, в течение данного промежутка времени находятся в распоряжении в определенных количествах».

Для Касселя весьма характерна тенденция (сближающая его с целым рядом современных экономистов, напр., с Кларком, Шумпетером, Аммоном и др.) строить свою теорию на основе изучения статической системы. Последняя предполагает, что существуют фиксированные запасы средств производства, ограниченные размеры земли, ограниченные резервы рабочей силы. Эта предпосылка правильна лишь для одного очень краткого периода времени, когда невозможно увеличение существующих запасов средств производства. Для такого краткого периода времени существует естественная монополия. Свободное воспроизводство товаров может проявиться лишь в течение более длительного периода, достаточного для перераспределения общественного труда и для завершения целого ряда производственных процессов. Попытка Касселя положить в основу своей теории учение о статике (в своеобразном толковании) связано с попыткой опереть свою теорию на учении о естественной монополии. Если отвлечься от рассмотрения очень кратких периодов, то нужно отказаться от предпосылки, что запасы отдельных средств производств являются постоянными.

Правда, можно возразить, что в течение длительных периодов можно как угодно расширить производство отдельных конкретных средств производства, но нельзя в безграничных размерах увеличить общую затрату человеческого труда, которая определяется численностью населения, интенсивностью труда, длиной рабочего дня и т. д. Человеческий труд, как некоторые природные факторы (напр., земля), является редким благом, не поддающимся безграничному увеличению. Этот аргумент, выдвигаемый Бем-Баверком, Визером и целым рядом представителей различных течений в субъективной школе, играет решающую роль в системе субъективистов. С этой точки зрения элементарными производительными благами, по терминологии Касселя, являются первичные производственные факторы, т.-е. труд и земля. (Вспомним знаменитое выражение Петти: «труд есть отец, а земля—мать всякого богатства»). В таком толковании положение Касселя об ограниченности запасов производительных благ получает определенный смысл, но тогда Кассель из одной беды попадает в другую. Если под $R_1, R_2, \dots, R_r$ понимать первичные производительные блага, то нельзя составить уравнения (1), ибо цены производства равны соответствующим коэффициентам производства, помноженным на цены

¹ Sozialök., стр. 73.

вторичных производительных благ. Первичные производительные блага или вовсе не имеют цены, или даже, в случае наличия цены, не входят в состав цен производства. Так, с одной стороны, труд вовсе не имеет цены, с другой стороны, земля имеет цену, но последняя не входит в состав издержек производства.

Таким образом, перед Касселем стоит альтернатива: а) или признать, что вторичные производительные блага имеются в ограниченном количестве, т. е. признать положение, противоречащее фактам; б) или признать, что первичные производительные блага ограничены в своем количестве; тогда придется отказаться от всей системы уравнения; в том и другом случае уравнения не дают вопроса о причинах образования цен.

Во втором случае мы сталкиваемся с ошибкой, которую обнаружили при рассмотрении теории производительных благ Бем-Баверка. Эта ошибка заключается в признании, что первичные производственные факторы, как труд, земля, имеют ценность наравне со средствами производства, рабочей силой и т. д. Как мы выяснили в 2 главе, идея о товарном характере первичных производственных факторов (существование ценности предполагает существование товаров) есть продукт капиталистической идеологии. Для агента капиталистического способа производства земля и труд (смешиваемый с рабочей силой) имеют такую же цену, как и все остальные товары. Основная предпосылка теории Вальраса и Касселя, таким образом, основана на aberrации, на смещении труда и рабочей силы, на иллюзиях, свойственных членам капиталистического общества.

Мы не будем снова останавливаться на рассмотрении и критике этой ошибки, благодаря которой эти первичные производственные факторы попали в состав уравнения (4) Касселя. Ограничимся лишь проведением параллели между теорией производительных благ Касселя и Бем-Баверка. Сходство между обеими теориями заключается в том, что обе эти теории признают: а) постоянство запаса производительных благ; б) наличие ценности у первичных производительных благ; в) зависимость этой «ценности» от законов спроса и предложения. Различие между обеими теориями заключается в неодинаковом изображении механизма спроса и предложения. По Бем-Баверку—цена производительных благ зависит от цены предельного потребительного продукта, а, следовательно,—от спроса и предложения этого предельного продукта. По Касселю—цена производительных благ зависит от спроса на эти блага, следовательно, от спроса на потребительские блага и от собственного предложения производительных благ. Иными словами, различие заключается в неодинаковом представлении о законах предложения, которые, в конечном счете, определяют цены товаров. Если вспомнить (см. 2 главу), что сам выбор предельного продукта (т. е. тот факт, что данное потребительское благо является предельным) и предложение последнего зависят от предложения производительных благ (если увеличится это предложение, то получится возможность изготовления более дешевых товаров), то необходимо будет признать, что теория Касселя более последовательна, чем

теория Бем-Баверка. Последний, в качестве решающего фактора, выбирает такой момент (предложение предельного продукта), который сам зависит от цены производительных благ.

Необходимо, далее, отметить, что количество первичных факторов производства не должно быть обязательно признано постоянным или фиксированным. Напр., количество рабочей силы, которым располагает данное народное хозяйство, может подвергаться колебаниям и изменениям. Общие размеры всего общественного производства могут значительно расшириться. Это условие—возможность расширения производства и привлечения новой дополнительной рабочей силы—играет весьма важную роль при объяснении тенденции установления стихийного равновесия.

Процесс установления равновесия и распределения общественного труда вовсе не предполагает, что количество труда, которое может быть затрачено в данном обществе, является постоянным. Скорее можно утверждать обратное. Расширение производства, увеличение количества общественного капитала характерны для расширенного воспроизводства. Расширение производства обычно предполагает увеличение количества рабочей силы и затраченного на производство труда. Даже при неизменной величине рабочей силы возможно увеличение затрачиваемого в общественном масштабе труда на производство, за счет удлинения рабочего дня и повышения интенсивности труда¹.

Поэтому нет никаких оснований предполагать количество труда фиксированным. Но если даже Касселю удалось доказать, что эта величина является фиксированной, то отсюда еще не следует, что первичные производственные факторы, например, труд, земля, имеют ценность. Здесь, в новой форме, выступает ошибка.

Теория Касселя может быть признана наиболее последовательной теорией производительных благ среди психологических теорий. Она во главу угла выдвигает тот принцип, который является скрытой предпосылкой учения субъективизма—принцип о монополистическом характере производительных благ. Элементы монополии связаны с ограниченностью запаса этих благ. Любопытно, что Вальрас вынужден был заметить, что если в ограниченности данных благ видеть признак монополии (т.-е. если подводить под одну рубрику искусственную и естественную монополию), то всякое производство должно быть признано монополистическим². «Они называют даже, по аналогии, монополией владение известными производительными услугами, количественно ограниченными, например, владение землями. Однако, все производительные услуги количественно ограничены, и если землевладельцы обладают монополией на земли, то трудящиеся обладают монополией на личные способности, а капиталисты—монополией на

¹ См. верные соображения Ауспица в его полемике против Бем-Баверка в статье «Der letzte Maasstab des Güterwertes und die mathematische Methodé» в «Zeitschrift für Volksrv., Socialp. u. Verw. B. II, 1894, стр. 496.

² «Eléments», стр. 435—436.

капиталы. При подобном расширении смысла терминов монополия—везде и нигде». Вся суть теории Касселя заключается в положении и монополистическом характере всякого производства.

Необходимо отметить, что теория производства Вальраса может рассматриваться, как усложненная теория Касселя¹⁾. Дело в том, что молчаливой предпосылкой теории Вальраса является, как мы видели, предположение о неизменности запасов производительных благ. Только благодаря этому предположению, получается возможность исчислить величину предложения. В противном случае предложение, при данных ценах производства, могло бы возрасти в каких угодно размерах. В результате, увеличение спроса вызвало бы соответствующее увеличение предложения, и цена оставалась бы неизменной. Предположение о возможности свободного воспроизводства производительных благ связано с невозможностью определить цену производительных благ, на основе теории спроса и, следовательно, с невозможностью определить цену потребительских благ.

Теория Вальраса отличается от теории Касселя лишь в некоторых пунктах. Кассель предполагает, что весь запас производительных благ поступает в продажу. Иными словами, Кассель абстрагируется от возможности использования продавцом данного запаса производительных благ для своего потребления. В отличие от Касселя, Вальрас предполагает, что запас производительных благ, принадлежащих данному субъекту, делится на две части. Одну часть он потребляет сам, другую—продает. Следовательно, величина предложения может быть определена, как разность между общей величиной запаса производительных благ и той частью, которая потребляется непосредственно продавцом самого запаса. По отношению ко второй части этот продавец может рассматриваться, как покупатель. Он предъявляет спрос на определенное количество производительных благ. Этот спрос определяется на общих основаниях. Известную роль здесь, конечно, играют потребности продавца. Отсюда вытекает положение Вальраса о зависимости предложения производительных благ от их предельной полезности для продавца. Теория Вальраса о зависимости предложения от максимума полезности имеет, таким образом, очень скромное содержание. Если учесть, что продавец производительных благ обычно потребляет лишь очень незначительную часть последних или вовсе не потребляет их, то можно сделать вывод о том, что предложение производительных благ, без больших погрешностей, равно существующему запасу.

На ряду с этим нужно отметить другие особенности теории цен Касселя по сравнению с теорией Вальраса. С точки зрения последнего, конечными элементами цены являются функции полезности, с точки зрения Касселя—функции спроса. Кассель отказывается от

¹⁾ Тот факт, что Кассель упростил лишь формулы Вальраса признают Шумпетер («Cassels theoretische Sozialökonomik», Schmollers Jahrbuch, 51 Jahrgang стр. 250-251) и Фальк («Zur Frage der Grenzproduktivität», Schminollers Jahrbuch, 51 Jahrg. 5 Heft, стр. 14).

попыток вывести функции спроса из функций полезности и вообще — от попыток дать детальный психологический анализ спроса. В связи с этим 2 закон Госсена никакой роли не играет в системе Касселя, хотя последний пытается установить «Prinzip der Gleichmässigkeit der Bedürfnisbefriedigung»¹, имеющий отдаленное сходство с указанным законом Госсена. У Касселя в связи с этим отсутствуют экскурсии в область примитивной экономии. Эти экскурсии он признает нерациональными и ошибочными². Вообще психологизм в теории Касселя доведен до минимума. Он ограничивается тем, что Кассель признает зависимость между ценой и спросом, который в свою очередь зависит от субъективных моментов.

Своеобразие теории производства Вальраса вытекает из своеобразия его теории распределения и теории обмена. Связующим звеном между его теорией производства и теорией распределения является известный тезис Смита о том, что цена всякого товара может быть разложена на заработную плату, прибыль и ренту. Поскольку Вальрас отрицает существование предпринимательской прибыли в условиях равновесия, он прибыль приравнивает проценту на капитал. Процент выступает как продукт капитала, рента — как продукт земли и заработная плата — как продукт труда. Связь теории производства Вальраса с теорией обмена выражается в принятии целого ряда положений, характеризующих теорию цены нашего автора. Прежде всего, Вальрас принимает, что величина спроса имеет строго определенный количественный характер и что она может быть выведена на основании 2 закона Госсена. Далее, он исходит из того, что товар удовлетворяет потребности самого производителя, т.-е. он предполагает примитивный обмен излишками. Наконец, Вальрас принимает за доказанное, что функция спроса может быть дедуцирована из функции полезности. Поэтому конечными факторами он объявляет: а) функции полезности и б) индивидуальные запасы производительных услуг. В этом заключается своеобразная роль, которую выполняет теория обмена Вальраса в его общей экономической системе. Теория обмена служит прототипом всех его дальнейших теорий (производства и капитализации). Теория обмена Вальраса дает основные формулы, которые затем лишь слегка усложняются и модифицируются.

Теория Вальраса — Касселя представляет собою весьма интересную комбинацию из теорий спроса и предложения и издержек производства. С одной стороны, цены всех потребительских благ равны издержкам производства. Это положение сближает Касселя с теоретиками издержек производства. Но, с другой стороны, сами издержки производства или цены производительных благ определяются спросом и предложением этих благ. Следовательно, теория спроса и предложения играет решающую роль; эта теория есть база всей экономической системы Касселя. Теория издержек производства играет лишь вспомогательную роль. Она позволяет лишь объяснить цены готовых

¹ «Theoretische Sozialökonomik», стр. 5.

² «Grundgedanken der theoretischen Oekonomie», 1926, стр. 27—32.

товаров, на основании уже объясненных издержек производства. Через теорию издержек производства к теории спроса и предложения—такова важнейшая нить учения Касселя, которое устанавливает между обеими теориями следующее функциональное разделение труда: теория издержек есть один из этапов научного объяснения цен, теория спроса—конечная инстанция,—Рим, к которому ведут все пути.

Теория Касселя отличается большей логической последовательностью, чем, например, теория Маршалля, которая пытается механически сочетать теорию издержек и теорию спроса, как 2 конкурирующих и равноправных метода объяснения цен. У Маршалля спрос объясняет высоту цен на ряду с издержками производства; у Касселя издержки объясняются на основании законов спроса и предложения. Большая последовательность учения Касселя объясняется тем, что он более последовательно выражает монополистический характер производства. Примат монополии над свободным воспроизводством выражается в примате теории спроса и предложения. Это служит лишним подтверждением, что для характеристики субъективной или психологической школы решающую роль играет не теория полезности, а теория спроса и предложения. Психологизм представляет собою лишь попытку логического уточнения теории спроса и предложения; попытку избавить последнюю от многочисленных логических кругов.

Из своих уравнений Кассель делает весьма важные принципиальные выводы. Он пытается выступить в роли третейского судьи в дискуссии, разгоревшейся между Дитцелем и теоретиками предельной полезности по вопросу о гегемонии полезности или издержек в теоретической экономии.

Истина—по Касселю—заключается в золотой середине. «Тем самым,—пишет он¹,—на старый кардинальный вопрос, какие же факторы являются решающими для образований цен, мы можем просто ответить: это коэффициенты этих уравнений». Какие это коэффициенты? Это, с одной стороны, субъективные оценки, которые фигурируют в уравнении (2), поскольку сама форма функции $X = F(p)$ определяется, в известной мере, естественными потребностями отдельных индивидов. С другой стороны, в уравнениях Касселя фигурируют коэффициенты производства и наличные размеры отдельных производительных благ. Итак, данных определенных величин в уравнениях Касселя—3: а) формы функции спроса; б) коэффициенты производства и в) запасы производительных благ. Первая величина носит субъективный характер, вторая и третья—объективный, поскольку они определяются производственной техникой.

На этом основании Кассель считает возможным притти к следующему положению²: «Отсюда, без дальнейшего, становится ясно, что вообще нельзя говорить о первенстве объективных или субъективных факторов, как таковых, в процессе образования цен». В своем курсе³

¹ Grundriss, стр. 443.

² Grundriss, стр. 141.

³ «Sozialökonomie», стр. 122.

Кассель выражается еще решительнее. Спор по вопросу о субъективном или объективном основании ценности он объявляет излишней тратой времени. Всякую «субъективную» или «объективную» теорию ценности он квалифицирует, как логически несостоятельную теорию. «Объективное» или «субъективное учение о ценности в смысле теории, стремящейся свести цены к одним объективным или субъективным факторам, является, поэтому, бессмыслицей, и весь спор между этими учениями о ценности, который занял в литературе столь непропорционально много места, есть лишь потерянный труд».

Этот вывод основан на преувеличенной оценке Касселем своих уравнений. Последние выражают лишь определенные количественные соотношения, существующие между отдельными величинами. Уравнения эти выражают лишь, что на основании знания одних величин (например, цены - продуктов) можно определить другие величины (например, издержки производства). Но эти уравнения ничего не говорят о тех реальных процессах, которые имеют место в экономике; они не говорят о хронологической последовательности отдельных изменений. На основании уравнений Касселя можно, по желанию, с помощью цен продуктов, определить цены издержек производства и наоборот. Но какова реальная последовательность явлений, какой из этих факторов предшествует другому, какой является определяющим,—обо всем этом напрасно будем искать ответа в уравнениях Касселя. Они, по своей природе, не в состоянии дать ответа на этот вопрос, ибо они говорят исключительно о функциональной, но не о причинной зависимости. Эти уравнения лишь регистрируют основные зависимости, но не в состоянии объяснить реального механизма цен. Следовательно, источник идеи Касселя—об отсутствии примата одного какого-либо фактора цен—лежит в самой природе того математического метода, которым он оперирует. Этот метод действительно не в состоянии определить, какой фактор является доминирующим. Но нельзя строить какую-либо научную теорию на недостатках метода. Нельзя к этим недостаткам отдельных методов апеллировать и этими методологическими недостатками аргументировать. Как ни странной кажется эта тактика, но она лежит в основе теории Касселя. Парето, Маршалля и... *tutti quanti*.

Необходимо отметить еще одно весьма существенное обстоятельство. Системы уравнений Касселя (как и Вальраса) вытекают из определенной экономической теории, которая признает взаимодействие объективных и субъективных факторов, определяющих уровень цен. Это взаимодействие имеет место лишь в условиях монополии (естественной или искусственной), где стихийное регулирование производства обществом товаропроизводителей наталкивается на целый ряд весьма значительных препятствий. Влияние индивидуально-субъективных моментов, оказывающих воздействие через посредство спроса, не может быть устранено. Правда, индивидуально-субъективные моменты в свою очередь определяются существующими социально-экономическими и производственными условиями; но, раз возникши, эти субъективные факторы могут оказывать влияние на цены и на

уровень цен.² Этот факт вытекает из того, что общественное регулирование производства и системы цен осуществляются лишь, благодаря тому давлению, которое оказывают отдельные производители друг на друга. Необходимой предпосылкой этого давления является возможность расширения отдельных производств. Там, где эта последняя возможность отсутствует, мы имеем несовершенное выражение общественного взаимодействия отдельных товаропроизводителей и невозможность элиминирования влияния индивидуальных факторов на цены. Теория взаимодействия объективных и субъективных факторов, которая лежит в основе системы уравнений Касселя, может быть распространена лишь на теорию монопольных цен, т.-е. на специальный случай. Между тем, Кассель считает возможным рассматривать свою теорию взаимодействия, как выражение универсального закона, действующего для всех цен. Это можно объяснить только тем, что Кассель всякую цену рассматривает, как монопольную цену, и что он абстрагируется от возможности свободного воспроизводства.

Из теории Касселя логически вытекает вывод об отрицании ценности, как самостоятельной экономической категории. (К такому же выводу пришел Лифман, см. «Grundsätze der Volkswirtschaftslehre», 2 Auflage, Band I, стр. 244, и Парето, см. «Manuel d'économie politique» стр. 242)¹. У классиков и у Маркса противопоставление рыночных цен ценности имело определенный смысл. Рыночные цены меняются в соответствии с колебаниями спроса и предложения. Между тем, ценность представляет из себя средний уровень, вокруг которого колеблются рыночные цены в течение длительного периода. Высота этого уровня совершенно не зависит от колебаний спроса и предложения, а определяется другими факторами технического порядка. Иными словами, в системе классиков цена и ценность противопоставлялись, как две категории, подчиняющихся различным законам². Субъективисты не могут принять такого деления, поскольку они признают, что законы спроса и предложения имеют универсальное значение. Правда, они не отрицают, что в условиях свободного воспроизводства в течение длительных периодов цены тяготеют к издержкам производства (cost); но уровень последних в свою очередь определяется по принципу спроса и предложения. Поэтому, с точки зрения субъективизма, в лучшем случае можно противопоставлять цены, устанавливающиеся в течение краткого и длительного периодов (как это делает, например, Маршалль). Существеннейшее значение имеет то обстоятельство, что различие между этими ценами носит не качественный, а количественный

¹ К числу теоретиков, отрицающих ценность, можно, кроме Струве, причислить еще ряд французских экономистов, например, Aupetit («Essai sur la théorie générale de la monnaie», стр. 85), Brouilhet («Précis d'économie politique», 1912, стр. 499), Briot («L'économie raisonnée», 1922, стр. 33-34, цитирую по статье Piron в сборнике «Wirtschaftstheorie der Gegenwart», 1927, стр. 78).

² Один из новейших критиков Маркса Мус видит серьезнейший дефект теории Маркса в том, что величина цены не приравнивается ценности («Anti Marx Betrachtungen über den innern Aufbau der Marxschen Ökonomik», I Band, 1927, 11 kop.).

характер. Поэтому самостоятельное существование особой категории ценности, отличной от цен, теряет всякий смысл.

Правда, можно указать, что австрийцы не отбрасывают термина ценность (Wert). Но у них последний приобретает особый смысл. Теория 'объективной' ценности австрийцев фактически дает только анализ рыночных цен. Различие, которое Бем-Баверк проводит между меновой ценностью и ценой столь несущественно, что от него можно абстрагироваться. Термин ценность сохраняет особое значение в теории субъективной ценности австрийцев. У последних различие между ценой и ценностью получает другой смысл, чем у классиков. Это различие между двумя данными категориями австрийцы сводят к тому, что цены могут зависеть от цен; между тем, субъективная ценность представляет собою конечное основание цен, которое уже не зависит от существующей системы цен. Это различие связано с основной тенденцией австрийцев дать законченную и строго последовательную теорию цен. Новейшие субъективисты отвергают эту тенденцию. Они стоят на той позиции, что цена всегда зависит от цен и что никакого спасения из этого круга нет. Задача экономиста сводится лишь к выяснению взаимозависимости, существующей между различными категориями. В связи с этим самостоятельная категория ценности теряет всякий смысл.

10

Нам остается еще остановиться на теории капитализации Вальраса. Поскольку эта теория представляет нагромождение тех же ошибок, что и теория производства, наше изложение будет очень кратким.

Теория капитализации является завершением экономической системы Вальраса. Первый отдел этой системы—теория обмена. Она дает ответ на вопрос об определении цены потребительских благ. Но этот ответ не является окончательным, ибо сейчас же всплывает вопрос об источниках потребительских благ. Отсюда переход к вопросу о производительных услугах, т.е. к теории производства. Но производительные услуги, в свою очередь—по Вальрасу—являются продуктами соответствующих капиталов. В связи с этим, всплывает проблема об определении цены капиталов. Эту проблему пытается разрешить теория капитализации. С первого взгляда может показаться, что теория капитализации Вальраса опрокидывает его теорию производства в такой же степени, как и теория производства разрушает теорию обмена. Последняя, как известно, базировалась на предпосылке, что запас потребительских благ является постоянным. Теория производительных благ разрушила эту предпосылку. Она определила цены потребительских благ на основании издержек производства. Теория производства перенесла идею неизменных запасов из области потребительских благ в область производительных благ. Производительные услуги (services) Вальрас рассматривает, как продукты соответствующих капиталов. Поэтому может получиться вывод, что, обращаясь к анализу образования и движения капиталов, Вальрас отказался

от основной предпосылки своей теории производства. Такой вывод был бы неверен потому, что Вальрас объясняет производство новых капиталов на основании использования существующих производительных благ и производительных услуг. Каждый капиталист, по мнению Вальраса, расходует на потребление определенную сумму, которая обычно не равна его доходу, определяемому на основании цен проданных услуг. Поэтому возможны 3 случая: а) потребление равно, по своей ценностной величине, проданным услугам; в этом случае невозможно образование новых капиталов; б) потребление больше проданных услуг; в этом случае происходит «проедание» капиталов, уменьшение их количества; в) потребление меньше проданных услуг; разность между этими двумя величинами есть источник образования новых капиталов.

Основная задача теории капитализации носит, поэтому, весьма скромный характер. Эта задача заключается в объяснении цен капиталов, в отличие от цен услуг. Поэтому эта теория не вносит никаких принципиальных изменений и никаких новых положений в общую теорию Вальраса.

Этот факт может быть очень легко объяснен на основании теории Касселя (поскольку последняя дает наиболее отчетливую формулировку скрытых предпосылок теории Вальраса). Согласно теории производства, количество и величина производительных услуг зависит от количества и величины капиталов, при чем последние подразделяются на земельные, личные и движимые. Первые две категории для определенного периода могут рассматриваться, как невоспроизводимые, имеющиеся в определенном и ограниченном количестве. Поэтому количества этих производительных услуг тоже являются ограниченными. Услуги земельных и личных капиталов Вальраса соответствуют первичным производственным благам Касселя. Движимые капиталы Вальраса соответствуют вторичным производственным благам Касселя. Количество этих капиталов, а, следовательно, и вытекающих из последних производственных услуг, может быть увеличено, но за счет затраты других производственных услуг. Услуги движимых капиталов могут быть сведены—по Вальрасу—к другим услугам. Между тем, как услуги капиталов земельных и личных не поддаются такому разложению. Отсюда вытекает, что в основе теории капитализации лежат услуги (*services*) первых двух категорий капиталов, которые имеются в ограниченном количестве.

Этим объясняется тот факт, что хотя теория капитализации Вальраса вносит новое условие о возможности изменения количества капиталов и, следовательно, произведенных ими услуг и тем самым отрицает предпосылку теории производства, на самом деле сохраняет все выводы последней. Теория капитализации пытается объяснить цены капиталов при условии, что количество производственных услуг, в конечном счете, остается постоянным. Теория капитализации Вальраса есть лишь новое повторение старых ошибок. Поэтому мы остановимся лишь вкратце на рассмотрении этой теории.

Согласно Вальрасу, цена капитала определяется следующим образом¹: «Цена капитала зависит, по существу, от цены услуг, т.-е. от дохода. Мы изменяем здесь несколько смысл слова доход, выражая им цену услуги, а не только услугу самой по себе».

Цены услуг, в свою очередь, состоят из 3 элементов. Необходимо, прежде всего, отличать валовой доход от чистого. Отдельные капиталы изнашиваются в разной степени. Имеются такие капиталы, которые вовсе не уничтожаются, напр., земельные. Но для большинства из них из валового дохода приходится вычитать расходы, необходимые для поддержания капиталов в прежнем виде. Эти расходы необходимы для амортизации капиталов. Их (расходы) Вальрас называет *prime d'amortissement*². К амортизационным расходам необходимо причислить еще страховую премию, вытекающую из различной степени риска для отдельных предприятий. Эти расходы Вальрас называет «*prime d'assurance*»³.

Если эти оба расхода вычесть из валового дохода, то получим чистый доход—*le revenu net*.

«Пусть P будет цена капитала; пусть p будет цена услуг, включая две премии: амортизационную и страховую или валовой доход. Пусть μP будет часть этого дохода, представляющая амортизационную премию, νP —часть, представляющая страховую премию. Остаток валового дохода, после вычитания этих двух премий, которые обозначим через $\pi = p - (\mu + \nu) P$, будет чистым доходом. Теперь ясно, что разные валовые доходы возможны при равных капиталах, или, другими словами, разные капиталы возможны при одном и том же валовом доходе. Но ясно также, что цена капитала строго пропорциональна чистому доходу. Так по крайней мере должно быть при известном нормальном и идеальном состоянии, состоянии равновесия рынка капиталов. При этом состоянии отношение $\frac{p - (\mu + \nu) P}{P}$, или

норма чистого дохода, будет общим отношением (для всех капиталов. И. Б.). Обозначим это отношение через i ; определив последнее, мы определим цены всех капиталов, земельных, личных и движимых, посредством уравнения $p - (\mu + \nu) P = i P$ или $P = \frac{p}{i + \mu + \nu}$.

Необходимо, далее, отметить, что формула капитала Вальраса основана на смешении реальных и фиктивных капиталов. По Вальрасу—цена всех капиталов равна капитализированным чистым доходам. Различие между отдельными капиталами заключается только в том, что в иных случаях, кроме чистых доходов, включаются также и издержки по амортизации капитала и страховая премия. Так, цена земельного капитала $P = \frac{p}{i}$, цена личного капитала $Pp = \frac{p}{i}$, цена движимых

¹ *Éléments*, стр. 242.

² *Éléments*, стр. 243.

³ *Éléments*, стр. 243.

⁴ *Éléments*, стр. 243.

капиталов, или капиталов в собственном смысле $k, k', k'' \dots$ и т. д. будет:

$$P_k = \frac{p_k}{i + \mu_k + \nu_k}; \quad P_{k'} = \frac{p_{k'}}{i + \mu_{k'} + \nu_{k'}}; \quad P_{k''} = \frac{p_{k''}}{i + \mu_{k''} + \nu_{k''}} \quad \text{и т. д.}$$

Во всех этих формулах i пребывает неизменным. Под i Вальрас, очевидно, понимает не норму прибыли, а норму $\%_0$. Но тогда его теория должна быть признана ошибочной. Свойства, присущие только фиктивным капиталам (напр., кредитным) или цене земли, он распространяет на всякие капиталы. Источник ошибки Вальраса заключается в том, что он абстрагируется от предпринимательской прибыли. Поэтому, всякий капитал рассматривается, как ссудный, и цена его определяется на основании капитализации процентных денег, приносимых последним.

На ряду с этой формулой цены капитала, Вальрас дает другую — правильную формулу, основанную на принципе издержек производства. Согласно последней формуле, цена капитала определяется, как и цена всякого другого товара, т. е. на основании издержек производства. Если принять обозначения Вальраса для коэффициентов производства, то получим следующее уравнение¹:

$$P_k = k_1 p_1 + k_2 p_2 + k_3 p_3 + k_4 p_4 \dots$$

Вальрас не подозревает, что между этими 2 формулами цены капитала существует противоречие, что обе эти формулы охватывают 2 различных категории капитала: первая относится к фиктивным капиталам, которые не являются продуктами производства, а потому не подчиняются второй формуле; последняя распространяется только на сферу реальных капиталов, которые приносят прибыль, большую, чем $\%$ на капиталы, и поэтому не подчиняются 1 формуле. Достаточно сопоставить формулы P_i и P_k , чтобы убедиться в наличии противоречия в этих формулах, которые вытекают из смешения фиктивного и реального капитала. Формула $P_i = \frac{p_i}{i}$

есть выражение того факта, что цена земли равна капитализированной ренте. Капитализация, в данном случае, происходит из учета не средней прибыли, а среднего процента. Формула $P_k = \frac{\pi_k}{i}$ правильна была бы лишь для того случая, если под i понимать среднюю норму прибыли. Потому что средняя масса прибыли π_k определяется на основании величины капитала и средней нормы прибыли — i . Поэтому, если бы Вальрас захотел дать верное отражение действительности, то он должен был дать i в этих обоих случаях различное значение. Вальрас этого, очевидно, не имел в виду. У него i всюду означает лишь средний процент. Это вытекает из общей концепции нашего автора о том, что всякий капитал (движимый) может рассматриваться, как ссудный капитал.

Даже если отбросить это противоречие между данными формулами, то необходимо признать отсутствие у Вальраса определенного

¹ *Éléments*, стр. 247.

мнения по вопросу о том, какая из этих формул правильнее отражает процесс образования цен капиталов и нормы доходов или процента. Ведь в данном случае возможны два решения. С одной стороны, можно признать, что цена чистого дохода и величина капитала являются данными величинами, которые определяются независимо от нормы процента; например, можно признать, что цена капитала определяется издержками производства. С другой стороны, можно признать, что норма процента дана заранее и определяется своими законами; к ней приравнивается цена капитала. Очевидно, что в обоих случаях мы имеем совершенно различное решение данного вопроса. В одном случае решающее значение для объяснения цены капитала имеет формула $P_k = k_i p_i + k_p p_p + k_k p_k$, в другом случае решающее значение имеет формула $P_k = \frac{p_k}{i + \mu_k + \nu_k}$, другие формулы для каждого из этих случаев играют лишь вспомогательную роль. Они могут быть использованы для исчисления цены капитала на основании имеющихся данных, но не для объяснения процессов образования цен капиталов.

У Вальраса мы встречаем различное толкование взаимоотношений между обеими формулами. С одной стороны, он утверждает, что сама норма прибыли определяет высоту капитала. Так, например, он устанавливает следующий закон определения цен капиталов (*loi d'établissement des prix d'équilibre des capitaux neufs*)¹.

Для установления равновесия, по мнению Вальраса, нужны два условия: а) чтобы спрос и предложение новых капиталов, определяемых на основании их цены, были равны; б) чтобы продажная цена новых капиталов равнялась издержкам производства. «Если этого двойного равенства нет, то для того, чтобы получить первое равенство, необходимо повысить цену капитала путем понижения нормы чистых доходов, в случае превышения спроса над предложением, и понижения цены путем повышения нормы чистых доходов, в случае превышения предложения над спросом. В данном случае Вальрас предполагает, что всякие изменения цены капитала возможны лишь путем изменения средней нормы прибыли или, вернее, нормы процента. Через изменение последней — к изменению цен капиталов, такова основная идея Вальраса, которая проходит через его теорию *loi d'établissement*.

Эта же идея еще отчетливее выявлена в его законе изменения цен капиталов². «Цены капиталов, в условиях равновесия на рынке, равны отношению цен чистых доходов (*revenu nets*) к норме чистого дохода. Если, при прочих равных условиях, цена валового дохода (*le prix du revenu brut*) капитала увеличится или уменьшится, то цена капитала увеличится или уменьшится. Если норма амортизации (*la prime d'amortissement*) и страхового риска (*la prime d'assurance*) увеличится или уменьшится, то цена капитала увеличится или уменьшится. Если, при

¹ *Éléments*, стр. 24.

² *Éléments*, стр. 291.

прочих равных условиях; норма чистых доходов (*taux du revenu net*) увеличится или уменьшится, то цены всех капиталов уменьшатся или увеличатся».

Но, с другой стороны, у нашего автора имеются такие положения, которые заставляют сделать вывод о решающем значении издержек производства. Так, например, вторая часть его закона установления цен¹ гласит, что в случае несовпадения продажных цен капитала (*prix du vente*) с издержками производства (*prix du revient*) происходит увеличение предложения капитала, если продажные цены превышают издержки производства, и уменьшение предложения в обратном случае. Цена капиталов, определяемая издержками производства, следовательно, у Вальраса превращается в ту ось, вокруг которой вращаются рыночные цены, определяемые спросом и предложением, следовательно, нормой процента. Спрос и предложение сами, в конечном счете, определяются ценой равновесия, т.е. ценой, которая прежде всего зависит от издержек производства. Отсюда можно было бы сделать вывод о том, что процесс образования цен капиталов объясняет формула (или, вернее, выражает, констатирует, регистрирует):

$$P_k = K_i p_i + K_p p_p + K_k p_k + \dots$$

Это противоречие разрешается легко, если учесть доминирующую роль закона спроса и предложения в системе Вальраса. Цена капитала зависит от спроса и предложения капитала. Спрос зависит от дохода, приносимого капиталом, или от нормы процента. С другой стороны, предложение зависит от издержек производства капитала. Поэтому цена капитала устанавливается на таком уровне, при котором она равна капитализированному доходу и издержкам производства. Если цена капитала не будет равна капитализированному доходу, то изменится спрос на капитал; если эта цена не равна издержкам производства, то изменится предложение капитала. В обоих случаях произойдет нарушение цены капитала. Поэтому нужно учитывать и

формулу $P_k = \frac{P_k}{i + \mu_k + \nu_k}$ и формулу $P_k = K_i p_i + K_p p_p + K_k p_k + \dots$

Цена капитала—по Вальрасу—зависит от спроса на капитал и предложения. Остается задача определить законы спроса и предложения капиталов. Эту задачу Вальрас отождествляет с проблемой определения факторов, регулирующих рост сбережений и потребление сбережений.

Величину сбережения (*épargne*), которая обменивается на новые капиталы, определить очень легко, по мнению Вальраса. Для этого достаточно из доходов капиталистов вычесть их расходы. Аналитически это сбережение будет выражаться следующим образом (если за основу принять не предпринимателей, а капиталистов, продающих услуги и покупающих продукты):

$$e = O_i P_i + \dots + O_p P_p + \dots + O_k P_k + \dots + O_k'' P_k'' - (d_a'' + d_b P_b + d_c P_c + d_d P_d + \dots)$$

Допустим, что e будет равно всему общественному сбережению. Согласно Вальрасу, это e должно равняться сумме всех новых капиталов. Если, например, в течение данного периода произведены капиталы $K, K', K'',$ то мы получим следующую формулу ¹:

$$e = D_K P_K + D_{K'} P_{K'} + D_{K''} P_{K''} + \dots$$

Величина сбережений имеет, таким образом, решающее значение в теории капитализации Вальраса, ибо эта величина определяет интенсивность процесса образования новых капиталов. Но от чего же зависит величина e ? Какие законы регулируют ее образование? Этот вопрос должен занимать центральное место в теории нашего автора. Ответа на вопрос он ищет в теории предельной полезности, в своей формуле пропорциональности предельных полезностей и цен.

Вальрас исходит из того, что всякий субъект, который сберегает, стремится получить максимум полезности. В процессе сбережения, по мнению нашего автора, образуется особый товар—чистый доход (revenu net). Цена этого товара (обозначаемого буквой e) определяется по принципу капитализации. Поэтому цену e Вальрас приравнивает $\frac{1}{r}$. Процесс сбережения, по мнению нашего автора, про-

исходит до тех пор, пока устанавливается пропорциональность предельных полезностей и цен всех товаров (включая и чистый доход) т.-е. пока устанавливается соотношение — $R_c : R_b = P_c : P_b$. Итак, ларчик очень просто раскрывается. К общему сонму потребительских благ, которые благоденствуют под эгидой вальрасовских формул, присоединяется еще один новоиспеченный член—сбережение. Последнее облекается в сан потребительского блага и в связи с этим получает все права и привилегии, присвоенные этому званию.

С места в карьер Вальрас подчиняет этого нового пришельца своей универсальной формуле: $\varphi_c(q_c + d_c) = P_c \varphi_n(d_n)$. А отсюда один шаг до формулы $d_c = f_c(P_1 \dots P_p \dots P_K, P_{K'}, P_{K''}, P_b, P_c, P_d \dots)$, а для всего общественного сбережения:

$$D_c = F_c(P_1 \dots P_p \dots P_K, P_{K'}, P_{K''}, P_b, P_c, P_d \dots).$$

Итак, задача блестяще разрешена. Норма "о" поймана на удочку, она выводится из величины спроса и предложение e , а последняя—из общих психологических принципов предельной полезности. В результате, и волки капиталистической действительности—сыты, и овцы предельной полезности остаются целыми. Принцип предельной полезности, принцип, выведенный первоначально для индивидуального потребления, трансформируется по мере развертывания системы Вальраса, он превращается в губку, которая все впитывает в себя. По мере этого дух субъективизма отлетает от этих принципов. Последние превращаются в бессодержательную форму. В формуле $\varphi_c(q_c + d_c) = P_c \varphi_n(d_n)$ потребительная ценность и полезность совершенно отсутствуют; перед

нами выступает психология капиталиста в чистом виде, — его интересует лишь меновая ценность товаров. Здесь нет ни грана потребления. Но Вальраса это несколько не трогает. Пусть меняется действительность. Пусть радикальнейшим образом эволюционирует психология. Пусть исчезнет вселенная... Лишь бы остались формулы. *Circulos non tangere*.

Основные идеи теории капитализации Вальраса выражены аналитически в виде системы уравнений. Поскольку эта система представляет собою развернутую систему уравнений производства, мы не будем приводить этой системы и заниматься критическим ее рассмотрением. Отметим лишь, что эта система состоит из 8 групп уравнений, из которых четыре группы приводились в теории производства, а четыре дополнительных группы выражают: а) зависимость цены новых капиталов от нормы прибыли; б) зависимость цены новых капиталов от издержек производства; в) зависимость величины сбережений (E) от цен всех товаров и г) равенство E в сумме новых капиталов.

Ограничимся лишь, в заключение, рассмотрением теоремы о максимальной полезности. Последняя представляет интерес потому, что своего кульминационного пункта эта типическая особенность вальрасовского метода — смешивать в одну кучу разнороднейшие экономические категории — достигает в его теореме о максимальной полезности.

Теорема о том, что необходимым условием максимума полезности является установление средней или равной нормы прибыли, представляет собою заключительный аккорд теоретико-экономической работы Вальраса. Эта теорема с наибольшей яркостью выявляет основную тенденцию нашего экономиста — подчинить товарно-капиталистическое производство тем же принципам, что и натуральное. Эту тенденцию мы проследили в теории обмена. Но там она существовала в неявной, скрытой форме. Там можно было лишь косвенным путем установить, что Вальрас, по существу, неорганизованное хозяйство подменил организованным. Но то, что было неявным в теории обмена, становится явным в теории капитализации, ибо Вальрас совершенно определенно заявляет, что он имеет в виду распределение общественного капитала между отдельными сферами производства. Это распределение должно быть так произведено, чтобы все общество получило максимум полезности. А для того, чтобы наступило это рациональное идеальное или нормальное распределение капитала, необходимо, чтобы норма прибыли (или процента) была равна для всех капиталов.

Основная идея этих теорем выражена в следующем положении Вальраса: ¹ «Я покажу дальше, что это выражение равенства отношений чистых доходов к ценам новых капиталов есть, с известной оговоркой, условие максимума полезности услуг новых капиталов, которые получают от распределения обществом излишка доходов над потреблением между различными видами капитализации (т. е. между различными формами использования этого излишка для образования новых капиталов. II. B.). Ибо, если бы отсутствовало это

¹ *Éléments*, стр. 283.

условие (равенства норм прибыли. *И. Б.*), то было бы выгодно производить в меньшем количестве те капиталы, которые дают меньшую прибыль, и в большем количестве те капиталы, которые приносят более высокую прибыль».

В другом месте Вальрас еще отчетливее заявляет о том, что принцип максимума полезности в теории капитализации получает совершенно другой смысл, чем в теории обмена и производства. Из принципа, регулирующего индивидуальное потребление и производство, тенденция к получению максимума полезности превращается в принцип, регулирующий общественное производство. «Я обещал,—пишет Вальрас¹,—доказать, что условие равенства отношений чистых доходов к цене новых капиталов, с известными оговорками, есть условие максимума полезности услуг новых капиталов при употреблении общественного излишка дохода над потреблением, подобно тому, как равенство отношений предельных полезностей к ценам услуг и продуктов есть условие максимума полезности услуг и продуктов при употреблении индивидуальных доходов». Следовательно, максимуму полезности, который получается в пределах индивидуального хозяйства. Вальрас противопоставляет максимум полезности, который получается в общественном масштабе.

Вальрас, формулируя свою теорию капитализации, говорил о максимуме полезности не с точки зрения отдельных субъектов, а с точки зрения всего общества. Капитализацию наш автор рассматривает, как процесс наиболее рациональной трансформации имеющегося у общества излишков в капиталы, с точки зрения получения максимума полезности. «Капитализация на рынке,—пишет Вальрас²,—подчиняющемуся режиму свободной конкуренции, является процессом, посредством которого избыток дохода над потреблением может превращаться в новые, строго говоря, капиталы такого качества и в таком количестве, которые способны дать наибольшее возможное удовлетворение потребностей личностей, совершивших сбережение, и общества, потребляющего доходы новых капиталов».

Вальрас, таким образом, фактически сближает организованное производство с неорганизованным. Об идейных корнях этого сближения мы говорили выше. Здесь необходимо внести следующие дополнительные замечания. Прежде всего, необходимо заметить, что различным представителям субъективной школы свойственна тенденция сближения законов индивидуального хозяйства и народного в том специфическом смысле, какой обычно дается этому термину.

Следовательно, попытка вывести закон средней нормы прибыли из анализа условий максимума полезности для всего товарного общества в целом может рассматриваться, как частный случай общей тенденции, характеризующий математическую школу. Между тем, Вальрас рассматривает свое положение, как открытие, которое можно сопоставить с учением Ньютона о всемирном тяготении³.

¹ *Eléments*, стр. 275.

² *Eléments*, стр. 286.

³ *Ibidem*.

«С одной стороны, максимальная эффективная полезность, с другой стороны—единица цены, будь то продукты на рынке продуктов, услуги на рынке услуг или чистого дохода на рынке капиталов,—таково, следовательно, всегда двойное условие, согласно которому сам по себе стремится организаться мир экономических интересов подобно тому, как мир астрономических движений сам по себе стремится организаться, согласно двойному условию притяжения, прямо пропорциональному массам и обратно пропорциональному квадрату расстояния. Как в одном, так и в другом случае двухчленная формула заключает в себе всю теорию и дает объяснение бесчисленному множеству единичных явлений».

Система Вальраса характеризуется глубоким противоречием, которое проходит через все его учение и накладывает особый отпечаток на последнее. В теории Вальраса скрещиваются две тенденции. С одной стороны, Вальрас пытается дать анализ равновесия на базе теории взаимодействия, которая лежит в основе всякой теории спроса и предложения. С другой стороны, Вальрас пытается найти единое конечное основание цен, которое он видит в предельной полезности. Плюралистическая теория взаимодействия пересекается с монистической теорией предельной полезности. Отсюда ряд точек соприкосновения у Вальраса, с одной стороны, с австрийцами, а с другой стороны, с позднейшими математиками, которые значительно сузили роль предельной полезности. Тенденция к построению монистической теории объясняет нам целый ряд особенностей учения Вальраса. Эта тенденция объясняет, почему Вальрас начинает свой анализ с рассмотрения примитивного обмена излишками в условиях отсутствующего производства. Точно так же этим объясняются попытки Вальраса свести изменения функций спроса к изменениям функций полезности, обоснования решающего значения тенденции к получению максимума полезности для всех производителей, сближения организованного и неорганизованного производства. Чем дальше Вальрас отходит от примитивного потребительского хозяйства, тем резче и глубже становится основное противоречие в теории Вальраса. Когда последний переходит к построению теории капитализации, это противоречие резко выпячивается наружу. Становится очевидным, что теория доминирующей роли предельной полезности представляет собою лишь нарос на теле теории взаимодействия потребительских и производственных моментов. Вальрас стоит, таким образом, на распутьи двух теорий. Бем-Баверк и Кассель представляют собою представителей двух теорий, которые имеют свою опору в учении Вальраса. Но из этих двух тенденций, которые сталкиваются в теории Вальраса, более сильной является та, которая нашла себе наиболее законченное выражение в теории Касселя. Последняя представляет собою очищенную от излишнего психологического балласта, упрощенную и уточненную теорию Вальраса. В этом заключается значение учения Касселя, которое позволяет нам обнажить наиболее существенные элементы теории Вальраса, скрытые под глубоким пластом психологизма.

И. Блюмин

ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

(Германия 1914—1918 гг.)¹

Вопрос об экономической природе той системы хозяйства, которая сложилась в крупнейших капиталистических странах в эпоху империалистической войны, представляет для нас интерес с нескольких различных точек зрения.

1. В современной обстановке проблемы подготовки и приспособления хозяйства к условиям войны становится весьма актуальными.

2. Военная система хозяйства (в особенности, в Германии) дает известный материал для сопоставления с опытом нашего хозяйственного строительства, поскольку воюющие государства вынуждены были идти на весьма широкое внедрение плановых начал регулирования в стихийный ход развития капиталистической экономики.

3. Теория постепенного «улучшения» капитализма, преодоления анархии производства путем плановой организации в рамках товарно-капиталистической системы превратилась сейчас в положительную программу социалдемократии.

4. Наконец, анализ этого своеобразного этапа капиталистического хозяйства имеет существенное значение для уяснения природы монополистического капитализма.

В литературе, посвященной экономике мировой войны, мы находим весьма разнородные оценки сущности военной системы хозяйства. Если обсуждение первых мероприятий государственной власти не выходит еще в большинстве случаев за рамки отдельных конкретных предложений, то уже к концу первого года войны, по мере того, как эти разрозненные мероприятия начинают приобретать характер принципиальных изменений в структуре капиталистического хозяйства, разворачивается широкая дискуссия о характере и природе изменений, внесенных войной в экономику капиталистических стран. Решительное вмешательство государственно-административного аппарата в сферу обращения и производства, попытки подчинить интересы конкурирующих предпринимателей централизованному плановому регулированию, значительная урезка «свободы действий» торгового и промышленного капитала вызывает, с одной стороны, восторженные

¹ См. «Вестник Комм. Академии», кн. 19.

похвалы потерянной системе «свободной инициативы и рыночной игры сил» и ожесточенные нападки на ужасы государственного социализма. С противоположной стороны, военная система хозяйства оценивается как прообраз и начало будущего хозяйственного строя.

«Прошлое исчезло безвозвратно; если оно было раем, то этот рай уже потерян...»¹.

«Война окончательно уничтожает свободу (Ungebundenheit) частного хозяйства и подготавливает грядущие формы общественного хозяйства (Gemeinwirtschaft), показав нам, что экономические вопросы цивилизованного государства являются делом общества, а не отдельных лиц»². Так оценивает миссию войны один из вдохновителей и наиболее последовательных теоретиков военной системы хозяйства, Вальтер Ратенау. В своих многочисленных произведениях он находит достаточно ярких и образных выражений для критики той огромной непроизводительной затраты общественного труда и ценностей, которая вызывается неорганизованностью, анархичностью капиталистического хозяйственного строя³. Вооруженный современными техническими познаниями, крупный практик-организатор хозяйства, он прекрасно видел противоречия между достигнутым уровнем производительных сил и анархической, раздираемой конкурентной борьбой хозяйственной системой. «Мы смеемся над анекдотом о человеке, который хотел приобрести пушку для того, чтобы стать самостоятельным и независимым от военной организации»⁴ — говорит он; никому не придет в голову требовать для своих личных нужд железнодорожную магистраль или телефонную сеть или же учредить собственную систему суда. Но почему то считается бесспорным и очевидным, что хозяйство, от которого зависит все наше благополучие, наша цивилизация и мощь, может существовать лишь на основе свободной конкуренции и неограниченной борьбы каждого против всех».

Однако если в критике противоречий и расточительности капиталистического хозяйства Ратенау порой возвышается до подлинного пафоса, напоминающего социалистов-утопистов, то его положительная программа отнюдь не блещет ясностью и определенностью. Он ограничивается большей частью общими сентиментальными декларациями, вроде того, что «грядущий хозяйственный строй будет, подобно существующему, основан на частном хозяйстве, урегулированном и ограниченном в своей свободе. Он будет также проникнут общественной волей, как проникнуто ею в настоящее время всякое коллективное творчество, за исключением области хозяйства. Он будет построен на морали и ответственности, облагораживающей всякое служение обществу и т. д.». За причудливым отсутствием системы, приступами довольно дешевого романтизма и сентиментальными рассуждениями

¹ Rathenau, Walter: «Neue Wirtschaft», стр. 24.

² Rathenau, W. «Von kommenden Dingen», Berlin, 1917, стр. 277.

³ Rathenau, W. «Probleme der Friedenswirtschaft», 1917, стр. 37—38; «Von kommenden Dingen», стр. 137; «Neue Wirtschaft», стр. 47, 74 и т. д.

⁴ Rathenau, W. Neue Wirtschaft, стр. 27.

об этике, немецком народе и т. д. кроется в основном теория «организованного» планового капиталистического хозяйства. Ратенау неоднократно подчеркивает, что проектируемый им хозяйственный строй, основы которого заложены в военной системе, отнюдь не предполагает устранение частной собственности на орудия производства¹. В сущности вся новизна проектируемой Ратенау хозяйственной системы сводится у него, главным образом, к превращению государства в орган наблюдения и регулирования частно-капиталистического хозяйства.

«Для государства важно постоянно наблюдать и следить за тем, как и что производится в его областях, какими благами оно располагает, что потребляется и воссоздается... Государству безразлично, затрачиваются ли бесполезно помещения, рабочая сила и орудия, оно заботится о том, чтобы возможно более экономно расходовать и пополнять запасы привозного сырья и вспомогательных материалов, планомерно заготавливать и распределять их. Капитал, рабочая сила и материалы не становятся, правда, *собственностью* общества, согласно социалистическому рецепту; однако, они *доверяются общественному наблюдению*»². «Государство становится движущим центром всей хозяйственной жизни; вся общественная деятельность протекает при его участии и по его воле; оно располагает силами и средствами своих членов и большей свободой, нежели старые поместные власти; к нем притекает большая часть хозяйственных излишков; в нем олицетворяется благосостояние страны»³.

Тщетно мы стали бы искать у Ратенау дальнейших, более точных указаний о принципах построения новой хозяйственной системы. Зато он со всей тщательностью отгораживает свою систему от «ужасов коммунистической казармы» и находит рецепт смягчения классовых противоречий в ... прекращении производства и ввоза предметов роскоши, ограничении права наследования и улучшении системы народного образования⁴. Отмежевываясь от социалистической доктрины, автор предпочитает общее и расплывчатое определение системы хозяйства, возникшей в мировой войне: он называет ее «общественным хозяйством». Нетрудно, однако, заметить классовое содержание, как его оценки военного хозяйства, так и развиваемого им на основе военного опыта идеала будущего строя. Мировая война колоссально ускорила свойственную капитализму империалистической эпохи тенденцию к сращиванию монополистического хозяйства с государством. Задачи

¹ «Новое хозяйство не будет, как мы видели, государственным хозяйством; это будет частное хозяйство, предоставленное гражданской решимости его членов, хозяйство, которое, однако, будет нуждаться в соучастии государства для преодоления внутренних трений и усиления своей мощи и производительности. Но это соучастие государства не будет импровизированным (на подобие военного хозяйства); оно также не будет довольствоваться любыми случайными мерами, тем более такими, которые еще не приобрели, либо уже утратили свое естественное действие», «*Neue Wirtschaft*», стр. 75.

² «*Von kommenden Dingen*», стр. 280.

³ *Ibidem*, стр. 242.

⁴ *Ibidem*, стр. 131.

удовлетворения военных потребностей вступили в известный конфликт с противоречивыми интересами отдельных групп капиталистов. Государство, как высший орган буржуазного общества, вынуждено было выступить на защиту общих интересов господствующего класса в целом, вопреки и наперекор устремлениям отдельных его прослоек. Колоссальное усиление внутренних противоречий капиталистического хозяйства обнажило инстинкт самосохранения, охраны существующего уклада. Вальтер Ратенау в своей теории военного хозяйства, как прообраза «организованного капитализма» дал лишь обобщенное выражение этому стихийному акту самозащиты—сращиванию капиталистического хозяйственного аппарата с государством.

Таким образом, в концепции Ратенау мы имеем, несмотря на отсутствие соответствующих дефиниций, наиболее последовательную оценку военной системы хозяйства, как формы *государственного капитализма*.

Мы остановились на теории военного хозяйства Вальтера Ратенау, как на наиболее ярком образчике идеи организационного улучшения капитализма, довольно широко распространенной среди экономистов и практических деятелей-хозяйственников. Исходившие из этих кругов неумеренные восхваления исторической миссии войны, открывшей новый период излечения всех зол капитализма и разрешения классовых противоречий, в то же время довольно ловко использовались для целей милитаристической пропаганды и оправдания войны в глазах широких масс. В отличие от огромного большинства подобных произведений¹, ограничивающихся самой общей и туманной патристической болтовней, Ратенау в своих статьях и брошюрах указывает не только содержание хозяйственных преобразований, заложенных в военных условиях, но и предполагаемые формы их распространения и превращения в новый хозяйственный строй. Сращивание государства с капиталистическими предприятиями в военном хозяйстве происходило путем организации смешанных государственно-капиталистических объединений, в которых официальным представителям власти были обеспечены административно-регулирующие права. Правда, в условиях военной нужды, недостатка важнейших видов сырья, рабочей силы, полной централизации сбыта, эти смешанно-капиталистические объединения постепенно теряли свой характер добровольных организаций предпринимателей. Однако, именно эта форма сращивания государства с капиталистическим хозяйством—через организацию смешанных объединений предпринимателей, сохраняющих частное владение средствами производства при государственном регулировании процессов производства и распределения, и является, по его мнению, основным путем преобразования капитализма. Ратенау рассматривает также вопрос о законности такого расширительного толкования военных форм организации хозяйства. Он говорит:

¹ Ратенау отнюдь не может быть причислен к числу пацифистов. Однако его империализм классно осознан и аргументирован с заслуживающей похвалы откровенностью, что выгодно отличает его от многих и многих собратьев по оружию.

«Теперь, подходя критически к вопросу, могут нас спросить, не делаем ли мы в данном случае из нужды добродетель, не считаем ли мы органическими ценностями те новые формы жизни, к которым приходится прибегать лишь в виду необычайных затруднений, но которые, пожалуй, могут быть заменены более легкими средствами.

История не пользуется сослагательным наклонением, она говорит о том, что есть и что было, а не о том, что могло бы быть. Мы знаем, что эти новые формы создались и что, следовательно, они имеют смысл; там же, где смысла еще нет, мы должны его найти. Смысл же заключается в том, что, благодаря войне, созрело то, что иначе должно было созреть в течение десятилетий и столетий»¹.

Таким образом, Ратенау правильно уловил смысл военных преобразований, как естественного продолжения исторически заложенных в развитии монополистического капитализма тенденций, которые война лишь колоссально ускорила и довела до некоторого логического завершения². В этом смысле рассмотренная оценка военной системы хозяйства представляется одной из наиболее трезвых и обоснованных. Несмотря на свою ясную классовую установку, или, быть может, именно благодаря ей, Ратенау правильно оценил военные опыты, как новую форму монополистического капитализма, естественно вытекающую из исторического хода его развития. Концепция Ратенау любопытна, именно, как продукт борьбы двух противоположных устремлений. Его, как мы видели, отнюдь нельзя заподозрить в симпатиях к идеалу социалистического переустройства общества. Как крупный техник и организатор хозяйства, он лишь обобщает стремление к устранению неорганизованности и хаотичности капитализма, противоречащих развитию производительных сил, вступающих в конфликт с задачами дальнейшего целесообразного развития общественной техники. Но эти широкие реформаторские устремления вступают в противоречие с его классовой природой. Как типичный, хотя и весьма прогрессивный и сознательный представитель своего класса, он не может отказаться от частного присвоения, частно-собственнической основы капиталистического хозяйства—этого решающего препятствия на пути сознательного, планомерно-организованного развития производительных сил. Он пытается примирить непримиримое, добиться плановой рациональной организации хозяйства в рамках и на основе капиталистических форм распределения средств производства и дохода. Отсюда утопический характер его положительной программы, отсюда же и личные неудачи его практических попыток осуществления плановой реформы в военном хозяйстве. Его физическая смерть от руки

¹ «Neue Wirtschaft», стр. 85.

² Ясное понимание исторически-необходимого характера военных форм видно также из следующего замечания Ратенау: «Самое же поразительное, однако, на что мы должны указать, заключается в том, что это общее расширение ответственности и вмешательства государства *протекли, о само собой* (курсив наш. Л. Х.) что оно не вытекало из единого общего плана, но возникало в областях, где оно было наиболее необходимо, опиралось в своей работе на недостаточный и неподходящий человеческий материал, и все же имело успех». Ibidem, стр. 76.

приверженцев его же класса характерна для судьбы целого течения, преимущественно в рядах крупной технической интеллигенции, апеллирующей к разуму анархического, иррационального хозяйственного строя во имя освобождения производительных сил.

Во всяком случае, как теоретик государственного капитализма Ратенау стоит много выше тех многочисленных представителей катедер-социализма и официальной социалдемократии, которые широко использовали опыт военного социализма для болтовни о наступлении «новой эры социального мира» и откровенной социал-патриотической апологетики империалистической войны.

Если уже в прежние времена каждая частичная уступка рабочему классу, каждое скромное нововведение в области коммунального и государственного хозяйства изображались катедер-социалистами как шаг к осуществлению «справедливого строя общности интересов», то достаточно было первых шагов германского правительства в области милитаризации хозяйства для провозглашения новой эпохи «государственного социализма». «Благодаря войне мы стали в большей степени, чем прежде (!), социалистическим обществом» — заявляет Пленге¹. Уставы возникших в военной Германии акционерных обществ для распределения сырья и заказов, как известно, декларировали отказ от целей извлечения прибыли и ограничивали дивиденды акционеров скромными пятью процентами. Это нововведение, смысл и происхождение которого рассматривалось нами в предыдущей статье, и служит основным аргументом катедер-социалистов в пользу государственно-социалистического характера военного хозяйства. Оно рассматривается как «преодоление духа наживы»². «Новая, возникающая в военных условиях система организация хозяйства, оказывается, построена не на извлечении прибыли, а на «принципе вознаграждения по заслугам» (Leistungsprinzip). Это означает конец капитализма, возвращение к царству «старого германского духа». Апелляции к «социальному духу» германского народа, которому в отличие от греховной Англии, якобы искони присуще стремление к социализму и служению *для блага всех*, скрывают в большинстве подобного рода произведений недостаток экономического анализа сущности государственно-капиталистической системы. «Проблематичность государственного социализма сейчас исчезла. Вопрос заключается не в признании его, а в способах его осуществления» заявляет Георг Майер³.

¹ P l e n g e J o h a n n, «Der Krieg und die Volkswirtschaft», стр. 171.

² J a f f e E d g a r «Die Militarisation unseres Wirtschaftslebens». «Archiv für Sozialwissenschaft» Bd 40, 1915. Характерна также статья Spann'a «Ein Beitrag zur volkswirtschaftlichen Lehren des Krieges und der Kriegskosten», Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, III F., 50 Bd., 1915 II.

Наиболее систематически эта теория изложена в книге Goldscheida «Staatssozialismus oder Staatskapitalismus». См. также — Oppenheimer, Franz «Weltwirtschaft und Nationalwirtschaft», Berlin, 1915.

Автор известной утопии «Государство будущего» Баллод (Атлантикус) считал даже военные условия наиболее подходящими для осуществления его утопии. См. Ballod, «Einiges aus der Utopienliteratur», Grünbergs Archiv, VI Jahrg. H. I.

³ G e o r g v. M a y e r. «Staatssozialismus im Kriege und in Frieden». «Recht und Wirtschaft», октябрь 1915 г.

Естественно, что катедер-социалисты выступали защитниками наиболее радикальных мер на пути огосударствления хозяйства¹. Естественно также, что даже такие мероприятия, как огосударствление, милитаризация рабочей силы, лишение рабочего класса права стачек, борьбы за свое экономическое положение, создавшее форменную военную каторгу для массы трудящихся, изображается катедер-социалистами как один из устоев государственного социализма. Оценка военного опыта организации хозяйства прибавляет мало нового к марксистской характеристике этого реакционного течения.

Тем любопытнее, однако, трогательное единодушие правой социал-демократии с этими реакционными «христианскими социалистами» в оценке государственно-монополистического капитализма.

«4 августа 1914 года социализм вступил в эпоху практического осуществления»²—этот лозунг проходит красной нитью через множество статей в журнальной и повседневной прессе социалдемократии. Приведем несколько типичных выдержек. Монополия хлебной торговли—первое мероприятие социалистического характера в военной Германии,—пишет Эдмунд Фишер в органе крайних правых с.-д. «Sozialistische Monatshefte»³. «Германия представляет сейчас величайший хлебный кооператив (Eine Brotgenossenschaft grössten Stils). От ребенка до старца, от пролетария до миллионера (!), каждый член общества получает определенный хлебный паек. То обстоятельство, что хлеб покупается и продается, не уничтожает социалистического характера этого мероприятия». На фоне безудержного расцвета спекуляции продовольственными продуктами и медленного «организованного» голодного вымирания масс трудящихся это заявление звучит как прямое издевательство.

Для большей убедительности правые социалдемократические журналы «Die Glocke» и «Sozialistische Monatshefte» завели особую хронику хозяйственных событий под многообещающим заглавием «государственный социализм», где все мероприятия государственной власти тщательно регистрировались и учитывались в качестве «шагов к социализму». Естественно, что таких «шагов» набралось изрядное количество. Это не помешало с.-д. Августу Мюллеру и Юлиусу Калисскому выступить на защиту аграриев и «патриотических немецких крестьян»⁴, когда государство, подстрекаемое страхом голодных рабочих волнений, вынуждено было перейти к принудительному изъятию продовольственных излишков в деревне.

¹ Мы уже указывали в предыдущей статье на проект государственного регулирования каждого крестьянского хозяйства, предложенный Брентано. Этот маститый теоретик государственного социализма выступил в защиту своих предложений в любопытной брошюре: «Ist das System Brentano zusammengebrochen?» (Berlin, 1918).

² См. журн. «Die Glocke», 1917 г. стр. 53.

³ Edmund Fischer. «Die Sozialisierung des Brotes!» «Sozialistische Monatshefte», 1915, В II, стр. 575.

⁴ См. «Sozialistische Monatshefte», 1916, II, стр. 734, 1916, III, стр. 1152, и ряд др. статей Калисского и Шульца. («Produktionszwang oder Produktionsförderung?»).

Для оценки позиции правой с.-д. по отношению к государственно-монополистическим объединениям капиталистов характерны три статьи (Генриха Кунова, вождя профсоюза горнорабочих, Отто Гуэ, и Макса Шиппеля), изданные в сборнике «*Monopolfrage und Arbeiterklasse*»¹. Исторический путь развития взглядов социал-демократии на значение и роль капиталистических монополий авторы описывают в духе нескрываемой насмешки над революционными надеждами и традициями. Довоенная социал-демократия занимала позицию отрицания благотворной роли монополистического перерождения капитализма. В этом отрицании исторически неизбежного этапа в развитии капитализма несомненно проявлялось непонимание новой фазы—империализма и финансового капитала. Однако отказ от активной поддержки буржуазного государства, резкая критика реакционных утопий «государственного социализма» соответствовала революционным традициям социал-демократии лучших времен. Авторы указанного сборника, конечно, целиком «преодолели» эти революционные традиции. Монополистическое перерождение промышленности, срастание капитализма с буржуазным государством превращается для них в средство мирного, органического вrastания в социализм². Так как монополий по их мнению постепенно уничтожают анархию и распыленность капитализма, а государство, в свою очередь, эволюционирует в благоприятном для рабочего класса направлении, то «государственный социализм», государственная организация хозяйства становится важнейшим путем достижения социализма.

«Если на определенной степени развития за государством отрицалось право вмешательства в хозяйственную жизнь, то на более высокой степени развития и при наличии определенных предпосылок можно это право государству предоставить»³.

Монополистические объединения вносят порядок в капиталистическую анархию производства. Подчинение их государству обеспечивает направление производственной деятельности на «общепользные нужды» (*Gemeinnützen*). Остается лишь добиваться «демократизации» хозяйства, контроля со стороны рабочих организаций⁴ и путь к социалистическому преобразованию общества мирным способом обеспечен. Из такой концепции естественно вытекает и активное содействие буржуазному государству, вместо революционной борьбы и разрушения его, и неумеренные восторги по поводу всех «социалистических» мероприятий юнкерско-монархического правительства. Когда же,

¹ «*Monopolfrage und Arbeiterklasse*». Herausgegeben von W. Jansson. Berlin. 1917.

² «Рассмотренное выше решительное отрицание (монополий) со стороны древней партийной догмы практически было совершенно неосуществимо, ибо оно наталкивалось: во-первых, на все более ясное признание того факта, что высшая хозяйственная форма может быть создана не путем внезапного скачка, а лишь путем постепенного процесса преобразования; во-вторых, на опыт, показавший, что государство, само непрерывно подвержено изменениям в пользу большего участия и влияния организаций рабочего класса». Ibid., стр. 215.

³ Ibidem, стр. 216.

⁴ Ibidem, стр. 227.

защищая революционную фразу, Карл Каутский позволил себе непочтительное выражение по адресу «государственных социалистов», Пауль Умбрейт на страницах журнала «Die Glocke» парировал эту критику указанием на Лейпцигский официальный орган с.-д., открывший в продовольственных мероприятиях государства «великую социалистическую идею единой урегулированной организации народного хозяйства...»¹.

Понятно, что государство, которому приписывается такая великая миссия социалистической реорганизации общества, заслуживает и соответствующего обхождения со стороны рабочего класса. «После 4 августа 1914 года не может быть больше и речи об отрицании государства в духе Либкнехта и Гэда. Эта позиция была уже и прежде частично сдана Бебелем; сейчас она меньше, чем когда либо, может служить основой для практической политики рабочего класса. Государство, признание которого было засвидетельствовано такой высокой ценой, как жизнь многих и многих тысяч наших лучших кадров, не может быть больше игнорируемо в нашей практической политике»².

Откровенно-апологетическая позиция правой социал-демократии оценке государственно-монополистической системы хозяйства вряд ли нуждается в дальнейших пояснениях.

Нам остается лишь остановиться на наиболее обобщенном и систематизированном варианте этой концепции. Задача подведения теоретического «марксистскообразного» фундамента под оппортунистическую политику с.-д. выполнена в известном произведении австрийского вождя Карла Реннера «Марксизм; Война и Интернационал»³. Констатируя факт усиления роли государства в капиталистическом хозяйстве, Реннер дает следующее определение характерных особенностей этой новой фазы капитализма.

Сфера хозяйственного влияния государства значительно расширяется и выделяется среди всех остальных хозяйственных сфер и образует с внутренней стороны специфическое органическое единство»⁴...

«Частное хозяйство стало в известном смысле национальным хозяйством... Но на этой ступени взаимоотношения между государством и капиталом терпят решительные изменения... С этого момента организованный национальный капитал использует государственную власть как положительный экономический фактор... Империалистическая буржуазия сливается (*verschmelzt sich*) с государством. Таким образом,

¹ «Die Glocke», 1916, стр. 265:

«В пайковой системе, как и во многих других, хотя и далеко не достаточных мероприятиях, несомненно воплощается кусок коммунизма (*steckt unzweifelhaft ein Stück Kommunismus*). Merfeld. «Zum Sozialismus hin!». «Glocke», 1915, S. 399.

² «Monopolfrage und Arbeiterklasse», стр. 237.

³ K. Renner. «Marxismus, Krieg und Internationale. Kritische Studien über offene Probleme, des wissenschaftlichen und praktischen Sozialismus». Dietz, 1917.

⁴ Renner «Marxismus Krieg u. International», стр. 17, 19.

частный капитализм превратился в государственный капитализм или находится на пути к этому превращению»¹.

«Это огосударствление хозяйства (Durchstaatlichung der Wirtschaft) представляет специфическое отличие новейшего развития. В этом заключается радикальная новизна новой ступени развития, которую Маркс не переживал и не мог описать»². С другой стороны, происходит процесс «хозяйственного перерождения государственной власти» (Verwirtschaftlichung der Staatsgewalt). Дialeктика развития сказывается здесь в переходе от частного труда и частной собственности к общественной. Таким образом, происходит постепенное структурное изменение капитализма, внутреннее перерождение его, которое должно привести развитие хозяйства к «новой высшей форме».

Не трудно понять, что, ловко жонглируя марксистской терминологией, создавая видимость теоретического анализа, Реннер обходит центральную проблему внутренних структурных противоречий ее. Подчеркивая и выдвигая на передний план «органическое единство» капиталистического хозяйства в новой военной фазе, называя ее «концом эпохи индивидуализма», Реннер очищает путь для прямого логического вывода о возможности преодоления недостатков капиталистического строя по мере подчинения его организующей воле государства. Остается лишь, подобно авторам названного выше сборника, принять активное участие в этой положительной работе мирного преобразования капитализма и бороться за «хозяйственную демократию» и «общественный контроль» над монополистическими, огосударствленными капиталистами. «Революционная» практика австрийской социал-демократии в послевоенные годы достаточно последовательно увязана, как известно, с этой оппортунистической теорией новейшей фазы капитализма.

Следует отметить, что эта теория мирного вращивания в социализм через государственную организацию капиталистического хозяйства встречает возражения и в рядах социал-демократии, преимущественно ее левого крыла, озабоченного прикрытием оппортунистической натуры своих соратников.

«Сейчас широко распространено мнение,—говорит Каутский,—что капитализм, создавая банки и картели, сам организует социализм. Что пролетариат, к моменту достаточного развития этих организаций, сможет спокойно почить на ложе, приготовленном для него самими капиталистами, и что поэтому ему нечего делать попытки устроить себе свое ложе до того, как с этой задачей справятся капиталисты.

¹ Исследование перераспределения национального дохода между различными социальными группировками германского хозяйства в условиях войны вызывает у Эмилia Ледерера следующее возражение Реннеру: «Следовало бы говорить не об огосударствлении капитализма, но о возникновении новой экономической формации; в связи с концентрацией капитала и усилением отдельных групп предпринимателей происходит скорее капитализация государства» (Nicht Durchstaatlichung der Wirtschaft, sondern Durchkapitalisierung des Staates). «Die ökonomische Umschichtung im Kriege», журнал «Archiv für Sozialwissenschaft», 1918, № 45.

² Ibidem.

Это уютное представление о незаметном вращении в государство будущего, которое является результатом деятельности капиталистов и над созданием которого они ревностно трудятся, ведет к тому, что в качестве важнейшей задачи пролетариата выставляют поддержку класса капиталистов, как средство освобождения рабочего класса.

Это новейшее издание теории гармонии между трудом и капиталом дополняется еще тем, что одновременно считают, что государственная власть по мере роста ее хозяйственных функций все более проникается социальным духом, так что она лишает капитализм всех неприятных для пролетариата сторон, и он (капитализм) безо всякой пролетарской борьбы, путем саморазвития, переходит в чистый социализм. Пролетариату нечего более делать, как оказывать поддержку как капитализму, так и государству, и надеяться и ждать»¹.

В другой брошюре, посвященной критике военного издания «марксизма», новейшей теории вращения в социализм через военную организацию капитализма², Каутский без особого труда разоблачает оппортунистический характер этого *открытия социалистической миссии прусской юнкерской монархии*. Решительная критика правых реформистов, однако, прекрасно уживается в сказанных брошюрах с весьма неопределенной и путаной платформой центризма.

Густав Экштейн в ряде статей на тему о военном хозяйстве³ не менее решительно выступает против теорий о социалистическом характере военной системы регулирования. Он с удовлетворением констатирует, что «Schlagwort», боевое словечко—«военный социализм», которое одно время сильно волновало марксистов, уже совсем вышло из моды. И в этом нет ничего удивительного,—говорит он. Ведь применяемые в настоящее время методы продовольственного снабжения населения (а к ним-то, как это ни странно, главным образом и относилось это выражение) пользуются столь малой популярностью, что способны только компрометировать идею социализма, если их выдавать за «социалистические»⁴.

Он возражает против важнейшего аргумента правых реформистов в пользу социалистического характера военных преобразований; одно лишь усиление организованности в хозяйстве не может служить, по его мнению, доказательством «приближения социализма». Для ответа на этот вопрос необходимо установить: 1) «приближается ли хозяйство военного времени к типу натурального хозяйства, т.-е. к *общественно-организованному хозяйству для удовлетворения потребностей* (Bedarfsdeckungswirtschaft); и 2) будет ли движение в этом направлении продолжаться и после заключения мира?»⁵. Перечисляя важнейшие регулирующие мероприятия в области производства и обмена, Экштейн заявляет: «Мы являемся свидетелями великого пере-

¹ K. Kautsky, «Sozialdemokratische Bemerkungen für Uebergangswirtschaft», Leipzig, 1918, стр. 160.

² K. Kautsky, «Kriegsmarxismus. Eine theoretische Grundlegung der Politik des 4 August», Wien, 1918.

³ Gustav Ekstein, «Krieg und Sozialismus», «Neue Zeit», 1916, Bd. 2.

⁴ Цит. по русскому переводу: «Война и будущее народного хозяйства», изд. «Дело», 1917 г., 2-е издание, стр. 1.

⁵ Там же, стр. 7.

ворота во всей нашей хозяйственной жизни». Важнейшим фактом здесь является колоссальное значение государства в качестве основного заказчика индустрии и значительной части сельского хозяйства. Поскольку столь могущественный заказчик, как государство, располагает возможностью воздействовать на процесс производства и установление цен, хозяйство начинает приближаться к такому типу общественно-организованного хозяйства, целью которого является удовлетворение потребностей. Однако назвать это своеобразное удовлетворение «общественных» (следовало бы сказать, военных) потребностей социалистическим наш автор не решается. Для этого нужно было бы закрыть глаза на колоссальные прибыли промышленного капитала, на чрезвычайное усиление эксплуатации рабочего класса в условиях военной каторги. Автор останавливается на половинчатом ответе на поставленные им вопросы о сущности военной системы регулирования и о тенденциях ее развития после окончания войны. Ответ сводится к следующему:

«Во время войны государство вмешивается в производство не для того, чтобы увеличить свои доходы или прибыль капиталистов, а для того, чтобы получить определенные предметы потребления. Этим оно приближает систему хозяйства к *типу хозяйства для удовлетворения потребностей* (курсив наш. Е. Х.). После войны оно отчасти сократит приобретенные за время войны организационные формы экономической жизни и совместно с банками будет развивать их дальше, но уже не в целях удовлетворения потребностей, а в целях увеличения пода-тей, предпринимательских барышей, земельной ренты и т. д.»¹.

Придя к этому мало утешительному в смысле ясности и определенности выводу о природе и тенденциях в развитии государственного регулирования, Экштейн пытается анализировать классовые отношения, интересы и позиции важнейших классовых группировок в этом

¹ Там же, стр. 41. Поучительно сопоставить это «приближение хозяйства к типу хозяйств для удовлетворения потребностей» с ленинской оценкой капиталистического потребления:

«Хлебная карточка, этот главный образец регулирования потребления в современных капиталистических государствах, ставит своей задачей и осуществляет (в лучшем случае осуществляет) одно: распределить наличное количество хлеба, чтобы всем хватило. Вводится максимум потребления далеко не всех, а только главных «народных» продуктов. И это все. О большем не заботятся. Бюрократически подсчитывают наличные запасы хлеба, делают их по душам, устанавливают норму, вводят ее и ограничиваются этим. Предметов роскоши не трогают, ибо они «все равно» так дороги, что «народу» не доступны. Поэтому во *всех*, без всякого исключения, воюющих странах, *даже* в Германии, которую, кажется, не вызывая споров, можно счесть образцом самого аккуратного, самого педантичного, самого строгого регулирования потребления, *даже* в Германии мы видим постоянный обход богатыми каких бы то ни было «норм» потребления. Это тоже, «все» знают, об этом тоже «все» говорят с усмешкой, и в германской социалистической — а иногда даже буржуазной — прессе, несмотря на свирепости казарменно-строгой немецкой цензуры, постоянно встречаются заметки и сообщения о «меню» богачей, о получении белого хлеба в любом количестве богатыми в таком-то курорте (под видом больных его посещают все... у кого много денег), о замене богачами простонародных продуктов изысканными и редкими предметами роскоши» (том XIV, ч. 2-я, стр. 197).

предстоящем процессе перерождения хозяйственной системы. Оказывается, наибольшее противодействие стремлению к огосударствлению экономики должно встретить со стороны мелких производителей—крестьянства—и отчасти тех капиталистов средней руки, представителем интересов которых является «Центральный союз германских промышленников»¹. Но так как эти слои отнюдь не являются господствующими в современной экономике Германии, а интересы крупного капитала и помещичье-бюрократических слоев вполне совпадают с задачами огосударствления экономики, то осуществление этого пути представляется Экштейну вполне вероятным. Как же рисуется позиция рабочего класса этому типичному представителю центризма? Оказывается, если Маркс в чем-либо ошибался в своих прогнозах, то это относится лишь к «революционному значению и, особенно, к революционному поведению пролетариата». И Маркс, и Энгельс ожидали от пролетариата «в случае войны совершенно иного поведения, а, главным образом, совершенно иного образа мыслей, чем тот, который явила современная действительность».

«Разумеется,—скромно продолжает автор,—сознание значения классовых противоречий и ныне не угасло в рабочем классе, хотя часто оно заглушено другими чувствами. И, без сомнения, империалистические взгляды увлекли в свое русло только часть пролетариата. Но все же было бы опасным самообманом скрывать от себя, что в пролетариате, особенно в германском, обнаружился такой сильный милитаристический дух, какого в нем, вероятно, не предполагало большинство наблюдателей»².

Свалив вину в предательстве социал-демократии на «милитаристический дух рабочего класса», Экштейн отсюда же определяет отношение рабочего класса к государственно-монополистическому перерождению хозяйства в результате войны. Милитаристическое мышление и настроение может, по его мнению, значительно усилиться вследствие войны, особенно «если армия долгое время окажется на высоте своей задачи» (сиречь, при победах германского милитаризма), и попытки огосударствления народного хозяйства вряд ли встретят сопротивление со стороны пролетариата³.

Как видим, несмотря на решительную критику реакционных теорий «государственного социализма», Экштейн оказался совершенно бессильным *перед задачей марксистского анализа* своеобразия внутренних противоречий новой формы монополистического капитализма, развившейся в условиях войны. Последняя ссылка на возможное усиление милитаристических настроений в рабочем классе лишний раз иллюстрирует беспомощность и бессилие половинчатого центристского марксизма перед важнейшими проблемами тенденций развития капиталистического хозяйства.

Та же печать непонимания исторической роли и значения государственного капитализма, как высшей, наиболее законченной фазы

¹ Там же, стр. 26.

² Там же, стр. 42.

³ Там же, стр. 42.

монополистического капитала, характерна для целого ряда брошюр и статей левой социал-демократии. Недостаток анализа сущности этой новейшей фазы капитализма, объективных тенденций ее развития, восполняется в них обилием радикальных фраз и поверхностной критикой недочетов практики военного регулирования хозяйства¹.

Нам остается еще остановиться на оценках, которые исходили из лагеря буржуазных теоретиков и практиков хозяйства, в огромном большинстве занимавших непримиримо-отрицательную позицию по отношению к военной системе регулирования. Как мы уже отмечали в предыдущей статье, оппозиция со стороны широких кругов буржуазии по отношению к военному «зажиму свободной инициативы производителей» росла по мере усиления планового вмешательства государства в процесс производства и распределения. Вытесняя вольный рынок, заменяя разветвленный аппарат торгового посредничества административным распределением, лишая заказов и сырья мелкие и средние предприятия, военная система регулирования естественно вызывала резкие протесты со стороны затронутых ею кругов буржуазии. Нашлось, конечно, немалое количество буржуазных экономистов, выступивших на защиту попорченного принципа «частной инициативы и творческого духа предпринимателей». Назовем здесь лишь наиболее громкие имена: Диль, Бендиксен, Лифман, Мизес, Сарториус-фон-Вальтерсхаузен и т. д.² В многочисленной критике военной системы варьируют в основном два метода. С одной стороны, важнейшие мероприятия государства по регулированию хозяйственной жизни — национализация некоторых предприятий, государственное регулирование распределения сырья, вмешательство в процесс производства, изъятие массы недостаточных товаров из торгового оборота, огосударствление внешней торговли, карточная система продовольственного снабжения, регулирование цен рассматриваются лишь как временные меры, которые вызваны специфическими военными условиями и отомрут сразу же после перехода к мирным, обычным нормам жизни. Эти временные, вызванные острой нуждой законы и мероприятия (Nothmassnahmen) ничего общего с социализмом не имеют и являются лишь уродливым искажением, отклонением от нормальных хозяйственных отношений. Даже столь радикальная и важная реформа, как государственное регулирование цен, не является, по мнению Лифмана, ни новой, ни близкой к социализму. Поскольку частная

¹ Типична в этом отношении брошюра Макса Адлера «Zwei Jahre Weltkriegsbetrachtungen eines Sozialisten», Nürnberg, 1916. См. также статью в «Neue Zeit», 34 Jahrg. II Bd., 1916, S. 715, Wilhelm Düwell, «Kriegswirtschaft», и др.

² Bendixen, F., «Sozialismus und Volkswirtschaft in der Kriegsverfassung». Berlin, 1916.

Liefman, R., «Bringt uns der Krieg zum Sozialismus näher?». Stuttgart-Berlin, 1915.

Diet, Karl, «Deutschland, als geschlossener Handelsstaat», 1915.
Sartorius v. Waltershausen «Weltwirtschaft und Weltkrieg», Weltwirtschaftliches Archiv, 1915, I Bd., 5.

Mises, Ludwig, «Nation Staat und Wirtschaft».

собственность не уничтожается, государственное таксирование цен является лишь коррективом к рыночному механизму ценообразования. Точно так же государственная монополия продовольственного снабжения оставляет нетронутыми основы частно-капиталистического хозяйства и отнюдь не носит социалистического характера. Поскольку вся военная система регулирования хозяйства в целом представляет лишь «дитя нужды», большее или меньшее извращение нормального хозяйственного строя, устранение ее и возвращение к нормальным условиям свободной конкуренции является лишь вопросом срока. Что же касается до восхваления пресловутого принципа «свободной частной инициативы», то аргументация почтенных профессоров особой оригинальностью не блещет. Она сводится к истинам, имеющим уже столетнюю древность, доказывающим, что охота каждого капиталиста за прибылью как нельзя более соответствует интересам общего блага.

С другой стороны, каждый шаг по пути регулирования хозяйства немедленно объявляется «социалистическим», ужасы наступающего социализма преувеличиваются в целях чисто агитационных. «Нынешнее государство одобрено социализмом, и не какой-нибудь каплей, а полной горстью».

«В Германии все больше усиливается государственный социализм, мы не можем отрицать, что наши тревоги о судьбах частного предпринимателя все больше растут»¹...—так буржуазная экономическая пресса утрирует «социалистические» начала, упражняется в смехотворных обвинениях германской монархии, якобы сознательно стремящейся насадить социализм. Не подлежит сомнению, что подобные карикатурные преувеличения «социалистической опасности» в значительной мере рассчитаны на то, чтобы надолго отбить у широких масс интерес к подлинно социалистическим стремлениям. Усердно изображаемая в качестве того самого социализма, который проповедует революционное движение, германская действительность и в самом деле могла быть использована для целей компрометации социалистического учения. Приведем любопытный факт, иллюстрирующий приемы борьбы буржуазных кругов против принудительного регулирования хозяйства и попыток его идейного оправдания.

Немецкий теолог, профессор Гарнак, выступил в одной из представительных организаций промышленной буржуазии (Deutscher Nationalausschuss) с упреками по поводу духа неограниченной наживы, царящего в предпринимательских кругах. Почтенный теолог упрекает систему хозяйства, «которая допускает во время войны полный горговый эгоизм и безудержную наживу». Чтобы предотвратить это печальное, противоречащее христианскому немецкому духу явление, профессор предлагает увеличить количество смешанных предприятий с участием государства и муниципалитетов. Профессор, конечно, не посягает на полное уничтожение «свежей предпринимательской

¹ См. «Der deutsche Oekonomist», 1916, стр. 242, 314 и сл.

инициативы и ответственности». Он требует лишь ограничения их «волей всего общества, государством».

В знак протеста против подобных посягательств «государственного социализма» пять выдающихся представителей тяжелой индустрии демонстративно вышли из состава указанной организации.

Сообщая об этом знаменательном факте, журнал немецкой торговой (и мелко-промышленной) буржуазии («Плутус») высказывает общие соображения по затронутому вопросу, столь типичные для буржуазной экономической мысли, что не лишне их воспроизвести в кратких чертах. Прежде всего редакция выражает упрек прочтенному теологу, столь неудачно вмещавшемуся в чуждую ему область, в том, что он усумнился в этичности стремления к получению прибыли. Подобная критика хозяйственной системы ведь далеко не безопасна, несмотря на царящий в Германии «бургфриден». Кроме того, нужно, наконец, признать положительное значение погони за прибылью в военном хозяйстве. Именно стремление заработать и вызвало те чудеса приспособления в немецкой индустрии, которые столь восхищают всех. «Мы сомневаемся, чтобы кто-либо стал чистого идеализма ради производить гранаты, орудия, обмундирование и т. д.» — справедливо заявляет редакция. Но в таком случае не может быть и речи о замене этого чудесного фактора частной инициативы общественным регулированием. Наконец, нельзя отрицательно относиться ко всем, извлекающим барыши из военного хозяйства. Ибо без них кто же подписывался бы на военные займы? ¹

Приведенные аргументы столь типичны для подавляющего большинства буржуазных критиков, протестующих против военной системы государственного регулирования с точки зрения либеральной идеологии, что было бы излишним дальше останавливаться на этих, бесконечно повторяющих старые премудрости вульгарной экономики, аргументах.

То обстоятельство, что в числе наиболее решительных противников принципа государственного регулирования и апологетов свободной конкуренции мы встречаем столь известных и солидных буржуазных теоретиков монополистического капитализма, как Лифман, Беккерат, Чирский ², лишь иллюстрирует внутреннюю противоречивость системы государственного капитализма. Ибо, толкуя о свободе хозяйственной жизни, эти экономисты эпохи монополистического перерождения и загнивания капитализма имеют в виду, конечно, не уничтоженную историческим ходом развития манчестерскую свободу конкуренции, а лишь свободу образования уничтожающих эту конкуренцию синдикатов и трестов.

¹ «Plutus», 1916, стр. 357. Редакционная статья проф. Бернгарда «Staatssozialismus».

² См. книгу Beckerath, «Kräfte, Ziele und Bestrebungen der deutschen Industrie, 1919. Tschiersky, «Zur Reform der Industrie-Kartellen», Berlin, 1921. Heuss, Theodor, «Kriegssozialismus», Stuttgart-Berlin, 1915.

Foigt, Andreas, «Kriegssozialismus und Friedenssozialismus. Eine Beurteilung der gegenwärtigen Kriegswirtschaftspolitik», Leipzig, 1916.

Таким образом, борьба и оппозиция широких кругов буржуазии против возникшей в мировой войне новой формы государственно-монополистического капитализма подводит нас вплотную к вопросу о внутренних противоречиях этой формы огосударственного капитала.

* * *

Важнейшие фактические показатели и причины внутренних противоречий сложившейся в военной Германии системы хозяйства были уже нами приведены в предыдущей статье. Как мы видели, противоречия эти могут быть сгруппированы по следующим основным линиям:

1) Конкурентная борьба между различными группировками промышленной буржуазии, по линии обрабатывающей и добывающей промышленности, а также между отдельными монополистическими объединениями и неорганизованными, «дикими» предпринимателями, не прекратилась в военном хозяйстве, а приняла лишь новые формы, соответствующие специфическим военным условиям снабжения сырьем, распределения заказов и т. д. Внутри централизованного аппарата государственного регулирования промышленности происходит непрерывная борьба между мелкими и средними предприятиями и крупными объединениями, с самого начала захватившими влияние и фактическое господство в военно-государственном аппарате. Система централизованного регулирования сбыта и снабжения вступает в особенно острое противоречие с интересами тех групп капиталистов, которые сосредоточены во внутренней и внешней торговле.

2) Распад рыночных связей между промышленностью и сельским хозяйством, невозможность компенсировать извлекаемые в порядке принудительной разверстки продукты сельского хозяйства промышленными изделиями, которые непрерывно и во все возрастающем количестве уничтожаются войной, углубляет и обостряет противоречия между монополизированной и огосударственной промышленностью и раздробленным сельским хозяйством.

3) Военная система государственного регулирования хозяйства является в значительной мере продуктом распада мирохозяйственных связей, выключения Германии из сферы международных торговых связей. Это замыкание хозяйства Германии в национальные границы, придавшее ему черты хозяйства «осажденной крепости», является по существу продолжением тенденции к автаркии, созданию самодовлеющих хозяйственных организмов, наметившейся в эпоху империалистической «консолидации» буржуазных стран. Однако в довоенной обстановке эта тенденция переkreшивалась гораздо более могущественным процессом международного разделения труда, сращения «национальных хозяйств» в единую систему мирового хозяйства. Война превратила противоречивую тенденцию автаркии в экономический факт. Вместе с тем характернейшее противоречие капитализма последней стадии—противоречие между мировым характером производительных сил, мировым разделением труда и ограничениями национально-государственных рамок капиталистического хозяйства—

достигло особенной остроты. То обстоятельство, что сложившиеся отношения международного обмена оказались нарушенными, целые хозяйственные области выключенными целиком или почти целиком из единой системы мирового хозяйства, естественно, являлось важнейшим фактором постоянных нарушений равновесия внутри этих обособившихся в войне государственно-монополистических хозяйств. С особенной силой это должно было сказаться в Германии. Создавалась необходимость нарушать сложившиеся в процессе международного разделения труда соотношения между различными отраслями хозяйства, насаждать новые отрасли промышленности и сельского хозяйства, искать путей для замены недостающего сырья дорогими и нецелесообразными при наличии международных связей суррогатами и т. д. Особенно ярко это противоречивое положение замкнутого хозяйства отразилось на усиленных стремлениях к аграризации страны, на попытках вернуть сельское хозяйство, приспособившееся к специализации на немногих видах сырьевых и высоко-интенсивных культур, на много лет назад, к временам, когда Германия представляла преимущественно аграрную, самоснабжающуюся страну. Это систематическое нарушение сложившегося равновесия и пропорциональности в соотношении важнейших отраслей народного хозяйства, естественно, усугубляло, вернее, создавало объективную базу для отмеченных выше социальных противоречий в системе государственно-монополистического капитализма.

Не подлежит сомнению, что идея превращения замкнутого государственно-монополистического хозяйства в нормальный тип,—идея, довольно широко распространенная в части буржуазно-экономических кругов Германии во время войны¹,—представляет собою явную реакционную утопию. Однако нам в данном случае важно установить, что невозможность существования изолированного, автаркического государственно-монополистического хозяйства превращается в важнейший источник внутренней противоречивости и неустойчивости подобной системы. Современное монополистическое хозяйство, даже в его наиболее высокой форме, сросшееся с государством и до известной степени подчиненное плановому воздействию, неизбежно должно быть включено в систему целиком анархического мирового хозяйства. Уже отсюда вытекает противоречивость его положения. Но значит ли это, что противоречия внутри государственно-монополистической системы хозяйства исчезают и остаются лишь в сфере мирохозяйственных отношений? Такое представление связано с оценкой государственно-монополистического капитализма, как такой ступени развития, на которой в рамках национально-государственных образований процесс концентрации и планового объединения народного

¹ «Деньги остаются в стране», «необходимо стремиться к созданию хозяйственной независимости Германии», с этими популярными лозунгами связаны также известные проекты создания «срединного государства Европы» путем слияния аграрной Австро-Венгрии с Германией. См. книгу Каутского «Объединение средней Европы», перев., Книгоиздат. Писателей в Москве; а также Neumann «Mitteleuropa».

хозяйства уже победил анархию товарного производства и приблизил хозяйство к типу единого государственно-капиталистического треста¹.

В пределах единого государственного треста формы хозяйственных связей, естественно, принципиально отличаются от формы связей раздробленных, самостоятельных товаропроизводителей. «Государственно-капиталистический трест есть в сущности огромное комбинированное предприятие», внутри которого *«меновая связь, выражающая общественное разделение труда и разрыв общественно-производственной организации на самостоятельные капиталистические предприятия, заменяется техническим разделением труда внутри организованного народного хозяйства»*².

Понятно, что там, где радикально меняется основной тип хозяйственных связей, где, вместо иррациональной бессубъектной регулирующей системы капитализма, возникает отношения, подобные техническим связям внутри отдельного предприятия, не может быть речи о противоречиях, вытекающих из анархической сущности менового хозяйства. *Остаются лишь противоречия в области распределения присвоенных вновь созданных ценностей*, поскольку государственно-капиталистический трест не затрагивает классовой структуры общества, сохраняя частную собственность на средства производства³.

¹ Наиболее четкую формулировку этой точки зрения давал в свое время т. Н. Осинский:

«Для государственного капитализма (появился с началом войны и достиг особенно высокого развития в Германии) характерны: 1) сращивание государства и трестов, хозяйственной «командной власти» финансового капитала и политической власти государства; неиспользование государственной надстройки для укрепления хозяйственной мощи финансового капитала, а превращение ряда государственных органов в организующие и регулирующие хозяйство органы трестов; 2) появление *принудительных государственных* синдикатов и трестов и, след., завершение перехода собственности в классовую собственность капиталистов; 3) планомерное регулирование производства этими синдикатами и трестами; замена фактических рыночных монополий обязательными монополиями государства-треста; замена фактических монопольных цен обязательными твердыми ценами государства-треста; 4) организация и регулирование потребления путем карточной системы; 5) превращение рабочей силы в достояние государства банкиров и капиталистов путем трудовой повинности; итог: отмирание капитализма, как *товарного* хозяйства, в котором приспособление производства к потреблению создается путем спроса и предложения на рынке и конкуренции независимых собственников, а рабочая сила составляет товар; тенденции к народному состоянию — сознательно регулируемого производства, обращения и потребления». Н. Осинский. «Строительство социализма». Изд. Коммунист, М. 1918, стр. 12-13.

² Н. Бухарин, «Экономика переходного периода», стр. 14-15. Следует отметить, что характеристика отношений, создаваемых сращиванием капиталистических трестов с буржуазным государством, в работе т. Бухарина «Имперализм и мировое хозяйство» не отличается такой заостренной формулировкой, как в «Экономике переходного периода».

³ Так, по мнению т. Осинского, «главные минусы государственного капитализма состоят в том, что: 1) он только увеличивает размах и обостренность борьбы, затрудняя ее прекращение; 2) сохраняет *частную собственность на средства производства, монополии собственности*, препятствуя вполне централизованному и вполне планомерному распоряжению средствами производства; 3) сохраняет классовое господство, *увеличивает прибыли* и привилегированное положение капиталистов и потому не может вести решительной борьбы с ни-

Конечно, частная собственность на средства производства препятствует полному и окончательному завершению перерождения меновых связей капиталистического общества в технические связи планово-организованного государственно-капиталистического треста. Тем не менее, приведенное выше понимание природы государственно-капиталистического треста исходит из того положения, что этот процесс перерождения типа хозяйственных отношений, анархической структуры капитализма в плановую, сознательно-организованную, в основном уже завершился, несмотря на сохранение частного присвоения и классовых противоречий. Остается лишь устранить это противоречие капитализма—классово-антагонистические отношения распределения, и задача социалистической реорганизации общества может быть завершена «на другой день» после социальной революции.

Схема эта, однако, страдает значительной переоценкой тенденций к преодолению анархии производства, действительно наметившихся в период государственно-монополистического капитализма. Обзор фактической истории одной из более законченных систем государственно-монополистического треста показал нам, что если внутри промышленного круга буржуазному государству удастся достигнуть довольно высокой степени подчинения производства и распределения плановому регулированию, то за пределами этого круга, в области сельского хозяйства, государственное вмешательство и воздействие остается весьма ограниченным. Капиталистическое развитие создает и углубляет противоречие между монополизированной, высоко концентрированной промышленностью и сельским хозяйством, задерживая его переход к более рациональным укрупненным формам. Если в промышленности процесс обобществления производства доходит до столь высокого уровня планового регулирования, что превращается в «самоотрицание» капиталистических основ присвоения, то в сельском хозяйстве, благодаря господству этих капиталистических форм частного присвоения (в первую голову, благодаря частной собственности на землю), процесс обобществления труда, концентрации производства сильно отстает от промышленности. Сохранение раздробленного, полупарцельного хозяйства в земледелии неизбежно требует сохранения рыночных отношений, меновой формы связей между городом и деревней. В военном хозяйстве Германии это противоречие находит яркое выражение в борьбе подпольного, нелегального рынка с организованными формами распределения, в том прорыве плановой системы снабжения и твердых цен, который был нами описан в основном в предыдущей статье. Капитализм в его государственно-монополистической стадии оказывается не в силах преодолеть это противоречие, по существу выходящее за рамки национального хозяйства. Задача радикального подъема производительных сил сельского

хозяйства и голодом, обостряет их; 4) возникая на почве диктатуры, сильной и концентрированной власти (необходимой для борьбы с таким распадом), он связан с империалистской диктатурой, которая порабощает массы, сковывает их самостоятельность тяжким политическим гнетом». Цит. соч., стр. 15—16.

хозяйства на высшую ступень, обобществления сельскохозяйственного производства может быть разрешена только после пролетарской революции, устраняющей основную помеху на этом пути—частно-собственнические основы капитализма. Путь к преодолению раздробленного, мелкотоварного характера сельского хозяйства проходит через кооперирование мелких производителей, а не через пожирание мелкого производителя монополистическими объединениями, даже в наиболее законченной их форме государственно-капиталистических трестов.

Таким образом, государственно-монополистическая форма капитализма лишь *усиливает тенденцию* к преодолению товарно-анархического характера капиталистических отношений, а отнюдь не *превращает* иррациональную систему хозяйства в рациональную, как это вытекает из теории «единого государственно-капиталистического треста».

Государственно-монополистическая система хозяйства сложилась в войне, военные условия послужили главным толчком в создании новых форм, сращивающих капиталистические предприятия с государством. Возникает вопрос о том, в какой мере законно рассматривать государственно-монополистическую форму хозяйства, как особую хозяйственную форму, как закономерный этап капиталистической эволюции. Ряд исследователей склонен к оценке ее, как некоторого отклонения от нормальных мирных условий, вызванного вмешательством *forces majeures* и отмирающего вместе с исчезновением ненормальной военной обстановки. Послевоенное развитие экономики важнейших капиталистических стран служит при этом аргументом в пользу приведенной оценки. «Всякий, кто штудировал европейскую экономическую прессу хотя бы в течение 1920 года, знает, что формы государственного капитализма, расцветшие во время войны, ныне почти полностью ликвидированы»,—говорит один из сторонников этой концепции¹. «От всей системы регулирования хозяйства на Западе ныне остался только некоторый контроль за внешней торговлей, вызываемый необходимостью поддержания обесцененной валюты, все же остальное сведено почти полностью на-нет».

Этот распад созданных войной форм огосударствления капитализма цитированный автор считает не случайным фактом, а «непосредственно обусловленным... существом предвоенной концентрации частного хозяйственного капитализма. Из трех возможных форм этой концентрации—рыночной, социальной и производственной—две первые весьма значительно опередили третью. Но и они к началу войны далеко не были завершены. Основными заданиями капиталистических объединений Европы являлись, с одной стороны, регулирование отношений меновых с целью максимального давления на потребителя,

¹ Научные Известия, сб. первый, Академ. Центр Наркомпроса, М., ГИЗ, 1922, статья С. А. Фалькнера: «Теоретическая экономика социальной революции», стр. 235, 236. Еще более резко эту точку зрения формулирует А. Богданов («Курс полит. экономии», т. II, вып. IV, изд. 2-е, 1924 г.), стр. 236—2752.

а, с другой стороны, регулирование отношений социальных—с целью максимального давления на пролетариат. Напротив, регулирование отношений производственных—самой техники и экономики производства—появлялось на сцену лишь в сравнительно редких случаях¹.

Как видим, вопрос сводится к различному пониманию сущности монополистического перерождения капитализма в последние десятилетия. С точки зрения марксистской теории монополий незаконным является уже самое противопоставление регулирования «отношений меновых и социальных» регулированию условий и характера производства. Наиболее характерной чертой монополистической экономики является как раз срастание, объединение всех форм капитала—промышленного, торгового, банковского—в единую систему финансового капитала. Если *исторически* развитие монополий происходит от объединения функций сбыта к объединению и концентрации (по горизонтальной и вертикальной линии) процесса производства, то попытки строгой классификации различных типов объединений в *логическом порядке* неизбежно пасуют перед сложными формами экономической действительности. Строгое отделение «сбытовых» объединений от производственных невозможно уже хотя бы потому, что цели маскировки монополистической сущности того или иного объединения зачастую заставляют капиталистов выбирать для внешнего обихода названия наиболее простых объединений. Под видом договора в координации сбыта может происходить и самое действительное и эффективное регулирование производства, прежде всего со стороны выпускаемого количества продукции. Достаточно известен пример российского объединения металлургической промышленности, формально носившего название синдиката (Продамет), а фактически довольно жестко регулировавшего не только условия сбыта, но и количество производимой продукции по отдельным видам и т. п. выходящим за рамки сбыта моментам. Не менее характерен пример средне-европейского стального картеля, устав которого специально подчеркивает отсутствие стремления регулировать цены; однако весь смысл существования картеля заключается в строго разработанном регулировании количества и характера производства стран, входящих в объединение. Отнести в целях стройности классификации столь сложную и своеобразную форму объединения, как современный концерн, в рубрику «организации сбыта» можно лишь ценою отказа от понимания сущности монополистического объединения ради внешних формальных признаков².

Точно так же, лишь с точки зрения формальной классификации, можно утверждать, что государственно-монополистическая стадия в развитии капитализма исчезла бесследно сразу же после войны.

Процесс сращивания государства с монополистическим капиталом имеет своей причиной не одни лишь военные условия. «Основная

¹ Цит. пр., стр. 236.

² Типичным образчиком подобного рода исследований являются работы Лифманна, где за нагромождением бесконечных видов и подвидов объединений исчезает сущность монополистического перерождения хозяйства.

причина этого явления заключается в том, что фактически государственная власть становится во все более тесное отношение к руководящим кругам финансового капитала... Интересы государства и интересы финансового капитала все более совпадают. С другой стороны, громадная напряженность конкуренции на мировом рынке требует *максимальной централизации и максимальной силы государства*.

Этими двумя причинами, с одной стороны, фискальными соображениями, с другой, исчерпываются *основные факторы огосударствления производства в капиталистических рамках*¹. Война лишь ускорила этот процесс, наметившийся в развитии монополистического капитализма еще ранее.

Государственно-монополистической системе регулирования, действительно, оказалась не по плечу задача прямого преодоления иррациональной, товарно-анархической структуры капитализма, прямой замены рынка плановой организацией. Эти попытки сталкивались с противоречивой природой капитализма, с борьбой между различными отраслями монополизированной промышленности, с противоречиями между городом и деревней, с давлением мирохозяйственных товарных отношений. Поскольку задачи преодоления анархии производства были непосильны для гос.-монополистической системы военного времени, непосредственные формы регулирования хозяйства принимали характер «крайностей», против которых так ожесточенно боролись различные прослойки буржуазии. Именно эти «крайние» и противоречащие основам капиталистической анархии формы регулирования и должны были, естественно, отпасть вместе с переходом на мирное положение. Точно так же откровенная, обнаженная форма срастания государства с капиталистическими предприятиями должна была смениться более сложными и завуалированными отношениями. отождествление сущности государственно-монополистического капитализма с такими явлениями, как пайковая и карточная система продовольствия, однако, весьма напоминает вульгарно-буржуазное изображение планового хозяйства как системы, регулирующей лишь поверхность отношений, лишь сферу потребления. Если рассматривать военную систему государственно-монополистического капитализма, как систему, в которой завершилось в основном отмирание анархической противоречивости, товарного характера капиталистического производства, то исчезновение явлений прямого государственного регулирования хозяйства после войны действительно становится необъяснимым. С другой стороны, в порядке логического вывода из подобного объяснения должна следовать теория государственного капитализма, как системы, вызванной исключительно вмешательством военных условий, т.-е. «случайной» в смысле закономерной эволюции капиталистических форм.

Если же признать, что сущность государственно-монополистической формы сводится не к одним лишь попыткам государственного планового регулирования хозяйства, а, в основном, к новым более высоким формам концентрации производства, то окажется, что военный

Н. Бухарин, «Мировое хозяйство и империализм», II, 1918 г., стр. 100.

опыт отнюдь не исчез бесследно в последующем этапе развития капиталистического хозяйства.

Кажущийся распад хозяйства воевавших стран на распыленные атомы после уничтожения военного регулирования на самом деле является лишь внешней реакцией против вызванного военными условиями обострения государственного вмешательства, «зажима», переходившего за рамки, приемлемые для частно-собственнической природы капитализма.

Процесс концентрации и монополистического сращения промышленных предприятий в сложную систему новых объединений, все более и более сливающихся с государством, отнюдь не был оборван окончанием войны. Изменились лишь внешние формы этого процесса, причиной чему послужило, между прочим, и специфическое положение государственной власти в послевоенный период. Колоссальная задолженность всех европейских государств в результате войны значительно ослабила позиции государственного аппарата, как общеклассовой организации буржуазии, в пользу отдельных мощных групп капиталистов, главным образом, в пользу крупно-промышленного капитала, великолепно использовавшего инфляционную обстановку. В Германии, где все процессы военной деформации экономики проявлялись с особой яркостью, это ослабление мощи и влияния государства в период послевоенной инфляции должно было сыграть особо важную роль в смене внешних форм монополистической организации. Специфические условия военной обстановки подчеркивали общеклассовый характер буржуазного государства, усиливали его позицию по отношению к разноречивым прослойкам и подклассам буржуазии. Отсюда создавалась видимость приоритета государства. В инфляционный период быстрое вымывание средних и мелких слоев буржуазии, усиление крупного промышленного капитала изменило соотношения. Видимость государственного приоритета уступила место прямому подчинению государственного аппарата этим инфляционистским кругам буржуазии. Вместо видимости «огосударствления», обнажилась истинная сущность сращения государства с хозяйством, «капитализация государства» («Durchkapitalisierung des Staates») по удачному определению Эмиля Ледерера. Такое типичное инфляционное образование, как концерн Стинеса, достаточно ярко иллюстрирует сущность происшедшего после войны изменения форм сращения буржуазного государства с хозяйством.

Немалое значение имеет также изменившееся в результате войны соотношение между банковским и промышленным капиталом. Мы уже видели в предыдущей статье, как под влиянием роста цен во время войны государство должно было вмешаться в отношения между банками и военно-промышленными объединениями, гарантировать банковские кредиты промышленности, работавшей на оборону. В то же время колоссальные прибыли промышленности на военных заказах ослабляли господствующее положение банков. Инициатива в объединительном процессе в промышленности отошла от банков под влиянием тех же военных условий. К концу войны к этим моментам—

усилению собственных накоплений промышленности и внутренней консолидации ее—присоединилось влияние инфляции. Вклады банков в промышленность должны были относительно сократиться благодаря обесценению марки.

При одновременном возрастании собственных средств промышленности это означало ослабление влияния банковского капитала в монополистической системе. Сращивание банков с монополистической промышленностью принимает новые формы в результате этих влияний. Исчезает внешняя форма командования банков над промышленностью; банки тесно вплетаются в систему новых монополистических объединений универсального характера—в систему концернов, отличающуюся от довоенной синдикатской формы прежде всего универсальностью связей, колоссальным расширением сферы влияния через сложную сеть «общности интересов», обществ по купке акций и т. д.

Концентрационный процесс в капиталистическом хозяйстве в настоящее время происходит, несомненно, на более высокой ступени, исходным пунктом которой послужили военные объединения. На этой же основе создалось чрезвычайно любопытное объединение, включающее для предприятий по добыче азота, алюминия и крупных электрических станций, так назыв. «Viag», промышленный концерн Германской республики. Это— новейший, чрезвычайно любопытный образец концентрации крупной промышленности в форме государственно-монополистического объединения¹. Это объединение, играющее весьма существенную роль в германской экономике, благодаря важности объединяемых им отраслей производства, возникло, как показывает автор посвященной ему монографии, в военное время, когда государство вынуждено было спешно поставить новые в Германии отрасли производства для возмещения отрезанного притока заграничного сырья. Приспособленное по окончании войны к удовлетворению мирных нужд хозяйства, оно построено на принципе сочетания государственного владения с нормальной, частно-капиталистической организацией. Государство здесь выступает, как частный капиталист, снабжающий своими средствами «наемных предпринимателей», организаторов производства, в полном соответствии с принципами современной «обезличенной» акционерной формы предприятий. «Ясно, что здесь речь идет о чем-то принципиально-отличном от того, что принято называть в обыденном смысле «казенным предприятием»,—справедливо замечает автор. «Против смешанно-хозяйственного принципа допущения государства (или коммуны) к участию в доходах, путем закрепления за собой *наем предприятий частного капиталиста*, выдвинулся новый принцип—гарантирование государству (как акционеру) *всего дохода*, путем *привлечения на службу частных предпринимателей*». Органы непосредственного управления концерна составлены из директоров низовых предприятий, фабрикантов, директоров банков. Связь между концерном, как самостоятельным хозяйственным предприятием (состоящим, как

¹ См. интересную монографию Ф. Гугенгейма «Viag». Пути концентрации германской гос. промышленности», Гиз, 1927.

мы бы сказали, на хозрасчете), и министерством финансов осуществляется через представительство ведомств¹. Монополистическая сущность этого государственного объединения ясно видна из принципа его построения. Важнейшая часть концерна—комбинация азотного и алюминиевого производства с добытием электрической энергии—построена на монопольном господстве этих отраслей на германском рынке. Характерно, что новая форма государственно-капиталистического предприятия зародилась не в традиционных отраслях казенных заводов, а в совершенно новых областях промышленности, с самого начала воспринявших наиболее высокие формы концентрации. Таким образом, государственно-монополистические формы, намеченные в военном хозяйстве Германии, приспособились к мирным условиям и, как справедливо замечает Гугенгейм, являются примером новой, «повидимому, многообещающей организационной формы государственно-капиталистического предприятия»...

Государственно-капиталистический опыт военного времени создал базу для новой фазы концентрации капитала в Германии не только в порядке усиленной централизации капитала, не только путем сосредоточения в руках нескольких мощных групп колоссальных масс средств за счет разорения мелких и средних предпринимателей. Военная система значительно расчистила путь и для концентрации в материально-техническом смысле. Задачи наиболее целесообразного и эффективного выполнения военных заказов требовали сосредоточения ограниченных запасов сырья на наиболее мощных и технически совершенных предприятиях. Во вторую половину военного периода государство приняло весьма активное и непосредственное участие в концентрации производства при проведении административным путем кампании «свертывания» мелких предприятий, на которой мы останавливались в предыдущей статье. То значительное усиление производственно-технического аппарата германской промышленности после войны, которое констатируется всеми исследователями последних лет хозяйственного развития, несомненно, является результатом гигантской концентрационной «чистки» промышленности, проделанной в военном хозяйстве Германии.

Дав мощный толчок концентрации, обобществлению производительных сил капиталистического хозяйства, государственно-монополистический этап обнаружил в невиданной ранее степени противоречия между коллективизацией производства и индивидуальными, капиталистическими формами присвоения. Опыт военного планирования в то же

¹ Для характеристики удельного веса и размеров этого государственно-капиталистического концерна сошлемся на цифры, приводимые автором. Правление Всеобщ. Электр. Кооп. (А. Е. С.) показывает число рабочих, занятых в концерне на 1923 г. около 57.000. Персонал же «Германских Заводов» составлял на 1 января 1923 г. 37.000. Акционерный капитал важнейших первичных предприятий гос. концерна составлял на 31 апреля 1924 г. свыше 200 милл. золотых марок. «Среди возглавляемых одним центральным предприятием промышленных комплексов *Viag*, несомненно, занимает первое место»,—резюмирует автор. Цит. соч., стр. 110—112.

время дал прямое доказательство полной достижимости обобществления и рациональной социалистической организации хозяйства на достигнутом техническом уровне¹. Ибо необходимые предпосылки для этого, «новые средства контроля созданы капитализмом в военно-империалистической стадии», как указывал Ленин.

В этом смысле—в смысле доказательства возможности и необходимости плановой социалистической перестройки хозяйства—и следует понимать известное положение Ленина о том, что «государственно-монополистический капитализм есть полнейшая *материальная* подготовка социализма, есть *преддверие* его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет». Когда Ленин указывал на то, что «империализм есть не что иное, как монополистический социализм», он настойчиво подчеркивал в то же время, что контроль и регулирование хозяйства буржуазным государством создает лишь *материальные* предпосылки, полную *материальную готовность* капитализма к социалистической, плановой перестройке, но что буржуазное государство в силу своей классовой природы отнюдь не в состоянии преодолеть товарно-капиталистические устои современного хозяйства. «Реакционное капиталистическое государство, которое *боится* подорвать устои капитализма, устои наемного рабства, устои экономического господства богатых, *боится* развить самостоятельность рабочих и вообще трудящихся, боится «разжечь» их требовательность; такому государству ничего не нужно, кроме хлебной карточки. Такое государство ни на минуту, ни при одном своем шаге не упускает из виду *реакционной* цели: укрепить капитализм, не дать подорвать его»...

Этот же реакционный, ограниченный буржуазно-классовыми рамками характер государственного регулирования бьет в лицо реформистским теориям «улучшения» капитализма, постепенного преодоления его противоречий без разрушения его частно-собственнических устоев, без замены буржуазного аппарата государственной власти новыми пролетарскими формами управления.

С точки зрения проблем нашего социалистического строительства опыт планового регулирования хозяйства, проделанный германским государством в мировую войну, интересен в следующем отношении.

¹ Это отмечает даже столь мало склонный к революционному оптимизму исследователь, как Густав Экштейн: «Сколько раз до войны мы слышали даже от социалистов, что наш экономический строй еще далеко не созрел для социализации, что капитализм еще не сыграл своей роли, еще далеко не выполнил своей исторической миссии, что технические и организационные предпосылки для будущего строя далеко еще не имеются налицо, и что господство пролетариата неизбежно привело бы лишь к краху. События последнего года показали обратное. Будь пролетарское правительство достаточно сильно, чтобы выступить так диктаторски, как ныне выступает военная власть, тогда материальные и организационные предпосылки были бы налицо для создания в кратчайший срок общественно-организованного хозяйства для удовлетворения потребностей в крупном масштабе». Цит. соч., стр. 9.

1. Несмотря на все различия обстановки, опыт военного государственно-монополистического планирования обнажает одну из важнейших узловых проблем нашей плановой работы — проблему хозяйственных взаимоотношений между городом и деревней. В высокоиндустриальной Германии распыленность и отсталость форм сельского хозяйства служила, на ряду с частной собственностью на средства производства, важнейшим препятствием для действительного преодоления анархии производства. Товарные, рыночные отношения пробивались сквозь строжайшую систему продовольственной разверстки, пайкового распределения, несмотря на всю относительную силу и гибкость государственного аппарата. Наиболее эффективными оказывались не меры прямого административного воздействия на сельское хозяйство, а такие меры, которые доходили до него через те же каналы рыночных отношений, например, комбинирование цен на различные с.-х. культуры. Однако общий недостаток продуктов в стране, истощенный военным потреблением, своеобразный «товарный голод» не давали возможности широко использовать эти методы планирования и регулирования через рынок, через аппарат цен. Этот опыт лишний раз подчеркивает, что если перестройка капиталистического общества по линии устранения основного противоречия — отделения средств производства от производителя — может быть разрешена сравнительно быстро после социального переворота, то переработка анархических, товарных форм связи между промышленностью и сельским хозяйством представляет собою несравненно более сложный и длительный процесс. Товарный характер хозяйства не только не изживается в рамках государственно-монополистического капитализма, но остается после социального переворота в течение всего «переходного от капитализма к социализму» периода. Преодоление этой товарной формы и составляет основное содержание переходного периода (в смысле абстрактно-теоретическом).

2. В то же время опыт планового регулирования эпохи войны подчеркивает с полной ясностью теоретическую и практическую невозможность *мирного* сожительства плановых начал в хозяйстве с основами товарно-капиталистического уклада. Более того, и в том случае, когда субъекты планирования отнюдь не ставят перед собою задачи преодоления товарной формы хозяйства, как это имело место в военном регулировании Германии, самая логика развития плановых начал в экономике приводит к отрицанию и вытеснению рынка. Поскольку в военной системе хозяйства осталась незыблемой основа рыночных отношений, — частно-собственнические формы присвоения, плановое начало в его прямой форме (даже при всей недостаточности и непоследовательности его, на чем мы останавливались выше) должно было уступить место в борьбе, присущей капитализму, анархии производства, конкуренции и противоречиям между различными монополистскими объединениями. Для нас же важно отметить, что если плановое начало в нашем переходном хозяйстве выступает в настоящее время под внешней оболочкой рыночных отношений, то победа его над этой рыночной стихией возможна лишь на пути преодоления социального содержания товарной формы.

3. Пример военной экономики Германии уясняет значение мирохозяйственных связей для мощи и действительной экономической самостоятельности народного хозяйства. Автаркическое, изолированное существование германского хозяйства на протяжении 4 лет войны было возможно именно благодаря, прежнему могуществу связей страны с мировым рынком. Это длительное использование выгод мирового разделения труда создало огромные потенциальные возможности в германском хозяйстве, позволившие ему справиться (с относительным успехом) с сложнейшими задачами приспособления технического и организационного аппарата хозяйства к требованиям изолированного, автаркического состояния. Достаточно показательна в этом отношении знаменитая история создания в Германии в течение первых двух лет войны совершенно новых отраслей промышленности, как искусственная добыча азота и производство алюминия для замещения отрезанного подвоза селитры и меди. Задачи обороноспособности страны требуют ослабления зависимости народного хозяйства от внешнего рынка. Однако подготовка мощной индустриальной базы в стране связана в значительной мере с ростом мирохозяйственных отношений и использованием опыта технических передовых стран.

Наконец, мировая война показала, какое значение в настоящее время приобретает плановое регулирование хозяйства в деле хозяйственной мобилизации страны. Война, порожаемая анархичностью и господством конкуренции в капитализме, становится в противоречие с этой иррациональной структурой капитализма. Воюющие государства вынуждены идти на борьбу с этой противоречивой природой капиталистической структуры вопреки своей классовой природе. Отсюда нерешительность, непоследовательность, *реакционно-бюрократический характер* государственного регулирования в капиталистических странах.

Внедрение планового начала в хозяйственную жизнь является важнейшей, центральной задачей экономической политики пролетариата. Борьба за план, за преодоление рыночной стихии составляет сущность переходного этапа в экономике. В этом смысле решение задачи подготовки и приспособления страны к хозяйственной обороне поставлено у нас в более благоприятные условия, нежели в капиталистических странах. Пролетарское государство, располагающее командными высотами в хозяйстве, являющееся активным, сознательным проводником рациональной, плановой организации хозяйства, располагает несравненно более благоприятными позициями, нежели любая капиталистическая страна, в отношении подготовки и мобилизации народного хозяйства для военных условий. Опыт мировой войны, вскрывающий силу и слабость капитализма в хозяйственной организации, представляет для нас с этой точки зрения особый и теоретический и сугубо-практический интерес.

Е. Хмельницкая.

ТЕОРИЯ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ В СВЕТЕ КНИГИ ПАВЛОВА „ЛЕКЦИИ О РАБОТЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА“

Книга академика Павлова «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» дает впервые систематическое изложение учения об условных рефлексах. По своему построению она резко отличается от предыдущей — «Двадцатилетний опыт». Книга «Двадцатилетний опыт» представляет собою собрание лекций, читанных в разное время на протяжении двадцати лет, при чем каждая из них есть нечто целое и новое: каждая лекция поновому обобщает основные достижения учения на определенной ступени своего развития. «Двадцатилетний опыт» — живая история работы, абрис развивающегося и крепнущего учения. Эта книга, проникнутая бодростью, искренним энтузиазмом, горячей верой в успех дела, отражает период бурного роста молодого учения.

На книге «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» лежит уже печать некоторой зрелости. Это книга сугубо деловая, суховатая, скупая на лирические отступления, столь характерные в предыдущей, сосредоточенная не на целом с его заманчивыми горизонтами, а на отдельных звеньях работы. Каждая лекция — глава учения, густо насыщенная фактическим материалом и отражающая постоянные искания обычной будничной обстановки, полные противоречий, ошибок и сомнений. И потому сквозь насыщенный опыт этой книги так ярко отливает теоретическая цельность учения с его большими достижениями и маленькими недостатками. Поэтому-то эта книга позволяет, в несравненно большей степени чем предыдущая, наметить принципиальные предпосылки, фактические достижения и теоретические выводы учения.

Каковы основные предпосылки учения об условных рефлексах? Их можно свести к пяти принципам: 1) объективизм, 2) закономерное отношение среды и организма, или уравнивание, 3) принцип базиса и надстройки, 4) принцип сигнализации, 5) принцип замыкания или проторения новых путей.

Перехожу к изложению этих принципов, следуя ходу мыслей Павлова.

1. Об'ективизм — объяснение поведения животного и человека физиологической деятельностью больших полушарий.

Большие полушария представляют собой сложный по своей конструкции орган, с миллиардами клеток, соединенных бесчисленными разветвлениями своих отростков. Опыты показали, что, лишённые больших полушарий, животные являются инвалидами и обречены на смерть без посторонней помощи. Отсюда вытекает, во-первых, что функции больших полушарий грандиозно сложны, во-вторых, что в них, в этих функциях, заключено все сложное поведение животных и человека. Глубоким контрастом к этой сложности задач, стоящих перед исследователем, является крайняя узость и незначительность результатов. Это объясняется тем, что эта область разрабатывалась не физиологически, а психологически, что об'ектом исследования являлась не работа мозга, а наш внутренний мир. Психологические методы и знания, изучающие суб'ективную сторону, никогда не смогут служить опорой в деле изучения функций больших полушарий; напротив — физиология больших полушарий должна лечь в основание точного научного анализа суб'ективного мира человека.

2. Закономерное отношение среды и организма, или уравнивание.

Основной акт нервной деятельности — рефлекс, понятие, введенное еще Декартом. Рефлекс закономерно связывает различные агенты внешнего мира с деятельностью животного, трансформируя влияние внешних факторов, через посредство рецепторных органов, в нервный процесс, который, распространяясь в нервные центры, трансформируется в свою очередь в ответную деятельность рабочего органа и всего организма. Между животным и внешним миром устанавливается закономерная связь, являющаяся основным условием существования организма. Эта связь подобна той связи, которая существует в неорганической природе, где «определенная вещественная система может существовать до тех пор, пока она каждый момент уравнивается с окружающими условиями». К этому надо присоединить следующее: категория целесообразности, играющая большую роль в теоретических построениях Павлова (особенно в теории торможения), нигде не имеет самостоятельного (виталистического) значения, а целиком и полностью подчинена принципу закономерности и причинности.

3. Принцип базиса и надстройки.

Основу нервной деятельности представляют собой безусловные рефлексы, осуществляющие основные жизненные функции организма, протекающие строго машинообразно и обусловленные определенными природными нервными путями. Вся остальная нервная деятельность надстраивается на фундаменте этих рефлексов.

Безусловные рефлексы, как и приводы машин, бывают двух родов — положительные, вызывающие определенную деятельность, и отрицательные (тормозные), прекращающие эту деятельность. Безусловные рефлексы могут относиться к деятельности отдельных органов и всего организма. В последнем случае они носят название инстинктов. В виду того, что между теми и другими нет принципиальных различий,

целесообразнее объединить их под общим названием безусловных рефлексов. В классификации безусловных рефлексов всего организма пока еще существует некоторый произвол. Грубая классификация их следующая: пищевой, самоохранный, половой, родительский и социальный. Кроме них, существуют и другие, не поддающиеся точной классификации. Из них нужно отметить исследовательский рефлекс, выражающийся в двигательной реакции при действии новых агентов. На этих-то основных деятельности надстраивается вся высшая нервная деятельность животных.

4. Принцип сигнализации.

Основная и самая общая деятельность больших полушарий есть деятельность сигнальная.

Уравновешение животного посредством безусловных рефлексов очень ограничено, чересчур общё, явно недостаточно. Маленькое беззащитное животное погибло бы в борьбе за существование, если бы оно начинало обороняться только при прикосновении врага зубами и когтями. «Другое дело, если оборонительная реакция возникает по одному виду врага еще издали, по его звукам и т. д. Тогда маленькое животное будет иметь возможность убежать, скрыться, т.-е. уцелеть».

Из этого вытекает, что реакции организма вызываются не только существенными для организма агентами внешнего мира, т.-е. непосредственно благоприятствующими организму или его разрушающими, но и прямо бесчисленным количеством других агентов, только сигнализирующих первые. Эти сигнальные раздражители, поскольку дело касается больших полушарий¹, при определенных условиях меняют свое физиологическое действие.

Итак, «масса всевозможных агентов сигнализируют собой и при том временно и перемененно те относительно немногочисленные агенты, которые обуславливают врожденные рефлексы. И таким только образом достигается точное и тонкое уравновешивание организма с окружающим миром». Вызывание реакции организма посредством сигнала есть условный рефлекс. По целому ряду соображений сигнализирующая деятельность полушарий изучалась Павловым по пищевому и оборонительному (кислотному) рефлексу, вернее, на их секреторных компонентах. Это представляет целый ряд преимуществ, из которых наиболее существенно то, что при секции допускается точное измерение. Существуют три основных различия между условными и безусловными рефлексами. 1) Условные рефлексы для своего возникновения требуют некоторых условий, а в своей работе зависят от различных условий, давая при изменении их другой физиологический эффект, в то время как безусловные рефлексы более или менее постоянны. 2) Первые образуются при жизни, вторые—врожденные. 3) При безусловных рефлексах имеется готовый нервный путь, при условных происходит замыкание между различными участками мозга, проторение новых путей. Какие агенты могут сигнализировать

¹ В элементарном виде сигнальная деятельность осуществляется и в низших центрах.

основные нервные реакции? Во-1-х,—любой агент, во-2-х,—дробная доля раздражения (напр., малая часть определенного тона), в-3-х,—комплекс агентов, в-4-х,—прекращение раздражения, в-5-х,—остаточное действие (следовой рефлекс), в-6-х, наконец, условным раздражителем может быть время.

Все эти случаи можно объединить и расширить следующим образом: *«Бесчисленные колебания как внешней, так и внутренней среды организма, отражаясь каждое в определенных состояниях нервных клеток коры больших полушарий, могут сделаться отдельными условными раздражителями»*. Сигнальная деятельность, подобно деятельности безусловно-рефлекторной, бывает двух родов: положительная, вызывающая определенную деятельность, и отрицательная, эту деятельность тормозящая. Условные рефлексы второго рода называются отрицательными условными рефлексами.

5. Принцип замыкания.

Выше мы уже указывали, что сигнальная деятельность требует, кроме проводникового прибора, еще и замыкательного. Это значит, что механизм сообщения при условных рефлексах не вполне готов; он должен прежде, чем начнет действовать, быть предварительно подготовленным. При каких же условиях происходит подготовка условного рефлекса или замыкание нервного пути? Во-первых, совпадение во времени условного и безусловного агентов, 2) предшествование, как правило, условного агента безусловному¹, 3) деятельное состояние полушарий, 4) изоляция от других раздражений, 5) наконец, определенное соотношение между условным и безусловным агентами, а именно:

I. Условный раздражитель, как правило, должен быть в известной степени индифферентным. Иначе он образует с трудом угасаемый сильный исследовательский рефлекс, который будет препятствовать образованию условного рефлекса. II. При известных условиях безусловный раздражитель одного рефлекса (напр., электрический ток небольшой силы) может быть превращен в условный другого рефлекса (пищевого); но это происходит только тогда, когда первый физиологически слабее и биологически менее важен.

Замыкание происходит не только между центрами условного и безусловного рефлексов, но и между центрами двух условных рефлексов. Условный рефлекс, образующийся на основе другого условного же рефлекса, носит название условного рефлекса второго порядка. Образование рефлексов второго и высшего порядка происходит только при известных условиях, а именно: 1) первый условный рефлекс должен быть достаточно прочен, 2) действие второго агента необходимо прекратить за известный срок до начала действия первого (объяснение этого явления ниже на стр. 174). Условные рефлексы высшего порядка носят название цепных. Особый случай замыкания—

¹ Это правило отнюдь не абсолютно. Последние исследования показали, что условные рефлексы могут образоваться при известных условиях и при предшествовании безусловного рефлекса.

замыкание с автоматически раздражаемым центром. При хроническом отравлении морфием (и некоторыми другими нервными ядами) самая обстановка опыта и ряд подготовительных операций вызывают реакцию, подобную действию яда. Это значит, что происходит замыкание между различными участками мозга и автоматически (т.-е. благодаря составу и свойствам крови) раздражаемым центром (напр., рвотным, слюнным и проч.)¹.

Локализация замыкания еще не изучена до конца; предполагается, что замыкание происходит исключительно в больших полушариях, куда стекаются из низших центров раздражения безусловных рефлексов. Все случаи замыкания характеризуются следующим правилом: *«Внешнее раздражение даже со дня рождения животного, направляющееся в известный центр, могут быть отклонены от него в направлении к другому центру и связаться с ним, если этот последний центр физиологически сильнее первого»*².

Переходим теперь к изложению методологического принципа Павлова. Как и при изложении основных предпосылок, я буду близко придерживаться текста Павлова, во избежание каких бы то ни было вольных или невольных извращений.

Есть несколько плоскостей, в которых можно вести исследования: 1) анализ методами физико-химии жизненных явлений; 2) сведение сложных конструкций живого вещества на свойства элементарных форм (в данном случае физиология нервного волокна); 3) и, наконец, отыскание строгих правил деятельности сложных конструкций. Плоскость исследований Павлова есть последняя плоскость. Он не задается вопросом, что такое раздражение и торможение в их последнем глубоком основании: «Мы брали их как два фактических данных, два основных свойства нашей сложной конструкции, два главнейших проявления деятельности этой конструкции».

Павлов считает, что экспериментальный материал, имеющийся в его распоряжении, несмотря на всю значительность, явно недостаточен, чтобы составить общее представление о торможении и об его отношении к раздражению.

Останавливаясь перед исключительно трудными случаями, не поддающимися до сих пор объяснению, он отказывается признать ту или другую из существующих теорий торможения. Указанные методологические замечания, приводимые между прочим и как бы теряющиеся среди обильного фактического материала, имеют кардинальнейшее значение для оценки достижений Павлова и некоторых его недостатков. Они представляют собой одновременно сильную и слабую сторону учения об условных рефлексах. Сильная сторона этого метода в том, что он резко отклоняет всякое упрощение, всякую схематизацию, простое сведение сложного к простому и этим самым освобождает

¹ Эти опыты имеют огромное значение, особенно для понимания механизма неврозов.

² Это правило не что иное, как «закон доминанты» Ухтомского. В виде правила «доминанта» уже давно фигурирует в учении Павлова.

эмпирическому исследованию большой простор. Отрицательная роль этого метода—в его агностицистских тенденциях.

Мы не знаем, и далеко еще не скоро узнаем, последние глубокие основания нервных процессов раздражения и торможения. Та или другая глубина проникновения в эти процессы отражает состояние науки на определенной ступени развития. Следует ли отсюда, что нельзя примкнуть к определенному направлению в нервно-мышечной физиологии, пока экспериментальный материал не даст реальных доказательств в пользу того или другого направления? Отнюдь нет, и именно потому, что правильные, стихийно-диалектические, скажем мы, теории низших отделов нервной системы могут служить важной опорой в деле изучения высшей нервной деятельности.

Из истории учения об условных рефлексах мы можем заключить, что такие явления, как, например, индукция или парадоксальная фаза (парабиоз Введенского), могли бы быть схвачены гораздо скорее при учете и отборе правильных теорий нервно-мышечной физиологии и спинного мозга. То обстоятельство, что многие трудные случаи не поддаются еще пока объяснению, как раз и говорит в пользу более активного отношения к той борьбе, которая существует между различными теориями торможения. Не о простом сведении к законам более элементарных процессов могла бы идти речь в этих случаях, а об использовании этих законов в качестве методологических предпосылок, в качестве маяка в тех противоречиях, которыми изобилует учение об условных рефлексах.

Как бы то ни было, сам Павлов, на основании своего экспериментального материала, все же строит свои теории нервных процессов, правда, несколько опасливо и с рядом оговорок. При этом поражает глубокая честность и строгость формулировок, резкая обусловленность этих теорий экспериментальным материалом. Каждое обобщение проверено с избытком и само собой напрашивается в результате многочисленных опытов. Теории Павлова могут быть характеризованы, как стихийно-диалектические. Это выражается, во-1-х, методологически, в правильном соотношении между причинностью и целесообразностью; целесообразность, как указано выше, у Павлова относительна и подчиняется причинности. Безусловно для Павлова то, что объяснено причинно. Незаконченность некоторых теорий как раз выражается в том, что относительная целесообразность на данной ступени не может быть снята до конца причинностью¹; во-2-х, в представлении о диалектическом характере нервных процессов². В виду сжатости данного очерка я, для лучшего ориентирования в дальнейшем, изложу сейчас же эти моменты в основных чертах.

1) Монизм, или единство нервных процессов. Деятельности, связанные с прекращением ответного действия, все без исключения сводятся к единому процессу торможения. Между раздражением и торможением существует временно-пространственная связь. Одно при известных

¹ См. ниже биолог. теорию торможения.

² Павлов сам об этом, конечно, нигде не говорит.

условиях вызывает противоположное (индукция) и переходит в это противоположное (парадоксальная фаза).

2) Действительность нервных процессов. Торможение не есть просто прекращение раздражения или понижение его силы, а особое активное состояние, активное задерживание.

3) Резко динамичная и глубоко противоречивая природа нервных процессов, а именно:

а) Кора мозга обладает свойством высшей реактивности и изменчивости,— частого временно-пространственного перехода из одного состояния в противоположное, обладая в то же время известной устойчивостью определенных отношений.

б) Диалектическое противоречие между распространением процессов и мозаичностью коры, находящее свой синтез в синтетической деятельности полушарий.

II

Перехожу к изложению процессов высшей нервной деятельности. При безусловных рефлексах торможение вызывается или прямым действием приводящих нервов или косвенным образом, благодаря деятельному состоянию других центров. При условных рефлексах первое отвечает внутреннему торможению, второе—внешнему. Внешнее торможение выражается в том, что раздражения других участков мозга—посторонние раздражения или раздражения другого безусловного рефлекса—гасят данный условный рефлекс. Внутреннее торможение получается в тех случаях, когда определенный агент сигнализирует не реакцию, а ее задерживание. Внутреннее торможение проявляется в четырех основных явлениях и, соответственно этому, делится на четыре вида: *угасание, условное торможение, запаздывание и дифференцировочное торможение.*

В основе всех этих явлений лежит активный процесс торможения, что легко и просто доказывается во всех этих случаях. Точно так же и внешнее торможение в конечном итоге сводится к тому же процессу торможения. В результате мы приходим к монистической теории торможения.

Рассмотрим в отдельности все эти явления.

А. *Угасание.* Угасание есть постепенное прекращение условного действия при систематическом неподкреплении условного раздражения безусловным рефлексом. Быстрота угасания зависит, во-1-х, от индивидуальности животного (у возбудимых животных угасание происходит медленнее); во-2-х, от прочности условного рефлекса (чем рефлекс прочнее, тем медленнее он угасается); в-3-х, от интенсивности безусловного рефлекса (чем он интенсивнее, тем медленнее угасание); в-4-х, от величины промежутка между повторениями угасания (чем больше промежутки, тем медленнее угасание). Угашенный рефлекс через известный промежуток времени восстанавливается сам собой, а при подкреплении—весьма быстро. Однако дальнейшие опыты показали, что даже при подкреплении восстановление происходит не полное, и получается волнообразная смена обоих состояний. Все это

доказывает, что при угасании не происходит размыкания между нервными путями, полного прекращения условных рефлексов. Что при этом не происходит даже временного прекращения условного рефлекса, доказывается при помощи, во-1-х, вторичного угасания; во-2-х, глубины угасания, и в-3-х, растормаживания. Все эти эксперименты говорят за то, что здесь имеет место переход положительного условного рефлекса в отрицательный или, иначе говоря, что здесь действует активный процесс торможения.

1) Вторичное угасание. При угасании условного рефлекса происходит угасание и других условных рефлексов, даже таких, которые образованы на другом безусловном рефлексе; вторичное угасание подчиняется следующему правилу: «Чем больше физиологическая сила данного рефлекса сравнительно с силой первично угашаемого или угашенного рефлекса, тем он менее подвергается вторичному угасанию, и наоборот: при первичном угасании сильнее второго вторично вполне гаснут все слабые». Отсюда вытекает, что процесс, протекавший в первом случае, как-то влияет на мозговую кору; следовательно, это был активный процесс.

2) Глубина, интенсивность угасания не определяется только путем нулевого эффекта, она может нарастать и дальше. «Повторяя сделавшийся недействительным при угасании условный раздражитель, мы углубляем, усиливаем угасание». Чем глубина угасания больше, тем медленнее восстанавливается условный рефлекс.

3) Растормаживание. Посторонние раздражения (если они достаточно слабы), в обычных случаях гасящие условный рефлекс, в данном случае частично восстанавливают угашенный рефлекс. Это—торможение торможения, или растормаживание. Дальнейшие опыты показали, что между растормаживанием и простым восстановлением нет принципиального различия. Растормаживание—наиболее яркое и демонстративное доказательство наличия в клетках полушарий определенного процесса. Очевидно, что при простом прекращении условного рефлекса возврат условного рефлекса посторонними раздражителями никак не мог бы быть объяснен.

Б. *Условное торможение*. Если к условному, прочно выработанному агенту присоединяют новый и эту комбинацию не подкрепляют безусловным рефлексом, то комбинация теряет свое положительное действие, в то время, как условный рефлекс сам по себе продолжает действовать. Для получения условного торможения необходимо соблюдать некоторые условия. Эффект условного тормоза получается ярко в том случае, когда новый агент совпадает или предшествует условному на три-пять секунд.

В случаях, когда новый агент прекращается в то время, когда начинает действовать первый, эффект получается с трудом, наконец, он совсем не наступает, если перерыв достигает десяти секунд. В последнем случае получается не условный тормоз, а условный рефлекс второго порядка. Объясняется это явление тем, что в случае короткого промежутка оба агента как бы сливаются в один тормозный агент; в случае же длинного промежутка между концом одного и

началом действия другого, оба действуют, как два различных агента, образуя, как было указано выше, таким путем условный рефлекс второго порядка¹. Доказывается это очень ярко тем, что особенно сильный раздражитель образует условный тормоз, даже при длительном промежутке, очевидно, оставляя после себя длительное последствие. На скорость выработки условного торможения влияют: во-1-х, индивидуальность животного, во-2-х, интенсивность прибавочного агента (чем он интенсивнее, тем скорее вырабатывается условный тормоз); в-3-х, определенное отношение интенсивности обоих агентов; в-4-х, практика. В первый раз условный тормоз вырабатывается труднее. Так же, как в предыдущем явлении, легко доказывается, что в основе здесь лежит активный процесс торможения, а именно:

1) Прибавочный агент уменьшает или прекращает действие не только данного условного рефлекса, но и других, даже таких, которые были выработаны на других безусловных рефлексах. 2) Последовательное торможение. После применения комбинации лишаются своего действия и другие условные рефлексы. Это последовательное торможение в дальнейшем постепенно исчезает, что связано, как увидим дальше, с процессом концентрирования. 3) Растворение. При присоединении постороннего агента комбинация получает положительное действие. Как и при угасании, положительное действие не получалось при действии сильных раздражителей. Примененные непосредственно к условному рефлексу, они его тормозили (объяснение см. ниже).

В. Запаздывание. Явление запаздывания выражается в том, что, в случае большого промежутка между началом действия условного и безусловного раздражителя, условное действие проявляется не в начале, а в конце опыта, перед началом действия безусловного рефлекса. Эффект условного действия состоит как бы из двух фаз, часто одинаковых по продолжительности, — начальной недеятельной и второй деятельной. В основе недеятельной фазы лежит не простое отсутствие реакции, а активный процесс торможения. Доказывается это растворением. Если во время недеятельной фазы применить посторонний раздражитель, запаздывания не получается, часто, напротив, деятельная фаза уменьшается в своем эффекте, т. е. тормозится. То, что говорилось в предыдущих случаях относительно влияния раздражителей различной силы, получает в данном случае наиболее красочное эффектное выражение. Получается следующая градация действия посторонних раздражителей по их силе: слабые только растворяют недеятельную фазу, более сильные действуют на обе фазы, растворяя первую и частично тормозя вторую, еще более сильные действуют только на вторую, не вполне ее тормозя; наконец, самые сильные целиком ее тормозят. Отсюда вытекает следующий вывод. *Тормозной процесс гораздо лабильнее раздражительного*, так как испытывает изменение под влиянием более слабых посторонних раздражителей. Развитие торможения при запаздывании можно понимать

¹ См. стр. 169.

таким образом: условный раздражитель вызывал положительное действие только в комбинации с длинным промежутком времени; иначе говоря, условный раздражитель плюс время вызывали положительное действие; комбинация же с меньшим промежутком времени отличалась животным или, что то же самое, вызывала дифференцировку.

Г. *Дифференцировочное торможение* выражается в том, что в результате систематического подкрепления одного условного раздражителя (напр., 76 колебаний метронома) и систематического неподкрепления близкого к нему агента (напр., 100 колебаний) второй агент, несмотря на свою близость к первому, теряет свой положительный эффект. Явление это, выражающее, повидимому, в более общей форме все другие, указанные выше, непосредственно связано с анализаторной и синтетической деятельностью больших полушарий. Нервная система обладает механизмами, выделяющими из сложной среды отдельные элементы, и механизмами, сливающими эти элементы в определенные комплексы. Анализатор—это нервный прибор, включающий в себя рецепторный орган, нервное волокно и нервные центры. Низший элементарный анализ доступен и низшим центрам, высший же относится целиком к деятельности больших полушарий. Колебания внешних условий связаны также и с исследовательским рефлексом, но он, естественно, недоступен точным измерениям.

Как же протекает анализаторный процесс? Оказывается, что сначала действие всякого агента носит обобщенный характер; всякое близкое к условному агенту раздражение получает положительный эффект (генерализация). Особенно обобщенным, генерализованным, члвляется следовой условный рефлекс, что связано с возникающим с самого начала интенсивным процессом торможения, мешающим дифференцировке. Специализация условных рефлексов, отличие их от родственных агентов достигаются, далее, не само собой, а в результате систематического подкрепления данного и неподкрепления родственного агента. Процесс дифференцировки означает тормозное действие родственных агентов и сосредоточение раздражительного процесса на центре условного рефлекса; иначе говоря, в основе дифференцировки лежит тот же тормозной процесс. Это легко проверяется приемами, подобными предыдущему. Применяя способ дифференцировки, можно было изучить до тонкости анализаторную деятельность животных на различные раздражители. Только метод условных рефлексов позволяет точно изучить объем и предел анализаторной деятельности. Физиология органов чувств, благодаря своему субъективному методу, не могла близко подойти к разрешению этого вопроса. Опыты с дифференцировкой дали богатейший материал анализаторной деятельности собак. На частностях этих опытов останавливаться не буду, так как они имеют более специальное значение. Синтетическая деятельность изучена еще недостаточно и не дает столь ярких обобщающих выводов, как анализаторная. Изучался синтез одновременных комплексов (напр., одновременное действие звука, света и кожного раздражения) и последовательных комплексов (следование

друг за другом в известном порядке различных раздражений). При одновременных комплексах наблюдалось явление замаскирования слабого раздражения сильным. Явление заключается в том, что испытанные отдельно сильные раздражители вызвали почти полный положительный эффект, слабые его не давали. В то же время выяснилось, что слабый раздражитель при комплексном раздражении свою роль играл (при тормозном действии сильных раздражителей комплекс все же действовал). Явление замаскирования есть не что иное, как внешнее торможение сильным раздражителем слабого¹. В еще большей степени связан процесс торможения с синтезом последовательных комплексов. Здесь достигалась дифференцировка на различный порядок следования агентов. Синтезирующая деятельность может быть объяснена процессом сложного замыкания; клетки связываются между собой, образуют сложную единицу, как в более элементарном виде происходит при образовании условного рефлекса. В связи с этим нужно рассмотреть особый случай образования условных рефлексов, изученный только в последнее время и играющий, повидимому, роль и при сложном синтетическом замыкании. Оказалось, что замыкание может происходить, кроме указанных выше случаев, также под влиянием внешнего торможения. Именно опыты показали, что при предшествовании безусловного рефлекса условному² может происходить образование условного рефлекса, который, правда, быстро угасает. Это означает, что «образование новых связей в коре может происходить не только в районах полушарий с оптимальной возбудимостью, но и в частях их, более или менее заторможенных»³. В связи со всем вышесказанным биологическая роль торможения трактуется следующим образом. Торможение предупреждает напрасную трату энергии, являясь средством отличия или анализа. Тем самым постоянно корректируется и совершенствуется сигнализационная деятельность больших полушарий и достигается более тонкое и точное уравнивание организма с внешней средой. (Продолжение биологической теории торможения будет изложено ниже).

Переходя к изучению динамики нервных процессов, надо отметить исключительно противоречивую природу этих процессов. Первый закон динамики—иррадирование и концентрирование нервных процессов. Выше мы уже имели дело с проявлением этого закона при последовательном торможении. Теперь выясним механизм этого явления. Специальные опыты над всеми видами внутреннего торможения выявили следующее: торможение, существующее в определенном пункте коры мозга, распространяется от него на соседние пункты и тем в более слабом размере, чем эти пункты лежат далее от пункта, где торможение производится, становясь совершенно незаметным на более отдаленных пунктах. Чем торможение интенсивнее, тем быстрее

¹ Хорошо понятно это явление в связи с законом доминанты.

² Безусловный рефлекс, как более сильный, тормозит условные и индифферентные агенты, т. е. является по отношению к ним посторонним раздражителем.

³ Это явление проливает свет на механизм бессознательного состояния.

и дольше оно распространяется. Распространившийся процесс торможения оставляет сначала более далекие пункты, а затем уже ближайšie к исходному пункту торможения. По мере повторения опытов последовательное торможение уменьшается в своем размере. Оставление тормозным процессом временно занимаемых им пунктов есть не простое затухание процесса, а сосредоточение, концентрирование его в исходном пункте. За это говорит то обстоятельство, что при повторении опытов (напр., при дифференцировочном торможении) достигается упрочение дифференцировки, иначе говоря, сосредоточение торможения на исходном пункте при явлениях усиления интенсивности торможения на этом пункте и ослабления последовательного торможения. Все эти результаты представляют только основной скелет явления. Осложняются опыты двумя моментами, во-1-х, затягивающимся торможением в отдаленных пунктах в тех случаях, когда там действуют слабые или молодые условные рефлексы; во-2-х, явлениями индукции, о чем см. ниже. Те же явления иррадиирования и концентрирования происходят при процессах раздражения. Процесс генерализации представляет собой частный случай иррадиирования, именно: при обобщении или генерализации процесс не остается в определенном для него пункте коры, а распространяется в близлежащие пункты. Второй закон, противоречащий в известной степени первому, — закон индукции. Выражается он в следующем. Процесс раздражения вызывает одновременно в пространстве, и последовательно во времени, усиленный процесс торможения и, обратно, торможение вызывает усиленное раздражение. Первый процесс носит название отрицательной индукции, второй — положительной. Внешнее торможение не более не менее как частный случай отрицательной индукции, так как при том и при другом явлении очаг раздражения вызывает вторичное торможение. Специальные опыты показали, что то и другое явление происходит в полушариях мозга.

Итак, в полушариях происходят два различных по своему эффекту процесса: распространение определенного нервного процесса по коре полушарий и вызывание в коре противоположного процесса. Это очень затрудняло изучение каждого из этих явлений в отдельности. Только, когда оба явления были изучены в отдельности, можно было более или менее разобратъся в соотношениях между ними. Оказалось, во-первых, что индукция часто предшествует распространению нервного процесса, во-вторых¹, по мере повторения опытов, положительная индукция как бы вытесняла во времени и пространстве тормозной процесс, возникая раньше во времени и ближе от тормозного пункта; в-третьих, при известных условиях исчезает и индукция (последнее явление мало изучено). Все эти явления позволяют сделать следующие выводы о свойствах мозговой коры.

1. *Высочайшая чувствительность* (каждое ничтожное влияние так или иначе сказывается на состоянии всей коры).

¹ Из книги не ясно, распространяется ли это правило на отрицательную индукцию.

2. *Текучесть процессов коры.* Это влияние может резко изменить соотношение положительных и отрицательных пунктов и вызвать новые соотношения в коре.

3. *Волнообразность в пространстве и во времени процессов в разных пунктах полушарий.* В разное время на одном пункте и в одно время на разных пунктах при определенном незначительном влиянии замечается волнообразная смена раздражения и торможения.

Все эти различные отношения обуславливаются соучастием следующих трех факторов: 1) индивидуальностью животного, 2) определенной формой установки новых отношений (концентрирование связано с повышением индукции, иррадиирование—с ее ослаблением), 3) участием различных видов торможения. Из изложенного вытекает, что в коре существует определенное соотношение между раздражительным и тормозным процессами. «Таким образом, кора полушарий должна представлять собой грандиозную мозаику, грандиозную сигнализационную доску». Раздражение одних пунктов одновременно вызывает торможение других и наоборот. Мозаика в коре образуется, во-первых, благодаря внешним раздражениям, производящим противоположные процессы: вокруг положительных условных рефлексов новые места, впервые испытанные, дают положительный эффект, вокруг отрицательного—отрицательный; во-вторых, мозаика зависит от индукции. Ряд опытов показал, что положительные пункты легко и прочно образуются рядом с отрицательными и наоборот. Этим объясняется крайнее упорство и стойкость некоторых пунктов, когда часто не удается длительно изменить определенное состояние этих пунктов. Итак, наряду с крайней подвижностью и изменчивостью наблюдается стойкость отношений в коре. Павлов формулирует противоречие нервных процессов следующим образом: *«Если с одной точки зрения кору больших полушарий можно рассматривать, как мозаику, состоящую из бесчисленной массы отдельных пунктов с определенной физиологической ролью в данный момент, то с другой мы имеем в ней сложнейшую динамическую систему, постоянно стремящуюся к объединению (интеграции) и к стереотипности объединенной деятельности».* Таким образом, диалектическое противоречие между тенденцией к распространению процессов и тенденцией к мозаичности осуществляется в интегрирующей и синтетической деятельности полушарий¹. Теперь на основе изученного можно ближе подойти к сущности нервных процессов и к отношениям между ними.

III

Дальнейшие исследования показали, что переход клеток полушарий в тормозное состояние происходит не только в связи с неподкреплением условного рефлекса, но что часто этот переход происходит и при систематическом подкреплении. Существует правило, по которому

¹ Конечно, это Павловым не указывается.

клетка полушария под влиянием систематического раздражения стремится к переходу в длительное тормозное состояние; при этом условное раздражение, действуя на корковую клетку, тем скорее приводит ее в длительное тормозное состояние, чем более продолжительное время оно действует и чем чаще повторяется такое действие. Однако этот процесс происходит несравненно медленнее, чем при неподкреплении. Для объяснения этой разницы возможны два предположения. Во-первых, неподкрепляемое условное раздражение продолжает действовать некоторое время и при прекращении раздражителя, в то время как безусловный рефлекс, как мы видели выше, тормозит условный рефлекс; второе предположение основано на том, что в первом случае процесс потухает постепенно, во втором—резко. Объяснение это связано с биологической теорией торможения, которая заключается в следующем. Клетка коры при частом ее раздражении, функционально истрачиваясь и не успевая восстанавливаться, переходит в полное тормозное состояние, предварительно представляя колебания, род борьбы, между процессами раздражения и торможения. Быстрота торможения при неподкреплении связывается с высшей реактивностью клетки и с ее требовательностью относительно питания. «Образцово-длительный сигнальщик выполнил свою ответственную роль, и его отдых и восстановление должны быть сейчас же ему обеспечены ради такой же исправности будущей его работы». Если торможение быстро не является на смену, оно потом компенсирует это длительным застреванием в этом пункте. *Таким образом, торможение связано с разрушаемостью клеток, но не есть само по себе разрушение, а играет только роль охранителя клеток, предупреждающего дальнейшее чрезмерное опасное их разрушение.*

В связи с этой теорией становится понятной и связь скорости наступления длительного торможения с большой продолжительностью действия раздражительного процесса при подкреплении безусловным рефлексом и прекращение длительного торможения при коротком отставлении (короткий промежуток между началом условного и безусловного рефлекса). Весьма гармонирует с этой теорией то положение, что сон есть разлитое иррадиированное торможение всей коры и низших центров. В самом деле, назначение сна в том ведь и заключается, чтобы предупреждать истощаемость нервной системы. А что сон и внутреннее торможение—один и тот же процесс, показали многочисленные опыты, при которых, наряду с торможением, развивалось сонное состояние. При таком понимании механизма сна внутреннее торможение можно представить себе, как раздробленный сон отдельных групп клеток. Это ярко иллюстрируется тем фактом, что мозаичность коры, чередование положительных и отрицательных пунктов, сильно препятствует развитию сонного состояния. Чрезвычайно убедительно сопоставление внутреннего торможения и сна при однообразных, длительно действующих раздражениях. Из предыдущего должно быть ясно, что такие раздражения вызывают длительное торможение; с другой стороны, известно, что они же являются лучшим снотворным средством. В связи с механизмом сна делается понятным

и механизм гипнотических состояний. Так, каталептическое состояние, нередко наблюдающееся у собак, объясняется тем, что торможение захватывает высшие двигательные центры, не распространяясь на низшие центры. Гипнотическое состояние, очевидно, есть не сплошной сон, а частичный. Внушение можно объяснить следующим образом: слово внушающего на известном тормозном фоне вызывает резко концентрирующийся очаг раздражения, который, вызывая в свою очередь резкую отрицательную индукцию в коре полушарий, исключает конкуренцию с собой других раздражителей. При опытах со сном наблюдались у собак особые состояния, которые по аналогии можно было бы назвать парабриотическими¹. Было констатировано, что клетки полушарий переживают ряд переходных состояний между раздражительным и тормозным состоянием. Состояния эти, продолжавшиеся при экспериментальных неврозах, как увидим ниже, в течение длительного периода, измерялись в данном случае минутами. При таких состояниях получаются фазы, подобные тем, которые наблюдались Введенским при изучении нервного волокна, а именно — уравнивательная и парадоксальная фазы. При первой замечалось одинаковое действие сильных и слабых раздражений, при второй — сильные раздражения давали в данном случае эффект гораздо меньший, чем слабые. Из указанных опытов вытекает, что раздражение не только вызывает в силу индукции противоположный процесс, но и само в этот противоположный процесс переходит.

Выше мы видели, что в коре существует известное равновесие между процессами раздражения и торможения. При известных условиях это равновесие нарушается, и происходит отклонение условно-рефлекторной деятельности, часто сопровождаемое патологическим поведением животных. Явление это носит название экспериментального невроза. Происходит это в тех случаях, когда на долю собаки выпадает трудная задача, с которой она не может справиться. Во всех этих случаях собаке приходилось вырабатывать интенсивный тормозной процесс. Происходило это при процессе образования из электрического тока условного пищевого рефлекса, при процессах дифференцировки, при непосредственной смене одного состояния другим, при действии сильных раздражителей и проч. Таким образом, встреча при известных условиях процессов раздражения и торможения ведет к нарушению баланса между ними и создает в большей или меньшей степени ненормальное состояние нервной системы. У возбудимых собак при этом часто преобладает раздражение и пропадают дифференцировки, у тормозных, напротив, — торможение. Во многих случаях при этом наступали длительно уравнивательная, парадоксальная и ультра-парадоксальная фазы. Последняя выражалась в том, что тормозные агенты давали положительный условный эффект. Механизм этих явлений можно было бы объяснить следующим образом. В случаях экспериментальных неврозов имеется частичное, узко локализованное нарушение соответственного анализатора, функционально

¹ Павлов из осторожности так их не называет.

язва, прикосновение к которой адекватным раздражителем вредно отражается на всей коре. Раздражитель, вызывая в ненормальном пункте процесс раздражения, тем самым углубляет в нем процесс торможения, делает его стационарным, а торможение, иррадируя, вовлекает в то же состояние и остальные клетки коры.

Наконец, остановлюсь вкратце на вопросе о конституции больших полушарий. Метод изучения — частичное разрушение различных участков мозга. После образования условных рефлексов на определенном анализаторе (напр., на звуковом) удаляется полно или частично высший центр данного анализатора, и после этого изучаются отклонения в деятельности больших полушарий. После частичного удаления определенного анализатора наблюдаются следующие общие нарушения в работе полушарий.

1) Немедленно после удаления происходит исчезание всех искусственных, т. е. выработанных условных рефлексов (натуральные условные рефлексы часто остаются). 2) Скорость восстановления условных рефлексов зависит от следующих факторов: а) от прочности условного рефлекса (чем прочнее рефлекс, тем скорее он восстанавливается), б) рефлексы других анализаторов восстанавливаются раньше, в) имеет значение сила раздражителя и свойства данного анализатора. Все это говорит за то, что от операционного поля, как от центра, происходит распространение тормозного процесса по полушариям, а затем сосредоточивание его в исходном пункте. При восстановлении условные рефлексы часто усиливаются при явлениях ослабления тормозного процесса и понижения силы его концентрирования (инертность торможения). Кроме этих нарушений, в дальнейшем сказывается влияние рубца, что обнаруживается в явлениях судорог. С явлениями судорог связано взрывчатое сильное раздражение двигательного анализатора и переход его затем в длительное тормозное состояние (явление раздражительной слабости). Кроме судорог, замечалось сильное раздражение центров разных анализаторов.

Переходим к вопросу о физиологическом значении полушарий и отдельных его частей.

1) При удалении отдельных анализаторов в нервной системе находит свое выражение закон компенсации, или запасных средств. При удалении одного анализатора усиливается действие других.

2) При удалении целиком больших полушарий условные рефлексы исчезают. Таким образом, полушария являются главнейшим органом условных рефлексов.

3) При удалении целиком строго отграниченной центральной части отдельного анализатора процесс восстановления протекает на данном анализаторе следующим образом: сначала восстанавливается безусловный исследовательский рефлекс, затем постепенно появляются условные рефлексы, никогда, однако, не восстанавливаясь полностью.

4) При полном отсутствии положительных условных рефлексов специальные опыты устанавливают, что на данном анализаторе еще можно вырабатывать отрицательные условные рефлексы; иначе говоря,

выясняется, что оставшиеся или запасные клетки анализатора обла-
дают способностью торможения.

5) При восстановлении условных рефлексов замечается резкое по-
нижение анализаторных функций. (По старой терминологии Мушка,
животное слышит, но не понимает).

6) Дифференцировки последовательных комплексных раздражений
никогда не восстанавливаются.

На основании вышеизложенного можно вывести следующее общее
заклучение о деятельности больших полушарий.

Каждый анализатор состоит из специального отдела, осуществляю-
щего высший синтез и анализ. В этом особом отделе густо сконцент-
рированы элементы данного анализатора с приводами от всех частей
периферического аппарата, благодаря чему между клетками могут
образоваться тонкие связи, осуществляющие сложные синтезы и ана-
лизы. Кроме этого специального отдела, существуют рассеянные по
всей коре элементы данного анализатора; элементы эти не способны
к сложным соединениям, в них возможны только элементарный син-
тез и анализ. Это заключение распространяется на все анализаторы
коры. Специальные опыты показали, что деятельность двигательного
анализатора принципиально ничем не отличается от деятельности
других анализаторов.

* * *

Переходя к оценке роли и значения учения об условных рефле-
ксах так, как оно отражено в данной книге, надо отметить, во-1-х,
исключительное богатство фактического материала, во-2-х, возможность
при помощи этого материала уже сейчас объяснять многие стороны
поведения и, в-3-х, большие потенциальные возможности в развитии
учения.

Целый ряд психических состояний, связанных с более или менее
элементарными процессами, находит свое блестящее объяснение (напр.,
гипноз, неврозы и др.). Этим больше всего доказывается правильность
основного исходного положения Павлова; только на основе физиологи-
и больших полушарий можно подойти к анализу субъективного мира
человека. Для всех дальнейших исследований в этой области работа
Павлова является наиболее мощным, солидным фундаментом. Если уже
сейчас мы заглянули в некоторые уголки внутреннего мира, то разве
что-либо может помешать будущим исследователям изучить и овла-
деть механизмом сложного сознательного поведения¹.

Не будет преувеличением сказать, что этим достижениям мы обя-
заны глубоко материалистическим принципам, лежащим в основе уче-
ния, стихийно диалектической установке и, наконец, чрезвычайному
искусству, тонкости, многообразию, упорству творческой мысли Пав-
лова. Основной недостаток учения коренится в недостатке методоло-
гических предпосылок. Этот недостаток затрудняет и замедляет иссле-
дование, тормозит работу обобщающей мысли, делает учение тем

¹ Само собой разумеется, что в этих исследованиях социальный фактор бу-
дет играть руководящую роль.

более беспомощным, чем дальше и глубже оно растет. «Мысль,—говорит Павлов,— не может угнаться за разнообразием отношений». Сложность и разнообразие отношений как бы подавляет размах мысли, выявляя ее «обычные слабости, стереотипность и предвзятость», вынуждает, не разрешивши одних вопросов, приступать к разрешению новых, наконец, приводит к ошибкам, пагубно отражающимся на дальнейших исследованиях. «От намеченных задач нас часто отвлекает неожиданное, нередко смущает многое непонятное с принятой нами точки зрения».

Таким образом, сам Павлов признает некоторые недостатки механизма своего учения, объясняя их исключительно сложностью и разнообразием отношений. Однако из всех этих рассуждений неизбежно вытекают следующие два вывода:

1) Если уж сейчас «мысль не может угнаться за разнообразием отношений», то, по мере их усложнений, она неизбежно будет все больше и больше отставать.

2) Во избежание этого необходимо «эту мысль» так усовершенствовать, чтобы она не только догоняла факты, но могла отчасти их предвидеть.

Если сравнить сдержанное настроение последней книги, прорывающееся этими отдельными пессимистическими нотками, с исключительно бодрым оптимистическим настроением первой, еще не изведавшей так сильно муки противоречий, невольно приходишь к следующему видоизменению известной мысли Павлова: «К счастью человечества» приведет не только всемогущее естествознание, не столько даже наука вообще, но главным образом то орудие, тот метод, который сможет эту науку с возрастающей силой двигать вперед по пути служения человеческой революционной практике. Сознательное применение диалектики, неустанное накопление при ее помощи все новых и новых фактов, диалектическое использование теорий в области низших отделов нервной системы, построение на всей этой основе обобщающих теорий, находящих свое полное оправдание в практике,—таковы пути развития этой области, которая из всех областей наиболее диалектична и революционна,—области высшей нервной деятельности. Мастерская глубокого мастера Павлова станет некогда фабрикой.

А. Замманзон.

К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Перед читателями «Вестника» развернулась страстная полемика о принципе относительности¹. Наиболее горячо обсуждался вопрос о числе измерений той совокупности вещей, которую зовем мы реальным пространством. Поэтому читателям «Вестника», быть может, небезынтересно узнать, как относится к вопросу о числе измерений современная геометрия.

1° Гипотеза числа измерений в Евклидовой геометрии

Вопрос о числе измерений был выдвинут во всей общности Cantor'овским² (теоретико-множественным) направлением, поставившим многие принципиальные вопросы и заставившим искать строгих определений во многих областях математики. Да, это и понятно. Ведь, до Riemann'a³, Helmgoltz'a⁴ и S. Lie⁵ геометрия имела дело преимущественно с пространствами определенного числа измерений, двух или трех измерений, и притом с очень правильными пространствами, где не было необходимости выделять свойства числа измерений, и где вопрос о числе измерений мог быть разрешен с чрезвычайной простотой. Например, в Hilbert'овой⁶ системе евклидовой геометрии число измерений, равное в данном случае трем, устанавливается с помощью аксиом⁷:

I. 7. Если две плоскости α и β имеют общую точку A , то они имеют общую прямую a .

II. 8. В пространстве найдется по меньшей мере одна точка, не принадлежащая данной плоскости.

¹ См. Вестник Комм. Академии №№ 7 и 10.

² Cantor. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre Journ. f. reine und. angew. Mathematik. Bd. LXXXIV. 1878.

³ B. Riemann. Ueber die Hypothesen, die der Geometrie zu Grunde liegen. Götting. Abhandlungen. XIII. 1868.

⁴ Helmholtz. Ueber die Tatsachen, die der Geometrie zu Grunde liegen. Götting. Nachrichten. XV. 1868.

⁵ S. Lie. Theorie der Transformationsgruppen. 1888 - 1893.

⁶ Hilbert. Grundlagen der Geometrie.

⁷ Сохраняя нумерацию и смысл приведенных аксиом, мы несколько изменили их редакцию для того, чтобы с большим удобством воспользоваться ими в п. 2.

— и нигде не приходится иметь дело непосредственно и в явной форме с понятием числа измерений, хотя гипотезы многих теорем по существу на него опираются.

С своей стороны мы позволяем себе обратить внимание читателя на следующие две теоремы¹, уже чрезвычайно близкие к тому, что говорит о числе измерений примитивный опыт:

1. Две любые точки пространства можно соединить простой ломаной, не пересекая данной отличной от них точки или данной не содержащей ни одну из них—прямой.

2. Плоскость α разделяет точки пространства на две части такие, что можно соединить две точки одной части и нельзя соединить две точки разных частей отрезком, не пересекающим α .

Представим себе теперь стеклянный куб, разделенный стеклянной же перегородкой на два параллелепипеда, и в одном из параллелепипедов тонкий стержень:

Трехмерность куба состоит прежде всего в том, что можно внутри куба перейти из одного положения в другое, не задевая стержня, и нельзя перейти внутри куба из одного параллелепипеда в другой, не нарушая целости стеклянной перегородки. Легко видеть, что теоремы 1 и 2 суть только предельные случаи этого примера.

2° n -мерное Эвклидово пространство

На основе аксиом Hilbert'овой системы можно ввести понятие n -мерного пространства². Для этого достаточно в двух цитированных аксиомах заменить слово «пространство» словами « n -мерное пространство», слово «плоскость» словами « $n-1$ -мерное пространство» и слово «прямая» словами « $n-2$ -мерное пространство». Тогда так же, как это делается в аналитической геометрии для случая одного, двух и трех измерений³,—показать геометрическую эквивалентность такого пространства пространству всевозможных групп вещественных чисел $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при чем каждая группа называется его точкой, а расстоянием между двумя точками $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ называется неотрицательное число

$$+ | (x_1 - x'_1)^2 + (x_2 - x'_2)^2 + \dots + (x_n - x'_n)^2 |.$$

Математики, впрочем, предпочитают пользоваться понятием n -мерного Эвклидова пространства в его последней, непосредственно числовой форме, ибо там сразу может быть применен мощный аппарат алгебры.

¹ Доказательство обеих теорем совершенно элементарно. Вторая из них помещена под № 8 в § 4 Grundlagen der Geometrie.

² См. Blaschke. Vorlesungen über Differential Geometrie.

³ См., напр., Tannery. Introduction à la Théorie des fonctions. II. ed. T. II.

Понятие n -мерного Эвклидова пространства является, очевидно, математической фикцией, не претендующей на точное воспроизведение свойств физического мира, но весьма удобной во многих случаях, где идет речь об n независимых факторах¹. Поэтому, может быть, целесообразно было бы, во избежание путаницы и нареканий со стороны неспециалистов, называть n -мерное Эвклидово пространство не «пространством», а как-нибудь иначе.

Обозначим теперь через $\rho(a, b)$ расстояние между точками a и b n -мерного Эвклидова пространства. Тогда²:

1. $\rho(a, a) = 0$.
2. Если $\rho(a, b) = 0$, то $a = b$.
3. $\rho(a, b) = \rho(b, a)$.
4. $\rho(a, c) \leq \rho(a, b) + \rho(b, c)$.

Например, для случая плоскости³ имеем:

1. $\sqrt{(x_1 - x_1)^2 + (y_1 - y_1)^2} = 0$, ибо $(x_1 - x_1) = 0$ и $(y_1 - y_1) = 0$.
2. Если $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = 0$, то $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$, ибо $(x_1 - x_2) = 0$ и $(y_1 - y_2) = 0$.
3. $\sqrt{(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, ибо $(x_1 - x_2)^2 = (x_2 - x_1)^2$ и $(y_1 - y_2)^2 = (y_2 - y_1)^2$.
4. $\sqrt{(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2} \leq \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} + \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2}$. Желание сохранить элементарность изложения вынуждает нас доказать это предложение довольно длинными, но совершенно элементарными вычислениями⁴. Допустим для доказательства, что $\sqrt{(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2} > \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} + \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2}$. Возводя обе части неравенства в квадрат, получаем:

$$(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2 > (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2 + 2\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \cdot \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2},$$

или

$$x_1^2 - 2x_1x_3 + x_3^2 + y_1^2 - 2y_1y_3 + y_3^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 - y_1^2 + 2y_1y_2 - y_2^2 - x_2^2 + 2x_2x_3 - x_3^2 - y_2^2 + 2y_2y_3 - y_3^2 > 2\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \cdot \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2}.$$

¹ См., напр., Weill. Raum, Zeit und Materie.

² См. Fréchet. Rend. del circolo di Palermo. 22. 1906.

³ См. Fannery. Introduction ect. T. II.

⁴ Hausdorff. Grundzüge der Mengenlehre. § 20.

Приводя подобные члены в левой части и произведя умножение— в правой, получаем:

$$-x_1x_3 - y_1y_3 + x_1x_2 - x_2^2 + y_1y_2 - y_2^2 + x_2x_3 + y_2y_3 >$$

$$> \sqrt{(x_1-x_2)^2(x_2-x_3)^2 + (x_2-x_3)^2(y_1-y_2)^2 + (x_1-x_2)^2(y_2-y_3)^2 + (y_1-y_2)^2(y_2-y_3)^2}.$$

$$x_2(x_1 - x_2) + y_2(y_1 - y_2) - x_3(x_1 - x_2) - y_3(y_1 - y_2) >$$

$$> \sqrt{(x_1-x_2)^2(x_2-x_3)^2 + (x_2-x_3)^2(y_1-y_2)^2 + (x_1-x_2)^2(y_2-y_3)^2 + (y_1-y_2)^2(y_2-y_3)^2}.$$

$$(x_2 - x_3)(x_1 - x_2) + (y_2 - y_3)(y_1 - y_2) >$$

$$> \sqrt{(x_1-x_2)^2(x_2-x_3)^2 + (x_2-x_3)^2(y_1-y_2)^2 + (x_1-x_2)^2(y_2-y_3)^2 + (y_1-y_2)^2(y_2-y_3)^2}.$$

Возводя снова обе части неравенства в квадрат получаем:

$$\begin{aligned} & (x_2 - x_3)^2(x_1 - x_2)^2 + (y_2 - y_3)^2(y_1 - y_2)^2 + \\ & + 2(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(y_1 - y_2)(y_2 - y_3) > (x_1 - x_2)^2(x_2 - x_3)^2 + \\ & + (x_2 - x_3)^2(y_1 - y_2)^2 + (x_1 - x_2)^2(y_2 - y_3)^2 + (y_1 - y_2)^2(y_2 - y_3)^2. \end{aligned}$$

Приводя подобные члены, получаем:

$$\begin{aligned} & (x_2 - x_3)^2(y_1 - y_2)^2 + (x_1 - x_2)^2(y_2 - y_3)^2 - \\ & - 2(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)(y_1 - y_2)(y_2 - y_3) < 0, \end{aligned}$$

или

$$[(x_2 - x_3)(y_1 - y_2) - (x_1 - x_2)(y_2 - y_3)]^2 < 0,$$

что невозможно, ибо квадрат вещественного числа не может быть отрицателен. Таким образом получаем противоречие, доказывающее предложение.

Совокупность точек n -мерного пространства, расстояние которых от данной его точки меньше или равно данному числу, мы будем называть n -мерным шаром.

Совокупность точек n -мерного Евклидова пространства, расстояние которых от данной точки меньше данного числа, мы называем внутренней областью n -мерной сферы.

Заметим, что только Евклидова метрика удовлетворяет условиям 1—4 § 2¹.

3°. Теорема Cantor'a об эквивалентности пространств различного числа измерений²

Мы переходим к Cantor'ову определению мощности.

Мы называем два множества A и B обладающими одинаковой мощностью или эквивалентными, если элементы их могут быть приведены

¹ См. напр., того же Weill'a.

² См. Hessenberg. «Grundbegriffe der Mengenlehre». Göttingen. 1906.

в одно-однозначное соответствие так, что одному элементу одного из множеств отвечает единственный элемент другого множества.

Понятие мощности множеств, будучи очевидным обобщением понятия количественного числа, обладает многими парадоксальными на первый взгляд свойствами. Прежде всего, бесконечное множество может быть эквивалентно своему подмножеству. Например, множество целых положительных чисел

$$1, 2, 3, \dots$$

эквивалентно множеству четных чисел:

$$2, 4, 6, \dots$$

ибо каждое целое число можно умножить на два и привести таким образом каждому целому числу в одно-однозначное соответствие четное число.

В 1878 г. G. Cantor¹ доказана такая теорема:

n -мерное Евклидово пространство может быть одно-однозначно отображено на прямую и, следовательно, вообще на m -мерное пространство ($m \geq n$)².

Мы проведем доказательство для случая $n=2$ и $m=1$, точнее, докажем, что множества точек отрезка прямой от 0 до 1 и плоского квадрата со стороной, равной 1 эквивалентны. Мы воспользуемся доказательством, принадлежащим A. Pringsheim³.

Каждому вещественному числу x такому, что $0 < x < 1$ отвечает разложение в непрерывную дробь

$$\frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots + \frac{1}{a_n}}}}$$

конечную или бесконечную, смотря по тому, рациональное x число или иррациональное. Мы определяем два числа

$$X = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_5 + \dots + \frac{1}{a_{2n+1}} + \dots}}}$$

$$Y = \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_4 + \dots + \frac{1}{a_{2n+2}} + \dots}}$$

при чем снова $0 < X < 1$ и $0 < Y < 1$. Поэтому пара чисел X и Y определяют точку квадрата, со стороной равной 1, расположенного

¹ См. цитату 1 на стр. 1.

² Так как два множества, эквивалентные третьему, эквивалентны между собой. См. Hausdorff. Grundzüge der Mengenlehre. § 5.

³ См. Pringsheim. Zahlen und Functionenlehre.

в первом квадрате декартовой плоскости¹, — которую мы и относим точке x отрезка. Полученное таким образом соответствие очевидно является одно-однозначным².

4°. Окрестности и предельные точки

Условимся называть окрестностью точки a в n -мерном Эвклидовом пространстве внутреннюю область n -мерного шара S_a с центром в точке a . Тогда³

1. Точке a отвечает окрестность S_a .
2. Если точка b принадлежит окрестности S_a точки a , то существует ее окрестность S_b , заключающаяся в S_a .
3. Если точка a принадлежит двум окрестностям U_a и W_a , то существует ее окрестность S_a , заключающаяся в них обеих.
4. Двум различным точкам a и b отвечают две непересекающиеся (не имеющие общей части) окрестности.

Вместе с тем не трудно было бы доказать, что можно построить такую последовательность окрестностей $S_1, S_2, \dots$, что каждая окрестность любой системы окрестностей, обладающей 4 перечисленными свойствами содержит по крайней мере одну окрестность системы $S_1, S_2, \dots$ и обратно каждая окрестность системы $S_1, S_2, \dots$ содержит по крайней мере по одной окрестности из любой системы окрестностей, обладающей свойствами 1—4. Для построения такой последовательности окрестностей достаточно рассмотреть совокупность шаров с рациональными радиусами и центрами с рациональными координатами.

Пусть имеем множество A точек n -мерного Эвклидова пространства R_n . Точку a пространства R_n мы называем предельной точкой множества A , если каждая окрестность точки a включает по крайней мере одну точку множества A .

Рассмотрим, напр., геометрическую прогрессию $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$

Нанесем точки, отвечающие ее частным суммам, на ось абсцисс Descart'овой плоскости.

Любой круг с центром в точке $(1,0)$ включает по крайней мере одну из точек, отвечающих частным суммам прогрессии $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$

Точка $(1,0)$ является, следовательно, предельной точкой рассмотренной прогрессии.

¹ Descart'овой плоскостью мы называем числовую плоскость, о которой шла речь в п.° 2.

² Множество, эквивалентное множеству целых чисел, которое, следовательно, может быть перенумеровано, называется счетным. Множества, эквивалентные множеству вещественных чисел, называются обладающими мощностью континуума.

³ См. Hausdorf. Grundzüge der Mengenlehre. §§ 20—25 и 40.

52 Однозначное и непрерывное отображение. Кривые Пеано

Если последовательность $p_1, p_2, \dots$ имеет единственную предельную точку p , то мы будем говорить, что последовательность $p_1, p_2, \dots$ сходится к точке p или просто сходится.

Отображение множества P на множество Q мы называем однозначным и непрерывным, если каждой точке P отвечает единственная точка Q , и последовательности точек $p_1, p_2, \dots$ множества P сходящейся к точке p , отвечает последовательность точек $p'_1, p'_2, \dots$ множества Q , сходящейся к точке p'_1 , отвечающей p .

Определение однозначного и непрерывного отображения, как видим, является обобщением понятия непрерывной функции, рассматриваемого в анализе.

Г. Пеано¹ в 1890 году удалось показать, что отрезок прямой может быть однозначно и непрерывно отображен на квадрат. В настоящее время найдены условия², необходимые и достаточные для того, чтобы множество было однозначным и непрерывным образом отрезка. Мы лишены, благодаря недостатку места, возможности изложить эти условия и вынуждены ограничиться изложением принадлежащего Pólya³ весьма изящного примера отображения отрезка $[0,1]$ на прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A и высотой AD и неравными острыми углами (пусть, напр., $B > C$).

Пусть далее α произвольное число отрезка $[0,1]$. Представим α в виде бесконечной двоичной дроби: $\alpha = 0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ ⁴. Теперь, из основания D высоты AD опускаем перпендикуляр в меньший или больший из двух треугольников, определяемых высотой AD , смотря по тому, равно ли α_1 0 или α_1 равно 1. Далее, из основания D_1 этого перпендикуляра опускаем перпендикуляр в больший или меньший из определяемых им треугольников, смотря по тому, равно ли α_2 1 или равно 0. Продолжаем процесс инфинитно, опуская каждый раз из основания последнего перпендикуляра D_n в меньший или больший перпендикуляр D_{n+1} , смотря по тому, равно ли α_n 0 или равно 1. Основания D_n перпендикуляров сходятся к некоторой точке p треугольника, которую мы и относим числу α . Легко видеть, что получаемое таким образом сопряжение точек отрезка и треугольника является однозначным и непрерывным, но не одно-однозначным, ибо, напр., основанию D высоты отвечают два числа 0,010 ... и 0,110 ... — по двоичной системе.

6°. Топологические отображения¹

Отображение двух множеств A и B мы называем топологическим отображением или гомеоморфизмом, если отображение каждого из множеств A и B на другое однозначно и непрерывно.

¹ Math. Annalen. 36. 1890.

² Kuratowsky, Sierpinsky, Mazurkiewicz. Fund. Math. I. Han. Fund. Math. II.

³ C. R. Acad. Polonaise. 1913.

⁴ Hausdorff. S. 196, 213.

В качестве примера разберем доказательство следующей теоремы¹.

Множество T вещественных чисел t таких, что $0 \leq t \leq 1$, которых разложение в троичную дробь

$$t = \frac{t_1}{3} + \frac{t_2}{3^2} + \dots \quad (t_i = 0, 1, 2)$$

только конечное число чисел t_i отличных от 1 содержит гомеоморфно множеству M точек (x, y) квадрата $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, которых разложения в троичную дробь

$$x = \frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{3^2} + \dots$$

$$y = \frac{y_1}{3} + \frac{y_2}{3^2} + \dots$$

содержат только конечное число чисел x_i и y_i отличных от 1.

Топологическое соответствие множеств T и M можно получить сразу, если числу

$$t = \frac{t_1}{3} + \frac{t_2}{3^2} + \dots$$

отнести точку квадрата с координатами

$$x = \frac{t_1}{3} + \frac{t_3}{3^2} + \dots$$

$$y = \frac{t_2}{3} + \frac{t_4}{3^2} + \dots$$

Подобным же образом можно доказать, что множество рациональных точек отрезка $[0, 1]$ гомеоморфно множеству точек квадрата с двумя рациональными координатами. Подобным же образом мы могли бы доказать, что множество рациональных точек прямой гомеоморфно множеству точек n -мерного пространства с n -рациональными координатами.

7°. Топологические инварианты

Свойства множеств, сохраняющиеся при топологических преобразованиях, называются топологическими инвариантами².

Поясним сказанное следующим изящным примером, принадлежащим Poincaré³.

¹ См. Kerékjártó. Vorlesungen über Topologie. Ebene topologie.

² См. Hausdorff. S. 226.

³ Последние мысли.

Представим себе мир, погруженный в каучук. Каучук застыл. Станем теперь растягивать, сжимать и изгибать мир, погруженный в каучук. При этом некоторые свойства мира останутся неизменными, некоторые же, напр., расстояния, изменятся. Свойства, остающиеся неизменными, дают пример топологических свойств, или, как мы их будем называть впоследствии, свойств связности.

Из приведенного примера видно, что топологические свойства, не метрической, а качественной природы, ибо расстояния при топологических преобразованиях, вообще говоря, изменяются. Но тем более значительным представляется то обстоятельство, что самая возможность ввести метрику, т.-е. отнести паре точек множества число $\rho(a, b)$, обладающее некоторыми элементарными свойствами, которые позволили бы считать его действительно расстоянием между точками a и b , является топологическим инвариантом. Но об этом ниже.

Науку, занимающуюся исследованием топологических свойств множеств, принято называть *Analysis situs* или топологией¹.

8°. Абстрактное пространство Hausdorff'a²

Рассмотренные понятия топологического преобразования и топологических инвариантов основываются на понятии предельной точки. Предельные же точки мы ввели на основе понятия окрестности. Это обстоятельство открывает возможность изучения топологических инвариантов с общей точки зрения.

Пусть имеем множество M каких угодно элементов. Пусть выделена каким угодно способом система (u) подмножеств M так, что каждому элементу m отвечает по крайней мере одно подмножество из системы (u) ¹. Мы будем называть тогда M —пространством, его элементы точками и систему подмножеств (u) системой окрестностей. Вот и все, что нам нужно для определения предельной точки. Но для того, чтобы понятие предельной точки имело не только формальный смысл, нам надо, хотя бы после определения гомеоморфизма, наделить понятие предельной точки либо понятие окрестности некоторыми свойствами, обычными для окрестностей и предельных точек в евклидовых пространствах. Будем, например, говорить, что последовательность $p_1, p_2, \dots$ сходится к точке p , если любая окрестность точки p заключает почти все (т.-е. все, за исключением самое большее конечного числа) точки последовательности $p_1, p_2, \dots$. Теперь, если не сделано предположение, что двум различным точкам p и p^1 могут быть отнесены две непересекающиеся окрестности, то может случиться, что последовательность $p_1, p_2, \dots$ окажется сходящейся к двум точкам p и p^1 . Поэтому мы поступаем так: вводим последовательно понятия предельной точки, гомеоморфизма, топологических свойств.

¹ Слово топология изобретено Listing'ом. См. *Vorlesungen über Topologie* Leipzig 1848.

² Hausdorff. S. 226 и дальше.

а затем налагаем на окрестности условия 2—4, установленные для окрестностей Эвклидова пространства.

Тогда легко доказать, что свойства 2—4, как и любое свойство, в определение которого входят только понятия окрестности и предельной точки, суть топологические инварианты¹.

Пространство, в котором заданные окрестности удовлетворяют условиям 1—4, называется абстрактным пространством².

9°. Примеры топологических инвариантов

Абстрактное пространство M (или множество A в пространстве M) называется компактным, если любая бесконечная последовательность его точек имеет на нем по крайней мере одну предельную точку.

Компактен, например, отрезок. Неограниченная прямая (или n -мерное Эвклидово пространство)—некомпактна. Бесконечная последовательность ее точек, отвечающих, например, целым положительным числам, не имеет на ней предельной точки.

Условимся обозначать через A^1 множество предельных точек данного множества A . Если A включает A^1 , то мы будем называть множество A замкнутым. Неограниченная прямая в плоскости—замкнутое множество.

Пусть G подмножество M . Точка a множества G называется внутренней, если существует ее окрестность, состоящая только из точек G . В частности окрестности в силу аксиом 2 и 3 являются областями.

Границей подмножества I пространства M мы называем множество точек I , предельных для $M-I$. Напр., окружность для круга и т. п.

Множество A называется связным, если его нельзя представить в виде суммы двух подмножеств A_1 и A_2 без общих точек и без общих предельных точек.

Множество рациональных чисел несвязно. Интервал связан.

Множество компактное и связное мы называем континуумом.

10°. Теорема Brouwer'a³

В 1911 году Brouwer'ом, голландским математиком, был опубликован результат, относящийся к понятию числа измерений; именно, Brouwer'ом было доказано, что число измерений n -мерного Эвклидова пространства представляет собой топологический инвариант, т. е. что Эвклидовы пространства различного числа измерений не могут быть приведены во взаимно непрерывное и одно-однозначное соответствие между собою.

Мы лишены возможности привести доказательство Brouwer'a полностью, ибо понимание его требует специальных сведений, которых

¹ См. Tichonoff et Wedenisoff. Bull. de Soc. Math. de Fr. 1926.

² Подмножества абстрактного пространства сами являются абстрактным пространством в том смысле, что пересечения окрестностей с ними составляют систему окрестностей, удовлетворяющую аксиомам 1—4.

³ Math. Ann. 70. 1911.

мы не можем предполагать у читателя-неспециалиста. Поэтому мы ограничимся изложением элементарной теоремы о том, что прямую нельзя топологически отобразить на пространство высшего числа измерений.

Допустим для доказательства, что прямая A_1 гомеоморфна n -мерному Евклидову пространству A_n . Пусть a и b две точки n -мерного пространства A_n . В силу однозначности отображения A_1 на A_n им соответствуют две различные точки a_1 и b_1 прямой. Соединим a и b двумя континуальными путями L_1 и L_2 , пересекающимися только в точках a и b , проведем через них, например, простой полигон или окружность. L_1 и L_2 соответствуют два отрезка прямой, содержащие точки a_1 и b_1 . Пересечению L_1 и L_2 должно соответствовать в силу одно-однозначности отображения пересечение последних отрезков, что невозможно, ибо пересечение L_1 и L_2 по определению две точки, а пересечение отрезков прямой, содержащих точки a_1 и b_1 , содержит отрезок с концами a_1 и b_1 .

Результат Brouwer'a имел то существенное значение, что давал право говорить о n -мерном пространстве, как о некоторой геометрической индивидуальности.

11°. Метрическое пространство

Условимся называть всякую систему окрестностей абстрактного пространства M , удовлетворяющую аксиомам 1—4, полной системой.

Мы будем говорить, что две полные системы окрестностей M_1 и M_2 эквивалентны, если каждая окрестность одной системы содержит, по крайней мере, одну окрестность другой системы. В теории абстрактных пространств доказывается, что две эквивалентные системы гомеоморфны.

Мы требуем, чтобы в абстрактном пространстве существовала последовательность окрестностей $U_1, U_2, \dots$, эквивалентная всякой полной системе. Тогда, как показали московские математики Урысон († в 1924 г.) и Александров¹, если пространство M компактно, его можно метризовать, т.-е. привести в соответствие любой паре его точек a и b число $\rho(a, b)$, удовлетворяющее аксиомам 1—4 п° 4.

Следовательно, употребление метрики несколько не ограничивает общности наших рассуждений. В этом огромная принципиальная важность результата Урысона и Александрова.

12°. Идея Poincaré *

Poincaré заметил, что окружность разбивается² любыми своими двумя точками, шар—любой окружностью и т. д. Идея Poincaré давала основание, казалось, для индуктивного определения числа измерений

¹ См. Math. Ann 92. 3/4 Н.

² Последние мысли.

³ Т.-е. дополнение к двум точкам до окружности несвязно.

Но для того, чтобы воспользоваться, им пришлось преодолеть многие и серьезные затруднения. Характер этих затруднений станет понятен после того, как мы изложим современные теории Урысона и Menger'a¹.

13°. Теория Menger'a² числа измерений

Будем говорить, что число измерений пустого множества равно—1.

Будем говорить, что число измерений множества K в точке меньше или равно натуральному числу n , если существуют сколь угодно малые окрестности точки a с $n-1$ -мерной границей.

Если n минимальное в этом смысле число, мы говорим, что число измерений K в точке a равно n .

Мы говорим также, что число измерений K равно n , если K содержит, по крайней мере, одну точку, в которой его число измерений равно n , и K не содержит точек, в которых его число измерений было бы выше n .

Например, число измерений точки равно 0, ибо существуют сколь угодно малые ее окрестности относительно ее, граница которых—пустое множество. Точно так же, числом измерений равным 0 обладает Cantor'овское совершенное множество, получаемое выкидыванием из отрезка $[0,1]$ всех точек t , таких что

$$\frac{t_1}{3} + \frac{t_2}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^n} < t < \frac{t_1}{3} + \frac{t_2}{3^2} + \dots + \frac{2}{3^n} \quad (t_i = 0, 1, 2)$$

Число измерений окружности равно, очевидно, единице, ибо существуют сколь угодно малые окрестности любой ее точки, границы которых нигде несвязные множества, т.-е. две точки.

Menger'ом доказано, что число измерений n -мерного Эвклидова пространства равно n . Доказательство Menger'a основывается на интересном свойстве n -мерных кубов³, отмеченном Lebesgue'ом.

« n -мерный куб нельзя перекрыть конечным числом замкнутых множеств сколь угодно малого диаметра» так, чтобы, по крайней мере, одна точка куба не принадлежала, по крайней мере, $n+1$ множествам, и можно перекрыть конечным числом замкнутых множеств сколь угодно малого диаметра так, чтобы ни одна точка не принадлежала бы более чем $n+1$ множествам», и на теореме, которую Menger называет Summensatz.

«Сумма самое большее счетного множества замкнутых n -мерных множеств обладает числом измерений, равным n ».

Теорему Lebesgue'a можно иллюстрировать следующим примером: в силу аксиомы Дедекинда при перекрытии отрезка конечным числом замкнутых множеств по диаметру, меньших отрезка, по крайней мере

¹ Uryson, Fund. Math. VII et VIII. K. Menger. Monatshefte Math. Phys. 1926.

² Monatshefte Math. Phys. 1926.

³ Fund. Math. II.

одна точка отрезка принадлежит по крайней мере двум замкнутым множествам. К сожалению, мы лишены возможности доказать теорему Lebesgue'a и Summensatz даже для частных случаев, вследствие сложности их доказательств. Поэтому мы ограничимся доказательством того, что Эвклидова плоскость двумерна с точки зрения Menger'a, пользуясь тем, что это можно доказать непосредственно.

Прежде всего ясно, что существуют сколь угодно малые окрестности точки a плоскости, границы которых одномерны, напр., границы которых — окружности. Докажем теперь, что замкнутое нигде несвязное множество A не разбивает плоскости (дополнение к нему до плоскости — связно) и, следовательно, не может быть границей плоской окрестности достаточно малого диаметра. Нам достаточно доказать, что граница ограниченной плоской области содержит континуум. Пусть G_0 ограничения плоская область определяемых множеством A . G_0 вместе со своей границей определяет, следовательно, на плоскости одну или более областей. Пусть G_∞ та из них, которая неограничена.

Но G_0 связное множество, следовательно, G_0 с границей — континуум¹. Докажем же, что граница R области G_0 , определяемой континуумом есть континуум. Допустим для доказательства, что R несвязно. Тогда можно провести полигон, не пересекающий R и заключающий как во внешней, так и во внутренней области точки R . Но тогда в обеих областях полигона точки G_0 . Но $G_0 + R$ — континуум, содержащий точки обеих областей полигона. Тогда $G_0 + R$ пересекает полигон. Ясно, что простая ломаная, соединяющая точки внешней и внутренней областей полигона, его пересекает².

Но тогда достаточно соединить внутри $G_0 + R$ простой ломаной две точки, одна из которых принадлежит внешней, а другая внутренней области полигона, для того, чтобы убедиться, что действительно $G_0 + R$ пересекает полигон. Но континуум³ не может, соединяя точку некоторой области с не принадлежащей ей точкой, не пересечь границы⁴. Следовательно, полигон π пересекает R , что противоречит предположению.

Таким образом, приходим к заключению, что плоскость действительно обладает числом измерений равным 2.

Теперь мы позволим себе несколько слов о свойствах, могущих быть принятыми за определение числа измерений. Прежде всего мы приведем практически весьма удобное необходимое условие, данное Menger'ом⁵.

Для того, чтобы компактное n -мерное пространство имело число измерений, равное n , необходимо, чтобы его можно было перекрыть конечным числом замкнутых множеств сколь угодно малого диаметра,

¹ Ибо недостающие предельные точки G_0 принадлежат в данном случае ее границе.

² Любые две точки плоской области можно соединить заключающейся в ней ломаной.

^{3, 4} См. Kérékjártó — Vorlesungen über Topologie.

⁵ См. Guriewicz. Math. Ann. 1927.

так чтобы никакие два из них не имели более, чем $n - s$ -мерное пересечение и чтобы n было минимальным в этом смысле числом

Затем, мы приведем принадлежащую нам теорему, также дающую необходимое и достаточное условие того, чтобы компактное пространство было n -мерно. Но тогда нам придется ввести новое понятие купюры между двумя точками a и b в компактном пространстве M . Именно мы будем называть замкнутое множество A купюрой между a и b , если $M - A$ не содержит континуума, соединяющего точки a и b . Совершенно ясно, что граница окрестности точки a является купюрой между точками a и b , ибо по определению границы точки a и b нельзя соединить не только континуальным, но и связным множеством, не пересекающим границы. С другой стороны, множество A может не быть границей окрестности точки a или точки b . Рассмотрим, например, синусоиду $\sin \frac{1}{x}$ ($0 < x \leq 1$)¹ вместе с точками оси ординат, предельными для нее.

Точка с предельного сегмента синусоиды, будучи купюрой между любой точкой предельного сегмента и точкой синусоиды, не определяет никакой окрестности относительно синусоиды.

Мы говорим, что характер нигде несвязного множества равен 0. Мы говорим, что характер компактного множества M в точке a равен n , если для любой отличной от нее точки b можно указать замкнутое множество, самое большее $n - 1$, являющее купюрой между a и b .

Теорема. Для того, чтобы компактное пространство M имело в точке a число измерений, равное n , необходимо и достаточно, чтобы M имело в точке a характер, равный n .

Мы докажем теорему в предположении, что пространство M имеет в точке a вполне определенное конечное число измерений, так как без этого предположения доказательство теоремы становится довольно сложным.

Заметим прежде всего, что, если характер компактного пространства в точке a равен n , то характер любого компактного подмножества в точке $a = n$. Мы не будем доказывать этого очевидного предложения и перейдем к доказательству теоремы.

Условие необходимо. Пусть число измерений компактного пространства M в точке a равно n . Предложение тривиально для $k = 0$. Допустим для доказательства, что сформулированное выше условие необходимо и достаточно для $k = 1, 2, \dots, k - 1$.

По определению числа измерений к точке a стягивается последовательность окрестностей с $n - 1$ -мерными границами. Пусть b отличная от a точка M . Возьмем одну из упомянутых окрестностей U_a такую, что диаметр ее меньше $\rho(a, b)$. Граница U_a тем более будет купюрой между a и b , ибо точек a и b нельзя соединить не только континуальным, но и связным путем, не пересекая границы U_a .

¹ В том смысле, что каждая его точка является предельной для дополнения к нему.

Но граница I_n n -мерна. Следовательно, в силу предположенной необходимости условия, характер границы U_n равен $n-1$. Но тогда, раз для любой точки b отличной от a можно указать $n-1$ -мерную купюру между ней и b , в силу определения характера компактного множества в точке, характер M в точке a не больше n . С другой стороны, характер M в точке a не меньше n , ибо в последнем случае в силу допущенной достаточности условия для $k=1, 2, \dots, n-1$ и размерность M в точке a была бы меньше n .

Условие достаточно. В силу доказанной необходимости условия число измерений H в точке a не ниже n . С другой стороны, по той же причине оно не выше n .

Указанные три определения числа измерений не только решают вопрос о числе измерений, но и дают возможность в конкретных случаях тому или иному множеству приписывать определенно число измерений. В частности последнее определение удобно в тех случаях, когда рассматриваемое компактное множество определено условиями, налагаемыми на континуальные пути, соединяющие его точки¹.

Далее, попутно, определением числа измерений были решены вопросы, также весьма важные и имеющие весьма серьезное, историческое прошлое, именно вопросы об определении кривой и поверхности. Теперь, мы называем кривой континуум числа измерений 1-поверхностью 2-мерный континуум. Мы остановимся на понятии кривой, хотя это и не входит в наши задачи.

У Эвклида² содержится такое определение кривой: «Кривая³ есть граница поверхности». Определение Эвклида неудовлетворительно уже по одному тому, что не всякая поверхность имеет границу в обычном нашем смысле. Не имеет ее, напр., поверхность шара. Далее у Эвклида же находим определение кривой, как геометрического образа, имеющего длину, но не имеющего ширины и высоты. Помимо того, что Эвклидом не был указан смысл слова «длина», все равно, даже, если бы мы, развивая идеи Minkowsk'ogo⁴ и Caratheodory⁵, дали бы настолько общее внешнее (относительно об'емлющего пространства) определение длины, что наши очень сложные образы приобрели бы длину, но не имели бы ни ширины, ни высоты,—все равно нецелесообразно вводить определение кривой, как и числа измерений на метрической основе. Ведь различие между пространствами различного числа измерений—неметрической, точнее до-метрической природы⁶.

В различных схемах физического мира, метрически весьма различных, в классической физике и разных релятивистских системах—в данный момент мир всегда трехмерен.

¹ См. Kuratowsky. Fund. Math. III. Sur les continus irreductibles entre deux points.

², ³ Math. Encyclop. II, С. 9.

⁴ Geometrie der Zahlen.

⁵ Vorlesungen über reelle Functionen. 1918.

⁶ См. пример в №1.

Представление о трех степенях свободы очень рано развивается у ребенка ¹.

Наконец, те факты, на которые мы обратили внимание в начале статьи, они ведь также неметрической природы. Цитированные в ² теоремы доказываются на основе первых двух групп Hilbert'овых аксиом, еще до введения метрики.

Но тем более интересным представляется то обстоятельство, что идея Эвклидовых определений, независимо от их незрелости, все же оказалась способной пережить столетия и возродиться в несравненно уже более зрелом определении Cantor'a ³. «Кривой называется плоский континуум без внутренних точек», т.-е. граница плоской области. Определение Cantor'a содержит реальный смысл не только первого из Эвклидовых определений, ибо, с другой стороны, плоская мера ⁴ Cantor'овой кривой ведь равна 0. Но и определение Cantor'a не могло быть признано удовлетворительным, ибо не решало вопроса о кривых, расположенных в пространствах более высокого числа измерений, где оно по существу не могло быть распространено, ибо граница области в трехмерном пространстве, уже может и не быть кривой.

В настоящее время доказано, что 1-мерный плоский континуум является Cantor'овой кривой и обратно—Cantor'ова кривая представляет собой одномерный плоский континуум.

Идея Poincaré индуктивного определения числа измерений, должна была дать возможность, приняв за основу множество определенного числа измерений, напр., Cantor'ову кривую, определить пространства более высокого числа измерений. Но на пути реализации идеи Poincaré стояли, как было сказано выше, серьезные трудности. Прежде всего не всякая окрестность даже очень правильного n -мерного пространства имеет $n - 1$ -мерную границу. Граница области пространства, имеющего в каждой точке число измерений равное n , может быть n -мерной и менее, чем $n - 1$ -мерной. Например, граница области относительно кривой

$$S_n \frac{1}{(x - \alpha)(x - \beta)},$$

где α и β —постоянные, $-\infty < x < +\infty$, может состоять из двух отрезков, перпендикулярных оси абсцисс, и иметь то же число измерений, что и объемлющее множество.

С другой стороны, границей двух областей относительно полного конуса может быть точка $= a$.

Затем пространство может иметь в разных точках различное число измерений. Например, квадрат с перпендикулярным к нему отрезком.

Поэтому, приходится определять прежде всего число измерений в точке. Далее для определения числа измерений годятся, как мы

¹ См. Борель. Пространство и время.

² См. Encykl. der Math. Wiss. II, С. 9.

³ См. Caratheodory.

видели, не любые окрестности. Надо выбрать некоторую стягивающуюся к точке последовательность окрестностей, имеющих границы минимального или максимального числа измерений, ибо к точке могут стягиваться последовательности окрестностей с границами различного числа измерений.

Например, к концу отрезка сходится последовательность отрезков длины, убывающей до 0, и последовательность точек, при чем рассматриваемое множество состоит только из убывающих отрезков и точек.

Обыкновенно пользуются окрестностями, границы которых имеют минимальное число измерений, ибо полученное таким образом число измерений ближе к интуитивной картине. Мы выбираем последовательность окрестностей, стягивающихся к точке a и имеющих $n-1$ -мерные границы. Наконец, если к точке a не стягивается последовательность окрестностей с границами еще меньшего числа измерений, мы называем множество n -мерным в точке a . Мы называем множество n -мерным, если оно содержит точки, в которых его число измерений не выше n . Таким образом, мы получаем вполне удовлетворительное общее определение числа измерений, геометрически вполне наглядное и в конкретных случаях совпадающее с нашими представлениями, ибо, например, с точки зрения нашей теории эвклидов n -мерный куб обладает числом измерений равным n и область в n -мерном эвклидовом пространстве¹ имеет $n-1$ -мерную границу. Мы, со своей стороны, обращаем внимание на общность нового определения. Оно зависит только от определений окрестности либо предельной точки. В частности, употребление метрики не ограничивает его общности, ибо, как мы показали выше, возможность ввести метрику расстояний эквивалентна топологическим, качественным условиям, которыми и может быть заменена.

14°. Непрерывное пространство Л. А. Люстерника

В 13 книге «Вестника Комкадемии» московским математиком Л. А. Люстерником² была опубликована концепция непрерывного пространства, если можно так выразиться, более непрерывного, чем теоретико-множественные пространства, ибо пространство Л. А. Люстерника — не точечное пространство.

В пространстве Л. Люстерника нет точек. В нем задана только некоторая система частей. Для нас оно особенно интересно тем, что, осуществляя основную тенденцию интуиционизма³, оно имеет дело только с объектами, являющимися обобщением реально наблюдаемых, и должно помочь нам поэтому выяснить природу тех свойств реального мира, которые характеризуют его число измерений.

¹ См. Brouwer, Math. Ann. 71, 1917.

² Пользуюсь случаем выразить признательность Л. А. Люстернику за разрешение опубликовать еще нигде не печатавшийся материал.

³ См. Weyl, Math. Zeitschr. 1922.

Итак, пусть имеем целое A с некоторой системой частей (a) . Мы накладываем на части системы (a) следующее ограничение:

Если каждая часть части a является частью b , то a является частью b .

Далее мы вводим обозначение: $A = \overline{a_1 + a_2 + \dots + a_k}$, понимая под этим то, что целое A не содержит части, не пересекающейся с одной из частей a_i ($i = 1, 2, \dots, k$). Если указанная операция приложена к системе частей, удовлетворяющей аксиоме 1, мы называем ее разбиением A . Разбиение

$$A = \overline{b_1 + b_2 + \dots + b_j}$$

называется его подразбиением, если каждая его часть входит, по крайней мере, в одну из частей первого разбиения.

Разбиение

$$A = \overline{a_1 + a_2 + \dots + a_k}$$

называется неприводимым, если из него нельзя выкинуть ни одной части.

Последовательность неприводимых разбиений

$$\begin{aligned} A &= \overline{a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1k_1}} \\ A &= \overline{a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2k_2}} \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

где каждое последующее разбиение является подразбиением предыдущего, называется неограниченным делением A , если любая часть a из системы (a) содержит, по крайней мере, одну часть неограниченного деления.

Мы называем подпоследовательность частей некоторого разбиения связной цепью, если каждая из частей последовательности пересекается, по крайней мере, с ее двумя частями, кроме самое большее двух частей, каждая из которых может пересекаться с одной из ее частей. О последних частях мы говорим, что они соединены связной цепью в данном разбиении.

Мы называем неограниченное деление A нигде несвязным, если, начиная с известного разбиения, его части нельзя соединить связной цепью. Такому неограниченному делению мы приписываем число измерений 0.

Далее некоторая последовательность частей называется купюрой в данном разбиении между двумя частями a_{ik} и a_{ip} , если любая связная цепь, соединяющая части a_{ik} и a_{ip} , пересекается с ней. Последовательность частей a_{ij} называется неприводимой купюрой между частями a_{ik} и a_{ip} , если из нее нельзя выкинуть ни одной части.

Неограниченное деление A называется n -мерным, если, начиная с известного разбиения, в каждом разбиении для любой пары частей можно указать самое большее $n - 1$ -мерную неприводимую купюру и n — минимальное в этом смысле число¹.

¹ Идея определения числа измерений представляет аналогию с моим определением характера множества.

Например, квадрату, разбитому на налегающие друг на друга внутренние области прямоугольников, следует приписать число измерений, равное 2.

Для того, чтобы определить число измерений данного пространства в системе Люстерника, надо сосчитать число шагов до нигде несвязного множества, беря каждый раз неприводимую купюру на неприводимой купюре. Но определенное таким образом число измерений является не свойством пространства, но свойством данного его неограниченного деления. И доказать независимость числа измерений от неограниченного деления здесь так же трудно, как доказать независимость комбинаторных¹ инвариантов от триангуляции. Но нам число измерений сейчас и нужно, как относительное свойство, не основывающееся на понятии предельного перехода. Мы пользовались для определения числа измерений сейчас только идеей части и предположением о возможности неограниченного деления пространства на части.

Значит, в системе Л. А. Люстерника число измерений является свойством делимости материи и взаиморасположения ее частей при делении.

Л. А. Люстерник определяет гомеоморфизм двух неограниченных делений, как возможность установить одно-однозначное соответствие между их частями с сохранением отношения целого и части. Так как понятие числа измерений основывается только на понятии части, то и в системе Л. А. Люстерника оно является топологическим инвариантом.

15°. Дискретное пространство Lienfeld'a²

Если пространство Люстерника должно быть названо непрерывным, то пространство Lienfeld'a является действительно дискретным, вроде тех пространств, которые рассматривают физики-атомисты. Lienfeld вводит особое отношение сопряжения между своими элементами-атомами. Правильнее всего представить себе сопряжение, как соприкосновение различных элементов. Lienfeld называет множество своих элементов дискретным пространством, если между ними установлено отношение сопряжения.

Два дискретных пространства называются взаимно эквивалентно трансформируемыми, если элементы приведены в одно-однозначное соответствие с сохранением сопряжения.

Дискретное пространство называется n -мерным, если оно содержит не больше $n + 1$ попарно сопряженных элементов. Здесь в основу определения числа измерений положено свойство метрической сетки—то, что на плоскости три равноотстоящих точки, в трехмерном пространстве—четыре и т. д. Но, тем не менее, и здесь понятие числа измерений является топологическим инвариантом, ибо, если принять

¹ См. Kerékjártó.

² Gautiers-Villars. Paris, 1925.

за окрестность элемента дискретного пространства совокупность сопряженных с ним элементов, то можно показать, что взаимно-эквивалентная трансформация совпадает с гомеоморфизмом¹.

16°. Число измерений и классификация геометрических систем Klein'a²

Мы видели, что число измерений во всех случаях является топологическим инвариантом и, следовательно, вместе со своей топологией попадает в тот класс Klein'овской системы, который Klein называет инвариантами относительно одно-однозначных и взаимно непрерывных преобразований.

Последнее замечание характеризует число измерений, как геометрическую индивидуальность.

17°. Методологические замечания

Мы видели, что множество рациональных точек отрезка может быть топологически отображено на множестве точек плоскости с двумя рациональными координатами. Отсюда следует, что число измерений является, грубо выражаясь, свойством непрерывности пространства.

Проанализируем более подробно сказанное. За основу мы примем следующее элементарное предложение, доказательство которого мы предоставляем читателю.

Для того, чтобы замкнутое множество A было связным, необходимо и достаточно, чтобы A нельзя было разбить на два замкнутых подмножества без общих точек.

Теорема Lebesgue'a говорит о том, что n -мерный куб нельзя перекрыть достаточно малыми замкнутыми множествами так, чтобы, по крайней мере, одна точка куба не принадлежала, по крайней мере, $n+1$ множествам. Таким образом, теорема Lebesgue'a как бы уточняет определение связности n -мерного куба. Мы можем поэтому сказать, что число измерений n -мерного куба является в теоретико-множественной топологии свойством его связности.

Рассмотрим теперь общее определение числа измерений Menger'a. Пусть имеем n -мерное множество M . По definition M включает по крайней мере одну точку a , в которой его число измерений равно n . Следовательно, существуют сколь угодно малые окрестности a с $n-1$ -мерными границами. Следовательно, каждая такая граница содержит по крайней мере по одной точке $n-1$ измерений и т. д.

Минимальное число шагов до нигде несвязного множества покажет число измерений множества M . Но каждый раз, при каждом шаге мы берем точку, в которой число измерений множества максимально, и

¹ См. Frechet. Fund. Math. VIII.

² Vorlesungen über Elementarmath., Bd. II.

рассматриваем ее окрестности минимального числа измерений. Мы не могли бы заменить этот процесс простыми предельными переходами, ибо в некоторых случаях предельный переход дает множество низшего числа измерений, в некоторых же случаях того же числа измерений, что и основное множество. Именно если условиться называть замкнутое подмножество A множества M предельным, если каждая точка A является предельной для $M-A$, то замкнутое множество A может иметь то же число измерений, что и M . Например, предельный сегмент кривой $Sn \frac{1}{x}$ имеет то же число измерений 1, что и все множество.

Еще яснее становится зависимость понятия числа измерений от определения связности, если вместо определения Menger'a мы рассмотрим определение Урысона¹.

Пусть C произвольное множество; пусть x точка C . Мы называем ξ -отделением x на множестве C разбиение C на три непересекающиеся множества A , B и D такие, что

1. A включает x .
2. A и D не имеют общих точек и общих предельных точек.
3. Диаметр $A+B$ меньше ξ .

Нигде несвязное множество мы называем Q -мерным. Множество M мы называем n -мерным в точке a , если его точка a может быть $\xi=0$ делена $n-1$ (при любом $\xi>0$) мерным множеством, и n минимальное в этом смысле число.

Роль множества C , как множества, нарушающего связность, здесь ясна и не требует пояснений; мы здесь стараемся установить минимальное число измерений тех множеств, которые способны нарушить связность между точкой a и точками отличными от нее. Словом, понятие числа измерений и здесь является свойством не просто предельных переходов, но свойством связности.

Рассмотрим теперь пример, похожий на тот, который мы рассматривали в $\text{л}^{\circ} 1$; любую точку плоскости можно отделить в смысле Урысона сколь угодно малой окружностью. Тогда нельзя перейти из точки a в точку b , расстояние которой от Q меньше радиуса окружности, не пересекая окружности. Если бы мы захотели перевести этот факт на язык геометрии, то мы должны были бы сказать, что нельзя, не пересекая окружности, соединить точки a и b непрерывной кривой. Но это только потому, что мы представляем себе движение непрерывным. Собственно говоря, так как непрерывная кривая представляет собою континуум, то непосредственной абстракцией в духе теоретико-множественной топологии было бы определение, принадлежащее нам, но введение его, как отмечено выше, связано со многими трудностями, оно уже и справедливо только для компактных пространств.

Возвратимся к определению числа измерений в непрерывном пространстве Л. А. Люстерника. Здесь также устанавливается минимальное

¹ См. Fund. Math. VII et VIII.

число измерений множества частей, способного нарушить связность между двумя частями, или иначе просто сосчитывается число шагов по неприводимым в его смысле купюрам до нигде несвязного множества. Например, берем две части разбиения квадрата и смотрим, можно ли их соединить связной цепью. Можно. Соединяем. Берем две части неприводимо связной цепи. Можно ли их соединить связной цепью? Можно. Но неприводимой купюрой между частями здесь будет единственная часть в каждом разбиении, т. е. нигде несвязное множество по терминологии Л. А. Люстерника.

Л. А. Люстерник пользуется здесь тем, что при достаточно мелких разбиениях пространства уже последовательности частей (замкнутых окрестностей в теоретико-множественной топологии) обладают теми же свойствами расположения частей, что и предельные для них объекты¹.

Но в основе системы Л. А. Люстерника лежат свойства делимости. Число измерений здесь характеризуется взаиморасположением частей при делении. Но и здесь число измерений описывается, как свойство связности. Таким образом, надо считать, что гипотеза числа измерений в непрерывном пространстве есть условие, накладываемое на свойство его непрерывности, при чем непрерывность теоретико-множественного пространства понимается, как возможность соединить его пару точек его связным подмножеством, а непрерывность Л. А. Люстерника характеризуется возможностью или невозможностью соединить две части связной цепью².

Совершенно иной природы свойства, положенные Lienfeld'ом в основу его определения числа измерений. Как сказано выше, им положено в основу определения свойство числовой сети. Можно указать и другие свойства метрики, связанные с числом измерений. Например, требуется не менее n замкнутых множеств диаметра $\leq \frac{1}{n}$ для того,

чтобы перекрыть отрезок, требуется не менее n^2 таких множеств для того, чтобы перекрыть квадрат и т. д.³.

Но о последних свойствах трудно пока сказать что-либо положительное, ибо они либо характеризуют пространство несравненно менее общее, чем абстрактное пр-во, либо составляют предположение, доказательство которых может оказаться весьма сложным, ибо трудно сомневаться, с другой стороны, в их справедливости.

Понятие связности, на котором основывается теоретико-множественное определение числа измерений является, конечно, математической гипотезой. Но, с одной стороны, понятие связности употреблено там для точного описания непрерывности, а с другой—его общность подтверждается тем обстоятельством, что при соответствующем определении окрестности и элемента теоретико-множественное определение связности останется справедливым как для

¹ В смысле теоремы Lebesgue'a.

² Как в комбинаторной топологии. См. Kerekjártó.

³ Идея принадлежит московскому математику Л. Г. Шнирельману.

непрерывного пространства Люстерника, так и для дискретного пространства Lienfeld'a¹.

Сказанное заставляет нас считать определение числа измерений вполне удовлетворительным с методологической стороны.

Теория числа измерений нашла уже серьезные применения в современной геометрической теории функций² и, по мнению такого вдумчивого математика, как К. Menger, должна найти применение в физике³.

Теорема об инвариантности числа измерений дает указание в сторону важного философского вопроса об объективности числа измерений. Из этой теоремы следует, что одни из картин субъективно воспринимаемого мира были бы несравненно более сложны, чем другие. В частности в них направления не совпадали бы. Философам, работающим в этой области, придется, установить, существует ли правильность в тех картинах мира, которые дают различные органы чувств.

Мы имеем в виду теорему Lebesgue'a и различные ее обобщения⁴. Несомненно, основным для нас является зрительное пространство. Ведь само собой понятие погружения, без которого немислимо описать пространство, несомненно зрительного происхождения. Пространства других органов чувств—слуховое, вкусовое и осязательное—несравненно более сложны, и их восприятия менее совершенны. Сказанное можно пояснить следующим весьма грубым примером. Трехмерный слоеный пирог со стороны вкусовых ощущений может представляться весьма сложным⁵.

Поэтому естественно попробовать сравнить пространства различных ощущений со зрительным. Такое сравнение, как следует из сказанного выше, чрезвычайно затруднено различием понятий, употребляемых для описания ощущений различной природы. Но если бы нам удалось сравнить эти пространства или разобраться в них с помощью нашей обычной «зрительной» геометрии, то из теории Lebesgue'a и ее обобщений следует, что точки и направления в пространствах различной природы должны соответствовать с известной правдивостью.

Хотя, конечно, это—«проекты» не специалиста, не физиолога.

Л. Лихтенбаум.

¹ См. Fréchet. Fund. Math. VIII.

² См. Hopf Math. Ann. Bd. 96, H. 2.

³ См. Bericht der Deutsch. Math. Ver. 35. H. 5—8.

⁴ См. Alexandroff. Math. Ann. Bd. 97. H. 3—4.

⁵ См. Лазарев. Ионная теория возбуждения.

II.—СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДОВ, ЧИТАЕМЫХ В КОММ. АКАДЕМИИ

ПУТИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В СССР

(Доклад тов. И. Луппола)¹

Товарищи!

На философии больше, чем на какой-либо другой отрасли знания, отразилось животворящее влияние Октябрьской революции. Это не мудрено, потому что философия теснейшим образом связана с жизнью. Если не всякая философия имеет свою революцию, то можно сказать, что всякая революция имеет свою философию.

Революционное рабочее движение в Европе и в Америке проходило под знаком марксизма, под знаком диалектического материализма. Под этим знаком совершилась и наша великая революция 1917 г. Победа Октября, как уже правильно сказал А. М. Деборин, была и победой диалектического материализма.

То революционное переустройство всего общества, которое началось у нас с первых же дней Октября, не могло коснуться одного какого-либо «этажа» общественного здания. Это революционное переустройство должно было захватить все этажи, начиная с социально-экономического базиса и кончая верхними слоями идеологии, в том числе и философией. Степенью глубины этого социального перелома определялась и степень того разрушения, которое произвела революция в рядах философии.

Не могла не быть сметена та философия, которая укрепилась у нас в стенах духовных академий, должна была быть ликвидирована та философия, которая почему-то выдавалась за национально-русскую и которая представляла собою религиозно-философскую мистику соловьевской школы. Вся эта философия была сметена тем легче, что представители ее оказались частью за рубежом, частью по ту сторону баррикад.

Мне хотелось бы наметить в основных чертах те этапы, которые переживала философская мысль у нас за эти десять лет. В первые годы мы как будто бы не вели созидательной творческой работы. Первые годы прошли, как известно, в вооруженной защите пролетарского государства, а вместе с тем и вооруженной защите прав на изучение и дальнейшее развитие диалектического материализма.

В эпоху первых лет Октябрьской революции мы ликвидировали старую философию. Закончилось свое существование Петербургское философское и Московское психологическое общества, закончили свою многолетнюю деятельность «Вопросы философии и психологии». Вместе со смертью этих обществ умерли и те серии изданий, которые издавались этими обществами. Если угодно, можно видеть симптоматическое явление в том, что последним изд. Петербургского

¹ Доклады т.т. И. Луппола и Г. Баммеля были зачитаны на соединенном заседании Философской секции при Коммунистической академии и Института научной философии по поводу десятилетия Октябрьской революции.

философского о-ва в 1917 г. оказался материалист Гельвеций. Равным образом, симптоматично то, что последней докторской диссертацией Московского университета оказалась диссертация И. А. Ильина «Философия Гегеля». Правда, Гегель Ильина—метафизик, мистик, но интересно то, что эта тема указывала уже на некоторое возрождение интереса к Гегелю и у нас и на Западе.

Как я уже сказал, в первые годы непосредственной вооруженной борьбы не могло быть и речи о плодотворной и широкой работе в области диалектического материализма. В эти годы нужно было—такова была объективная задача—прежде всего переиздать ту классическую марксистскую материалистическую литературу, которая издавалась в значительно меньшем объеме до революции.

Нужно было переиздать Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина. Кроме того, нужно было—я повторяю, такова была объективная задача этих лет—не столько углублять и развивать дальше диалектический материализм, сколько делать его более доступным, приобщать к нему более широкие круги населения, расширять их знакомство с диалектическим материализмом, и это было сделано тем легче, что в широких массах трудящихся намечалась—и чем дальше, тем больше—стихийная тяга к материализму.

С переходом к новой экономической политике дело в значительной степени изменяется. Мы видим оживление на философском фронте, оживление как на стороне идеалистов, так и на стороне материалистов. Мы видим оживление вообще на фронте просвещения. Это слово, этот термин—«философский фронт»—может быть здесь употреблен, пожалуй, еще с большим правом, чем выражение «фронт просвещения», потому что философский фронт требовал и живых сил, и специфического оружия, и определенных жертв со стороны обоих противников.

Оживление в лагере наших противников выразилось между прочим в попытке создания «Вольфилы», т. е. Вольной философской академии, которую возглавляли Бердяев, Франк, Карсавин и другие. Но оказалось, что идеализм является несовместимым со всем стилем нашей жизни, со всем стилем пролетарского государства...

В это же время в лагере материалистов наметились такие внешние, так сказать, организационные проявления, как, скажем, создание философского по преимуществу журнала «Под знаменем марксизма», организация философского отделения Института Красной Профессуры, реорганизация Института Научной Философии.

Вот с этого времени, примерно, с конца 1921 г., материалистическая философия делает довольно быстрые и крупные успехи. В этом сказались, конечно, и общее улучшение материального положения, и подьем народного образования, и упорная работа марксистов, и необычайный энтузиазм учащейся молодежи.

Каковы же те задачи, которые стояли перед диалектическим материализмом на этом втором этапе развития его у нас? Прежде всего по части издания классиков материалистической мысли. До 1905 г. на русском языке материалисты появлялись, как чрезвычайно редкое явление. В старое время, в 60—80-е гг., у нас иногда встречались переводы сочинений западно-европейских материалистов: Бэкона, Кабанвса и некоторых других; имелся литографированный перевод Бюхнера, зарубежный перевод Фейербаха...

После 1905 г. в отношении издания сочинений материалистов кое-что изменилось. Появились издания сочинений Фейербаха, Дидро, Ламетри и немногих других. Но все же в этом отношении было сделано очень немного. Поэтому, можно сказать, что перед марксистами встала—опять-таки объективно встала—задача издания переводов классиков материалистической мысли. Первый долг материалистов Советского Союза заключался в том, чтобы дать русскому читателю классиков-материалистов. За это дело, как всем вам известно (я вообще не претендую на какие-нибудь новые откровения, мне приходится говорить о том, что происходило на глазах у всех вас), взялся Институт Маркса и Энгельса. Институт Маркса и Энгельса дал ряд переводов классиков-материалистов, с соответствующими марксистскими предисловиями.

Но один перевод—это еще не все, нужно было дать и ряд историко-философских монографий. И вот характерно, что этот второй этап развития философской мысли в СССР характеризуется рядом исторических, по преимуществу, работ, или рядом исторических, по преимуществу, монографий. Таковы монографии о Людвиге Фейербахе, Дидро, Гольбахе, Эпикуре, Гоббсе и другие.

На ряду с более солидными монографиями на аналогичные темы выходит ряд популярных книжек и ряд статей, при чем нужно отметить, что подчас статьи дают больше, чем какая-либо книга; я имею в виду статьи, впервые вскрывающие забытых материалистов. Таковы появившиеся у нас статьи по истории немецкого материализма XVIII века, а также по истории материализма в России. Эта работа, по преимуществу в области истории философии, характеризующая второй этап философской мысли, была у нас необходима тем более, что те новые кадры, которые пришли к философии после Октябрьской революции—в силу ли своего возраста, в силу ли других обстоятельств,—должны были объективно пойти на выучку к истории своего мировоззрения. Никто не может назвать себя материалистом, если он не знает истории своего мировоззрения.

Однако эти исторические задачи не исключали из поля зрения задач актуальных, задач философской современности. Эти последние, как всем присутствующим здесь известно, были блестяще сформулированы Владимиром Ильичем Лениным весной 1922 г. В. И. Лениным были поставлены и сформулированы задачи не только идейного порядка, но и порядка организационного, что тоже чрезвычайно важно и имеет чрезвычайно большое значение в силу особых условий государства диктатуры пролетариата и—да позволено будет так сказать—диалектического материализма.

Я позволяю себе привести только несколько маленьких цитат из всем известного письма Ленина, для того чтобы напомнить, каковы же те задачи, которые намечались им:

1) Борьба с идеализмом. «Неуклонное разоблачение и преследование всех современных дипломированных лакеев поповщины,—писал Ленин,—все равно, выступают ли они в качестве представителей современной науки или в качестве вольных стрелков, называющих себя демократически-левыми или идейно-социалистическими публицистами».

2) Пронаганда атеизма, так сказать, борьба за атеизм. Ленин писал о необходимости переиздания старых атеистических работ французских материалистов XVIII века.

3) Союз с представителями современного естествознания, которые склоняются к материализму.

4) Почему-то случилось так, что на протяжении ряда десятков лет думали, что марксизм есть социальная философия, или, в крайнем случае, по преимуществу социальная философия. Это ведь не что иное, как предрассудок. Диалектический материализм, как известно, одинаково близок и к общественным наукам и к естественным наукам, и к общественным явлениям и к явлениям естественным. И то, что является общим как для методологии общественных наук, так и для методологии естественных наук, есть материалистическая диалектика. Естественно-исторический материалист должен стать диалектическим материалистом, и задача диалектических материалистов — помочь естествоиспытателю, облегчить ему этот переход к диалектическому материализму, а этот переход упирается в необходимость изучения и разработки именно материалистической диалектики, в необходимость изучения ее идеалистического прообраза в лице диалектики Гегеля. И поэтому, как вы помните, четвертой задачей, чрезвычайно важной, Ленин считал именно материалистическую переработку диалектики Гегеля. «Современные естествоиспытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых сбиваются в реакцию интеллигентные поклонники буржуазной моды».

К выполнению этого, можно сказать, завещания Ленина и было приступлено, и нужно сказать, что кое-что в этом направлении сделано.

Первая задача, задача борьбы с идеализмом, была обусловлена натиском на марксизм как со стороны Западной Европы, в особенности в связи с Октябрьской революцией, так и внутри Советского Союза. Я не буду здесь перечислять ни фамилий авторов, ни названий их работ, но во всяком случае, если вы помните, то вы должны будете сказать, что по этой части многое сделано в форме докладов, диспутов, статей, памфлетов. Особенно резкий отпор получала критика диалектического материализма, исходившая из кругов, близких к марксистским, из рядов социал-демократов, ибо, — такова марксистская традиция, — ортодоксальный марксизм всегда отличался необычайной силой и резкостью по отношению к ревизионному. Достаточно вспомнить полемические работы Плеханова и Ленина.

Вторая задача, как я сказал, это — серьезная атеистическая пропаганда, борьба за атеизм. Здесь — приходится сказать — сделано меньше. Работа ведется, но ведется не всегда так, как хотелось бы... Одна из задач, о которой говорил Ленин, — издание старых атеистических памфлетов XVIII века частично, во всяком случае, осуществлена.

Третья и четвертая задачи, видимо, оказались наиболее трудными; с другой стороны, они касались самых основных вопросов, разрешение которых встретило ряд затруднений как объективных, так и субъективных и, в известном смысле, дорого обходится материалистическим рядам. В осуществлении этих задач можно наметить несколько если не этапов, то ступеней.

Вообще нужно сказать, что именно после упоминавшегося письма Ленина проблема естествознания у нас стала на чрезвычайно почетное место: она стоит почти в центре всех теоретических вопросов в области философии. На первой ступени этого этапа, пока еще не наметились разногласия, о которых придется сказать и сегодня, — конечно, в объективном, описательном тоне, — философы и естествоиспытатели шли единым фронтом. Можно отметить целый ряд статей и книг.

которые посвящены актуальным проблемам современного естествознания. Вполне естественно, что особым интересом у естествовников и философов пользовались такие проблемы, как проблема строения материи, проблема теории относительности, проблема соотношения дарвинизма и марксизма. Правда, эта последняя проблема не нова, но она получила у нас новый аспект на основании последних достижений в этой области.

Однако вскоре вскрылся ряд таких обстоятельств, которые позволяют сказать, что начался новый период в развитии философии в СССР. Эти обстоятельства сказались не только в частном вопросе об отношении философии и естествознания, но и в общем течении философской мысли в СССР. Обстоятельства эти накапливались постепенно, поэтому я должен уделить им несколько минут.

В конце XIX и в начале XX века диалектистскому материализму пришлось тоже выдерживать большой натиск со стороны критики, приходилось вести упорную борьбу, борьбу с идеализмом. Центр тяжести лежал именно *в защите и в обосновании материализма*, здесь было логическое ударение борьбы. Но нельзя было забывать, что материализм, марксистский материализм, есть материализм *диалектический*. Ведь если бы это было не так, то не было бы никаких объяснений тем весьма пренебрежительным и резким эпитетам Энгельса, которыми он награждал всегда Бюхнера, Фохта и Молешотта. Все дело заключалось в этом слове «диалектический», которое, кстати сказать, теперь иногда называют только прилагательным, желая умалить его значение. Действительно, грамматически оно и есть имя прилагательное, но дело не в грамматике, а в глубоком философском смысле этого слова.

Однако моменты диалектики, как общей научной методологии знания и действия, встали, и не могли не встать, после Октября, в процессе Октябрьской революции во весь свой гигантский рост. Октябрь принципиально победил идеализм. Конечно, оружия нельзя было сложить. Я не хочу остаться здесь неправильно понятым: совершенно неправильно было бы думать, что всякая борьба за материализм окончена, что теперь следует бороться только за диалектику, за диалектику, так сказать, вообще, а не за материалистическую. Это совершенно не верно. Я говорю, что логически центр тяжести лежит сейчас, в течение уже нескольких лет, в борьбе за диалектику. Это значит, что борьба за материализм остается, но эта борьба принимает иную, более глубокую форму. Нам приходилось и приходится вести борьбу зачастую с материалистами лишь по внешности, ибо в силу особых условий у нас все или почти все является по внешности, по видимости материалистами. Так вот, я повторяю, что борьба за материализм остается чрезвычайно важным делом, но борьба за материалистическую *диалектику* выступает на первый план.

Здесь-то и обнаружались известные разногласия, известные направления внутри как будто бы единой группы марксистов. С одной стороны, наметились, скажем так, материалисты-эмпирики, с другой стороны,—материалисты-диалектики. Эмпиризм вообще враждебен теоретическому мышлению, и первые дебоюты свои эмпиризм давал у нас в несколько иной плоскости, нужно сказать, более решительно,—и имею в виду выступления против философии вообще. Вы помните, что, примерно, в 1922 г. был выброшен лозунг—«Философию за борт!» На это ответили—«Философию за борт?», и началась борьба. Борьба эта, коротко говоря, закончилась тем, что философия победила, и это имело свое материальное выражение во все более и более философском содержании

журнала «Под знаменем марксизма», во все большем и большем упрочении философского отделения Института Красной Профессуры и т. п. После своего первого поражения эмпиризм переродился, и началась борьба вокруг проблем диалектики.

Сегодня, когда мы подводим итоги, нужно сказать совершенно объективно и беспристрастно, что понимание философских задач нашей эпохи обнаружили т. А. М. Деборин. Вся тенденция его как педагогической, так и научно-литературной деятельности заключалась именно в подчеркивании методологических основ материалистической диалектики, а это должно было привести и приводило к анализу и материалистической переработке Гегеля. Я должен сказать, что работа тов. Деборина, вышедшая под общим названием «Маркс и Гегель» в 1923 г., еще до опубликования «Диалектики природы» Энгельса и до опубликования заметок Ленина о диалектике, сыграла свою роль и была началом нового, третьего, этапа в развитии философской мысли у нас. Именно с этого времени и начинается то, что нельзя назвать иначе, как форменной борьбой за Гегеля.

Ликвидаторы философии отступили, но обнаружилась такая расстановка сил: с одной стороны — материалисты-эмпирики, к которым присоединились материалисты-естественники, с другой стороны — материалисты-диалектики также с группой естественников, пошедших на выучку к философии. К этому периоду (особенно характерно, что все это происходило до опубликования «Диалектики природы» Энгельса) относятся злые, чрезвычайно «остроумные» словечки вроде: «гегельячество», «гегельянская схоластика» и т. д., которыми награждала первая группа вторую. После опубликования «Диалектики природы» нельзя уже было отказаться совершенно от диалектики, однако у первой части марксистов были обнаружены определенные лакуны в понимании диалектики, коротко говоря, довольно узкое понимание диалектики. Говорили о том, что развитие естествознания делает ненужной диалектику, о том, что диалектическое понимание природы — это, собственно, и есть механическое, или механистическое, понимание природы и т. п.

Я не буду подробно останавливаться на этом, потому что это не история, а живая современность. Я должен сказать только, что все это, несомненно, тормозило положительную созидательную работу, но, с другой стороны, все эти обстоятельства имели и свою положительную сторону в том, что они способствовали определенному размежеванию лагерей, способствовали в известном смысле и бурному течению философской жизни в СССР.

Именно к этому времени подоспели два события, имевшие чрезвычайно важное значение для диалектических материалистов: во-первых, опубликование в 1925 г., летом, «Диалектики природы» Энгельса Институтом Маркса и Энгельса и, во-вторых, опубликование Институтом Ленина небольшого фрагмента Ленина из его философских тетрадок «К вопросу о диалектике». Появление этих двух документов классиков марксизма показало не только тот пикет, который оба классика дитали по отношению к Гегелю, но и, в первую очередь, то громадное значение, какое имеет гегелевская диалектика для диалектического материализма. Они, если хотите, принципиально рассудили тот спор, который к тому времени разгорелся уже в достаточной степени. Однако это не означало окончания спора — дискуссия продолжалась, но продолжалась уже на канве именно этих произведений. Вы знаете, что весной 1926 г., — это тоже событие,

которого не выкинешь из истории развития философии в СССР,—эта стихийная дискуссия получила свое оформление в стенах Института научной философии, где она продолжалась в течение двух месяцев.

Так обстоит дело вкратце с тем, что можно было бы назвать проблемами диалектики природы. Но, кроме диалектики природы, мы в праве говорить еще и о диалектике истории, а также и о том, что составляет их общий стержень, общее начало, именно о материалистической диалектике, как об общей научной методологии. Эти проблемы диалектики, в собственном смысле слова, разрабатывались у нас в те же годы, при чем можно было бы указать ряд статей, которые ставили вообще проблему философия: чем должна быть, чем является философия в марксизме; ряд статей, которые разрабатывали проблемы логики; продолжается также работа в области истории философии.

Наконец, я не могу не упомянуть, что, хотя Плеханов и Ленин остаются для нас вечно живыми, но в то же время они должны явиться и являются также объектами историко-философского изучения; в этом направлении ведется большая работа, и уже имеются отдельные книги и целый ряд статей.

Я совершенно не собираюсь касаться здесь судеб социологии, но несколько слов по поводу исторического материализма я все-таки скажу. Вы знаете, что Плеханов возражал против понимания теории марксизма, как *экономического* материализма; он протестовал против самого названия «экономический материализм», справедливо полагая, что это—узкое, неверное или не совсем верное понимание основ диалектики истории. Но нечего греха таить. На протяжении десятков лет укреплялось и укрепилось название: «материалистическое понимание истории», а только выступление после Октября на первый план материалистической диалектики не могло не коснуться этого явления, и в наши дни, когда мы говорим об историческом материализме, нужно помнить, что материалистическая диалектика не исчезает, она здесь присутствует, хотя ее и нет в этом названии. Это решение вопроса должно было быть заявлено публично, подытожено, для того, чтобы больше к этому не возвращаться, и это было сделано М. Н. Покровским при открытии Общества Историков Марксистов.

Само собою разумеется, что потребности школьного преподавания, преподавания в высших школах, вызвало у нас появление целого ряда учебников по историческому материализму. Некоторые из этих учебников были написаны очень талантливо и оригинально и вызвали оживленную дискуссию. Необходимо отметить то, что отдельные проблемы исторического материализма тоже вызывают различное освещение, различную трактовку. И в этой области мы имеем целый ряд дискуссий: то ли вокруг только что вышедшей книги, то ли вокруг проблемы идеологии, то ли вокруг проблемы религии. Эти дискуссии, вероятно, у всех вас еще в памяти.

Таков круг философских проблем в СССР; таковы те пути, по которым идет разрешение этих проблем, и таковы те тенденции, к которым стремится разрешение этих проблем. Оглядываясь на пройденный путь, мы должны скромно сказать, что кое-что сделано, может быть, даже многое сделано, но, конечно, гораздо больше еще предстоит сделать.

При оценке того, что сделано, нужно иметь в виду несколько моментов: во-первых, те условия, в которых протекала жизнь Советской России в первые годы, в годы гражданской войны, блокады и интервенции, которые мало способствовали плодотворному развитию философии. Во-вторых, нужно иметь в виду,

что СССР не имеет многовековых философских традиций, что имеет место в буржуазных странах. В отношении материалистических традиций мы имеем право и можем указать на небольшой ряд имен: Радищев, некоторые декабристы, главным образом, из «соединенных славян», и, наконец, такие крупные общественные и литературные деятели XIX века, как Белинский последних лет своей жизни, Чернышевский, который всю жизнь оставался феербахианцем, Писарев, который находился под влиянием Бюхнера, и некоторые другие. Эта линия должна быть по праву закончена именами Плеханова и Ленина, ибо через эти имена русский материализм соединился с диалектическим материализмом. Кроме того, нужно иметь в виду то обстоятельство, что до Октябрьской революции условия были таковы, что философы материалисты не могли быть многочисленны. Но если не велико было количество, то велико было качество, и это качество дало плоды в лице нового поколения.

Подытоживая прошлое, анализируя настоящее и взирая на будущее, мы должны сказать, что философия в Советском Союзе отмечает все идеалистические и метафизические направления и развивается по пути диалектического материализма. Она отличается неизменно боевым настроением, сочтя в себе плодотворную работу как в области истории философии, так и в области актуальных проблем современной философии. Наконец, связав свою судьбу с судьбой пролетарской революции, она развивается по единственно верному пути своего осуществления, который в то же время является осуществлением коммунизма.

ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

(Доклад тов. Г. Баммеля)

Товарищи, целью моего сообщения является наметить в самых общих чертах те проблемы и задачи, к которым подошла философская мысль на рубеже второго десятилетия Октябрьской революции. Я не могу остановиться подробно на этих проблемах из-за позднего времени, но отказываться от характеристики их основных особенностей я, разумеется, не стану.

Из сделанного уже здесь до меня обзора различных направлений, из обзора различных внутренних споров, которые велись среди русских марксистов за последние 10 лет, можно подумать, что мы занимались только тем, что дрались. Некоторые из тех, кто имел причины быть недовольным «непримиримостью» ортодоксальных марксистов, обращались к тем, кто работает под руководством и влиянием т. Деборина, и говорили: вы всех поголовно обратили в «ревизионистов», обратили одного, обратили другого и, наконец, принялись за меня. Вы всех сразили, всех «отлучили». Действительно ли русские люди драчливы по натуре? Что же, эти годы были действительно заполнены только дракой? Вот моей задачей и является показать, что из этих драк и идейных споров, которые велись в течение этого времени, из наших внутренних разногласий отложились положительные и притом новые позиции марксистской философии, выявился шаг вперед уже в самой постановке новых проблем, выявились определенные теоретические достижения, с которыми мы впишем в историю марксизма первые десять лет Октября.

Основная особенность всех проблем, которые были поставлены перед философской мыслью в тот момент, когда последнее ревизионистское направление должно было признать свое поражение сдачей своей позиции по целому ряду вопросов, заключалась в том, что все эти проблемы возникли из применения *диалектики* в ряде теоретических вопросов, а это, с другой стороны, означает, что они должны были оказать влияние на конкретизацию и разработку материалистической *диалектики*. На этом факте я останавливаться подробно не буду, так как уже из речей тт. А. М. Деборина и Н. К. Луппола ясно, почему именно в данный момент особо важное значение приобретает вопрос о диалектике, в то время как еще недавно этот вопрос обсуждался от случая к случаю, в отдельных статьях. Мне только придется эту мысль конкретизировать и развить на определенных задачах нашей теории и проблемах, которые у нас были поставлены на очередь материалистической диалектикой.

Мне кажется, что все эти проблемы можно разделить на 4 группы. Во-первых, проблемы, связанные с обоснованием *диалектики*, как науки; это, во-вторых, проблемы, вытекающие из применения диалектики к природе; это

и третьих, проблемы, связанные с вопросом о так называемом конкретном *понятии*; это, и четвертых, проблемы, связанные с вопросом об основных категориях *исторического материализма*.

Начнем с *первой группы вопросов*. Чем объясняется тот факт, что вопрос о диалектике, как науке, приобрел у нас особо важное значение? Почему теперь оказалось слишком недостаточным, оказалось слишком мало сказать, что диалектика—это *метод* изучения природы и общества? Разве диалектический материализм мы перестали рассматривать, как *метод* действия, как *руководство* к борьбе? Нет, материалистическая диалектика была и остается могучим *орудием, методом* преобразования революционной перестройки жизни, но это верно *при том условии, если правильно понята природа самого метода*. Разве это не факт, что словечками о том, что диалектика есть «метод, а не система», некоторые товарищи усиленно старались прикрыть недооценку *теории* диалектики, старались прикрыть свой тупой практицизм?

Как ставили вопрос механисты в своем первом дискуссионном сборнике? Вопрос ставился ими таким образом: «существует ли диалектика, как особая наука, или это есть лишь метод всякого марксистского исследования?» И дальше, развивая эту мысль на примере двух точек зрения механистической и диалектической, говорили следующее: с одной точки зрения—диалектика это метод, который следует применять для познания природы и общества, так как применение его ведет к плодотворнейшим результатам. Для другой точки зрения—в готовых положениях диалектического метода видят «основные соотношения реального мира», т. е. «систему Гегеля», «философскую систему» и т. д. Механисты наирали на «метод», преследуя совершенно определенную цель. Механисты говорили о том, что, как метод, диалектика вполне приемлема, и в этом смысле применяют диалектику к природе. «не повторяют через каждые три слова «диалектика» и «диалектика», но фактически, конкретно применяют ее к данной области знания. Все это звучит, как азбучная истина, но можно ли на этом основании самостоятельную разработку диалектики характеризовать, как схоластику? В форме трактовки диалектики, как метода, под лозунгом требования «конкретного», «фактического» применения диалектики, под флагом борьбы против «абстрактных рассуждений о диалектике» мы имели у «механистов» не что иное, как недооценку материалистической философии марксизма. Да, и что оказалось на деле? На деле оказалось, что этот «метод», о котором много кричали механисты, у них растворяется в фактах, тащится в хвосте фактов, в индукциях, дедукциях и в конце концов приводит в плен самой дурной философии. От нас требовали рассматривать диалектику только, как метод,—в противном случае, якобы, мы придем к системе Гегеля, к «системе философии», к «науке жук», а сами механисты оказались в плену позитивистического хвостизма. Вот почему пришлось выдвинуть более общий, принципиальный вопрос, как мы понимаем метод и его отношение к науке.

Общий характер диалектики, как науки, в нашей литературе конкретизирован в выяснении целого ряда вопросов, которые ждут еще дальнейшей разработки. Эти вопросы можно свести к трем главным вопросам: к вопросу о единстве метода и теории, к вопросу о природе диалектического противоречия, к вопросу о так называемом «самодвижении».

Вопрос о единстве метода и теории. По Гегелю, метод познания есть вместе с тем «имманентная душа самого содержания». Методом может быть лишь

природа самого содержания, движущегося в процессе развития и своим движением создающего свой путь, свой метод. Теория не есть одно, а метод—нечто другое. Теория не просто «применяет» метод, потому что теория сама есть применяемый метод. Мы могли бы сказать, что метод, с точки зрения диалектического материализма, есть конкретизированная теория, а теория—конкретизированный метод. Можно было бы сказать, что метод, есть самопознание теории, а теория есть самопознание метода. После этой общей, логической абстрактной постановки позвольте перейти к фактам, которые доказывают необходимость единства метода и науки, а, стало быть, необходимость разработки *метода, как науки*. Какие соображения руководят нами, когда мы отвергаем механическое противопоставление метода и науки?

Во-первых, критика формальной логики в вопросе о методе: формально-логический взгляд на метод, как на нечто «субъективное», «формальное», в этом смысле «логическое», не выдерживает критики. Истинность нашей методологии проверяется тем, что она отображает объективные процессы в природе и обществе. Объективность метода в нашем диалектически-материалистическом понимании связана, как это нетрудно видеть, с признанием объективности формы мышления. Формальная логика отрывает форму от содержания, между тем как в действительности форма вытекает из самого содержания, форма так или иначе является продолжением содержания, правда, с иным качеством, но она не есть нечто внешнее, нечто чуждое, равнодушное к содержанию. В этом смысле и метод не есть нечто «равнодушное», внешнее к действительности, метод не является «отмычкой», «инструментом» к разрешению всех задач, так сказать, «на все случаи жизни». Стало быть, метод надо разрабатывать и развивать в теории, стало быть, одним подчеркиванием «метода» в диалектике одной общей истиной, что «диалектика—это метод», мы далеко не уедем.

Во-вторых, по линии обоснования метода, как теории, по линии обоснования диалектики не «только, как метода», но и как теории, которую надо изучать и разрабатывать, идут наши требования конкретизации диалектики в области истории, как теории исторического материализма, в области мышления, как логики и теории познания, в области природы, как особой науки, которую можно вслед за Энгельсом назвать «диалектикой природы». Ясно, что конкретизация диалектики в одном случае как исторического материализма или в другом—как теории познания предполагает знание *общих* законов диалектического развития в *природе*, знание законов движения материи в их *единстве*, предполагает, другими словами, изучение и разработку особой «науки о связях», как выражался Энгельс, «в противоположность метафизике». *Своеобразие* формы движения нельзя установить, не зная общих законов движения, не зная *единства* в закономерности развития; одно связано с другим, одно не существует без другого. Но разве не ясно, что формальное, механическое толкование «метода» никогда не сможет уловить именно этих «своеобразий» и «качеств»? Разве не ясно, что утверждать: «диалектика—это метод», утверждать и утверждать это словечко «метод» еще далеко не значит, что мы умеем *правильно конкретизировать* его в области природы, общества и мышления.

В-третьих, опытом классовой борьбы, практикой революционной борьбы мы учимся правильному пониманию взаимозависимости метода и науки. «Наше учение—не догма, а руководство к действию»;—говорили Маркс и Энгельс. Руководство к действию превращается в догму тогда, когда оно не обогащается

новым опытом классовой борьбы пролетариата, когда оно не переваривает этого опыта. Марксизм есть метод революционной борьбы, но своеобразие марксистского метода в том, что он требует учета нового опыта, обогащающего и развивающего марксизм, и в этом смысле марксизм есть наука.

Итак, в наше время мало «принимать» диалектику, как «метод»,—надо этот метод изучать, надо уметь пользоваться им, надо его разрабатывать, как особую науку о всеобщих законах движения. Вот выяснение этой проблемы обоснования диалектики, как всеобщей науки о связях, и явилось одной из задач, которые были поставлены по-настоящему, практически, в последние годы.

Эта проблема могла бы быть выяснена только на почве более общей проблемы о характере взаимного проникновения противоположностей, частным случаем которого, очевидно, является взаимное проникновение метода и теории.

Вопрос о диалектическом противоречии. Чем объясняется тот факт, что в последнее время вновь пришлось выдвинуть вопрос о характере диалектического противоречия в отличие от эмпирического? Объясняется это тем, что целый ряд работ, имеющих довольно большую популярность, в особенности среди учащейся молодежи, трактовал проблему «противоречия» столь эмпирически, столь позитивистически, столь бездейно запутывал всю эту проблему, что это создавало только почву для дальнейшей дискредитации материалистической диалектики. Благодаря тому, что мы не замазывали разногласий, не отмахивались от них, а преодолевали их внутренней борьбой, открытой борьбой на *принципиальной* базе, мы смогли и в этой области, в полном соответствии с новыми данными из философского наследия Ленина, диалектически-материалистическое учение о противоречии развить на новой, более высокой основе.

В борьбе с какими извращениями диалектики в этом вопросе развивается учение о противоречии? От каких уклонов нам пришлось отмежеваться, чтобы дать правильный взгляд на противоречие? Во-первых, от формально-логического понимания соотношения противоположностей, как двух различных видовых понятий, объединенных под одним родовым понятием; во-вторых, надо было отмежеваться от субъективистического понимания противоречия, как такого соотношения двух понятий, которое ставится противоречивым в зависимости от того, с какой стороны они берутся данным субъектом,—нам говорили: данные противоположности могут и не быть противоречащими друг другу, если мы станете на другую точку зрения, если вы берете другую обстановку, если у вас будут другие желания и т. д.; в-третьих, нам пришлось в этом вопросе отмежеваться от известного нам по борьбе Энгельса с Дюрингом учения о противоречиях, как об антагонизме двух сил, направленных в противоположные стороны, но непротиворечиво, и, наконец, в-четвертых, пришлось отмежеваться от взгляда, фактически устранившего противоречие, как объективную категорию, путем толкования противоположности вообще, как условной «соотносительности», «коррелятивности» («если—то»).

Как ни очевидна ошибочность этих теорий, диалектический материализм уделял борьбе с ними особое внимание. Это же—факт, что все эти грубо позитивистические толкования проблемы противоречия имели и имеют у нас своих представителей. И задачей ортодоксальной марксистской философской мысли и было: поэтому, отмежеваться от этих направлений, дать их критику, показать смысл «полярности», значение «раздвоения единого на взаимоисключающие противоположности», показать, в каком смысле диалектика учит о том, как могут

быть и как бывают, по словам Ленина, «как становятся тождественными противоположности, при каких условиях они бывают тождественны, превращаются друг в друга,—почему эти противоположности ум человека не должен брать за мертвые, застывшие, а за живые, условные, подвижные, превращающиеся одна в другую». Диалектика различия, противоречия и противоположности, развитая в своих важнейших чертах в последнее время в работах т. Деборина, составляет одно из прочных достижений в марксизме истекшего десятилетия.

Проблема самодвижения. Вопрос о единстве противоположностей тесно связан с вопросом о диалектическом понимании развития. Это особенно подчеркнуто, как известно, у Ленина. Развитие у Ленина—единство противоположностей, и эта концепция развития, по Ленину, дает ключ к «самодвижению» всего сущего; только она дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», ключ к его двигательной силе, к источнику его «само»-движения. Проблема «самодвижения» конкретизировалась в нашей литературе в целом ряде глубоких и важнейших проблем, связанных с понятием движения.

Во-первых, в постановке проблемы движения, как «изменения» или «состояния» вообще, в отличие от механического представления о движении, как о «перемещении», в проблеме «форм движения», в отличие от «видов движения», устанавливаемых в механическом естествознании в ряду прочих количественных *свойств* материи. Во-вторых, в проблеме имманентного возникновения различий, в отличие от механической концепции, переносящей источник происхождения различий во вне—бог, субъект и т. д.,—в проблеме единства материи—единства, не позволяющего, чтобы хотя один из ее атрибутов мог погибнуть. В-третьих, в проблеме противоречивости движения, как единства непрерывности и прерывности, единства пространства и времени. Остановлюсь на минутку на последнем вопросе. Достижения, скажем, математики, физики, химии, новые проблемы, выдвигаемые развитием этих наук, не могли не оказать влияния на постановку этой проблемы в диалектике. И здесь противоречия, которые приводились во всех учебниках, как пример диалектического развития, скажем, противоречивость движения, как движущий живой нерв,—«то, что движет»,—это противоречие «снимается» в своей старой форме, но возникает на новом, более высоком теоретическом уровне. Известный пример Плеханова гласит о противоречивости движения то, что данное тело находится и не находится в каждый данный момент в данном месте. Если любой точке проходимою данным телом пространства можно найти соответствующую точку данного времени, то ясно, что это не только не опровергает противоречивости движения, но утверждает ее на новой более *конкретной* основе. И весь вопрос после этого нуждается в освещении с новой, более углубленной точки зрения, для которой уже имеются указания и в «Диалектике природы» Энгельса и у Ленина. Движение не исчерпывается «перемещением», из которого, очевидно, исходит пример Плеханова (что касается «перемещения», Плеханов, безусловно, прав) и которое составляет лишь простейшую форму движения; движение—это изменение вообще. Категория «места», а также «целого» и «части» при такой постановке не применима, напр., к высшей форме движения—жизни. Но и само перемещение заключает в себе единство противоположностей—пространства и времени. Противоречие состоит в единстве непрерывности и прерывности как пространства (тело *непрерывно* проходит ряд *мест*), так и времени (тело проходит *моменты* времени в условиях *непрерывно* текущего времени).—Таковы важнейшие про-

блемы, поставленные у нас в порядок дня в связи с вопросом об обосновании диалектики, как науки, о самостоятельной разработке теории диалектики. Диалектика метода и теории, диалектика противоречия и диалектика самодвижения нам показывает необходимость и неизбежность постановки вопроса о том, что нам действительно жизненно необходима та общая фундаментальная диалектика, как наука, которая явится основой для принципиально-философских предпосылок нашего мировоззрения и мышления, исторического материализма и естествознания.

Прежде чем перейти ко второй группе вопросов, я хотел еще указать, к чему фактически приводило в прошлом одностороннее подчеркивание диалектики, «только как метода», у Плеханова. Два критических замечания Ленина о Плеханове, как философе, в этом отношении весьма любопытны. Диалектика, — говорит Ленин, — и есть теория познания марксизма: «Вот на какую сторону дела не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах». И в самом деле, если диалектика есть только метод, то отрыв теории познания от диалектики является делом само собою понятным, ибо метод есть в данном случае элемент теории познания, а не наоборот, — здесь теория познания рассматривается, как нечто, стоящее рядом с диалектикой, как учение о законах познания, не имеющее внутренней органической связи с диалектикой. Становится понятной и другая слабая сторона Плеханова, которая тоже была отмечена Лениным. Эта слабая сторона заключается в том, что диалектика в той конкретной связи, в которой ему приходилось излагать ее, сводилась к сумме примеров, иллюстрирующих те или иные положения диалектики. Все это, однако, не уменьшает роли Плеханова в истории марксистской философии, а показывает только то, что до сих пор некогда было разрабатывать диалектику, как теорию, что основной задачей до сих пор являлась популяризация диалектики, иллюстрация, ознакомление с отдельными законами диалектики. Ленин же поставил более глубокую и трудную задачу — учиться владеть диалектикой, изучать ее, в частности изучать и разрабатывать диалектику Гегеля с точки зрения материалистической философии.

Вторая группа проблем связана, как я уже указывал, с проблемами так называемого теоретического естествознания, с проблемой «диалектики природы», с проблемой теоретического развертывания методологических категорий и обоснования их жизненной необходимости для всей науки о природе. Проблема применения диалектики в природе сводится к целому ряду очень важных и очень, я бы сказал, сложных и абстрактных проблем. Эти проблемы я бы свел к следующим пяти проблемам. Это, во-первых, проблема сведения высших форм к низшим. Это, во-вторых, проблема объективности качества. Это, в-третьих, проблема объективности «узлов» и «скачков». Это, в-четвертых, проблема взаимодействия и причинности. Это, в-пятых, проблема случайности, необходимости и целесообразности.

Высшие формы движения возникают из низших. К высшей форме ничего не должно быть дано «сверху» составляющих ее низших форм, чтобы высшая форма возникла. Но, возникнув, высшая форма качественно не сводима к низшей, ибо она открывает новое качество, новую «форму», новую, особую закономерность. Особая закономерность высшей формы подчиняет себе законы низшей формы, как побочные формы движения. Переход к новой «форме» есть скачок, перерыв постепенности, «узловая линия», осуществляющие непрерывность движения и развития. Взаимодействие — вот первое, что мы наблюдаем, когда

начинаем рассматривать движущуюся материю в целом с точки зрения современного естествознания. Взаимодействие есть всегда взаимодействие низшей и высшей формы, более простых и более сложных форм движения; исходя из взаимодействия, мы приходим к реальному причинному отношению. Причинность является всеобщей формой необходимости. Случайность есть относительная форма необходимости, стало быть, подчинена причинным отношениям, подчинена всеобщей, абсолютной форме необходимости. В таком случае, целесообразность есть случайная форма необходимости, так же, как и случайность, охватывается причинными связями. Разработка этих проблем, с одной стороны, на основе развитого у Энгельса и Ленина общего характера диалектики, как науки; а с другой—на основе современного развития естествознания, должна была подвести единственно правильный методологический фундамент под все естествознание, должна была помочь естествознанию понять, изучить метод диалектики и сознательно пользоваться им в тех случаях, когда это требуется самой природой вещей.

Подробно останавливаться на каждой из этих проблем я сейчас, само собою разумеется, не могу за недостатком времени. Необходимо подчеркнуть, что разработка этих проблем предполагает совершенно недвусмысленное признание марксистской философии, признание того факта, что философия не сводима к «общим выводам наук». И это же ясно, что необходимость философских предпосылок особенно ярко сказалась в разработке таких проблем, как проблема скачков, качеств, «формы» движения и т. д. Вот почему «принципиально» отвергающие философию механисты должны были дополнить, должны были заменить единственно правильное философское понимание этих категорий, которого у них не было, дурной философией, дурной метафизикой, которая и была раскритикована и разбита вдребезги в целом ряде работ в последние два года.

На примере вопроса о «скачках» и «узлах» можно было бы показать, до чего узко, до чего позитивистически понимали эту проблему механисты, и не случайно, что именно в этой борьбе против позитивистического извращения этих категорий нам приходилось обосновывать правильное понимание, диалектическое понимание всей проблемы. «Узлы» и «скачки» были превращены механистами сперва в абсолютные перерывы, абсолютные перегородки, которыми, якобы, те или иные формы явлений отделяются друг от друга. Эти абсолютные перегородки и навели, совершенно ясно, механистов на грустные размышления о нашем «витализме», «поповщине» и т. д., и т. п. Механисты обвиняли нас во всяких ересьях, исходя именно из своего, якобы, правильного, по их мнению, понимания скачков и узлов. Как выглядело это понимание? Нужно ли сейчас напоминать о том, как эти «узлы» «развивались», как они доходили до тонких полосок, до тонких черточек, как эти узловые линии превращались, наконец, в микроскопические черточки, которые должны были быть стерты ходом развития науки? Я думаю, что эти примеры всем памяты, примеры беспомощности механистической мысли. И здесь нам нужно сказать, что правильная постановка этих проблем, правильное разрешение всех этих вопросов было дано именно тов. Дебориным в целом ряде работ. Все это было сделано им в ходе борьбы и критики с механистами, и то, что им сделано, есть, несомненно, шаг вперед в разработке марксистской философии. И то обстоятельство, что мы только так, только в борьбе против извращений марксизма, могли разрабатывать теоретические вопросы марксизма, показывает, как много еще нужно здесь сделать для того, чтобы

вплотную подойти к этим проблемам, поставить их в положительной форме, поставить их в широкой связи с проблемами современного естествознания.

Третью группу вопросов я связал с вопросом о так называемом конкретном понятии. Нужно сказать, что вопрос о конкретном понятии, в той форме, в какой он сейчас у нас стоит, является действительно одним из тех достижений, с которыми, несомненно, мы впишем в историю марксизма истекшее октябрьское десятилетие. Дело в том, что до сих пор этот вопрос не был разработан в столь систематической форме, не был увязан с общими проблемами диалектики, как мы это имеем сейчас, скажем, в работах тов. Деборина, и в особенности в его статье «Диалектика в биологии».

Учение о конкретном понятии было выдвинуто в силу того, что течение механистического ревизионизма, извратив диалектику естествознания, не оставило без своего разлагающего влияния и учение о мышлении. Это же факт, что механистическая мысль разбилась о целый ряд проблем абстрактно логического порядка. Что же удивительного в этом, если механистическая мысль, пытающаяся применить «метод» диалектики догматически, от случая к случаю, хвостистски, не проверив его, не пронизав его научным сознанием, должна была наткнуться на такие понятия, на такие проблемы, как проблемы конкретного и абстрактного, исторического и логического, проблемы реальности и абстрактности и т. д. и т. д. В этом круге вопросов «механистическая» мысль запуталась и окончательно отошла от марксизма. Как ставилась, например, проблема «общего» у механистов, пытающихся применить метод механического материализма к политической экономии? Если взять понятие абстрактного труда у Маркса, то выходит, согласно этой точке зрения, что это понятие выводится путем отличия общих признаков труда сапожника, табачника, портного и т. д., и оно формулируется, как понятие родовое, по отношению к которому конкретные виды труда являются видовыми понятиями. Общее есть продукт обобщения, продукт логической операции мысли, *количественное* видоизменение или собрание сходных признаков. Но в таком случае, нет ли здесь лазейки для идеализма? Не напоминает ли эта точка зрения уже известное нам механистическое игнорирование качеств, объективной природы качеств? Можно ли сводить общее к сумме сходных признаков, выделяемых нами из сопоставления различных предметов? И в самом деле, становясь на такую точку зрения, вы неизбежно придете к пониманию всех наших понятий, как чего-то формального, не имеющего объективной основы в природе вещей, как будто то, что обще роду вещей, является только продуктом наших способностей обобщения!

Я здесь не буду, само собой разумеется, приводить цитаты из знаменитого фрагмента Ленина о диалектике, где он как раз ставит диалектику общего, частного и единичного, как одну из центральных проблем его понимания диалектики. Здесь следует только наметить конкретные вопросы, выяснением которых в последние годы мы подошли к постановке и решению проблемы конкретного понятия.

Вопрос о реальности общего. Отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Разве Гегель не прав, когда он говорит, что «общность всем (Gemeinschaftlichkeit) есть только внешняя форма общего?» Это становится более понятным, когда мы поставим следующий вопрос — вопрос о единстве общего, частного и единичного. Ибо реально общее постольку, поскольку оно дано в

единичном как частное. И всякое частное нам дано как единичное, которое в свою очередь входит в общее. Всякое общее, поэтому, лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Дальше— вопрос о реальности вида, класса и т. д. Понятие класса объективно, разумеется, в том смысле, что оно отражает действительно существующие классы. Но оно объективно и в более глубоком смысле, как отражение объективности, реальности того общего и целого, что мы называем классом и что не сводимо к сумме его единиц. И здесь та полемика, которая завязалась по этому поводу между А. М. Дебориным и Л. И. Аксельрод, дает прямую возможность, так сказать, осязательно почувствовать беспомощность механического материализма нашего «ортодокса». Общее понятие, с точки зрения диалектического материализма, есть понятие конкретное. Класс или вид—конкретны. Как и понятие, ведь, не есть «только понятие», так и класс не есть только группа, собрание людей, определенная количественная часть общества или «родовое понятие». Класс есть целое, характеризующееся прежде всего с качественной стороны. Вопросы о производственной структуре общества просто не входят в наше рассмотрение, хотя нашим методологическим требованием мы уже ставим перед научным исследованием задачу изучения не «производственных отношений» вообще, а *своеобразия* данной общественно-экономической формации (вот этого и не поняла в своих возражениях т. Аксельрод). Играть формально-логической схемой в таких вопросах и недооценивать реальности некоторых общих связей и моментов в действительности было бы совершенно невозможно.

Группа вопросов, связанных с проблемой конкретного понятия, таким образом, концентрируется на проблемах логики в диалектическом смысле слова. И здесь опять-таки вопрос о соотношении между формальной логикой и диалектикой ставится по-новому. Сказать, что формальная логика есть частный случай диалектики—значит сказать слишком мало. Мы все чувствуем, что от этих общих фраз следовало бы уже перейти к конкретной разработке этой проблемы. И вопрос о соотношении формальной логики и логики диалектической мы свели к интересной и трудной проблеме диалектического развития тех категорий, которыми оперирует формальная логика, к доказательству объективной необходимости этих категорий, как *моментов* некоторой общей диалектической методологии. И, таким образом, здесь действительно на деле, а не на словах, была показана внутренняя органическая связь между категориями формальной логики и категориями диалектической логики.

Мне приходится за неимением времени оставить в стороне четвертую группу проблем, связанных с новыми, выдвинутыми революцией вопросами исторического материализма. Но, заканчивая, я хотел бы отметить своеобразие трудностей, вставших в теории перед нами, своеобразия опасностей, о которых кричали механисты и которые нам совершенно ясны. Несомненно, опасность «уклонов» возросла, но опасность всяких прочих уклонов теперь возрастает для тех, кто не усвоил, не переварил в достаточной степени метода диалектического материализма и из недооценки, скажем, философии ударяется в «дурную философию» позитивизма, из неумения понять необходимость признания узлов и скачков—скатывается к механизму, из неумения понять качественные своеобразия явлений скатывается к витализму. Конечно, для таких «марксистов» теперь легче скатиться к энергетическому пониманию мира. Для тех, кто не успел проработать метода диалектического материализма, конечно, является много трудностей, очень много скользких дорожек, а ведь из боязни этих трудностей, этих опасностей,

этих скользких дорожек и возникло современное течение механического материализма. Практическая разработка диалектики выросла в глазах механистов в идеалистическое чудовище, в чудовище метафизики, от которой они всячески предостерегали, против которой они направляли критику, — они занимались только такой «критикой», только «предостережениями» об опасностях слева, справа, об опасностях спереди, сзади. Но ведь критиковать мы сами умеем. Это раньше мы говорили, что бытие определяет собою сознание, и нам казалось, что этой классической формулой сказано все; теперь, когда надо переходить к практической углубленной разработке метода диалектического материализма, классические формулы должны быть обогащены, развиты, разработаны, — вот чего не понимают механисты.

Что же оказалось на деле? На деле оказалось, что просто практика борьбы, дальнейшее развитие разногласий, сама жизнь показали, что был прав т. Деборин и другие ортодоксальные марксисты, выдвигая в первую очередь вопросы теории диалектики. Тут просто ход борьбы показывает, что механисты должны были признать частично свои ошибки, а то, что осталось, — жалкий эклектизм, жалкие попытки спасти блок, блок махистов с фрейдистами, эмпириокритиков с механистами и т. д. Но этот блок уже в самом себе таит элементы разложения. Новая форма ревизионизма сложилась из блока таких элементов, которые тащут марксизм к беспринципности, к кашеобразности. Беспринципность разлагает и убивает наших противников — в этом суть, товарищи.

Вот, мне кажется, это последнее обстоятельство не должно быть нами недооценено, когда мы подводим философские итоги теоретического развития марксизма за 10 лет революции. Это является одним из больших достижений в развитии марксизма за эти десять лет. Мы и впредь должны держать знамя революционной материалистической диалектики так высоко, как и сейчас, и беспощадно бороться с извращениями марксизма; кто бы ни был автором их и откуда бы они ни исходили. В крупнейшую переломную эпоху, на повороте в развитии революции, на перевале от капитализма к социализму, на крутом подъеме первых осязательных результатов строительства социализма — в такую эпоху все категории социалистического строительства, всего социального и экономического бытия, приобретают глубоко переходный характер, носят на себе печать перехода от старого к новому, — вот почему мы зовем к изучению, к знанию, к выработке в себе умения владеть материалистической диалектикой.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 35-ЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. ГОРЬКОГО.

(22 октября 1927 г.)

Тов. *Лебедев-Полянский*. Сегодняшнее заседание Секции литературы и искусства посвящено Максиму Горькому по случаю 35-летия его литературной деятельности. Обычно такие юбилейные заседания включают в себя приветствия, доклады и резолюции; мы несколько отступаем от этого старого обычая и, в виду того, что с литературной деятельностью Максима Горького связан целый ряд проблем, которые еще не изучены, не решены, мы решили дать возможность после приветствий и докладов развернуться прениям для обсуждения этих проблем.

Порядок нашего заседания следующий: приветственное слово от Секции скажет т. В. М. Фриче, от Государственной Академии Художественных Наук—т. П. С. Коган, от федерации писателей—т. Авербах. Затем будет доклад т. Горькова в связи с 35-летней литературной деятельностью М. Горького, доклад т. Нусинова «От класса к классу». И затем, если будет необходимость и время, будут открыты прения, которые могут быть перенесены на следующее заседание.

Первое слово от Секции литературы и искусства Коммунистической Академии предоставляется т. В. М. Фриче.

Тов. *В. М. Фриче*. Товарищи, задача нашего сегодняшнего заседания,—а мы его продолжим на той неделе,—двойная: во-первых, известно, какое огромное влияние оказал Горький своим творчеством на значительные пласты нашей новейшей литературы и в особенности нашей пролетарской литературы. Это влияние можно доказать документальным анализом отдельных произведений, но мы здесь пошли иным путем: мы разослали приглашения тт. писателям в надежде, что они здесь выступят и с этой кафедры поведают нам о том, какое влияние на них оказал Максим Горький.

Вторая задача, перед нами стоящая, это—научно-исследовательская. О Максиме Горьком существует огромная критическая литература, в том числе о нем писали видные марксисты, как Плеханов, Воровский, Луначарский и т. д., но нет еще у нас научной марксистской монографии о его творчестве. Конечно, мы эту работу здесь сделать не сможем, но, может быть, мы наметим правильный подход к решению кардинального вопроса, а именно о социальной природе горьковского творчества, о том, какая общественная группа в ее эволюции образно обнаружилась, выразилась в его творчестве.

Когда произносится имя Горького, на язык, естественно, навертываются слова: пролетарский писатель. Еще много лет тому назад, в годы первой рево-

люция, так определил Горького наш дорогой товарищ Воровский, впоследствии красный дипломат, убитый в Швейцарии, и сегодня в одном из докладов вы услышите защиту этого тезиса. Как бы мы ни решали в конечном счете этот вопрос, одно остается бесспорным: в продолжение многих лет, в первое десятилетие XX века, Горький хотел быть и, несомненно, был поэтом рабочего класса, поэтом его передового авангарда, даже, можно сказать, его большевистской фаланги, что не значит быть, собственно, пролетарским писателем. Если мысленно охватить этот первый период в творчестве молодого Горького, восходящего Горького, приблизительно до 1908 г., то нетрудно видеть, что в основе его художественного творчества этой полосы лежат три центральных настроения, образно выражаясь, три образа, вокруг которых вращается его творчество этого периода. Это, во-первых,—образ странника. Горький любил рядиться в костюм странника, в костюм бродяги, идущего по русской земле в поисках правды и смысла жизни, или он любил, во всяком случае, часто ставить в центре своих произведений человека с душой бродяги, с душой скитальца, или настоящего странника, как, например, Луку в «Дне» или Матвея в «Исповеди». Это, во-вторых,—образ Человека (с большой буквы), чуждого всего узкого, себялюбивого, жадного, хищнического, всего мешанского; творца, и борца, царя и венца природы. Это тот образ, который он в таких повышенных, лирических тонах начертал в своем стихотворении в прозе «Человек». Это, в третьих,—образ строителя жизни,—это горьковское выражение,—т. е. того, кто разрушит старый мир крохоборства, себялюбия и вражды и создаст те внешние условия, которые позволят этому идеальному образу Человека стать живой действительностью.

И вот в те годы, о которых идет речь, Горький был убежден, что только рабочий класс сможет создать эту новую жизнь, как почву для нового типа человека. К этому убеждению он пришел не сразу, а путем долгих исканий и разочарований. Как известно, первоначально он видел этот идеальный образ человека, нового человека, в лице босняка, пока он не поставил крест над этим увлечением хотя бы в том рассказе, где хозяин ночлежки доказывает боснякам, что они—люди, еще не бывшие в истории, люди, не связанные ни с прошлым и ни с настоящим, люди, призванные обновить жизнь, на что один из них с убийственной иронией отвечает, что они созданы разве только для нарушения общественной тишины и спокойствия. Тогда, после этого первого разочарования, Горький взял в руки посох странника и ушел в большой провинциальный город, где обратил свое внимание на другую общественную группу—на русское купечество. Если не босняк этот искомый строитель жизни, то, может быть, он—буржуа. Вы помните, как в романе «Фома Гордеев» Горький описывает ту сцену, когда купец Маякин во время праздничного катанья по Волге, указывая на реку, по которой сновали пароходы, на оживленную пристань, поднимает бокал и восклицает: «Это мы сделали, мы жизнь строим». И вы помните, вероятно, как в ответ на эту самодовольную речь русского буржуа его племянник Фома, человек с душой бродяги, восклицает: «Вы не жизнь строили, а помойную яму создали. Пятак—ваш бог... Почтенное купечество, строители жизни, о дьяволы!» Поняв, что не русское купечество является строителем новой жизни, Горький обратил свои взоры на другую общественную группу. Если не босняк и не буржуа способны создать этот новый мир, то, может быть, интеллигенция, «Дети солнца»? Но чем внимательнее он пригля-

дывался к этим «солнечным людям», т. е. к буржуазной интеллигенции, — демократическую он выделял, — тем все больше казались ему просто «дачными» или «варварами», но отнюдь не теми, кто призван перестроить жизнь на тех началах, чтобы человек просто мог вырасти в человека с большой буквы. И тогда Горький, минуя крестьянство, своего постоянного антипода, обратил свои взоры на рабочий класс. Пролетарий предстал перед ним сначала в виде приниженного раба, какого-нибудь Коновалова, с его сумбуриными мечтами о лучшей доле, из которых он находил только один выход — бродяжничество. Потом этот подавленный раб превращается в протестанта, какого-нибудь провинциального наборщика, недовольного своим положением, но еще не знающего, кто его враг, как с ним бороться, и потому выражающего свой протест в виде хулиганской выходки, в виде озорства, в рассказе «Озорник». А потом этот смутный протестант превратился в сознательного пролетария, в машиниста Нила, в драме «Мещане». По поводу этой фигуры Чехов в своем письме к Горькому заметил, что Горький зря нарисовал такой образ рабочего, вместо того, чтобы дать настоящего русского рабочего, т. е. скромного, прилежного, трудолюбивого. Это, конечно, чеховщина. Как ни театральна эта фигура машиниста Нила, его устами говорил тогда, несомненно, поднимающийся революционный русский пролетариат. Для Нила нет большей радости, как, выражаясь его словами, «вмешаться в самую гущу жизни, месить ее так и этак. Она плюет в тебя огненными плевыми, хочет выжечь глаза, а ты смелым ударом с плеча делаешь из нее все, что хочешь».

Два года спустя после этого, произошла первая русская революция, во главе которой шел рабочий класс. Горький ответил на это историческое событие своим романом «Мать», где действуют не только одиночки-рабочие, но весь сознательный авангард пролетариата в его борьбе со старым политическим и социальным строем и где слышится та же самая мелодия, что и в лирическом стихотворении о человеке: «Я призван для того, чтобы распутать цепь ошибок, склавших людей в кровавый и противный ком животных, пожирающих друг друга... Хочу, чтоб каждый из людей был человек».

Революция была подавлена, но Горький продолжал быть поэтом рабочего класса. Снова берет он в руки посох странника и вместе со своим героем, героем «Исповеди», Матвеем, идет по всей русской земле искать того, кто обновит жизнь, изуродованную себялюбием и враждой, залитую грязью и кровью. Он ищет этого сказочного богатыря и в монастырях и в селах и не находит. И вот он на большом уральском заводе, где перед ним новые люди. «Речи у них разные, и у каждого свое лицо, но вера одна и намерение одно. Не топясь, дружно и усердно строят они нечто». Строят они, как поясняет страннику Матвеем рабочий Михаил, строят они из мира старого, разединенного себялюбием и враждой, мир будущего, спаянный чувством всеобщего братства, тот мир социализма, где будущий человек может сказать те слова, которыми кончается лирическое стихотворение Горького о человеке: «Настанет время и в груди моей сольется мир чувства моего с моей бессмертной мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное и злое, и стану я подобен тем богам, которых мысль моя творит».

10 лет спустя произошла Октябрьская революция. То, что было намечено Горьким в «Исповеди», стало реальностью. Уже не мысленно, не в подпольи, а как хозяин страны, как господствующий класс, стал рабочий Михаил строить

новое социалистическое общество. И в это самое время, когда то, во что Горький так верил и что так часто выражал в своих произведениях, когда это стало действительностью, он сам снова взял в свои руки посох странника и ушел от нас. Там, на чужбине, он продолжает работать, и его последние произведения отличаются, несомненно, большим внешним мастерством в смысле объективности письма, в смысле объективизации образов. Но на что обращен его творческий порыв? На прошлое, а не на настоящее. На купеческую семью Аргамоновых, на старую интеллигенцию, ставшую мифом, а нам хотелось бы видеть рабочего Михаила, как он строит социалистическое общество, ту форму общежития, которая одна, по мнению Горького, даст возможность тому идеальному образу человека, который всегда носился перед ним и теперь еще носится, стать живой действительностью. Конечно, здесь играет роль его оторванность от родной страны. Продолжительная оторванность художника от родной страны, всегда питающей его творчество своими соками, едва ли полезна. Нам думается, что если бы Горький остался среди нас,—чему мешало его здоровье,—то мастерство его несколько не пострадало бы, а самое творчество его стало бы безмерно жизненнее и значительнее, ибо он вспомнил бы, что, когда рабочий класс был еще только рабом и борцом, он, Горький, уже сложил песню о нем, как о творце новой жизни. И когда это стало действительностью, настало время завершить этот замысел классическим произведением не родного только, а мирового масштаба.

Товарищи, когда в былые годы, годы первой революции и последующей реакции, партия устраивала лекции о Горьком, то рабочие, заслушав доклад, немедленно садились писать своему любимому писателю—они считали Горького своим—приветствие. Я думаю, что мы поступим так же. Разрешите здесь зачитать текст приветственного письма:

А. М. ГОРЬКОМУ

Собравшиеся на торжественном заседании Секции литературы и искусства при Коммунистической Академии работники Секции, писатели, критики, учащаяся молодежь шлют Вам, глубокоуважаемый Алексей Максимович, единодушный и горячий привет по случаю исполнившегося 35-летия Вашей славной литературной деятельности.

В те далекие годы, когда рабочий класс был еще только рабом капитала, Вы сложили о нем песню, как о строителе социалистического общества,—той единственной общественной формации, на почве которой носящийся перед Вами идеал человека может стать живой действительностью.

Ныне, когда осуществилось то, во что Вы так горячо верили и что так часто возвещали в произведениях Ваших, мы твердо верим, что Вы завершите эту Вами начатую поэму классически-монументальным произведением со всем блеском присущего Вам мастерства.

Сознавая, что эту задачу Вам легче будет выполнить бок-о-бок с рабочим классом и примыкающей к нему интеллигенцией, строящими социализм, собрание выражает надежду, что состояние Вашего здоровья позволит Вам в недалеком будущем вернуться в родную Советскую Страну.

Тов. Коян (ГАХН). Товарищи, позвольте мне начать свое приветственное слово с небольшого воспоминания. Это было больше 30 лет тому назад, когда появилась «Песня о соколе» и когда наше поколение, бывшее тогда молодым, спорило до утра о смысле и значении этой «Песни», как спорт теперь молодежь о «Цементе» Гладкова или о каком-нибудь другом нашумевшем произведении. Вопрос, который ставился тогда, это—вопрос, который, вероятно, останется центральным и в той дискуссии или тех дискуссиях, какие произойдут здесь. Казалось странным, что Горький написал своего «Сокола» почти тем же языком, в тех же выражениях, в каких писали в то время и Бальмонт и другие модернисты. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым»,—это стихотворение появилось почти одновременно с аналогичным заявлением Сокола тоже о каком-то беспредметном желании быть дерзким и смелым. Протопопов, эпигон общественной критики, требовал от Сокола чуть ли не его политической программы: за что бился Сокол там, в бескрайнем небе, что это за «счастье битвы» без всякой цели, что представлял собой его противник, который в конце концов одержал над ним кровавую победу. Не более ли правильно рассуждает Уж, «земли творенье», земле принадлежит он и от земли никакими взлетами не задается. Мы прекрасно понимали, что речь идет не об Уже и Соколе, а двух типах общественности, о двух системах мирозерцания, о двух различных, исключающих друг друга психических организациях. И однако мы, тогдашние начинающие марксисты, чувствовали различие между дерзновениями Бальмонта и дерзновениями Сокола. Почему Горький, недисциплинированный писатель, такой же анархист, такой же неизвестно куда стремящийся дерзновенный ум, почему он казался «своим», а Бальмонт, символисты—дерзновения, казалось бы, того же порядка—чувствовались, как нечто чуждое, не «свое»?

Этот вопрос, говорю я, стоял перед тогдашней молодежью, и вопрос этот выдвинул другую чрезвычайно важную проблему о том, что такое художник-революционер, что представляет собою революция в преломлении художественного творчества, надо ли требовать от художника единства и полной согласованности с программой, с политическими формулами революции, с совокупностью требований организованной и декретированной политической мысли, или он может расходиться с нею и в то же время оставаться ее союзником. Это мое первое воспоминание, первая мысль, пробужденная Горьким во мне и в моих тогдашних сверстниках.

С того времени прошло больше 30 лет. В этом году летом мне пришлось быть в Италии и провести много часов с Горьким. Он говорил восторженно о Советской России, говорил с восторгом о ее будущем и о своей пламенной вере в тот правильный путь, по которому она, идет. Скучно здесь,—сказал Горький,—в Западной Европе. А вот там кипит жизнь, там бурлит все время мысль, там люди ищут и стремятся строить, создают смелые замыслы, которых невидано было до сих пор. Иногда в этих беседах с Горьким я чувствовал, что передо мною стоит тот же образ—«беззаконная комета среди расчисленных светил», тот же художник, не укладывающийся ни в какие границы и рамки, постоянно нарушающий дисциплину даже тех организаций, в которые он сознательно вступает, выбивающийся из колеи, несправимый Горький, который все же какими-то особыми путями, в каких-то скрытых сторонах нашего сознания неизменно остается нашим. Не потому ли Ленин, порицая Горького за его отступления, за нарушения дисциплины, не забывает прибавлять в своих отзы-

вах о Горьком, что, в качестве художника, он своими великими произведениями оказывает незаменимые услуги пролетариату.

И вот сегодня мне хотелось бы, конечно, не решить, а наметить одну из важнейших тем, быть может, наиболее крупную проблему, связанную с творчеством Горького. Почему Горький наш, почему он союзник, почему он тот, кто, может быть, сильнее дисциплинированных умов толкает вперед революционное дело, хотя он постоянно выбивается из пределов продуманного плана действий. Мне кажется, товарищи, что всякая революция, всякий гигантский скачок сознания и социальной жизни, ее уклада, всякий коренной переворот заключает в себе две стороны: есть смена форм жизни и есть смена человека. Революция — возникновение новых общественных отношений и вместе с тем рождение нового человека. Без этого нового человека революция не довершена. Всякая революция есть не только изменение мирозерцания, но и перестройка мироощущения. Без реформы мироощущения все остается только средством, началом, преддверием, пропихиваемым, но не осуществленным революцией.

Фронт, обслуживаемый художником, — фронт борьбы за новое. Эти две смены не совпадают ни во времени, ни в видимых своих проявлениях. Их единство высшего порядка не сразу и не всем ясно. Художник-революционер идет к общей цели своими путями. Но всегда можно определить, совпадает ли в конечном счете его путь с путями революции. Не всякая дерзость, не всякая ненависть к существующему порядку является вместе с тем революционной ненавистью. Символисты, декаденты тоже, несомненно, ненавидели мещанство не меньше, чем ненавидел его Горький, но они были не злом, потому что это не было революцией мироощущения, это не было революцией того, что совершается в подсознательной области, которая является преимущественной сферой художника. Горький был революционером в этой области. Как бы ни судили мы теперь об этом прошлом, как бы ни толковали то, что тогда писали о Горьком, будет ясно одно, что Горький явился и показал новый тип, тип нового человека, которого жадно искала эпоха, искали ее творческие зидательные силы, быть может, бессознательно искали те классы, которым вскоре предстояло взять в свои руки дело освобождения страны. Он был проникнут мироощущением тех, кому вскоре предстояло занять командные высоты жизни. Его Сокол и последующие за Соколом герои, в сущности, видоизменении того же Сокола, вариации на одну тему, были симптомом, возмущением бури, потому что, не сознавая характера материальной революции, Горький горы пафосом революции сознания, предчувствием нового человека. В этом причина того, что Горького всегда ощущали своим пролетариат и революционные классы. Он был и, может быть, остается несовершенным политиком, но он остается нашим, остается глубоко нашим, потому что из всех бесчисленных фронтов, на которых развивается революционная борьба и революционное дело, Горький стоит на одном из самых важных фронтов, на том таинственном (употребил, конечно, это слово не в прежнем мистическом смысле), на том загадочном и трудно постигаемом фронте, где совершаются первоначальные изменения, где сталкиваются взаимные противоречия, где происходит революция человека, происходит революция личности в ее почти не постигаемых и трудно определяемых тонах.

Вот эту черту Горького хотелось мне подчеркнуть. Для нас, искусствоведов, для нас, исследователей процессов творчества, в настоящую минуту, когда

совершающийся переворот дает такие обильные материалы, личность Горького, его творчество выдвигаются на первый план. Около этого имени в будущем будут разгадывать и разбирать самые сложные проблемы искусства, наиболее трудно уловимые черты и свойства капризной надстройки, именуемой искусством.

Государственная Академия Художественных Наук приносит благодарность Коммунистической Академии, привлекая ее на это сегодняшнее важное по своему научному и общественному значению торжество, примет горячее участие в разработке указанных выше проблем. Государственная Академия Художественных Наук заявляет здесь, что с каких бы сторон ни подходили к искусству исследователи, они не найдут в настоящее время образа более сложного и глубокого, раскрывающего перед нами наибольшие возможности в оставленном им великом художественном наследстве его творений, как образ Горького.

Позвольте на этом закончить мне мою речь. Позвольте в дальнейшем, когда развернутся эти дискуссии, развить брошенную здесь мысль. Позвольте с вами вместе выразить чувство великого восторга, который вызывает в каждом, кто стремится к нашему общему делу, одно имя—Горького.

Тов. Лебедев-Полянский. От Федерации Советских Писателей должен был выступить т. Авербах, но я сейчас получил извещение, что т. Авербах неожиданно заболел, сам он не будет, но Федерация Советских Писателей в лице своего исполнительного бюро поручила здесь заявить, что она приветствует Горького в юбилейный день его 35-летней деятельности и заявляет, что советские писатели раньше учились у Горького и впредь будут продолжать учиться у этого писателя.

Слово для доклада имеет тов. Горбов.

О ГОРЬКОМ

(Доклад Д. Горбова)

I

«...Горький—безусловно крупнейший представитель пролетарского искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать... Горький—авторитет в деле пролетарского искусства, это—бесспорно... В деле пролетарского искусства М. Горький есть громадный плюс, несмотря на его сочувствие махизму и отзовизму»¹.

Так писал о самом выдающемся русском художнике слова наших дней В. И. Ленин в 1910 г. В это время Горький уже дал свои босяцкие рассказы первого периода: «Супруги Орловы», «Трое», «Мать», «Лето», «На дне», «Враги», «Исповедь». Но «Жизнь городка Окурова», «Жизнь Матвея Кожемякина» и автобиографические повести («Детство», «В людях») — все это было еще впереди. Словом, Горький закончил тогда первый, романтически-босяцкий период своего творчества, период предреволюционно-бунтарский (до 1905 г.), и изживал полосу искания нового материала и нового стиля. Мастером-реалистом, бытописателем окурковщины он еще не был. Только «Фома Гордеев», появившийся в 1900 г., предвещал его. Незадолго перед тем прошумели очерки Горь-

¹ «Ленин и Искусство». Составил Симон Драйден. Изд-ство Кубуч. Ленинград. 1926 г., стр. 42—43.

кого «В Америке», — бичующий памфлет, брошенный русским анархистом-бунтарем в лицо западной цивилизации. К пафосу революционера здесь явственно примешивались яростные нотки босняка-«нигилиста».

И все-таки... все-таки — «Горький — безусловно крупнейший представитель пролетарского искусства» (слово «пролетарский» подчеркнуто самим автором вышеприведенных строк). «Платформа, которая обособляет внутри партии группу отзовистов и махистов», выдвигая в качестве специальной групповой задачи развитие якобы «пролетарского» искусства, есть *минус*, ибо эта платформа в деятельности крупного авторитета хочет закрепить и использовать как раз то, что составляет его слабую сторону, что входит отрицательной величиной в сумму приносимой им пролетариату громадной пользы... но сам художник, творчество его — «громадный плюс... в деле пролетарского искусства».

Итак, молодого Горького, еще не вполне сформировавшегося, как художник, еще не ставшего тем зрелым мастером реализма, каким мы знаем его теперь, В. И. Ленин считая писателем пролетарским. Еще более знаменательно, что суждение это высказано в момент одного из наиболее ярких проявлений теоретических уклонов М. Горького, когда последний организовывал свою школу на Капри и предавался богостроительству, оказавшему влияние, кратковременное, правда, но все же довольно яркое, на самое его художественное творчество («Исповедь»).

Когда читаешь письмо за письмом, растянувшуюся на два десятка лет переписку В. И. Ленина с М. Горьким, невольно поражаешься, с одной стороны, той ревностной настойчивостью, с какою В. И. Ленин разоблачал перед своим корреспондентом теоретические заблуждения последнего и, с другой — той трогательной заботливостью и вниманием, которыми он окружал его художественную работу. Насколько резок и прям В. И. Ленин с Горьким в первом случае, настолько же осторожен в последнем. Среди резких возражений, среди многочисленных и неотразимых атак на богостроительство, махизм, на демократически-демагогическую фразу мы не найдем в этих письмах ни строчки, которая показывала бы желание автора вмешаться в художественную работу своего корреспондента, сделать там или здесь частное указание или же исправить основную линию. Нет, Горького-художника В. И. Ленин принимал целиком, и если обрушивался на «Исповедь», то лишь за отвлеченную идею, там выраженную (ведь недостаток «Исповеди» в том, что это — произведение на тезис). В остальном мы видим лишь заботу о художнике, которого В. И. Ленин не хочет отрывать от его непосредственной задачи — художественного творчества. — и твердо выраженное признание этого творчества пролетарским.

II

Марксистская критика дооктябрьского периода следовала в отношении Максима Горького этому же методу: нападая на теоретически-неверные мысли писателя, она, как художника, продолжала считать его пролетарским. В этом духе выдержаны статьи Плеханова, Каменева и Воронского. Такое отношение к творчеству писателя находило (да и находит до сих пор) соответствие в словах рабочего: «Каждый человек, кто бы он ни был из рабочей категории, по духу его есть что-то живое: это память о Горьком».

Но вот, после Октября для Горького наступил период более или менее пристального изучения со стороны марксистской критики. И мнение о Горьком, как о писателе пролетарском, было подвергнуто сомнению и—отвергнуто. Наиболее яркими литературными выражениями такого отрицания за Горьким права на звание пролетарского писателя являются главы о Горьком в книге И. Н. Кубикова «Рабочий класс в русской литературе»¹ (гл. XVI) и в книге Г. Е. Горбачева «Капитализм и русская литература»² (гл. IV. Романтизм эпохи капиталистического накопления и Максим Горький). Кубиков доказывает, что М. Горький не умеет изображать быт и психологию передовых индустриальных рабочих, а Горбачев определяет его, как «художника крайне левого крыла прогрессивной буржуазной демократии», который, впрочем, «временами был пролетарским писателем» и создал несколько произведений, которые «могут считаться пролетарскими».

О том, что Горький не всегда удачно изображал быт и психологию рабочих-передовиков, спорить не станем. Другое дело, какой вывод из этого надо делать. Впрочем, Кубиков, имея несколько специальную задачу—исследовать русскую литературу с точки зрения полноты изображения в ней рабочего быта, психологии и производственных процессов, выводов о творчестве писателей в своей книге не делает, поскольку анализ творчества находится за пределами этой задачи. Все же отметим, что мы не в праве требовать от художника данного класса умения изображать передовую верхушку этого класса. Иначе дворянского писателя Гоголя придется лишить этого звания на том основании, что он был хорошо знаком лишь с помещичьи́ми и бюрократическими низами и подлинно-художественно умел изображать только их.

Что же касается объявления Горького крайне-левым буржуазным демократом, то автор его, Горбачев, как-будто сам чувствует некоторое неблагоприятие этой формулы, построенной в гораздо большей степени на теоретических выступлениях Горького и его логических промахах, чем на художественной продукции писателя. Исследователь, поэтому, спешит подправить свое определение противоречивой вставкой о «некоторых произведениях Горького, которые могут считаться пролетарскими», и некоторых моментах, когда Горький бывал пролетарским писателем³. Нам, признаться, это согласование несогласуемого не кажется убедительным. Полагая, что буржуазный демократ, если только он художник, никогда, ни на один момент пролетарским писателем стать не может, а раз став им, перестает быть буржуазным демократом. Не говоря уже о сознательной лжи, ложь бессознательная в искусстве неминуемо отражается фальшью произведения, которое в этом случае при оценке творчества писателя в расчет брать никак не может. Из формулы Горбачева может следовать только одно из двух: либо Горький был буржуазным демократом, и все, что пытался сделать, подлаживаясь под «гегемонию пролетариата», оказалось бездарным, либо, если это не так, если произведения Горького, признаваемые пролетарскими, талантливы, значит он—писатель пролетарский. В этом случае все, что в нем, как в художнике, есть буржуазно-демократического, должно быть отнесено за счет степени зрелости пролетариата, как класса, творящего собственную художественную культуру в особой исторической обстановке.

¹ 2-е изд. «Основа», 1925 г.

² ГИЗ, Ленинград, 1925 г.

³ См. стр. 128 книги Горбачева.

III

Нам кажется, что это несоответствие в оценке одного и того же выдающегося явления между марксистами старой школы и марксистами-литературоведами, работающими в по-Октябрьской обстановке, — несоответствие, которое трудно не признать разительным, — объясняется разницей в самом подходе к таким понятиям, как «пролетарский писатель».

Непримиримый в области подпитки метод классиков марксизма неуклонно применял здесь требование железной неразрывности между мышлением и практикой. Но он резко отличал от нее область художественного творчества, гораздо более сложного, питающегося в значительной степени *пассионными элементами человеческой личности и классового бытия*, а потому нуждающегося, чтобы быть понятным, в более сложной оценке.

В применении к Горькому такое толкование марксистской концепции художественного творчества как нельзя лучше объясняет, каким образом этот сын и внук ремесленников-мещан, никогда к индустриальному пролетариату не принадлежавший; этот художник, не всегда умеющий писать индустриальных рабочих; этот демократический певец босицкого анархизма в первый период и бытописатель мещанского и купеческого провинциализма окурочкины — в последний; наконец, этот идейный апологет богостроительства, с одной стороны, и углубленный поэт народно-религиозных символов, с другой; — каким образом такой богатый «уклонами» художник мог получить признание пролетарского.

IV

Не приходится скрывать, что именно это-то понимание творчества М. Горького связало с наибольшими трудностями, именно оно-то вызывает всего больше возражений. Ибо творчество М. Горького сложно, как творчество всякого большого художника, это, во-первых; а, во-вторых, оно вдвойне сложно, являясь художественным самовыражением класса, только складывающегося в творца собственной художественной культуры. Неизмеримо легче поэтому было бы, идя по линии наименьшего сопротивления, задержать внимание на поверхности художественных высказываний писателя. Отказавшись от выделения тех классовых импульсов, которые толкали художника к закреплению именно данного образа, к выражению именно данного вкусового предпочтения, к выдвижению именно этого, а не иного разительного противопоставления, можно было бы ограничиться констатированием в его творчестве идеологической «отсталости», теоретически-декламационных «уклонов», кустарного «учительства» и т. п. Это дало бы нам возможность на основании богатого (хотя совершенно не характеризующего это творчество) материала зарегистрировать писателя, как мелкобуржуазного радикала, или люмпен-пролетария, или деклассированного интеллигента. Правда, что, идя по этому пути, мы нашли бы достаточно доводов изобразить М. Горького и художником буржуазии периода первоначального накопления (разве иные страницы «Фомы Гордеева», «Жизнь Матвея Кожмякина», «Дела Артамоновых», да и иные «записки из дневника» вроде «Н. А. Бугрова», напр., не снабдят нас нужным материалом?). Правда и то, что, идя по этому пути, мы рискуем просеять все специфически-художественное в творчестве писателя между пальцами и остаться с одним голым (и неизбежно неверным) «социологическим эквивалентом» в руках.

У

В чем же сложность творческого облика М. Горького?

В том, что творчество это обладает очень разветвленными, спутанными между собой и на редкость глубоко в социальное целое проникающими корнями. Горький-мастер—это прежде всего—блестящий реалист, бытописатель окурощины. Все, что написано М. Горьким вне этой основной, в сущности единственной его темы, либо является романтическим к ней контрастом (таковы босяцкие очерки первого периода), либо рассмотрением иных сторон действительности через ее призму. «Детство», «В людях», «Хозяин», «Мои университеты» и «Автобиографические рассказы»—такова главная, «окурощевская» по содержанию и реалистическая по приемам, магистраль творчества М. Горького. М. Горький—автобиографичен. Лучше всего он пишет о себе. Давая себя, он дает окурощину. На этой же магистрали находятся: «Фома Гордеев», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Городок Окуров», «Дело Артамоновых», «Жизнь в чужом человеке», рассказы «По Руси». Здесь М. Горький пишет об окурощине. Давая окурощину,—он дает здесь себя. Автобиографичность его зарисовок купеческого поволжского быта в «Гордееве», «Кожемякине», «Артамоновых» ясно выступает при сопоставлении с такими «заметками из дневника», как «А. Н. Бугров», где М. Горький рассказывает о своем знакомстве с волжским миллионером-хлеботорговцем, обсуждавшим с писателем реалистичность купеческих типов, выведенных в «Фоме Гордееве». И на глазах у читателя стирается грань между реальным Бугровым горьковского дневника и Гордеевыми (отцом и сыном), Малкиным, Кожемякиным и другими фикциями горьковских романов. В творчестве М. Горького стирается грань между реальностью изображаемого быта и его художественной обработкой отнюдь не ценой отказа от последней, не в сторону ликвидации художественного реализма перед реализмом фотографии. Горький осуществляет в лучших вещах своих слияние жизни и фикции, не поступаясь ничем из своего прекрасного искусства. Это слияние—в принадлежности личности художника к изображаемой жизни, в неразрывной слиянности творческого «я» художника и быта, который служит ему материалом. Реализм Горького—синтетичен, и в этом неэпигламная его особенность, роднящая его с традицией большого реалистического стиля в русской литературе.

Мы не будем останавливаться на социальных причинах того, почему именно синтетический реализм характерен для русской литературы и в частности для Горького, в отличие, напр., от реализма литературы французской. Мы позволим себе лишь наметнуть на них словами Горького, сказанными, впрочем, по другому поводу: «Совершенно чуждый национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно фантастически-талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а гении положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать, по фигурности мысли и чувства, русский народ—самый благодарный материал для художника».

Тот сборник своих «заметок из дневника и воспоминаний», откуда мы взяли эти строки, Горький хотел назвать: «Книгой о русских людях, какими они были». Но раздумал, потому что, по собственному своему признанию, он

«не вполне определенно чувствует: хочется ли ему, чтобы люди стали иными»¹. И в самом деле, дело здесь вовсе не в «национализме, патриотизме и прочих болезнях духовного зрения». Не в силу этих болезненных явлений художник Горький решительно отстраняет Горького-проповедника и заявляет во всеуслышание, что он доволен своим художественным объектом, не хочет его исправлять, а желает попросту наслаждаться «фигурностью мыслей и чувств», им обнаруживаемой, находит полное удовлетворение в художественном изображении «оригинальных глумцов» и «гениальных лентяев», которых подсовывает художнику жизнь, его окружающая, и, что особенно важно, к которой он сам принадлежит. Тут повинны не «болезненные явления национализма и патриотизма», а здоровое социальное чутье мастера синтетического реализма, остро сознающего свою связь с социальным целым и свою обязанность точно следовать в своей художественной работе указаниям последнего: брать в орбиту своего художественного внимания лишь органические явления в этом социальном целом, уже вошедшие в его плоть и кровь. Не вина художника, если он принадлежит к коллективу, условия жизни которого заставляют дураков быть «глухими оригинально», лентяев делают «положительно гениальными», а писателей вызывают на изображения исключительно синтетического реализма. В конечном счете условия эти сводятся к обилию «растительного» элемента в нашей аграрно-промышленной культуре, в эпоху художественного роста Горького (80—90 гг.) еще не до конца вспаханной фабрично-заводским трактором.

В синтетизме горьковского реализма—первая сложность для понимания этого художника. Им писатель связан: он получает от него двойное задание—самоограничения и глубины. Синтетический реалист-Горький может писать, оставаясь в полноте своих художественных возможностей, лишь о том, что им органически пережито, что вошло в его плоть и кровь почти физиологически, что навсегда рвануло его эмоциональную стихию еще в том возрасте, когда личность восприимчива и беззащитна. Только это могло получить право голоса в подсознательной симфонии его личности,—симфонии, которая потом, пройдя сквозь резонатор сознательного художественного мастерства, зазвучала во всеуслышание на страницах горьковских произведений. Недаром ловоротным произведением Горького, определившим эпоху в его творчестве, было «Детство». Недаром и поспешная попытка художника вдвинуть в орбиту своего внимания бытие передового отряда своего класса, попытка, искусственно развернутая в героический роман «Мать», отразилась художественной неудачей. Синтетический метод в реализме с гораздо большим трудом овладевает явлениями новыми: ведь они еще не стали для художника своими через выведение их из знакомого и своего, и именно потому, что не успели всколыхнуть и перестроить все основы бытия того класса, художественным выразителем которого он является. «Мать» не то, что сделана поспешно.—она поспешно задумана, когда условий для синтетического воспроизведения явлений революционных, передовых, а потому новых, в недрах пролетариата еще не было. Последний к тому времени (1905 г.) уже сделался политической силой, но эта историческая роль его была настолько

¹ Собр. соч., т. XVIII, стр. 212. (Все цитаты из произведений Горького по изданию: М. Горький. Собрание сочинений. ГИЗ. 1924—26 гг.).

нова, что, не войдя в самое сознание класса в целом, не могла стать еще реальным объектом соответствующего художественного изображения.

Ибо художественное изображение вообще, а синтетически-реалистическое изображение в особенности, отстает от передовых явлений, возникающих в пределах класса, как процесс субъективно эмоциональный отстает от процессов сознания.

VI

«Рабочие не имеют отечества», — гласит одно из положений коммунистического манифеста. Но синтетический реалист может изображать любое лицо или предмет лишь в связи с их природной и даже традиционной обстановкой. Он мыслит каждую вещь и каждое лицо, так сказать, в *их исконном отечестве*. Там, где связь между изображаемым объектом и его «отечеством» утратила очевидность на поверхностный взгляд обывателя, синтетический реалист воссоздает ее путем обнажения корней. В этом смысле изображение синтетического реалиста всегда не плоскостно, а перспективно, оно динамично, так как берет предмет не как данность, а как результат определенного процесса. Любой класс любой страны не составляет исключения: становясь предметом изображения синтетического реалиста, он обретает свое отечество не мифическое отечество.

Пролетариат России родился не на заводе. Не явился он и как Минерва, из головы Юпитера. Мы убеждены, что те идеологически четкие зарисовки рабочего быта и борьбы российского пролетариата, где этот класс изображен в его сегодняшней революционной данности, не только не отменяют необходимости в художественном познании молекулярных процессов, при помощи которых этот класс исторически сложился у нас, и того социального целого, из недр которого он вышел, но предполагают это познание, как свое необходимое дополнение.

О том, откуда вышел в России пролетариат, в ярких образах повествует нам творчество Горького-реалиста.

Какова социальная база его реалистических зарисовок? С высоким художественным совершенством выявил в них Горький основы, быт, психологию и общественное положение мелко-буржуазного ремесла и низших рабочих, с одной стороны, и средней и крупной провинциальной буржуазии — с другой. Изображение этих слоев у Горького охватывает почти исключительно период с 80 гг. по октябрь 1917 года, т. е. эпоху созревания российского пролетариата, эпоху нарастания его классовых битв. «Окуровщина» есть символ всей общественной жизни России той эпохи именно потому, что он стоит в узле ее классового расслоения, выражая тот общественный конгломерат (ремесленное мещанство плюс средняя провинциальная буржуазия), из которого вытекали все основные классовые категории российского города. Разумеется, объявить Горького художником этого общественного конгломерата еще не значит произвести общественную оценку этого творчества. Ибо «окуровщина» по самому своему социальному содержанию является неким двуликим Янусом. Глядя из этой «первичной материи» с одного бока, выплывают передовики-рабочие: Греков, Левшин, Павел Власов, Андрей Находка, Маков, а с другого — тузы и воротилы: Маякин, Сухобаяв, Алексей Артамонов, да и сами Бугровы и Самвы Морозовы, наконец. Чтобы обнаружить удельный вес реалистически-бытовых произведений Горького, необходимо учесть их направленность, те скрытые тенденции в изображаемом быту, которые писатель вскрывает и, вскрывая, художественно истолковывает.

VII

При самом поверхностном ознакомлении с реалистическими произведениями Горького легко видеть, что путь капиталистического накопления, как выход из «железных мерзостей» окурловщины, для Горького исключен. Более того, накопление капитала и выход «кверху» в изображении бытописателя Горького есть не что иное, как накопление «железных мерзостей» и выход в пустоту.

Прежде всего, подъем в этом направлении всегда и неизменно начинается с преступления: об этом свидетельствуют и Фома Гордеев, и Матвей Кожемякин, и Артамоновы. Отец Фомы Гордеева служил водоливом на одной из барж богача, купца Зуева: «Он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача, — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют, даже не могут задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания... В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и барж»¹.

«Ананий Саввич Щуров был крупный торговец лесом, имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты». Источник его богатства в том, что он «в молодости, когда был еще бедным мужиком, приютил у себя в огороде, в бане, каторжника, и каторжник работал на него фальшивые деньги». Разбогатев, Щуров убил своего помощника и труп сжег. Тот же Щуров «взял двух жен, — одна из них умерла в первую ночь после свадьбы, затем отбил жену у сына, отчего тот спился, после смерти невестки взял в дом немую девочку-нищую, и та родила ему мертвого ребенка»². Василий Семенов (в повести «Хозяин») «еще недавно — шесть лет тому назад — был тоже рабочим, пекарем, сошелся с женою своего хозяина, старухой, научил ее извести пыпыцу мужа мышьяком и забрал все дело в свои руки, а ее бьет и до того запугал, что она готова, как мышь, жить под полом, лишь бы не попадаться на глаза ему»³. Таковы все без исключения герои первоначального накопления, все эти волжские Колупаевы и Разуваевы в изображении Горького-реалиста.

Было бы бесполезно перечислять здесь все трагедии, послужившие для Бугровых и Морозовых ступенями в их восхождении к финансовому владычеству и взятые Горьким на свои страницы. Обвинительная речь Фомы Гордеева, брошенная в лицо наиболее крупных представителей волжского купечества, содержит длинный их инвентарь, которому записки Матвея Кожемякина служат ярким дополнением, так же как и все произведения Горького, посвященные купеческому быту. Этот быт послужил Горькому предметом изображения, граничащего с сатирой, в таком произведении, как «Вечер у Сухомяткина»: «окурковские» богатеи проводят свои досуги в бане, где парятся до одурения, закусывают сотней ильменей, политых соответствующим количеством водки, и развлекаются показыванием фокусов при помощи выписанных из Гамбурга специальных аппаратов, оправдывая пустоту этого времяпрепровождения тем, что «жизнь никому не в радость, жизнь требует воображения».

Но не только в плане реалистического бытописания, глубоко уходящего к историческим устоям первоначального накопления на Руси, ставит и разрешает

¹ Собр. соч., т. IV, стр. 7.

² Собр. соч., т. IV, стр. 121.

³ Собр. соч., т. XI, стр. 307.

Горький проблему капитализма. В психологическом плане она встает под его пером, как трагедия собственности. Сын волжского конкистадора первоначального накопления и раскольницы-кулугурки Фома Гордеев; Матвей Кожемякин, поставленный своим происхождением на достаточно-прочный промышленный пьедестал; даже сам темный рыцарь эксплуатации, не верящий «ни в чорт, ни в чох», герой повести «Хозяин», Василий Семенов, не говоря уже о Петре Артамонове, которому и в положении совладельца крупного предприятия еще не отоснились крестьянский сон о золотой ниве и степном просторе,—все они распяты автором на кресте собственности. Все они—по натуре своей нестяжатели, и им невыносимо бремя, налагаемое на них богатством: бремя соучастия в делах их собственного (торгового и промышленного) класса, бремя их проклятого классового происхождения. В сущности все они чувствуют себя, как Фома Гордеев, «не господами в своем деле, а лишь составною частью его, частью не важною», и уже одним этим симпатичны автору. Все они так или иначе покупают свободу от этого бремени ценой тяжелой душевной катастрофы. В конце концов, все они получают оправдание в глазах автора тем, что разрывают со своим классом и тяжкими душевными муками откупаются от своего права капиталистического первородства. Этот ряд образов создан художником как бы для того, чтобы прямым путем обнаружить непримлемость для него капиталистического пути, как выход из окурочины.

Иную роль играют в творчестве Горького окурочские жители, сумевшие до конца приспособить свой внутренний мир к той роли, которую суфлирует им их капиталистическая собственность. Маякин («Фома Гордеев»), Сухобаев («Жизнь Матвея Кожемякина»), Алексей Артамонов («Дело Артамоновых») — вот галерея идеологов первоначального накопления, нарисованная Горьким с громадным мастерством объективного реализма. Если группа «богачей-нестяжателей» раскрывает отрицательное отношение Горького к капиталистическому накоплению, как выходу из окурочины, непосредственно, открытым приемом, то группа идеологов первоначального накопления делает это путем отрицательным: рисуя эту группу лиц максимально-объективными чертами, нигде не давая воли своему авторскому негодованию, Горький одной полнотой изображения этих образов достигает того, что они производят на нас резко-отрицательное впечатление. Как синтетический реалист, Горький и здесь изображает явление в полноте его признаков—положительных и отрицательных,—и только некоторая сухость интерпретации намекает нам на отрицательное отношение художника к своему объекту. В сущности и эти прошедшие огонь и воду дельцы имеют за душой что-то располагающее к ним: именно, ясное сознание своих классовых целей, твердое знание того, что им нужно делать. В этом знании—сила, а сила всегда располагает, так же как капиталистическое накопление есть все же движение вверх из окурочского болота, выход из него, хотя и внешний, и призрачный. Эта сила заставляет Маякина говорить речи, полные классовой ограниченности, но и жизненной ценности в пределах определенной классовой морали:

«В газетах про нас, купечество, то и дело пишут,—что мы-де с этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаем и не понимаем. И называют нас дикими людьми. Что же это такое—культура? Обидно мне, старику, слушать такие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова что оно в себе заключает. Оказалось, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. Так,—подумал я,—так. Значит—культурный человек

тот будет, который любит дело и порядок... который вообще жизнь любит устраивать, жизнь любит, цену себе и жизни знает... Хорошо. Но коли так, — а именно так надо толковать это слово, — то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу. Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы дело любим. Мы-то и имеем в себе настоящий культ жизни, а не они. Они суждение возлюбили, мы же действие»...¹ Разумеется, купечество в романе бурно аплодирует этой программной речи своего вождя, а реальный Бутрон заметил Горькому: «Не все в книге вашей верно, многое очень строго сказано, однако, Маякин — примечательное лицо. Изволили знать такого? Я вокруг себя подобного не видал, а чувствую: таков человек должен быть. Насквозь русский, и душою и разумом. Политического ума»... И, широко улыбаясь, он прибавил весело: «Очень поучительно подсказываете вы купцу, как ему жить и думать надобно, о-очень»².

Для нас важно не столько это удовлетворение волжского туза речами Маякина, зафиксированными художником-реалистом, сколько недовольство его по поводу «строгости» в изображении купечества.

В «Деле Артамоновых» эта «строгость» писателя к крупной буржуазии получает полное и чеканное завершение: перед нами картина социального вырождения крупной буржуазии, показанная во всем объеме, на примере трех поколений одной и той же семьи. Как мало вяжется такая концепция с определением Горького, как буржуазного демократа!

«Многое очень строго сказано» Горьким о Маякине, Сухобаеве, Алексее Артамонове; но о более культурных идеологах первоначального накопления, например, Маякине-сыне или Смолине, у Горького сказано еще строже. Не характерно ли то, что по мере происхождения по ступеням буржуазной лестницы, по мере отхода выбившихся представителей окурощины от окурковского болота, по мере их европеизации и американизации отталкивающая черствость и все утончающаяся хищность этих типов возрастает, параллельно с ростом культурности и относительной широты социальных запросов? Известная патриархальность, еще роднящая Маякина-отца с его социальной родиной — окурковским мещанством, совершенно исчезает в сыне; последний выступает в качестве европеизированного дельца крупной марки, у которого и руки и голова совершенно свободны от всяких обязательств перед чем бы то ни было, кроме капитала, вложенного в дело. Личность Маякина-сына и Смолина совершенно лишена всяких излишних украшений. Эти сыновья богатеев-окуровцев, прошедшие всякие университеты, инженерные институты, в отличие от старшего поколения (Маякина-отца и Алексея Артамонова, например), в глазах Горького — уже не люди, а стопроцентные хищники — буржуа. Внутренняя оголенность этих образов, при большой сравнительно культурности их, говорит о том, что передовые слои класса, вышедшего из окурощины (в данном случае — передовые слои вышедшей из окурощины крупной буржуазии), утрачивают в глазах художника все свои цветные признаки и теряют в его изображении свою многогранность в той мере, в какой они удалены от своей социальной преемственности.

¹ Собр. соч., т. IV, стр. 250—251.

² Собр. соч., т. XVII, стр. 91.

Именно в этом же плане должен быть воспринят колорит скуки и ненужности, покрывающий картины жизни и душевного быта буржуазной интеллигенции в последнем романе Горького «Жизнь Клима Самгина». Конечно же, не буржуазный демократ писал те образы демократической интеллигенции, которые в таком чисто горьковском обилии роятся в этом произведении. Не ясно ли, что здесь отчетливо сказалось, что перед нами—представление пролетарского художника о классово-чуждой ему, а потому, при всем искусстве, изображенной довольно внешне—среды. В этом—причина всех недостатков романа, но вместе с тем—источник его характерности. В этом мы склонны видеть еще одно подтверждение той мысли, что синтетический реализм Горького в состоянии вобрать в орбиту своего изображения во всей полноте лишь те жизненные явления, которые могут быть поставлены художником в органическую связь с исходной для него социальной стихией. Именно эта же причина помешала писателю изобразить и передовые слои собственного класса (пролетариата).

Как бы то ни было, мы должны прийти к выводу, что, выслеживая путь из окуривщины в сторону буржуазного выхода из нее, сочувствие писателя к изображаемым лицам убывает в прогрессии геометрической по мере их продвижения по этому пути. И не один Матвей Кожмякин сказал о Сухобаеве: «Отчего ко мне льнут все такие никчемные, никудышные люди... и эти нравятся мне, а к деловым людям не лежит моя душа, даже к Сухобаеву»¹. Этими словами реалист-Горький отказывает в своем сочувствии всем, уходящим из окуривщины через капиталистические двери. Какие же двери представляются ему единственно-приемлемыми?

VIII

«Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди нее—как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони.

Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханых холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье—там ютится низкое мещанство.

На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье—около семисот.

Мещане в городе юркие, но сытенькие: занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают невяку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии...

Главная улица—Поречная или Бережок—вымощена крупным булыжником... На Поречной стройно вытянулись лучшие дома—голубые, красные, зеленые, почти все с палисадинками...

...заметив избыток девиц, мещанство решило строить гимназию.—Всех девок, видно, замуж не выдашь—стало-быть, пусть идут на службу в учительницы.

Говорилось тоже, что хорошо бы гимназию иметь: деревня год от году все беднеет, жить торговлей становится трудно, ремесло коршит все сильнее, в губернии учить детей—дорого, а учить их надобно: доктора, адвокаты и вообще ученый народ живет сытно.

¹ Собр. соч., т. IX, стр. 442.

Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт темною кучей хижин Заречья: черные от старости, с ключьями зеленого мха на прогнивших крышах, они стоят на песке косо, криво, безнадежно глядя на реку маленькими большими глазами: кусочки стекол в окнах, отливая опалом, напоминают белыя.

Весною, летом и осенью заречные жили сбором шавеля, земляники, охотой и ловлей птиц, делали денижки, потом собирали грибы, бруснику, калину и клюкву,—все это скупало у них городское мещанство. Человека три делали птичьи клетки и садки: семейство Пушкаревых занималось плетением неводон. Трельцовы работали из корневища березы шкатулки и уклады с мудреными секретам. Семеро слобожан работало на войлочном заводе Сухобаева, девять человек валяло сапоги.

Между городом и слободою издревле жила вражда: сытое мещанство Шихана смотрело на Заречье, как на людей ничемных, пьяниц и воров. Заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан «грошелюбами», «нятакоедами»¹.

В приведенном отрывке Горький, почти с точностью социолога-марксиста, сосредоточил основные черты той социальной стихии, из которой вышел он сам и которая составляет основной материал его творчества. Всматриваясь в этот окурковский пейзаж, разделенный рекой на две равные части, мы отчетливо видим классовое строение окурковского мещанства: не менее четко разделено и оно демаркационной чертой на две части—зачаточное, торговое, мещанство и полное мещанство, ремесленное. Перед нами, таким образом, своего рода «первичная материя», в недрах которой уже отчетливо намечены два ядра, представляющие из себя не что иное, как два класса в эмбриональном, зародышном состоянии. Художник выступает здесь в качестве эмбриолога, отслеживающего тенденцию развития обеих зачаточных форм. Торговое мещанство строит прогимназию, чтобы избыточный прирост женского населения мог не только не опускаться на низшую социальную ступень, но получил бы возможность некоторого выхода кверху, который рисуется в виде продвижения в ряды интеллигенции, хотя бы и низшей квалификации. Но затаенные мечты этой зачаточной буржуазии шире: поскольку далеко не все мужское потомство в состоянии удержаться на основной классовой линии, идя прямым путем первоначального накопления к положению Игната Гордеева, Щурова, Маякиных, Сухобаевых и Артамоновых, постольку большая часть этого потомства должна стать в ряды буржуазной, «сытой живущей» интеллигенции, обслуживающей интересы тех же Гордеевых, Маякиных, Сухобаевых и Артамоновых, и нашедшей окончательное изображение в «Жизни Клима Самгина». Таким образом, эта часть нарисованной Горьким картины изображает не что иное, как зародыш того класса, более зрелые формы которого даны художником в произведениях, посвященных жизни и быту крупной торгово-промышленной буржуазии.

А каковы тенденции развития зародышевой формы, данной во второй части картины? Среди полуинстинктивных заречан, ведущих первобытное хозяйство, основанное на собирании продуктов матери-природы, среди этих охотников, птицеводов и кустарей имелись рабочие войлочного завода. Горький рассказывает, что эти представители высшего вида труда в окурковском Заречье, представлявшие виз-

¹ Собр. соч., т. VIII, стр. 207—11 (Бурев. изд., 1937).

ную форму пролетариата, «пользовались общим вниманием и уважением всех слобожан». Уж не видели ли в них последние свой авангард, передовой отряд класса, переступивший хотя бы одной ногой ту черту, которая отделяет кустара от фабрично-заводского рабочего? Увы, художник выясняет этот пункт с беспощадной правдивостью, не оставляющей места никаким сомнениям: «войлочники и валяльщики сапог пили водку чаще и больше других», и это обстоятельство было единственной причиной уважения к ним со стороны полунищих слобожан. А наиболее яркий представитель этой «передовой» части *трудоу* окуривщины, «лучший мастер по войлоку» Герасим Крыльцов, по показаниям Горького, «вдруг начинал бить пешадно почитателей своих, выкрикивая, точно кликуша: «Спавяете вы меня, анафемы. Погибаю через вас—ух». Избитый он плакал: «Не денег, братцы, жалко, жизни—жизни жалко моей»¹.

Таково изображение пролетариата, данное «безусловно крупнейшим представителем пролетарской литературы» по формуле В. И. Ленина. При первом же приближении к окуривскому быту обнаруживается, что рабочий класс представлен там лишь люмпен-пролетариями. Но и сам художник, занимавшийся и юности и собиранием тряпок и гвоздей, и птицеводством на продажу, побывавший и мальчиком для домашних услуг, и кухонным служителем, и пекарем, и грузчиком, и камешником, по ни разу за все долголетние свои скитания в поисках места не заглянувший на настоящий завод,—в какой мере совпадает его облик с тем представлением о пролетарском писателе, которое с этим понятием привыкла связывать современность? Где же причина этого противоречия: нужно ли откинуть формулу? Или, быть может, видоизменить, расширить наше представление о пролетарском художнике?

Между прочим, наши сомнения оказались не бесполезными именно для основной нити наших рассуждений. Ведь нам необходимо было ответить себе на один вопрос: с какой же половиной городка Окурова связан сам художник? Но, характеризуя его дописательскую судьбу по данным его автобиографических произведений—«Детство» и «В людях», мы тем самым установили органическую связь писателя с «черной половиной» окуривщины, особенно ярко обнаруживается это обстоятельство в «Детстве», где маленький Горький с радостью встречает необходимость переселиться из богатого дедовского дома в нищенскую конуру, в виду разорения деда. Да и фигура бабушки в «Детстве» и «В людях», выписанная Горьким с великой любовью и громадным лирическим наполнением, очевиднейшим образом олицетворяет нищую трудовую окуривщину, противопоставляя фигуре коммерчески активного и по всем признакам принадлежащего к миру Маякиных и Сухобаевых деда. И без дальнейших доказательств мы, несомненно, в праве утверждать, что Горький-реалист есть художник «черной половины» окуривщины.

Но тем самым мы объявляем писателя художником эмбриональных форм пролетариата, анализатором молекулярных процессов—сложных и трудных,—какими окуривская, ремесленно-мещанская Русь переплывалась в Русь пролетарскую, и это та новая черта, которую мы должны внести в понятие пролетарского художника. Ибо, в самом деле, вельзя же всерьез смущаться тем, что рабочие М. Горького пьют, дерутся, матерщинни-

чают и, заливаясь пьяными слезами, бия себя в грудь по исконному русскому обычаю (который, ведь, и теперь не вывелся еще до конца!), скорбят над жизнью своей: «Не денег, братцы, жалко, жизни—жизни жалко моей». И это не только ваяльщики «Городка Окурова», но и некаря в «Хозяине», «Двадцать шесть и одна» и «Коновалове», и грузчики в «Моих Университетах», и мастера-иконописцы в повести «В людях».

Горький-реалист изображает рабочий класс в его становлении. Собрав воедино все рассказы писателя и отдельные эпизоды в более крупных его произведениях, посвященные рабочим, мы получили бы историю самостроительства класса на основе все более проясняющегося классового сознания и утраты отрицательных черт, связанных с пролетарским периодом его, теряющимся во мгле эмбрионального окурковского состояния. И как характерно для синтетического реалиста, что история этого молекулярного процесса рассмотрена Горьким: 1) на отдельных индивидуумах, благодаря чему мы подведены к этому процессу вплотную, можем рассмотреть его в мельчайших и наиболее интимных подробностях и 2) анализ процесса произведен с установкой не на конечный пункт его, рассматривается он не в виду идеального предела, к которому клонится весь он в целом (отчего изображение его неминуемо приобретало бы оттенок социологического схематизма), но с установкой на исходный пункт, на выслаживание процесса из его социальных корней. Иначе говоря, и здесь Горький-реалист, верный своему участливо найденному синтетическому стилю, при изображении того или иного индивидуума, стоящего на пролетаризирующейся линии окурковской Руси, не торопится сощечь с него при помощи анализаторского ножа его индивидуальную, социально-неотчетливую оболочку, чтобы послешно извлечь из нее стопроцентное пролетарское ядро. Наоборот, с особым тщанием выслаживает здесь художник именно те уклончивые, противоречивые и порою прихотливо-сбивающиеся в толку формы, в которых запрято это смутное, неосознанное, часто глубоко-спящее классовое начало, проявляющееся как подсознательная тенденция порою лишь в отдельных намеках, и словах и суждениях, брошенных невзначай, в поступках, совершенных безотчетно. В конечном счете эта необычайная приметливость и это ярко выраженное тяготение Горького к индивидуальностям, а не к социальному целому—классу, и к индивидуализирующим отклонениям в самых этих индивидуальностях объясняются тем же отмеченным нами фактом, что художник, вместе с пролетарским классом, крепкими корнями уходит вглубь социального целого, из которого этот класс вышел. А в искусстве это направление мысли Горького целиком оправдывается тем, что именно искусство, как один из видов социального анализа жизненных явлений, и в особенности синтетический реализм, как его разновидность, рассматривает общее через индивидуальное и в частном изучает характеризующие его отклонения, через них постигая правило.

Вот перед нами Коновалов, бродяга и пьяница, человек два и пьяной слезы, нигде не находящий себе места и, наконец, кончающий с собой в тюрьме. «С внешней стороны,—рассказывает Горький.—Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я приемотривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушившей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс». Чем же отличается этот «золоторотец», «типичнейший», не только по виду, но и по судьбе, от своих собратьев по классу? А вот чем:

— «Купи книжечку, просит Коновалов Горького (они работали вместе в пекарне)... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи хоть две. *Мне, которые про мужиков*. Вот вроде Пилы и Сысойки (герои повести Решетникова «Подплицы»). Д. Г.»». Горький читает Коновалову монографию Костомарова «Бунт Стеньки Разина»: «...по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича, и «князь волжской вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался». Скука и равнодушие постепенно исчезают. И более того: «в нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно-мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам,—теперь потемневшим и суженным,—исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре¹.

«Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка—родной брат Разина»,—отмечает Горький. В силу выработанного в первом босяцком периоде творчества стиля Горький склонен здесь объяснять это родство «босячеством» Коновалова: «босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа, чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола». Но живший уже и тогда в Горьком реалист понуждает писателя глубже раскрыть корни этого родства и опять не в рассуждениях, а в случайных, казалось бы, словах действующего лица. В то же время до конца раскрывающих его характер. В необычайном возбуждении выслушав описание казни Разина, Коновалов плачет, но не обычными своими пьяными слезами о жизни, не разливаясь морем над своей бездейственной тоской, а сурово, сосредоточенно, ожесточенно: «...ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны». В чем же дело? Чем объясняется это потрясение, столь похожее на большой душевный переворот? Отвечает не автор, а сам Коновалов: «Максим,—говорил Коновалов, сидя на полу,—странный, Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба... Зубы-то как он выплюнул... а?». В этом, по видимому, побочном, а на самом деле центральном пункте рассказа (ибо у Горького многое, кажущееся побочным, на самом деле центрально) Горький, как бы случайно отбросив условные приемы, совлекает с Коновалова романтизированные лохмотья босяка и показывает нам подлинного человека,— деклассированного крестьянина-полужабочего, глубоко чувствующего органическую, кровную связь со своим классом. Художник как бы невзначай проведенным реалистическим приемом обнажает то загроможденное и едва себя сознающее классовое золото, из которого в иных условиях (впоследствии тоже изображенных Горьким) выходят передовые рабочие, духовная аристократия класса.

Это же золото на относительно более высокой, но все еще достаточно близкой к исходному пункту ступени обнаруживается перед нами в 26-ти пекарях. ввиду незнания других путей к объединению в коллектив, создающих нечто вроде секты, основанной на поклонении шестнадцатилетней горничной Таве из соседней золотошвейки.

Этот «идол», как бывает со всеми идолами, в конце концов рухнул под ударами действительности, но вера в него—в данном случае не только иллюзия. Эта вера имела ту реальность, что вносила в жизнь 26-ти забитых пекарей

¹ Собр. соч., т. I, стр. 263—265.

элемент активности, борьбы. Побившись об заклад с новым пекарем-солдатом, что ему не удастся осуществить брошенный им вызов—соблазнить Таню, 26 Таняных идолопоклонников переживают минуты, которые, несомненно, дают им больше, чем самые восторги при встречах с идеализированной Таней, и уж, конечно, являются более социально-ценными, чем последние: минуты сомнений, внутренней борьбы, желания отстоять свою веру, желания, доходящего до азарта.

«Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что Тане грозит опасность. Мы чувствовали это, и в то же время всех нас охватило *жуткое, приятное нам любопытство*—что будет? Устоит ли Таня против солдата? И почти все уверенно кричали:—Танька? Она устоит! Ее голыми руками не возьмешь.—Нам страшно хотелось испробовать силу нашего божка... Мы с этого дня начали жить какой-то особенной, напряженно-нервной жизнью.—так еще не жили мы. Мы целые дни спорили друг с другом, стали больше и лучше говорить... И когда мы узнали от булочников, что солдат пача» «приударять за нашей Танькой», нам сделалось *жутко-хорошо и до того любопытно—жить...* Мы как будто даже и не уставали от работы»¹. Словом, социально-ценные моменты борьбы и сомнения внесли жизнь и активность в застойную среду этих низших рабочих, еще не знакомых с той огромной борьбой, которая расправляет спины по-иному, вносит иное, неизмеримо более громадное содержание в жизнь заводских рабочих и по-иному осмысливает их труд. Как всегда почти у Горького-реалиста (а в рассказе «26 и одна» он уже почти законченный реалист), раскрытие этого социально-ценного дано не на главной магистрали новостояния, а как бы обмолвкой, невзначай... .

В рассказе «Романтик» перед нами новая ступень классовой осознанности центрального действующего лица. Здесь Горький выводит столяра Фома Вараксина, представляющего образчик окуривца, уже вышедшего на пролетарский путь, но еще не оторвавшегося от прежней социальной среды. Фома подвергается обработке со стороны ставшего уже подлинным пролетарием товарища, тоже столяра, Алексея Сомова (один из лучших пролетарских образов у Горького), посещает марксистский кружок, руководимый интеллигентами-партийцами. И то же время Фома обнаруживает *инстинктивное* тяготение к знанию («Если я живу, не зная, кто я, где и зачем собственно—какая же тут жизнь? Просто долготелее одичание в эксплуатации разных темных сил, исходящих от человека, и предрассудков, им же сотворенных,— верно?») и к коллективу («Это самое влечение к соединению человек—это есть!.. ежели где народ собрался, то меня туда нестерпимо тянет! Народ!.. Собрание душ потому что!»). Но это человек, еще не порвавший той пуповины, которая соединяет его с породившей его окуривщиной. Сам он чувствует себя как бы еще не вполне взрослым: «Между собой, например, мы, ремесленники, мало гонорим по душе. А каждому все-таки хочется что-нибудь сказать о себе.—потому что человек, знаете, он очень мало обласкан и... если вспомнить, что у каждого была мать... и есть привычка к ласке, то... получается очень плохо»². Натура эмоциональная, а потому изживающая процесс своего классового становления с большими трудностями. Фома вносит во все свои столкновения с новой классовой действительностью слишком много непосредственного, сырого «переживания», не охлажденного

¹ Собр. соч., т. III, стр. 81 (Курский изд., Д. Г.).

² Собр. соч., т. XIII, стр. 11 в слеп.

янным разумом и не укрепленного твердой волей (как это имеет место у его товарища, натуры более активной, хотя и вышедшей из той же социальной среды). Даже знания, получаемые в кружке, применяются им к своим фантазиям, которые показывают, что на высшей социальной ступени он мог бы стать пролетарским художником, может быть... Максимом Горьким (напр. „восход солнца и «змеи, мечи, борьба, одоление», взятое из кружковых бесед по истории культуры). Но пока-что мы присутствуем при конфликте, который необычайно тонко выслежен Горьким: при конфликте между высшей пролетарской ответственностью, в виде членов кружка, с Алексеем Сомовым во главе, и тем сложным человеческим аппаратом, созданным низшей социальной формацией, которую эта высшая пролетарская общественность должна перестроить. И если Алексею Сомову, натуре активной и волевой, удалось сравнительно легко разделиться со своим увлечением интеллигенткой—политической заключенной, то эмоционально увлекающемуся Фоме эта наука обойдется дорого. Но Горьким убедительно показано, что выход здесь только в преодолении.

IX

Мы не можем вычеркивать здесь до конца линию, соединяющую «черную полонину» окуривщины, ее забитых, нищих и раздраженных на жизнь ремесленников, с законченными образами передовых пролетариев, отчетливо сознающих свое общественное значение, ясно видящих будущее капиталистического мира, активных хозяев жизни, достаточно сильных, чтобы ее перестроить. Нам важно было только наметить пунктиром направление этой линии, отчетливо-проведенной и до конца раскрытой Горьким в ряде ярких образов, наполненных реальным содержанием своего социального прошлого и на каждой высшей ступени претворяющих это содержание в новую классовую реальность. Линия эта проходит через портного Орлова, жаждущего выхода из своей спертой каморки в коллективную и общественно-полезную работу («Супруги Орловы»), через пекарей в «Хозяине», еще разрозненных, темных полуремесленников, работающих в условиях почти каторжных, но уже сознавших радость и облегчение, приносимое хотя бы временной сплоченностью рабочего коллектива; через наборщика в рассказе («Озорник», бессознательный и шаткий еще революционизм которого проявляется в дерзких, озлобленных шутках, которые все же по-своему дают почувствовать приближение надвигающейся грозы. В последний раз делает эта линия резкий зигзаг вверх в стихийной силе трудового напора коллектива грузчиков на волжской барже («Мои Университеты»), чтобы подняться до вершины класса к сцене пикника с рабочими в «Фоме Гордееве», в отдельных эпизодах «Жизни ненужного человека» и—еще выше—но «Врагах» и «Матери». Художественная *разноцветность* этих положений и образов (кое в чем, может быть, преувеличенная критиками—именно в сторону недооценки художественного изображения ее социально-высших звеньев—во «Врагах» и «Матери») отнюдь не является фактом, который мы думаем игнорировать. Но о чем говорит этот факт? Мы можем, как нам кажется, без всякой натяжки утверждать, что факт этот только подтверждает мысль, высказанную нами перед рассмотрением этого ряда образов Горького: мастер синтетического реализма, органически связанный со своим классом в процессе его становления, в состоянии творить полноценные образы этого класса, только нематриаясь в подсознательные глу-

бины индивидуумов, призванных волею истории войти составною частью в ткань его. Не мудрено поэтому, что драматический конфликт в личной жизни слесаря Павла Макова,—конфликт, вызванный спадом революционной волны (рассказ «Мордовка»),—раскрывает нам внутренний мир индустриального рабочего в России той эпохи в большей многогранности, чем речь героя романа «Мать» на суде. Ибо каждый из индивидуумов, выведенных Горьким, значителен не как данный факт, но как процесс, всегда оригинальный, несхожий с такими же процессами, происходящими рядом. Только совокупность этих несхожих особенностей, вскрытых каждая в ее подозвательной ценности, уполномочивает художника на такое обобщение: «Я уже видал таких людей, как эти, и немного понимаю их: знаю я, что почти каждый переживает мучительный и неизбежный перелом души: родилась она и тихо выросла в деревне, а теперь город сотнями маленьких молоточков ковал на свой лад эту мягкую, податливую душу, расширяя и суживая ее»¹.

X

Художник, вышедший из Окуровщины, начал с того, что противопоставил ее «железным мерзостям» анархически-бунтарский мир своих боеяков, прекрасных в глазах его уже тем, что они имели в конечном счете единственной реальностью реальность его собственного протеста. 1905 год и последующий за ним спад революционной волны и романтического энтузиазма властно требовали от художника, уже в романтически-бояцкий период проявлявшего невольное, но мощное влечение к реализму, немедленной ориентировки в действительной общественной ситуации и сознательного самообоснования на том или ином социальном коллективе. В сущности, результат поисков был предreshен всем прошлым писателя. Но самые поиски от этого не утратили ничего ни в сложности, ни в мучительности. Ибо это были поиски художника, а не идеолога-теоретика, художника, на котором лежала обязанность в собственном творческом я вскрыть социальные корни и, опираясь на это классовое самопознание, в художественных образах произвести оценку соотношения классовых сил в стране.

Период поисков (охватывающий время между революцией 1905 года и появлением «Городка (Окурова)») характеризуется сосредоточенным вниманием художника к реальной силе, призванной активно формировать и нести вперед общественность России,—на передовых революционных рабочих. Романтизму здесь нечего было делать, реализм становился внутренней потребностью, как единственный метод, который и состоянии разрешить задачу.

Однако овладение этим методом стало возможным для художника лишь после углубления всего его художественного мирозерцания. И первые попытки в этом направлении, естественно, пошли по линии компромисса между романтическим изображением первого периода, равнодушным к происхождению художественного материала ради конечных революционизирующих задач изображения, и динамически-перспективным изображением синтетического реализма, преследующим задачу выведения образа из его социального «отечества» ради сохранения всей полноты его жизненно-общественного содержания. Получился плоскостный реализм

¹ Собр., том V, XI, стр. 310.

«Матери» и «Врагов», где образ рабочего трактуется, как сегодняшняя революционная данность, где пути становления этой данности вынесены за скобки, а взамен этого введено прежнее романтизирование образа, как прием приближения его к читательскому сочувствию путем аргумента от грядущего.

Все же необходимо подчеркнуть, что и в этот период всегда живший в Горьком реалист, который давал себя знать уже в бояцких рассказах, приводит художника к раскрытию образа, до известной степени динамическому. Так, образы рабочих во «Врагах» разнообразны, при чем индивидуальное их разнообразие определено различной степенью их классового становления, что *предполагает* индивидуально-сложный путь, которым каждый из них пришел к пьесе Горького, чтобы принять участие в развертывающейся там драме.

Только в третьем периоде, с «Городка Окурова», Горький окончательно нашел свой путь—путь мастера синтетического реализма; для этого ему пришлось спуститься к истокам того класса, бытие которого стало в глазах художника определяющим всю общественную обстановку в стране. Ему—художнику—пришлось потрудиться над всеми тяжестями, которые должен был удалить со своего пути пролетариат в России, чтобы сформироваться как класс. Ибо, прежде чем встретиться со своими врагами на баррикадах и в огне гражданской войны, последний должен был победить иные трудности и выдержать иную, неподкупную борьбу, для выражения и осознания которой мастерство синтетического реалиста быть может еще нужнее, чем для воспевания боев и победы. Ибо дело побеждающего и победившего пролетариата видно всем,—и друзьям, и врагам, а трудная и сложная история его рождения на свет и воспитания для победы доступна только проникновенному взгляду художника, пережившего ее вместе с ним.

ОТ КЛАССА К КЛАССУ

(Доклад тов. И. Нусинова)

Творчество Максима Горького было посвящено изображению разнообразных социальных групп: бояцкого люмпен-пролетариата, ремесленников, мещан, купцов, интеллигенции, отчасти рабочих. Обилие групп, изображаемых Горьким, приводило исследователей к противоречивым оценкам социальной природы его творчества, а тот факт, что изображению жизни и борьбы пролетариата Максим Горький посвящал лишь редкие, да и то относительно слабые произведения, заставлял многих категорически заявлять, что он во всяком случае не является писателем пролетариата. Эти оценки социальной природы Горького, так же как и путаница в определении отношения его творчества к творческим путям пролетариата—результат одной весьма примитивной методологической ошибки: социальная природа писателя явствует всегда из того, как он описывает данную среду, а не из того, *какую* социальную среду он дает. Между тем, критика очень часто исходила из того, кого Горький пишет, а не из того, как он описывает.

Творческий путь Горького определяется двумя большими социальными фактами:

а) тем, что после реформы 1861 г. «окуровская Русь» проделала путь к капитализму;

б) тем, что уже с первых дней прихода Горького в литературу на главный план русской жизни все больше и больше выдвигалась фигура российского рабочего и все больше и больше становилось ясным, что именно ему-то, российскому рабочему, предстоит взорвать и «окуровскую Русь», и буржуазную Россию.

Первый факт определял в основном тематику Горького, второй—его идеологический путь.

Горький пришел в литературу, как писатель деклассированного мещанства и ремесленников, как писатель люмпен-пролетариата. Эта его социальная сущность получила наиболее полное, наименее противоречивое выражение в первый период его творчества. Здесь идеология произведения целиком совпадает с сюжетом. Основная тема его первых произведений—деклассированная масса, основная идеологическая установка—бунт деклассированного человека. Эволюция творчества Горького—эволюция деклассированного человека. Путь Горького есть путь от деклассации к внедрению в новый класс.

Это была тема не одного Горького. Рост капитализма в России после реформы 1861—64 гг. привел к объединению дворянства и чиновничества, крестьянина и ремесленника. Приход Артамоновых—пользуясь горьковским образом—обозначал развал старой жизни. Одной из больших тем русской литературы становится изображение деклассированных элементов. В области литературы деклассация оказалась приходом—непосредственно после реформы 61 года и в связи с реформой—Достоевского, а через некоторое время и Горького. Приход Достоевского был результатом деклассирования части дворянства и чиновничества, приход Горького был результатом деклассирования части русского мещанства, ремесленников и крестьянских элементов, ушедших в город и ставших городскими люмпенами. Тот факт, что появление обоих, и Достоевского, и Горького,—результат того, что рост русского капитализма обездолил родные им социальные группы, предопределил некоторое родство их мотивов, некоторую близость в разработке этих мотивов, которую приходится констатировать при всей глубине различий творчества Достоевского и Горького. Мы ниже скажем, в чем это родство, а пока—о его причинах.

Каждая деклассированная социальная группа имеет тенденцию взрыв своего некоего уклада, взрыв своего быта—оценить как взрыв бытия—«не я погиб, мир погибает»: свой социально-исторический опыт деклассированная группа возводит в абсолютную категорию. Взорванный быт превращается в взорванное бытие. Писатель ставит так называемые вечные проблемы. Он стремится показать не бытовые черты своего класса, а человека вообще. Ему кажется, что он задумывается не над судьбой и сущностью своего класса, а над природой и судьбой человека вообще. Через бытие своего класса, через родной ему человеческий материал, через конфликты родной ему классовой среды он ставит, как он думает, не очередные вопросы, а вечные вопросы. Отсюда философский характер творчества писателей-деклассированных социальных слоев. В этом близость творчества Достоевского и Горького. Но сама философия литературы деклассированных элементов, характер этой философии всегда обличивает социальную сущность того класса, из которого деклассированные элементы вышли. Она видоизменяется в зависимости от того, каковы социаль-

ные тенденции того класса, куда эти деклассированные элементы направляются. Пришел русский капитализм, «дворянству,—говорит старик Артамонов,—конец подписан. Теперь всякий должен показать себя к чему годен». Старое дворянство и чиновничество оказались ни к чему негодными. Они бунтуют и философствуют. Они порождают творчество Достоевского.

На время ни к чему негодным оказался и окурковский мещанин. И вот взрыв капитализмом векового мещанского окурковского уклада порождает афористическое философствование горьковских фигур.

Но различно социально-историческое прошлое деклассированных масс Достоевского и Горького. Различны социально-исторические перспективы этих деклассированных социальных групп. И это определяет столь различный характер творчества Достоевского и Горького.

Деклассированное дворянство и чиновничество некогда были хозяевами жизни, сейчас они потеряли свою былую независимость, свое богатство. Им предстоит пойти в услужение к буржуазии. Это спуск по социальной лестнице. В прошлом—сила и богатство, навсегда утерянные. Настоящее—нищета. Будущее—беспросветно. С вершины социального бытия надо спуститься в социальное подполье. Философия такой социальной группы неизбежно пессимистическая. Мрачный быт возводится в мрачное бытие. Человек объявляется по своей природе существом подпольным. Наиболее естественное чувство,—говорит «Человек из подполья» Достоевского,—«это чувство радости при известии о несчастье ближнего». Если таково наиболее естественное человеческое чувство, то удивительно ли, что человек—это всегда «Свидригайлов», всегда «Федор Карамазов», всегда «Смердяков», всегда «Бесы».

Тот же капитализм, из-за которого дворянству конец пришел, привел и к взрыву окурковской Руси.

Обездолены окурковский мещанин и ремесленник, обездолен и выброшен в город крестьянин. Все они стали городским люмпен-пролетариатом, боссяками. И они бунтуют и философствуют. И они взрыв своего быта возводят в взрыв бытия. Их писатель, Максим Горький, стало быть, тоже ставит проблему человека. Но ставит он ее принципиально отлично от Достоевского. До того отлично от Достоевского, что одну из своих главных публицистических задач Горький видит в борьбе с достоевщиной. И в этой горьковской противоположности Достоевскому связывается все различие между прошлым деклассированных дворянина и чиновника, с одной стороны, и крестьянина, городского ремесленника и мещанина,—с другой, все различие между социальными перспективами деклассированного дворянина и деклассированного ремесленника, выброшенного в город крестьянина, деклассированного мещанина. Дворянин потерял свою независимость, деклассированный крестьянин или ремесленник ее не потеряли. Они ее не имели. Ухудшение его материального положения тоже весьма относительно. Его катастрофа ни в коей мере не может быть сравнена с катастрофой дворянства. Отсюда—у него меньшая озлобленность, большее сочувствие к другому человеку. Отсюда его способность умиляться от «рождения человека». Но сейчас его быт взорван, сейчас он «На Дне» (не «Человек из подполья», а «На дне»), и он сейчас бунтует. Однако его бунт—не призыв к прошлому, не прославление прошлых устоев—православия, самодержавия и народности, как у Достоевского. К прошлому ему звать незачем, в прошлом ничего, ужаса не было, ничего, кроме ужаса крепостнической деревни, дикости

и тупости окуривщины. Поэтому его бунт—не проклятие новому, не отказ от билета в будущее царство благополучия, а разрушение старого. Его бунт—песнь о Буревестнике, песнь о Сокоде, легенда о вырванном сердце, ставшем факелом на пути к будущему. Этот бунт заполняет весь первый период творчества Горького.

Но «босяку», выброшенному в город, крестьянину, ставшему люмпен-пролетарием, бывшему ремесленнику, ставшему «босяком», предстоит найти свое место на индустриальной фабрике, ему предстоит стать членом пролетарской семьи, членом российского рабочего класса, членом того отряда интернационального пролетариата, которому суждено было первому покончить с капитализмом. Ему предстоит бороться за новый мир. Он от бунта перейдет к революции. Он поможет рождению нового мира. Поэтому для него человек звучит гордо.

Горький вспоминает, что Л. Н. Толстой однажды ему говорил: «Очень странно, что вы—все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли быть злым. Вы—крепкий, и это хорошо». И еще, помолчав, добавил задумчиво: «Ума нашего я не понимаю, очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное. Да, сердце умное».

Великий барин, Лев Николаевич Толстой, которого никто никогда не обидел, поражался, как можно быть добрым после того жизненного опыта, через который Максим Горький прошел.

Но право быть злым вместе с Горьким имеет вся его деклассированная социальная среда, и не один Горький, а вся его социальная среда отказалась от этого права. Она в состоянии была отказаться от этого права потому, что она в прошлом никогда никого не утешала, и потому, что ей предстояло стать частью того класса, который весь мир освободит. Не у одного Горького, у всего класса, в который предстояло влиться горьковскому «босяку», сердце,—умное. Правом быть злым воспользовался лишь деклассированный дворянин, ибо он в прошлом сам слишком много зла творил, а в будущее ему выхода не дано. Единственная перспектива—пойти в приказчики к тому самому Плье Артамонову, которого некогда сам держал и приказчиках. Поэтому он до того несправедлив к будущему, что возвращает билет.

Различие социального опыта и социальных перспектив, которые Достоевский и Горький представляли, привело к контрасту проблемы человека у Достоевского и у Горького. У Достоевского человек был и будет подпольным, у Горького человек был «кверным», но станет прекрасным. И именно потому, что в человеке заложена возможность преодолеть свое «смердяковское» прошлое и стать прекрасным, и именно из-за этой его способности к действительному перерождению «человек звучит гордо». На этой основе вырастает весь ряд противоречий Достоевского и Горького. У Достоевского—отказ от входа в будущее, у Горького стремление и вера в будущее во имя живого человека. У Достоевского—утверждение самобытности Востока, у Горького—преодоление этой восточной самобытности. У Достоевского—прославление вековой отсталости—самодержавия и православия, у Горького—гордый культ творческого солидария.

Вражда Горького и Достоевского—это не старая борьба славянофильства и западничества. Это—противопоставление собственной социальной системы пролетарской социальной системы. Два «души», о которых Горький так часто

говорила, это—душа рабского, крепостнического, бездушного прошлого и душа разумного, организованного пролетарского будущего.

Путь Горького, творческий путь Горького состоял в преодолении первой души, в утверждении второй. Путь Горького, был путь окуровской Руси через капиталистическую Россию к пролетарскому завтра. На этом пути—босяки. Их бунт был первым этапом горьковского творчества, основной темой—стал Окуров. Сущность этой темы была в преодолении Достоевского, в преодолении того гниоза достоевщины, под которым русская жизнь так долго находилась, в торжестве «умного сердца» над самобытной стихией.

В первой половине XIX века, когда западные страны проделали свой путь бытового преодоления старого порядка и утверждения новых буржуазных форм, они выдвинули целый ряд писателей «окуровской» Франции, «окуровской» Англии. Те писатели тоже дали достаточно резкую критику своей родной «окуровщины», но то была критика на основе буржуазных отношений, во имя торжества буржуазных отношений. Такими были Бальзак и в особенности Диккенс. Горький, проведя Окуров через весь буржуазный период русской истории, дал, не в пример тем западным писателям, не критику Окурова на основе «окуровщины, иначе говоря, не критику буржуазных пороков на основе буржуазных отношений, а дал отрицание окуровщины. Речь для него шла не о том, чтобы исправить те или другие недостатки окуровщины, не о насаждении в Окурове «чистой» буржуазной культуры, не о замене Тит Титыча «культурным» буржуа. Речь шла о взрыве окуровщины. Отрицание окуровщины шло у Горького от его «Фомы Гордеева» и «Мещан» и нашло свое завершение в последних книгах, в «Деле Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина».

Исторический смысл возникновения «Дела Артамоновых» в том, что дворянству конец подписан. Но крепости Ильи Артамонова хватало лишь на одно-два поколения, лишь в течение того небольшого периода времени, пока вызванный капитализмом к жизни русский рабочий еще не осознал своей силы, как особый класс. Уже в третьем поколении Артамоновы вырождаются. Делу Артамоновых—конец.

После падения крепостничества зачинатель русского фабричного капитализма Илья Артамонов заявлял: «теперь всякий должен показать себя, к чему он годен». Через какие-нибудь полвека внуки Артамонова уже должны признаться, что годны они сейчас только на слом. Книга Горького «Дело Артамоновых» художественно свидетельствует о неизбежности гибели старых хозяев жизни, свидетельствует, что победа Октября—психологическая необходимость.

Артамоновых не может заменить ни довольный своей судьбой буржуа Варавка, ни неудовлетворенный, но безвольный интеллигент Клима Самгина. Слова Горького «человек звучит гордо» не про них сказаны. Илью Артамонова, этого единственного в роде Артамоновых строителя нового социального уклада, заменит сормовский рабочий Митя Павлов. Для него разрешение проблем социального бытия сливается воедино с великой проблемой человека. Книжки о Мите Павлове Максим Горький пока не написал. Трудно сказать, напишет ли он ее. Но за судьбой Мити Павлова, за судьбой его класса он большую часть своей сознательной жизни следил непрерывно. Его образ дал ему веру в человека. Пока Горький посвятил Мите Павлову немного строк. В книге «О русских людях, какими они были». Максим Горький рядом с записью об Александре Блоке, которого он «почувствовал очень понятным и близким» за то, что тот,

однажды, по-человечески утешил проститутку и тем одержал победу над подлым началом в человеке, рядом с этой записью он напечатал записку о сорном рабочем Мите Павлове. О нем Горький рассказывает, что «в 1905 году, в дни московского восстания, он привез из Петербурга большую коробку капсул, гремучей ртути и 15 аршин бикфордова шнура, обмотав его вокруг груди». Войдя с этой ношей в комнату, «Митя свалился на пол. Лица его посинело, глаза выкатились, как это бывает у людей, умирающих от асфиксии».

— Вы с ума сошли, Митя? Ведь вы могли дорогой упасть в обморок, — понимаете, что тогда было бы с вами?

Задышавшись, он ответил виновато: — «Пропал бы шнур и капсулы тоже!»

Находясь на краю гибели, тот неизвестный рабочий думал лишь о том, как бы не погубить доверенный ему взрывчатый материал, который так нужен был Пресне, да «беспокойно осведомлялся», не взорвут ли эти материалы товарища, который бомбы изготовлял из них. «О себе же, — заканчивает Горький свою записку, — о той опасности, которой он только что чудом избежал, ни слова». (Максим Горький, том XXII, стр. 203).

Путь Горького — путь от деклассированного бослика к Мите Павлову.

В только что упомянутых воспоминаниях о Блоке Горький рассказывает: «Блок сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь «от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия». Я всегда чувствовал, что это у вас не настоящее. Уже в Окурове заметно, что вас волнуют детские вопросы, «самые глубокие и страшные». Но Блок, — заявляет Горький, — ошибается».

Мы не думаем, что Блок в этом случае ошибался. Но интерес к детским вопросам, как он выразился, к самым глубоким и страшным вопросам человека никогда не заслонял для Горького проблем социального бытия. Больше того, именно то, что его социальной группе суждено было влиться и слиться с тем классом, откуда пришел Митя Павлов, научило его понять, что путь, если не к разрешению, то к достойной постановке «детских вопросов», лежит через разрешение проблем социального бытия.

Горький часто сбивался с тех прямых путей разрешения проблем социального бытия, по которым шел класс Мити Павлова. Он не мог до конца постичь, как Митя Павлов, который так трепетно заботился о судьбе товарища, изготовляющего бомбы, который так беззаветно готов пойти на смерть, чтобы доставить Пресне необходимые ей бомбы, как класс Мити Павлова решается этими бомбами взорвать живых людей, стоящих по ту сторону красно-пресненских баррикад. Но эти отходы М. Горького от Мити Павлова были лишь выражением того, что Горький пришел не как писатель рабочего класса, а как писатель деклассированного мещанства, которому суждено было притти и слиться с рабочим классом. И все колебания Горького — лишь выражения того пути, который он проделал вместе со своей социальной группой от класса к классу. Все спуски и подъемы этого пути в заключительной фразе его книги «О русских людях, какими они были». Там М. Горький пишет: «Когда этот удивительный народ отбывается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с полным сознанием гордого и, так сказать, религиозного, весь мир связующего значения труда, он будет жить сказочной героической жизнью и многому научит уставший и обезумевший от преступлений мир». В этих строках секрет того, почему, веруя, что «человек звучит

гордо», Максим Горький всегда показывал в своих произведениях не гордого человека, а человека, который продолжает мучиться всем, что «изнутри тяготит и путает его». В них глубокая вера в то, что Митя Павлов, что класс Мити Павлова, вполне осознавший «гордое и весь мир связующее значение труда», создаст сказочную героическую жизнь и навсегда освободит человека от всех элементов дostoевщины. Смердяков навсегда и целиком уступит место гордому, прекрасному человеку.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ Т.Т. ГОРБОВА И НУСИНОВА

Тов. *Беспалов*. Основное, что нужно установить, чтобы ответить на вопрос, который был поставлен здесь в Секции,—это определить особенности стиля, принципа организации художественного сознания, данных в произведениях Горького. Это значит вскрыть в закономерности самих художественных фактов, в самом стиле творчества, определенную закономерность социальной действительности, которая пронизывает и порождает художественное творчество Горького. О стиле писателя о социальном основании стиля нельзя судить по тому, что Горький состоял в социал-демократической партии, писал марксистские статьи или статьи, в которых он пользовался марксистской терминологией, хотел служить своим творчеством пролетариату. Все это может обрисовать Горького, как политического деятеля, определить субъективные намерения, но не вскрыет объективного существа, социального содержания, специфической области сознания—художественного творчества.

О социальных корнях творчества можно судить только на основании анализа того, как сделаны образы в художественных произведениях писателя, какие образы являются основными, определяющими всю структуру художественных произведений, какой социальный класс нашел адекватное выражение в основных образах творчества. Необходимо ответить на вопрос, какой образ или система образов лежат в основе всего творчества, и затем вскрыть социальное содержание этих образов. Только имея дело с самим художественным произведением, как фактом, особенности которого подвергаются научному анализу, мы можем вскрыть и более точно определить социальное содержание творчества.

Тов. Горбов отказался от принятого когда-то в отношении Горького метода объяснения его творчества из его принадлежности к социал-демократической партии, из его публицистики, из его понимания задач и целей собственного творчества. Свое утверждение, что Горький—пролетарский художник, докладчик пытается доказать анализом художественных образов. Но, к сожалению, он не доводит его до конца. Докладчик останавливается как раз там, где этот анализ более всего необходим. Нужно было вскрыть не только то, о чем писал Горький, но каковы особенности его стиля, композиции его произведений, его языка, определив, таким образом, социальную природу стиля, как некоего единства. Не сделав этого, тов. Горбов оставил свое утверждение не доказанным, выведенным не из понимания природы творчества, а принесенным со стороны, до анализа.

Неверное направление поисков социальной природы Горького доказывалось тем, что тов. Горбов для того, чтобы доказать, что Горький—пролетарский художник, должен был предложить пересмотреть понятие пролетариат или, как говорит он, «расширить понятие пролетариат». Следовательно, для того, чтобы

доказать, что Горький — пролетарский писатель, нужно «расширить» понятие пролетариат, с пониманием пролетариата, как он есть, «нерасширенным» — нельзя доказать пролетарского происхождения творчества Горького. Думается, в таких случаях, когда понимание творчества писателя не совпадает с пониманием класса, к которому мыслится отнести его исследователь, нужно не пересматривать и не расширять социальную природу класса, скорее нужно пересмотреть понимание социальной природы творчества.

Тов. Горбов выступает с утверждением, что надо рассматривать пролетариат в истории и что «неправильно говорить, что пролетариат не существовал до фабрики». Конечно, пролетариат надо рассматривать исторически. Но в то же время совершенно несомненно, что до капиталистической фабрики, до производства, организованного на капиталистических началах, до тех пор, пока пролетариат не выступает, как класс, продающий свою рабочую силу и собран под гегемонией капиталистов именно в капиталистических предприятиях, в крупном капиталистическом производстве, нельзя говорить о пролетариате в подлинном смысле этого слова. Нельзя говорить о пролетариате вне капиталистического производства, вне капиталистической фабрики. То, откуда пролетариат рождается, еще не есть пролетариат. Здесь налицо диалектический момент перехода количества в качество, когда то, что еще не есть пролетариат, становится потом пролетариатом, приобретает свою психологию и идеологию. Можно ли говорить о зачаточном пролетариате, о предпролетариате, в России 90-х и 900-х годов, к которому относится начало творчества Горького? Ведь это период, когда пролетариат выступает на арену политической жизни, проводит ряд забастовок и стачек, он — не только «класс в себе», но он — «класс для себя». Пролетариат не только выявляет себя рядом политических забастовок, переходит от экономической борьбы к политической, он проявляет себя также и в области идеологии. Это период, когда утверждается марксизм, организуется пролетарская партия. Следовательно, про этот период нельзя говорить, что здесь пролетариат существует в каком-то зачаточном состоянии. Как можно об этом говорить, когда в 1905 г. пролетариат выступил, как движущая сила революции? Какой же это зачаточный пролетариат? Какой же это пролетариат, который еще не имеет своей идеологии? Нет, это пролетариат уже сложившийся, имеющий свою идеологию, конечно, не такой, как сейчас, но это пролетариат, о котором можно говорить, как о пролетариате, а не как о «предпролетариате». Таким образом, желание показать, что творчество Горького есть пролетарское творчество, и призыв тов. Горбова к неправильному пониманию пролетариата и, следовательно, к сглаживанию социальных границ между классами.

Все это очевидно потому, что истоки творчества Горького нужно искать не в пролетариате. И самый материал исследования толкает докладчика на поиски в ином направлении.

Социальные корни творчества Горького нужно искать в том слое, который рождает пролетариат и, кроме того, рождает и буржуазию, именно, в мелкой буржуазии, которая является и предпролетариатом и которая вместе с тем является и предбуржуазией. Именно из этого слоя рождаются Петуниковы, но из этого же слоя рождаются Кувалды и Коноваловы, из этого слоя рождаются Орловы, Кожемякины, Гордеевы, из этого слоя выходят основные герои Горького с их психологией. Каковы основные образы Горького, как они относятся к действительности, каково их социальное содержание? Во-первых, у Горького

есть большая группа действующих лиц, которые находятся на последней ступени социальной жизни, угнетенные и принижены. Это — Архип и Ленка, это — Тереза в рассказе «Болесь» и ряд других героев в позднейших произведениях; их официальным философом является Лука («На дне»).

Все это герои, для которых мир — зверь, и из этого мира они хотят вырваться. Но они слабые, бессильные и безвольные герои, они вырываются в мечту, в сказку, в «нас возвышающий обман». Они мечтают о чем-то прекрасном, которое может заменить некрасивую жизнь. Они противопоставляют себя действительности, недовольны ею, нарушают ее, но лишь в мечте о лучшей жизни. Эти герои не являются основными, не в них выражена социальная природа творчества.

Люди несколько иной породы — это Орлов, Коновалов, Фома Гордеев, Кожемякин; которые тоже недовольны обыденной жизнью и хотят вырваться из нее. Но куда выйти? Этого они не знают твердо и определенно, и поэтому они рождены «с беспокойством в сердце», чувствуют неустойчивость своего положения, не находят места в жизни. Орлов даже говорит: «Раздробить бы всю землю в пыль и собрать шайку товарищей или вообще что-нибудь такое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... А потом вина тормашками с высоты и... вдребезги...». Вот в какой форме протестует Орлов против действительности, от которой он отталкивается. Коноваловых и Орловых гнетут душевные города, гнетут обычные люди. Но из этой обыденности они могут выйти только в такой беспредметный, не реальный протест.

Кроме этих образов, Горький находит героев сильных и вольных, способных к нарушению и активному неприятию жизни, которую они ненавидят. Но где, я чем он их находит, кто они? Это — или легендарные герои, Лойко Зобар, Данко, Изергиль, которые ведь не живут реальной жизнью и уже именно поэтому не могут дать освобождения от «мира зверя», могут жить, как герои лучшей жизни, которой нет на земле. Это, наконец, — тоже сильные, яркие герои, хищные, озорнические натуры, как Мальва, Силан, Отшельник (рассказ того же названия). Их сила основана на их природной непосредственности, на их естественном хищничестве, но ведь они — одинокие натуры, найденные автором, и никакая реальная, классовая сила за ними не кроется. Наконец, Горький находит сильных и вольных, протестующих героев на дне. Но их протест разрушающий, а не созидющий; их протест, как и многих других, во имя Человека, с большой буквы. «Человек, это звучит гордо». Их протест весьма неопределенен по своим идеалам. Когда Горький изображает рабочих и претворяет в образы пролетарскую идеологию, то в этих произведениях и в этих образах, во всех этих Нилах, Ионах («Исповедь»), Павлах, Находках и т. п. мы не видим ни основного устремления творчества, ни действительно пролетарской психологии. Они — переодетые рыцари мелкобуржуазной революционности во имя неопределенного Человека и «народушки». Но если нет реально пролетарской психологии и пролетарского протеста против «мира зверя» в образах, где же ее искать? Поимно образов, ее тем более не существует.

Конечно, основные герои Горького всегда протестуют против обыденности, против Петуниных, довольных своей жизнью, приобретающих деньги, самодовольных собственников. Герои Горького идут не путем ужей-Петуниных, а путем соколиным, путем Орловых, Коноваловых, Сатинных, путем недовольства помещанской жизнью. Но как дано это недовольство жизнью в системе образов?

Не путем самой действительности, не путем пролетариата, нарушающего действительность, во имя ее социальной перестройки по своему идеалу, а путем неопределенного протеста, путем апелляции к легенде, к природе, к бывшим людям, Человеку с большой буквы. Исходя из этой точки зрения, можно объяснить ряд особенностей стиля Горького. Так, например, особенности пейзажа. Пейзаж у раннего Горького всегда обрамляет то или другое художественное произведение, помогает раскрыть основные образы, выступает как начало активное. Изображение природы у Горького—это коленопреклонение перед ней, а не об'ективное ее воспроизведение. В ранних произведениях он часто говорит о таинственном в природе, о загадочном, воспекает природу, а не описывает, не идет путем об'ективного восприятия. Как в этом восприятии и воспроизведении природы, так и в выведении образов человека сильного и непосредственного, свободного от пут обыденности путем естественной воли (Мальва, Варенька Олесова, Артем)—налицо всегда противопоставление природы культуре, природной непосредственной силы—душной обыденности. Это противопоставление свойственное многим идеологам мелкой буржуазии, которые ищут освобождающих образов не в действительности, а в природе.

Основной образ, который проходит во всех произведениях Горького, это—человек беспокойный, чувствующий свою психологическую и социальную неустойчивость, ищущий себе место. Этот образ выступает как основной, как образ класса. Но это не образ пролетариата, он не наполнен идеологическим и психологическим содержанием пролетариата. Фома Гордеев, а он не единичен, противопоставляется купеческой среде. Сам он—купец только по имени, по психологии, и по существу он—не купец, и его бунтарство против Маякиных, это—не бунтарство вывихнувшегося купца, это—типичное мелкобуржуазное бунтарство и психология, стремление вырваться из лап Маякиных. И так во многих беспокойных и недовольных жизнью (в которой царят Маякины и Петуниковы) основных героях Горького.

Исходя из этого понимания социальной природы образа, можно объяснить и структуру произведений Горького.

Следуя за своим беспокойным человеком, описывая человека, теряющего бытовую, социальную устойчивость, противопоставляя его устойчивому быту мещанства, выходящего в люди, Горький ставит его иногда над бытом, в котором он сложился и развивался. Основное отличие в настроениях произведений Горького заключается в том, что в них нет устойчивой интриги, развертывания образов на основе систематических отношений героев, или, как иногда говорят, он—бессюжетен. Это отличает Горького от ряда других писателей. Он берет одного человека и описывает его жизнь и философию в порядке дневника, связь с другими людьми этого основного героя есть связь людей, которые встречаются и расходятся. Это можно проследить и в «Коновалове», и в «Матвее Божемикине», и в «Климе Самгине» (последнем произведении), и в «В моих университетах». Образ человека вырастает не из действия, интриги, не из систематических длительных бытовых отношений, а из механических столкновений встреч личностей. И это потому, что он должен следовать за человеком, вырывающимся из мещанства, теряющим бытовую устойчивость отношений. Этого человека никак не покажешь в кругу устойчивых отношений, ибо он не находится в организованной системе производственных и бытовых отношений пролетариата, но он вырывается и выпадает из устойчивого мещанского быта

собственников, вышедших в люди. Чтоб показать этого человека в системе отношений, надо их иметь, надо, чтоб они гармонировали с героем. И никак иначе эту беспокойную, бунтующую личность и не покажешь.

Творчество Горького можно объяснить из психологии и социального положения низших слоев городской мелкой буржуазии, в период усиленного развития капитализма. Усиленный процесс капиталистического развития, капиталистической дифференциации нарушает особенно резко бытовую, социальную устойчивость мелкой буржуазии. Одни идут в Петунниковы, другие—в Коноваловы. Нарушается быт, связь отношений, возникает протест, борьба против Петуниковых. В этом и надо искать основы творчества Горького.

В творчестве Горького, в его образах есть противопоставление капиталистической действительности. Но это противопоставление у него—уход то к сказочным героям, то к естественному человеку, противопоставленному культуре, то «дну», человеку деклассированному, и наконец, абстрактному, сильному и вольному человеку, иногда переодетому в рабочий костюм. Свойственно ли хоть одно из этих противопоставлений действительности пролетариату, пролетарской психологии? Нет, это—типично мелкобуржуазный выход за пределы действительности, выход в утопию, выход к дну, к природе. Стоит только вспомнить о ряде представителей общественной мысли, идеологов мелкой буржуазии, чтобы установить, что, как и у них, у Горького борьба против действительности, выход из нее не идет путем самой действительности, а помимо ее, в противопоставлении ей: в утопии, люмпен-пролетариате, абстрактном противопоставлении природы и культуры (вспомним очерки Горького об Америке), в абстрактном сильном и вольном человеке. Другого выхода у Горького не дано. Он не дал его в том единственном реальном направлении, которым идет пролетариат,—к нарушению социальных устоев и рамок во имя своих идеалов. Не образ пролетариата является тем, что воспроизводит действительность и создает творчество Горького. Докладчик сам признал произведение «Мать» неудачным, но не вскрыл, почему оно неудачно, почему у него рабочий не вышел действительно рабочим.

Это происходит потому, что пролетариат выступает здесь как объект, пролетариат описывается, а не пролетариат описывает, воспринимает и воспроизводит. Нужно было доказать, что природа общества воспринимается и воспроизводится пролетариатом, этого докладчик не дал. Он доказал только, что пролетариат есть в произведениях, как объект творчества, а нужно было доказать, что пролетариат выступает как субъект художественного творчества. Это не доказано, и именно потому, что субъект творчества был подменен его объектом. Мне кажется, что то, что я здесь сказал, указывает некоторые пути для поисков социальных основ творчества Горького.

Если мы будем искать социальные основы творчества Горького в мелкой буржуазии, это не будет оскорбительным ни для Горького, ни для нас. Так же, как Чернышевский для нас не становится менее дорогим, благодаря природе своей идеологии, то же и Горький. Если взять социальное значение его творчества, а не социальные корни, то можно говорить, что Горький имеет колоссальное значение для пролетариата, для пролетарских художников, что он сыграл большую и революционную роль.

В этом отношении его социальное значение далеко выходит за пределы того социального основания, которое его породило. И мы можем с гордостью

говорить, что Горький сыграл большую роль в истории революционного движения, в истории развертывания пролетарской революции. Он — великий художник, дорог нам и любим нами. Но для этого вовсе не нужно закрывать глаза на социальную природу его творчества.

Тов. *Кубиков*. Товарищи, я, по предложению В. М. Фриче, выступаю тут как бы вне докладов, потому что этих обоих докладов не слышал и в прошлый раз не был. Но В. М. Фриче предложил мне выступить с тем расчетом, что мое время будет не ограничено, я предупреждаю, что моя речь будет длиться не меньше 25 минут. Следовательно, я прошу мою речь прежде всего рассматривать, как речь вне плана. Но во всяком случае я в своей речи коснусь и тех вопросов, которые были затронуты докладчиками, как мне известно по опубликованным тезисам.

Я полагаю, что исключительный успех Горького в эпоху 90-х годов определялся не только тем, что выступил исключительно одаренный писатель, но и тем обстоятельством, что Горький всеми свойствами своей психологии, своей писательской индивидуальности удивительно гармонировал с эпохой расцвета или, вернее, начала общественного подъема во второй половине 90-х годов прошлого века. Дело в том, что эпоха общественного подъема конца 90-х годов прошлого века отличается по своему характеру в значительной мере от эпохи общественного подъема 60-х годов. В то время как общественный подъем того времени определялся в значительной мере слабостью царской власти — дезорганизацией правительства после его поражения в Севастополе, — в 90-е годы царская система оставалась неизменной. Если вы возьмете эпоху царствования Александра III и продолжение ее, начало эпохи царствования Николая II, — это одна и та же система. Но если не было никаких изменений во всей системе правительства, то тем не менее мы имеем общественный подъем, ибо этот общественный подъем конца 90-х годов определялся, главным образом, двумя моментами: первый момент — это великое учение научного социализма, которое вселяло чувство бодрости и говорило о неизбежности крушения деспотизма; значит затем этот подъем определялся силами внутреннего сопротивления, теми силами, которые базировались на социально-экономическом развитии страны. Вот почему в 90-е годы эти бодрые тона должны были звучать и в литературе. И поскольку Горький, как представитель революционной романтики, в первый период своего творчества выражает в своем творчестве этот подъем, постольку его революционная романтика в области искусства гармонировала с великими задачами революции. Гармонировала не потому, что Горький выражал в своих произведениях марксистские идеи, — никаких марксистских идей Горький в первый период своего творчества, да и в последующие, не выражал, — но Горький выражал определенное умонастроение, которое действительно необходимо было укрепить в себе. Эту силу внутреннего сопротивления можно было развить, только отказавшись от своих личных, частных удобств жизни во имя борющегося коллектива, ибо Горький в своем творчестве обращался не только к передовым слоям пролетариата, которые должны были развить в себе идею альтруизма в плехановском смысле, но и к той части революционной интеллигенции, которая примыкала тогда к марксизму. Значит для того, чтобы развить в себе силу внутреннего сопротивления, надо было отказаться от преклестной власти вещей. По выражению Леонида Андреева, вещи — они хитрые, они притягивают человека. С исторической необходимостью Горький

выступает, как романтик. За недостатком времени я не буду разбирать его биографию, но он является представителем окурковского мешанского быта, и он выходит от этой жестокой действительности в мир искусства и ярких переживаний. Он их находит в бульварных авантюрных романах, где все так ярко и красиво, в противоположность жалкой, окурковской действительности. Развивая в читателе эту силу внутреннего сопротивления, Горький воодушевляет его на борьбу образами босяков, ибо образы горьковских босяков, это, конечно, — образы не реальные, это — образы, разумеется, выдуманные. В литературе это достаточно установлено, и совсем не стоит это теперь опровергать. Соловьев-Андреевич, один из первых толкователей Горького, совершенно правильно утверждал, что: «я в реальность босяков Горького не верю, точно так же, как в реальность Жана Вальжана, или Квазимодо». Несомненно, Горький обладал той революционной романтикой, которая есть в творениях Виктора Гюго. И эта революционная романтика воодушевляла людей на отказ от проклятой власти вещей. Когда Челкаш бросает деньги и когда жадный мужик Гаврила падает на колени и собирает эти деньги то Челкаш сознает, чувствует свою мощь. Он смотрел на этого червяка жизни и говорил: никогда он не будет таким жадным, низким, ничтожным, никогда. Он сознает возможность отрешиться от власти вещей, в любой момент бросить эти ценности. Вот что было чрезвычайно любопытно у горьковских босяков. Конечно, они были ретушированы. Таких босяков не существовало. Иногда Горький даже в позднейшей редакции такую ретушевку проводит. Ведь эти босяки были тем деклассированным босяцким пролетариатом, который был к услугам царской власти во время еврейских погромов. Тот же сапожник Орлов идеализирован Горьким. В первой редакции Горький вдруг проговорился: он показал случайно подлинное хищническое лицо этого сапожника Орлова. В первой редакции Орлов говорит: «Разбить всю землю в прах или собрать шайку товарищей и жидов перебить — всех до единого». Это «жидов перебить» было выброшено в последней редакции. И когда вы возьмете собрание сочинений Горького в издании Госиздата, там вы этих слов не найдете, потому что эти слова действительно мешают общему стилю, мешают потому, что это — подлинное лицо реального босяка окурковского, который предстанет потом перед нами в образе Вавилы Бурмистрова, в реалистической повести «Городок Окуров».

Таков Горький, как представитель романтики. При чем, когда Горький не хотел выдумывать, прикрашивать босяков, он просто давал сказочные, легендарные образы. Что такое старуха Изергиль? Разумеется, с точки зрения правдоподобия, это — легендарная, фантастическая до последней степени фигура. Но в уста этой старухи Изергиль Горький вкладывает свои самые глубочайшие рассуждения о жизни, присущие ему лично. В эпоху 80-х гг., в эпоху политической реакции, когда упадочный поэт Надсон утверждал, что наш век — век ничтожный, что мы — люди-пигмен, что когда-то были революционные борцы, а сейчас это век человеческих ничтожеств, — устами старухи Изергиль Горький возражает против этого: «Когда человек любит подвиги, он всегда найдет и сумеет их сделать, в жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам, и если бы люди захотели их сделать, жизнь не пожирала бы людей бесследно». Так Горький призывает встать на путь борьбы. Чрезвычайно любопытно развивается Горьким его взгляд на задачи искусства в его известном рассказе «Читатель». Рассказ «Читатель» написан Горьким в 1898 г. В этом рассказе он говорит прямо следующее: «Мне кажется, мы снова хотим грез и красивого вы-

мысла, мечты и странностей. Действительность, которую когда-то мы так горячо хотели перестроить, раздавила и смеяла нас. (Тут Горький имел в виду поражение партии Народной воли). Что же делать? Попробуем, быть может, вымысел и воображение помогут нам подняться над этой землей, найти на ней свое место в жизни». Так определенно ярко и определенно публицистически оформляет Горький свою революционную романтику. Но уже в этот период Горький понимал, что такая романтика не соответствует подлинному жестокому лику мешанской России. Что такое мешанская Россия? Это—Россия уездная, о которой в «Городке Окурове» философ Тиунов утверждает следующее: «Что такое Россия? Россия,—государство оно уездное. Губернских городов, почитай, десятка четыре, а уездных сколько?». Его собеседник говорит: «А Москва?».—«Ну Москва, что же Москва,—отвечал Тиунов. Вот, скажем, на ногах у тебя опорки, на тебе рваная рубаха, рваные штаны, а на голове великолепная бобровая шапка. Вот тебе и Москва». Горький, который всегда афористичен, указывает здесь на нашу уездную, на вашу провинциальную жизнь. Этого Горький никак забыть не мог. Читатели и литературные критики первого периода совсем не обращали внимания на то, что вместе с элементами романтики у Горького есть, несомненно, элементы не только реализма, но даже натурализма, потому что Горький не мог забыть, что он живет в окурдовской действительности. И как иногда в симфонии, в первой части звучит мотив господствующий, потом его перебивает другой мотив, сначала мало заметный, но который сказывается в его постепенном нарастании, определяющем общее впечатление от всей симфонии,—точно так же и у Горького уже в первый период его творчества чувствуется этот, хотя и не на переднем плане, зловещий лик уездной окурдовщины. Он является в первом рассказе «Вывод», который написан в 1896 году, т. е. в тот самый год, когда Горький дал нам знаменитую «Песню о Соколе». Ведь в этом рассказе «Вывод» со всеми подробностями Горький говорит о подлинном факте, случившемся в Херсонской губернии, Кандыбовского уезда, 15 июля 1892 г. Что же случилось? Взяли женщину, которая изменяла мужу, раздели догола, запрягли с лошадей и стали стегать по голому телу кнутом. Вот она, окурдовщина, в деревне Кандыбовке, и не только в деревне Кандыбовке, но и в громадной уездной России. Эти элементы окурдовщины чувствуются не только в рассказе «Вывод». Ведь Горький в своей автобиографии рассказывает любопытные вещи. «Когда я читал романы Мопассана,—говорит он,—я видел злодеев. Они жестоки, но деловито жестоки и знают, во имя чего они действуют. В жизни своей я видел жестокость, нелепую, бессмысленную»,—и такая бессмысленная жестокость изображается уже в первых его рассказах, напр., «Скуки рада».

Таким образом, окурдовская мелодия звучит уже в первой части творческой симфонии Горького, и она звучит уже более ярко после поражения русской революции 1905 года. После революции 1905 года, в 1911 году, появляется знаменитый «Городок Окуров»—одно из прекраснейших произведений Горького, и здесь уже босяк предстает перед нами не в образе Чолакаша или Артема, а в своем реальном, жутком виде—Вавилы Бурмистрова. Вавила Бурмистров ходит по базару, собирает всякие слухи и на другое утро доносит исправнику о том, что он слышал. Это тот самый Вавила Бурмистров, жуткий реальный босяк, который своими грубыми руками сдвинул за шею правдоискателя Симу Делушкина и уничтожил его. Вот где Горький показывает неприглядный тип босяка. Следовательно, одновременно писатель силен и как революционный

романтик и как реалист—яркий изобразитель уездноголика мещанской России. И тут я перехожу к пролетариату. Поскольку совершенно верно, что в пролетариате есть несколько градаций, поскольку верно, что у пролетариата есть какие-то неуловимые нити на какой-то периферии, соприкасающиеся с окурковским бытом, то, несомненно, можно говорить о Горьком, как о пролетарском писателе. Только это определение нужно разграничить в известном смысле. Несомненно, Горький—изобразитель пролетариата, известных его слоев, но каких именно слоев—это уже другое дело. Конечно, я согласен с тов. Беспаловым, что надо само понятие пролетариат расшифровать и уточнить. Я думаю, что если мы говорим о пролетариате в процессе становления, то, расшифровывая этот смысл процесса становления, мы и говорим о пролетариате, как об известном носителе классового самосознания. Мы говорим не о пролетариате в самом себе, а говорим о пролетариате для себя. И вот в какой мере Горький был изобразителем этой стадии, этого процесса становления, изобразителем этого пролетариата для себя? Горький, как представитель мещанской окурковской России, был очень слаб как изобразитель передового пролетариата, но изобразителем рабочих он все же был. В известной повести «Хозяин» и во многих других произведениях он показал нам рабочих в виде отсталой части пролетариата, а не передовых носителей пролетарского сознания. И если сказать только на этом основании, что Горький—пролетарский писатель, то на том же основании можно назвать и Глеба Успенского пролетарским писателем, который дал нам растеряеву уличку, а между тем, мы его пролетарским писателем не называем и не можем назвать. Растеряевщина Успенского это есть окурковщина Горького. Так что в этом отношении необходимо расшифровать, как понимается звание «пролетарского писателя». Был ли Горький изобразителем той передовой части пролетариата, которая тогда уже выступала на историческую сцену в эпоху 90-х годов? Это был пролетариат, который дал нам руководителей, первых демонстрантов—рабочих 1901—1902 годов. Этот период дает нам изумительно яркую по своей сознательности инициативную группу пролетариата. Мог ли Горький изобразить эту группу, этих носителей процесса становления? Нет, не мог. Пробовал это Горький делать? Пробовал. Удачно? Нет, неудачно, потому что Нил в пьесе «Мещане», это—отвлеченная фигура. Эта отвлеченность сказывается хотя бы в тех его речах, которые можно вложить в уста не только машинисту Нилу, но и любому студенту, потому что никакой связи у Нила с пролетариатом не чувствуется. То же самое рабочий Павел Власов в романе «Мать». В своей книге «Рабочий класс в русской литературе» я сделал сопоставление с Петром Заломовым, который являлся прототипом для Павла Власова. Заломов действительно связан с пролетариатом. Этой связанности нет у горьковского Павла Власова. На суде Власов обращается к судьям со словами: «Вы делаете нехорошее дело, а потому я чувствую глубокую жалость к вам, жалость к судьям, которые делают скверное дело». Это чисто расплывчатая, гуманитарная точка зрения. Ведь подлинный пролетарий не мог так сказать, ибо тут жалости не может быть к судьям царя. Кроме чувства ненависти, он не мог чувствовать ничего. Горький, несомненно, принимает пролетарскую революцию. Но идеологически воспринять это одно дело, а осознать и создать образы—это другое. Горький не сумел в силу целого ряда своих внутренних психологических особенностей создать образ революционера-пролетария. Единственный раз, когда он подошел правильно и создал образ передового пролетария,—это в рассказе

«Мордовка», но он создал его не в динамике, а в статике, в окружении окурковского мешанства. Это он мог сделать, но дать носителя передового сознания в разбернутом виде, выражающего классовое дело всего пролетариата в целом, это Горький пробовал сделать, но не смог. В этом смысле Горький оказался бессильным. Если понимать задачу только в этом смысле, тогда Горький не является пролетарским писателем. Если же понимать условно, что известный слой пролетариата Горький изображал, поскольку мы имеем повесть «Хозяин», рассказ «Мордовка» и еще некоторые произведения, это будет пролетарский писатель. И, конечно, Горький видел рабочий класс не в виде окуровщины, ибо в том-то и дело, что расцвет рабочего движения, торжество марксизма, это — начало ликвидации окуровщины в пролетариате, и как раз это Горький не мог изобразить, а эти носители рабочего сознания в жизни были, но совершенно справедливому замечанию т. Беспалова.

Я думаю следующее: Горький является революционным романтиком, который не смог изобразить переживания передовых слоев пролетариата, за исключением рабочего в рассказе «Мордовка». Горький, несомненно, талантливо изображал те группы рабочих, которые являются наиболее отсталыми (в повести «Хозяин» и других).

И затем следующее: Горький является удивительно неподражаемым в нахождении тех микробов мысли человеческой, — это выражение Плеханова, — тех микробов мысли, которые существуют в пределах окуровской России. Эти микробы мысли живут в голове лучших героев повестей и рассказов писателя. Пример — Сима Девушкин, мечтатель в «Городке Окурове», погибший от руки Вавилы Бурмистрова. Эти микробы мысли чувствуются у мордовки, хотя и мистически настроенной; они имеются в пьесе «Враги» в образе Левшина. Плеханов считает эту фигуру выражением подлинного рабочего сознания. С этим я позволю себе не согласиться. Горький является высокоодаренным изобразителем нарастающего сознания в пределах окуровской Руси и отвращения от жестокого лика жизни.

Но только в образах Симы Девушкина («Городок Окуров»), Левшина (пьесы «Враги»), мордовки (в рассказе «Мордовка»), но и в целом ряде эпизодических фигур в автобиографической повести «Детство» М. Горький утверждает свою веру в силу творческих начал нашей жизни.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. ГОРБОВА

Товарищи, по моему докладу выступили два оппонента: тов. Беспалов и тов. Кубиков. Основные возражения были сделаны тов. Беспаловым. С тов. Кубиковым у меня гораздо меньше расхождений. Перейду к возражениям тов. Беспалова. Во-первых, я должен принять упрек в недовренности моей работы. Я заранее, перед тем, как стал читать доклад, сказал, что он является началом моей работы, что эта работа не закончена. В докладе я лишь пытался поставить вопрос о социальном смысле творчества Горького, вопрос о том, вырастителем каких слоев является Горький. Для разрешения этого вопроса недостаточно сделать тематический анализ его произведений и даже анализ образов, с точки зрения их психологического содержания. Нужно, конечно, поставить вопрос о стиле писателя, о том, что можно назвать наполненностью его произведений собственными переживаниями автора. Все это, конечно, тоже подлежало анализу. Я надеюсь, что когда-нибудь я перейду к этому, если буду

продолжать работу. Сделанный же мною доклад я рассматриваю, как постановку вопроса. Поскольку я принимаю упрек в незавершенности, постольку можно говорить лишь о тех основных позициях, какие я занимаю в вопросе о творчестве Горького и какие занимает тов. Беспалов. Вот только в этой плоскости может быть у нас спор, потому что спорить о деталях совершенно невозможно, так как тов. Беспалов не мог развернуть свои утверждения и обосновать их до конца фактическим материалом, и я этого не сделал.

Мне представляется, что тот метод, которому следует тов. Беспалов, тот путь, по которому он идет, есть путь упрощенного марксистского метода. Очень просто, ведь, взять Горького-художника и отметить, что он не сумел отразить бытие головного отряда пролетариата, очень просто заняться иллюстрированием того, что у Горького есть бунтарский анархизм. Мне пришлось отметить все это в своем докладе, конечно. Справедливо, разумеется, что выход из тяжелой жизни он видит в «сказке». Бесспорно, что психология интеллигентских и других мелкобуржуазных групп нашла в Горьком своего выразителя. Все это неоспоримо, но не это интересно для исследователя. Ведь не это определяет в конце концов художника. К какому бы классу ни принадлежал художник, какой бы класс он ни представлял в своих произведениях, он всегда по тем или иным причинам не только субъективного, но и социального характера всегда может проявить тот или иной уклон, который требует объяснения, но сам не объясняет сущности данного художника. Таинственное в природе, примат природы над обществом, ощущение неустойчивости жизни, беспокойные поиски своего места в ней, анархический протест метода «сказки», заслоняющей жизнь, и т. д.—все это ставится на вид для того, чтобы доказать, что Горький не есть пролетарский художник. Но постойте, товарищи, кто может определенно сказать, что пролетарский художник чужд всякой романтики, которая позволяет ему в тяжелые минуты, переживаемые классом, заслониться от жизни? Кто уполномочивает нас представлять пролетарского писателя, как нечто железно-выдержанное, абсолютно-революционное в том смысле, что у него на все вопросы готовы ответы, которые сплошь укладываются в диалектический материализм? Это—совершенно неправдоподобная писательская фигура. Мы, правда, знаем целый ряд писателей, которые пытаются воплотить в себе этот образ, видя в нем идеал пролетарского художника, и часто покупают это ценой отказа от того, что является сущностью искусства. Мне кажется, что перед пролетарским художником, так же, как и перед художником всякого другого класса, стоит сложная задача не столько формулировать мирозерцание данного класса, передовых его слоев, сколько быть (отчасти даже в подосновательном творчестве художественных образов) выразителем тех процессов—психологических, подкожных процессов,—которые этот класс переживает. Если мы подойдем к Горькому так, то, мне кажется, не будет натяжкой, не будет заранее заданным намерением, в котором подозревает меня тов. Беспалов, сказать, что это, конечно, есть по существу пролетарский писатель. И это не потому, что таким его считает В. И. Ленин,—я вовсе не пытаюсь спасти свою мысль при помощи огромного авторитета В. И. Ленина. Я пытаюсь доказать это анализом. О том же говорят и отзывы самих рабочих,—эти отзывы собраны в одном из ленинских сборников. Это факт, что самым близким для рабочих в России писателем является Горький, а вовсе не те писатели, которые у нас теперь лозунги выставляют. Искусство гораздо сложнее лозунгов, и вот, мне думается, что,

если мы подойдем к Горькому так, мы все-таки нащупаем какой-то нерв, который имеется в нем. В творчестве Горького мы имеем целый ряд образов, интимно подводящих нас к представителям пролетариата в разных его положениях, в разных его разновидностях. Правда, меньше всего мы у него найдем головной отряд, авангард пролетариата; это объясняется тем, что пролетарский писатель вовсе не обязан именно головной отряд класса выражать, совершенно так же, как не обязан делать это и дворянский писатель; я приводил в пример Гоголя, дворянского писателя, который никогда не писал о крупных поместьях, что, однако, отнюдь не делает его не-дворянским писателем.

Тов. Беспалов напомнил мне, что в 90-х гг., когда Горький формировался, как художник, был уже пролетариат, были стачки, была революционная борьба и т. д. Совершенно верно, это обстоятельство мне тоже слегка знакомо, но мне кажется, что нет нужды напоминать о таких элементарных фактах. Исторические факты сами по себе, а анализ художественного творчества сам по себе. Анализ художественных произведений должен быть произведен вне зависимости от того, какие факты были одновременно с тем, когда данный художник писал. Из того факта, что в России в 90-х гг. была верхушка пролетариата, которая уже дошла до политической борьбы, а рядом был пролетарский художник, Горький, который эту борьбу не показал, а занимался другими слоями пролетариата, можно, мне кажется, сделать только тот вывод, что искусство, которое призвано отражать более сложные, подсознательные процессы, совершающиеся в классе, отстает от его сознательной борьбы. Поэтому одновременно с наличием высокой классовой сознательности в области политической и экономической борьбы существует отсталость, специфическая отсталость в области художественного творчества, — отсталость не в смысле художественного совершенства, а в том смысле, что в этом художественном творчестве отражаются более отсталые стороны классового бытия. В этом смысле искусство всегда отстает. А сейчас наше пролетарское искусство не отстает от борьбы, которую ведет пролетариат? На этом останавливаться не стоит. Все знают, что рабочий класс в России находится на вершине своего политического развития, но не имеет еще подлинно-художественного выражения, и может, быть долго еще иметь не будет. Это вполне естественно потому, что перед художниками данного класса стоят большие, сложные задачи.

Если мы подойдем к Горькому так, то совершенно иначе освещаются те самые факты, из которых тов. Беспалов старается вывести мелкобуржуазность Горького. Да, эта мелкобуржуазность есть. А в пролетариате, в реальном пролетариате, в его целом, нет мелкобуржуазных слоев, приближающихся к мелкой буржуазии, мелкобуржуазных пережитков психологии? Нет, художник, который призван выражать класс, как живое целое, не только победы, к которым пришел класс в своей борьбе, но класс, как живое целое, живой организм, этот подлинный художник, конечно, всегда будет обращать внимание на те «растительные» элементы в классе, которые присутствуют в нем, как в живом целом, так же, как они присутствуют в каждом организме помимо сознания, но в связи с ним. «У Горького мелкобуржуазный, ломающийся быт, — говорит тов. Беспалов, — поэтому и сюжеты его не выдержаны и т. д.». Совершенно верно. У Горького — невыдержанные сюжеты, сюжеты ломающиеся, и это имеет отношение к тому ломающемуся быту, который Горький отражает. Но, позвольте, в какую сторону ломается этот быт? Я пытался доказать, — тов. Беспалов не

остановился на этом,—что окурковский быт, который отражает Горький, он отражает его в плоскости его пролетаризации.

Насчет *расширения* понятия пролетариат. Я совершенно не собираюсь как-то изменять это понятие. Совершенно не собираюсь расширять его в том смысле, чтобы вобрать как можно больше населения России в понятие пролетариат, вобрать туда же мелкую буржуазию и т. д. Я хочу не расширять понятие пролетариат, а определить его в терминах, которые помогут бы нам понять его с точки зрения художественного творчества. Художественное творчество, конечно, подходит к пролетариату иначе, чем подходит теория, оно отражает другие моменты. В этом смысле понятие пролетариат усложняется. Не усложнив его таким образом, мы никогда не сможем вскрыть пролетарскую сердцевину в подлинном художнике, ибо только неподлинны художники выдают ее сразу, авансом, в лозунговой форме. Там же, где нам приходится иметь дело с крупным художественным явлением, нам приходится вскрывать это.

Теперь о том, что говорил тов. Кубиков. Я с большинством его тезисов согласен. Только в одном пункте я бы с ним разошелся, именно в связи с его утверждением, что Горький рисует пролетариат «в себе». Это совершенно верно—пролетариат «в себе». Но тов. Кубиков говорит: «Тогда пролетарским художником должен быть признан Глеб Успенский, который также дает зарисовки пролетариата в себе». Я думаю, что если Глеб Успенский их дает,—а он их, несомненно, дает,—то он отличается от Горького тем, что для Горького они центральнее, а для Глеба Успенского, который в гораздо большей мере, чем Горький, интересовался крестьянством, был больше народником, зарисовки пролетариата более случайны. Несомненно, что Глеб Успенский в какой-то мере стоит на той же линии, но Горький стоит на ней обеими ногами, а Глеб Успенский—одной ногой. К этому сводится поправка, которую я хотел бы внести в утверждение т. Кубикова. Разрешите мне на этом закончить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО, ТОВ. В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВА

Проблема, которая перед нами здесь стояла и которую мы здесь обсуждаем второй вечер, сводится к тому, чтобы установить классовую природу творчества Горького. Пролетарский он писатель или не пролетарский писатель? И вот из прений уже на первых шагах выяснилось, что у многих самая постановка этого вопроса вызывает некоторые сомнения. Можно ли, нужно ли, и имеет ли вообще какой-нибудь смысл даже спрашивать себя о том, пролетарский или не пролетарский художник перед нами, буржуазный или помещичий и т. д.? Выдвигалось положение, что к художнику с такого рода вопросами даже и подходить нет смысла, ибо здесь как-будто бы совершается, с одной стороны, некоторое насилие над художником, ему хотят непременно навязать какую-то классовую установку, предъявить требование удовлетворить классовому заказу, и, с другой стороны, если даже определили классовую природу писателя, то что же из этого следует? Ну, хорошо, такой-то художник—помещичий, а такой-то—пролетарский. А какое в конце концов это имеет значение для Пушкина, какое это имеет значение для Толстого и какое это имеет значение для любого крупного поэта? Ведь их значимость не объясняется

ни в какой мере тем, как мы определяем их классовую природу. Такого рода сомнения у нас были в прошлый раз высказаны.

Так вот, прежде всего мне бы хотелось подчеркнуть, что из самих прений можно было убедиться в том, что постановка вопроса о классовой природе писателя далеко не так бесполезна; что далеко для нас не безразлично знать, на какой класс опирается писатель, художник. Конечно, мы с первого шага должны здесь отвести мысль от того, что этот классовый анализ претендует на то, чтобы предъявить художнику какой-то классовый заказ и что в самом термине классового определения уже скрывается какая-то оценка писателя; что сказать, например, пролетарский писатель, это значит возвести в перл создания, или сказать помещичий писатель, это значит в какой-то мере принизить его и свести с пьедестала. Если кто-нибудь так понимает классовый анализ, это, конечно, — глубочайшая ошибка. Художник ничего еще не выигрывает от того, что его называют пролетарским художником, как и ничего не теряет от того, что он не пролетарский художник. Конечно, Пушкин не перестает быть великим художником от того, что он не пролетарский художник, а помещичий; несколько не теряет от этого в своем художественном достоинстве Толстой, и немного еще выиграли те из теперешних писателей, которые имеют счастье называться пролетарскими писателями и которые не умеют писать. Само собою разумеется, что когда мы занимаемся классовым анализом, мы занимаемся не оценкой. Классовый анализ нужен нам только для того, чтобы научно понять художника, т. е. раскрыть его, как причинно обусловленное явление. Это прежде всего. Художник — чрезвычайно сложное явление жизни, которое нуждается в научной расшифровке. Нам художника нужно понять, понять его не в таком смысле, в каком его понимает каждый читатель, не в смысле простого восприятия художника, а понять его в причинной зависимости, как закономерное явление жизни. И если мы так будем подходить к художнику, будем подходить только в этой плоскости, то здесь классовый анализ приобретает громадное значение. Я думаю, что даже те прения, которые здесь развернулись перед аудиторией, должны были показать, как много в смысле закономерной обусловленности писателя уясняется его классовой природой.

Но те же прения показывают, что в самой постановке вопроса о классовой природе писателей есть много неясностей, предварительное разъяснение которых совершенно необходимо для устранения многих призрачных разногласий и бесполезных споров. На первый взгляд докладчики и оппоненты резко разошлись в определении Горького классовым термином. А между тем, это разногласие вовсе не так глубоко и заключается в конечном итоге не в разном понимании Горького, а в употреблении одного и того же классового термина в разном значении. Один определял Горького, как пролетарского писателя, другой, — как писателя мещанства, третий даже пытался его определить, как писателя-интеллигента чистого, до известной степени отрешившегося от классов, или во всяком случае как какого-то деклассированного писателя. Мне кажется, что все эти разногласия в конечном итоге вовсе не так глубоки и что добрая доля этих разногласий объясняется отсутствием строгой точности и ясности в употреблении термином «пролетарский писатель».

Вообще, когда выступают с классовыми определениями, то очень редко как-то спорящие предварительно улаживаются между собою о том, что они будут разуметь под тем или иным классовым термином. Вот, например, здесь

в заключительном слове тов. Горбов говорил, что какой же непролетарский писатель Горький, когда он—любимый писатель рабочих. Аргумент это или не аргумент? Если хотите, это—аргумент, потому что, конечно, можно считать писателем пролетарским того, кто особенно любим пролетариатом, можно считать писателем буржуазным того, кто особенно любим читателем из мещанской среды и т. д. Здесь мы в основу определения классовой природы писателя кладем учет его потребителя, его заказчика, его читателя. И такое определение вполне возможно, я, конечно, можно подходить с этой точки зрения и классовости. Почему же так не подходить!

Иначе аргументирует пролетарский характер горьковского творчества тов. Кубиков. По мысли Кубикова, Горький может быть признан пролетарским писателем потому, что он был певцом революционного боевого настроения, отвечающего интересам пролетариата, класса, возглавлявшего надвигавшуюся революцию. Здесь учитывают, таким образом, некоторую объективную значимость писателя; некоторую объективную значимость его писаний в аспекте классовой борьбы. Такой подход вполне возможен. Мы, конечно, и с этой точки зрения можем подходить к определению классовости писателя: он имел положительное значение для пролетариата, для пролетарской революции, и потому он должен быть принят в лоно пролетарских писателей. Можно, конечно, и так подходить. Но ведь ясно, что когда мы подходим с точки зрения такого объективного использования писателя, объективной его значимости, пожалуй, не окажется ни одного порядочного художника слова, который не был бы пролетарским писателем. Все решительно писатели,—конечно, большие русские писатели,—в этом смысле—пролетарские писатели, и прав был бы пролетариат, если бы сказал: все культурные богатства нашей русской литературы, все, что есть в ней ценного,—мое, принадлежит мне, наследнику и продолжателю общечеловеческой культуры. Пушкин—мой, Лермонтов—мой, Толстой—мой, потому что все эти люди, поскольку они наносили удар паразитствующим классам, служили пролетарскому делу. В этом смысле пролетарским окажется и Горький, конечно. Но когда мы таким образом понимаем этот термин «пролетарский», в нем, повторяю, не окажется ничего специфичного, я он оказывается классово ничего, пожалуй, не определяющим.

Наконец, была дана третья и наиболее правильная, по-моему, постановка этого вопроса теми, кто, называя Горького пролетарским художником, утверждали органическую связь творчества Горького с этим классом, выражающуюся в том, что все его творчество генетически, причинно обусловлено бытием пролетарского класса. Все тенденции, которые выражены в произведениях Горького, все образы, с которыми мы здесь имеем дело, вся их целеустремленность—все взято Горьким из пролетарского класса, откуда все это идет. Горький со всеми своими словами и словечками до малейшей нити своей сформирован рабочим классом, сформирован пролетариатом. Именно так высказывался докладчик, именно в этом смысле называл Горького пролетарским писателем Горбов, правда, с большой оговоркой, что его пролетариат не совсем пролетариат, а пролетариат в эмбриональном состоянии, еще не ставший пролетариатом, но все-таки Горький сформирован этой эмбриональной пролетарской стихией, все его творчество построено на материале, который могли ему предоставить быт и психология рабочего класса. Вот третья постановка вопроса о пролетарском характере творчества писателя.

Предоставляю самой аудитории из этих трех постановок выбрать ту, которая покажется ей наиболее интересной. Лично для себя я выбирал последнюю позицию и только в этом последнем смысле считаю нужным и интересным говорить о пролетарском или непролетарском характере творчества писателя, потому что, повторяю, все эти разговоры имеют смысл в научном плане, а не в оценочном плане. А в научном плане для нас интересен только один вопрос: что причина, движущий фактор творчества данного писателя лежит в пределах пролетарского класса или непролетарского класса? Если мы, таким образом, поставим вопрос по отношению к Горькому, может быть, тогда тут многие споры были бы совершенно аннулированы. Едва ли кто-нибудь решился бы тогда утверждать, что Горький — писатель пролетарский. Едва ли бы это пришлось утверждать потому, что, конечно, бытовая стихия, которой насыщены его произведения, все образы, которыми проникнуто его творчество, не взяты из пролетариата; ни одного пролетария вы там не найдете, и тенденции пролетарского бытия там своего отражения ни в какой мере, конечно, не нашли. Особенно глубоко, по-моему, не нужно вдаваться в анализ творчества Горького, чтобы это почувствовать. В самом деле, основной пласт, основная сила в творчестве Горького — это реалистическая его струя, все образное содержание которой является русским уездным мещанством. Вот социальный слой, с которым Горький постоянно имел дело. Это слой, от которого он отталкивался. Сам Горький на всю свою жизнь оказался раненым, увлеченным этим самым мещанством. И все основные герои его творчества такого же свойства люди, они все поранены мещанством.

(Горбов: «Всякий писатель мещанства — мещанский писатель?») Нет, не всякий писатель мещанства — мещанский писатель, потому что, конечно, если бы писатель мещанства был мещанским писателем, то в известной мере оказался бы мещанским писателем и Тургенев, потому что известная часть его рассказов («Петушков» и др.) рисуют мещанство. Но дело определяется не тематикой произведений, а общей настроенностью, стилем произведений. Не тем, что изображается, а тем, как изображается.

У Горького есть вечный враг, против которого заострено все его внимание. Этим врагом является мещанская среда и звериное тупое существование, лишенное всякого смысла, всякого творческого порыва. Это — среда, с которой Горький все время борется, от которой он отталкивается. И уже один только этот факт, что он отталкивается от мещанства, с достаточной ясностью говорит о том, из какой среды он вышел, какая среда сформировала его талант. С точки зрения причинной обусловленности важно не то, против чего заострен этот талант, а чем он заострен. Горький потому и рвется прочь от мещанства, что на своей коже испытал всю плоскость мещанского существования. Мещанство воспитало Горького и своим диким нечеловеческим воспитанием заострило против себя его талант. Не пролетариат, а мещанство сформировало Горького, и в этом смысле он — мещанский художник, хотя он и больно бьет по мещанству. Так, Толстой — дворянский писатель, хотя он всю свою творческую энергию направил на то, чтобы всеми художественными средствами, которые есть в его распоряжении, бить помещичий класс, потому что, только переживши помещичье бытие, можно было с такой силой и правдой разоблачать его. В том-то и дело, что Горький отрицает мещанство, будучи выходцем из него. Это — мещанин, почувствовавший всю гнусность, всю пошлость и бескрылость мещанского существования, это —

мещанин, который тяготится тем, что родился мещанином. Так, Гоголь был дворянином, который на всю жизнь оказался раненым своим дворянством, всю жизнь боролся с ним всеми средствами художника, пока не изнемог его дух в этой борьбе. В таком же положении находится и Горький. Горький стремится в себе самом вытравить это мещанство, и этим занимаются все его герои, все центральные фигуры в его творчестве. Все они заняты одним: как бы убежать, освободиться от мещанства. От пошлого, бессильного, лишенного творческого почина мещанства бегут к сильному, смелому человеку. К сильному, отважному человеку бежит и Горький. Страстная тоска по силе—основной тон горьковского творчества, основная его направленность. Безразлично, какая сила, лишь бы была сила, был индивидуальный почин, только бы не мещанская пошлятина и безличность. Маякин из «Фомы Гордеева»—сила и потому интересен для Горького. Не легко решить, отрицательно ли относится Горький к этой фигуре или любит ее. Пожалуй, еще можно поспорить, кто в его глазах выше—Фома Гордеев или Маякин? То же и с Челкашом. Челкаш—сила, и этим влечет к себе художника. Красота Челкаша в том, что он силен, и независимо от того, куда тратится эта сила, он хорош тем, что силен. Пусть будет какая угодно сила, только бы была сила, только не это нудное, пошлое мещанство.

(С места: «Горький не любит Маякина»). Это еще вопрос.

(С места: «Пролетарий тоже будет уважать Маякина»). Он его может уважать разве только в смысле таком, как говорят: «любил волк кобылу, оставил хвост да гриву».

От мещанской трусости и безличности Горький устремляется к сильному, дерзкому человеку и находит его среди Челкашей и Маякиных, в мире босиков и крупных воротил. Попасть в иной мир из мещанства он не мог. Никакая наука, никакая идеологическая переподготовка не могли сделать из него художника другого мира. Он пробовал, потому что он—марксист, потому что попал в переплет марксистской идеологии; он пробовал найти антитезу мещанству в другом мире, в рабочем классе; он написал роман «Мать». И что же у него вышло? Пустота, чепуха, потому что он не знает ни рабочего быта, ни рабочей психологии, он никогда там не был. Совершенно естественно, что он идет в деклассированный слой Челкашей и в классовую среду хищных и дерзких крупнокапиталистических дельцов. Другого выхода у него нет. И он идет сюда, потому что, повторяю, он готов бежать куда угодно, но только не оставаться в мещанском болоте. Он становится идеологом индивидуальной силы, индивидуального почина и творчества, он поет смелого сокола. А кто такой этот сокол? Кто же его знает, кто он такой. Может быть, это он себе грудь разбил, когда он вооружен выгружал баржу, а может, когда в роли капиталиста нагружал эту баржу. Главное же дело в том, что этот сокол дерзко реет в просторе воздуха, а не сидит в мещанском болоте.

Между прочим, тов. Нусинов поставил здесь интересную проблему борьбы Горького с Достоевским, хотя и дал ей не вполне, как мне кажется, верную трактовку, видя в этой борьбе разницу социологических оснований художников. В действительности и Горький и Достоевский корнями входят в одну и ту же среду. Правда, герои Достоевского—столичные жители, жители большого города, а герои Горького—жители глухой провинции; в столице они не бывали, и это накладывает на них своеобразный отпечаток. Но все-таки в основном они имеют базу в одном и том же социальном пласте. И однако получается такая история,

что Горький терпеть не может Достоевского, Горький не выносит Достоевского, пожалуй, если хотите, ненавидит его. Почему это? Я склонен думать, что основные причины этой ненависти Горького к Достоевскому заключаются в том, что Достоевский извдал те выходы из мещанства, о которых говорит Горький, и не принял их. Чрезвычайно любопытно, что Достоевский эти выходы рисует мрачными красками, во всей их реальной неприглядности, во всем их реальном ужасе, потому что, ведь, выход в подполье и выход в Ротшильды,—и тот и другой выход, который пробовал Достоевский,—решительно никуда нас не выводят из ужаса мещанского быта, кроме каких-то других ужасов. А Горький обрисовывал подполье светлыми, как тут выражались, романтическими тонами в своем Челкапе, рисует подполье, как соколиный взлет, как светлый мир, освобождающий от ползучей жизни мещанства. Из этого, пожалуй, кто-нибудь сделает вывод, что Достоевский—большой реалист в изображении мира деклассированного из среды мещанства, чем Горький.

Кто правильнее изображал босняка, был больше реалистом—мрачный Достоевский или светлый Горький?

Тов. Кубиков, назвавший Горького романтиком, пожалуй, склонен ответить, что Достоевский правильнее нам изображал босняка, а Горький рисовал нам не реальный образ босняка, он идеализировал, в своих образах, природу босняка. Я склонен думать, что это не бесспорно. Можно сомневаться в том, что горьковский босяк не является самым подлинным настоящим босяком. И у Достоевского и у Горького одинаково—самый настоящий реальный босяк, но это—босьяки разных моментов исторической жизни, это—босьяки, попавшие в разное социальное окружение. Мещанство, из которого вышел Горький, и мещанство из которого вышел Достоевский,—ведь тоже разное мещанство; это—мещанство, находящееся в разных социальных условиях. Поэтому те перспективы, которые открываются перед мещанством Горького, это не те перспективы, которые открываются перед мещанством Достоевского, и совсем не с теми настроениями отрывался от мещанства горьковский герой, чем герои Достоевского. В чем разница? Разница в том, что Достоевский является великим художником мещанства в такую пору, когда в нашей русской жизни капитализм еще рождался и никакой силы, на которую можно было бы опереться мещанству в борьбе за какое-нибудь обновление своей жизни, никакой такой силы оно не видело. Это был сплошной мрак. Положение было безвыходное, действительность в те дни представляла собою нечто действительно мрачное.

Когда пришел Горький, положение резко изменялось. Капитализм развернулся, есть пролетариат.

(С места: «Где у Достоевского босьяки?»).

В образах «Занисок из Мертвого Дома», в образе «Федьки Каторжника» всюду босьяки есть; он с ними имеет дело, и это настоящие, подлинные босьяки. Таким, каков он есть, Достоевский рисует Федьку Каторжника, того же самого Челкаша. Но Челкаш предстает перед нами в романтических тонах, расцвеченный розовым ореолом, а Федька во всей мрачной неприглядности острого героя. Но и Горький здесь не отступил от реализма. То обстоятельство, что Горький пишет в атмосфере социального подъема, когда имеется палицо новый класс, собирающийся переорганизовать заново общественные отношения, видоизменило объект его художественного изображения—мещанина. Совершенно иная обстановка дала ему совершенно новые переживания, окрылила его некоторыми

надеждами. И не только его, этого мещанина, и не столько его, сколько, главным образом, тех, кто от мещанства отрывается, идет куда-то, опускается на дно, превращается в Челкашей. Они оказываются окрыленными светлыми надеждами. Сталкиваясь со старым художником, который изображал босняка во всем его ужасе, во всем бессилии его социального бытия, сталкиваясь с таким его изображением, Горький, естественно, от этого отталкивался и не мог не отталкиваться, потому что прав был, когда думал, что теперь босьяки не такие. Босьяк рисуется у Достоевского только в отрицательных тонах, а в нем есть нечто такое, что не только отрицательно. Все эти отталкивающиеся от действительности мечтатели, вроде Терезы, все эти дерзкие и смелые герои дна—они и у Достоевского фигурируют, но они там—больные люди, с вывертом. Здесь они не такие. И в них все это есть, и Горький знает, что это есть, но в них есть и нечто иное, что дано новой социальной обстановкой. Не в том здесь дело, что Горький накидывал романтический плащ на своих героев, идеализировал их. Тов. Кубиков едва ли прав, что Горький в последних своих рассказах изображал босьяка иначе, чем в первых,—в его реальном рубище, а не в романтическом плаще. Горький не прятал отрицательные черты босьяков в первых рассказах, как и в последних. Его босьяки не прочь учинить скандал, дебош, устроить еврейский погром, его босьяки—разбойники, воры, бродяги. Но есть же в них, в этих порвавших с трусливым мещанством отщепенцах, смелость, непокорство, разрушающий болотное бытие порыв, который при существовании революционного пролетариата имеет тенденцию стать порывом созидющим, творческим. Не было ничего романтического, нереального в том, что Горький поэтизировал этот вполне реальный порыв. Существование пролетарского революционного движения диктовало ему это. В этом смысле, пожалуй, Горького можно считать пролетарским поэтом.

(С места: «Идущим к пролетариату?»).

Не то, что идущим к пролетариату, а пролетарским в том смысле, в каком, предположим, Ленин считал крестьянским писателем Толстого. Я припоминаю, как у Ленина идет ход мыслей, и он может быть, примерно, сведен к таким соображениям: «Конечно, для меня не тайна,—рассуждает Ленин,—что Толстой всеми корнями врос в помещичий быт, он отсюда идет, он—типичный помещик, скомпанованный в основе своей стихией помещичьего быта. Его покаянные настроения, его мужиколюбие и т. д.,—все это у него идет от дворянства и ни от кого больше. Но дело все в том, что Толстой имеет счастье, с точки зрения Ленина, и, вероятно, несчастье, с точки зрения самого Толстого, что Толстой имеет счастье или несчастье жить в атмосфере начинающейся пролетарской революции. А для таланта, для художника играет огромную роль, и даже весь смысл его творчества становится иным в зависимости от того, в какой атмосфере он находится. Возьмите кусок железа, сколько к нему ни подпосите спички, не горит, а если опустить его в банку с кислородом, то железо, которое никогда не горит, светится ярким пламенем, сильнее, чем электрический свет. Так получается и с большим писателем. Он сам не думает о революции, но то обстоятельство, что он попадает в революционную атмосферу, заставляет его загораться неожиданным светом. Писатель сам бывает ошеломлен тем, какое влияние производит его творчество. Толстой сам удивлялся, какие заключения делают из его писаний. Он часто любил говорить: я не толстовец. Это привычка востокчиковывать таким образом, что он—не толстовец в смысле смешных проявлений

толстовства. Я думаю, что в другом смысле. Он чувствовал, что под знаком толстовства развертываются вещи, которых он никогда не одобрял. В этом смысле и Горького можно было бы назвать пролетарским писателем, потому что то обстоятельство, что писатель, насквозь проникнутый мелкобуржуазной стихией, попал в атмосферу пролетарского брожения, заставило его загореться таким ярким светом, каким, он в другой обстановке, может быть, не горел бы. То, что он оказался в пролетарском окружении, подняло этого писателя на такую высоту, превратило его в такой светильник революционности, о котором, может быть, и сам Горький не мечтал.

Тут может быть разгадка и его биографического момента, о котором, говорил т. Фриче, что Горький был с нами и был вечный странник, шел с нами к революции, а когда разразилась революционная гроза, взял посох и ушел от нас. Возможно, прав т. Фриче, выразивший уверенность, что Горький опять придет к нам, но важно, что он пока бродит со своим посохом. В чем же здесь дело? Дело в том, что он и торит в революционной атмосфере и, пожалуй, сам побаивается своего горения, сам побаивается того яркого блеска, каким он вспыхивает в этой атмосфере.—Это не его собственный огонь, не его собственное горение, а какое-то отраженное горение, горение, которое получилось из раскаленной революционной атмосферы, революционной обстановки, созданной пролетарским подъемом. Только так, я думаю, можно понять ту неоднократно высказывавшуюся и повторенную здесь мысль, что Горький отразил в своем творчестве революционное возбуждение пролетариата.

В этом смысле он—пролетарский писатель, но он совсем не пролетарский в том смысле, чтобы талант его был сформирован пролетарским бытием, давал поэтические образы и характеры пролетарского класса. Этого там нет, и, сколько ни ищите по всему Горькому, не найдете откристаллизованного пролетарского образа, который непременно воплотил бы великий пролетарский писатель.

III.—КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. Гирш. *«Экономика торговли»*. Перевод с немецкого Ф. Д. Капелюша, под редакцией Т. А. Аксельрода и проф. П. П. Маслова. 1927 г. 428 стр. Цена в переплете 4 руб. 25 коп.

Рассматриваемая книга представляет собой большой труд о современной торговле, ее организации и формах внутренней государственной торговой политики. Среди основного материала книги о чисто-капиталистической торговле пропорционально небольшое место занимает рассмотрение организации общественной торговли (общественных корпораций) и кооперативной торговли. Перевод сделан со второго немецкого издания, вышедшего в 1925 г., в котором автором могли быть учтены тенденции развития торговли за последнее время и современные формы ее организации.

Совершенно правильно указано в предисловии П. Масловым, что в этой книге напрасно было бы «искать каких-нибудь широких исторических и теоретических обобщений». Она представляет собой систематизацию богатого конкретного материала. Поэтому вряд ли права редакция, выпуская эту книгу под названием *«Экономика торговли»*. Но в то же самое время обработка материала произведена под соответствующим «идеологическим углом». И поэтому, вместе с отсутствием «широких» теоретических обобщений, налицо имеется тем не менее своя теоретическая буржуазно-поверхностная установка. Беспомощность у автора в общих вопросах выступает сразу же и особенно «рельефно» в начале книги, где он делает попытку обобщить весь свой труд—дать определение торговли. Вот что он пишет по этому поводу: «Для нашей точки зрения, видящей в торговле функцию народного хозяйства, не имеет решающего значения вопрос, происходит ли оборот товаров между самостоятельными предприятиями или между частями самого предприятия. Точно так же несущественно, преследуется ли при этом цель получения особой торговой прибыли, или цель отсутствует, как, например, в закупочном филиале, в потребительском обществе или в условиях советского строя. (2 стр.). Автор наблюдает процесс отмирания самостоятельности торгового капитала в современную эпоху развития капитализма: он видит, как персонафицированная экономическая категория—торговец—теряет свою самостоятельность, становится «коммерческим директором» высоко-концентрированного промышленного предприятия (треста), и естественно, что автор протестует против «одностороннего» разграничения производства и торговли, ищет теоретического синтеза экономических процессов отмирания торгового капитала в «над'историческом определении», которое мы привели выше. Оказывается, что торговля в капиталистическом строе—не функция капитала, а функция народного хозяйства, что, конечно, глубоко неверно. Для автора, далее, «несущественно», преследуется ли в торговле цель получения прибыли или нет. Поэтому он и валит в одну кучу советское и капиталистическое хозяйство. А между тем, этот признак кладет грань между двумя эпохами развития. И если бы автору довелось как следует изучить и понять торговлю Советского Союза, он не мог бы не заметить новых организационных форм ее. Раз купец стал «коммерческим директором» предприятия, то легко можно смешать общественное и техническое разделение труда и применить понятие торговли к передвижению продукта между частями «самого предприятия». Правда, у автора есть и другое «наглядное» определение торговли, как «самостоятельного промысла, во главе которого стоит самостоятельный

предприниматель» (3 стр.). Но это настолько противоречит современному положению торгового капитала, что автор немедленно же бросает его и кладет в основу своего изложения первое определение.

В дальнейшем книга распадается на три неравные по своему объему главы.

В первой небольшой главе дается изложение развития и образования форм торговли в процессе капиталистического развития. Вторая, занимающая добрую половину книги, трактует о современной оптовой торговле. И, наконец, третья и последняя глава посвящена изложению современной розничной торговли.

Первая глава, по мысли автора, должна, очевидно, быть квинт-эссенцией, обобщающей действительно громадный фактический материал, расположенный по преимуществу в следующих главах, и наметить основные вехи развития торговли. Эта схема в дальнейшем разворачивается на протяжении всей книги и раскрывает все разнообразие организации и форм торговли и тенденций развития применительно к основному делению на оптовую и розничную торговлю.

Переходя к изложению современной оптовой торговли, автор рассматривает отдельные виды торговли: заготовительную (сырьевую), *торговлю между различными ступенями производства* (торговля полуфабрикатами и вспомогательными материалами) и организацию сбыта (оптовая торговля готовыми изделиями), при чем в пределах каждого вида торговли он исходит из отдельных ее функций и описывает на основе этого организацию и органы оптовой торговли. Автор не упускает из виду и тенденции развития современной торговли, которая в основном сводится к устранению самостоятельной торговли.

Функции, которые раньше выполнял торговый капитал, от него отходят. На время пребывания товара на складе капитал теперь доставляет банк и биржа, транспорт обслуживают пароходные и жел.-дор. товарищества, также экспедиционные конторы. В остальном обслуживание товарооборота берут на себя коммерческие отделения больших фабрик, а торговца заменяет служащий или агент, работающий за провизионное вознаграждение. Со стороны самой торговли замечается тенденция сосредоточиться на такой работе, которая по существу не может быть отнесена к чистой функции обращения товара (сортировщик, сортиментщик, кредитор). Кроме того, она стремится присоединить к себе ту или другую отрасль промышленности и слиться с промышленностью (угольная промышленность в Рейнско-Вестфальской области). Картелирование и трестирование промышленности, развитие финансового капитала *придают тому процессу более углубленный характер*. В некоторых случаях торговцы сохраняют свою самостоятельность и даже подчиняют промышленность. Торговцы здесь выступают в качестве организаторов вспомогательных индустрий, так называемых *Lohnindustrien*. Лесная торговля *вызывает к жизни лесопилки*; торговля рисом — мельницы и т. д. Профессиональный торговец теряет свое значение *на первых стадиях тяжелой промышленности* между углем и железом, рудником и заводом, но он снова выступает между металлургическим заводом и закупкой железного лома и т. д. В некоторых случаях торговцы выступают «раздатчиками» по отношению к мелкой и средней промышленности и, таким образом, воспроизводят на новой основе отношения, существовавшие ранее в кустарной промышленности.

Против картелей промышленников выступают картели торговцев, но последние часто являются не средством борьбы с картелированными промышленниками, а орудием борьбы против тех предпринимателей и торговцев, которые не входят в картель.

Метод изложения автора, состоящий, как мы указали, в том, что появление разнообразных форм оптовой торговли объясняется из ее функций, составляет особенность рассматриваемой книги по сравнению с другими работами подобного рода. Поэтому у других авторов нет так широко разработанного отдела об оптовой торговле (Шерр, Лексис и др.). Они исходят из «идеального торгового предприятия» и рассматривают различные формы «заготовки» (закупки) в отдельных отраслях, затем отдельно «продажу», «уплату» и «кредит». Автор рассматривает появление соответствующих функций, их оформление в эпоху промышленного капитализма и отрицание некоторых из них, как функций самостоятельной торговли, в наше время. При всем этом он повинен в некоторой «фетишизации» товара при объяснении феноменов торговли. «Надо полагать,—говорит Гирш,—в будущем общие описания торговли—во всяком случае, оптовой торговли—покажут, что все обращение складывается различно в зависимости от различного характера тех или иных товаров и что точно так же в каждом отдельном случае торговля является только, так сказать, придатком к пути данного товара, что размеры и характер торгового предприятия, число и квалификация занятых в нем лиц приспосабливаются к особенностям данного товара и изменяются вместе с ними» (227). Никто не отрицает, что «характер товаров» оказывает известное влияние на организацию торговли, так же как неоспоримо влияние на нее商ово-технических условий. Но представлять дело так, что характер «его величества» товара определяет целиком организацию торговли, безусловно ошибочно.

В таком категорическом виде это заявление автора не верно даже по отношению «к размерам и характеру торгового предприятия», ибо и организация предприятия зависит не только от характера товара, но и от общих商ово-технических условий (концентрация покупателей в пространстве, превосходство крупного предприятия над мелким и пр.). Нечего говорить о том, что автор в данном случае забывает совершенно об общих экономических условиях страны и, в частности, об отношениях, сложившихся в сфере промышленности, которые влияют на организацию торговли. При объяснении явлений отрицания самостоятельной торговли, автор часто, вместо глубоких экономических причин этого (монопольных тенденций финансового капитала), сводит объяснение к узко-商ово-техническим условиям. Стремление к объединению производства, транспорта и торговли объясняется «замкнутым движением товара» (230). Объединение розничных продавцов ставится в связь с «низкой специфической ценностью, или—что то же—большим весом товаров» (229). И при чтении книги во многих случаях становится неясным, какую же роль отводит автор общим экономическим условиям в организации торговли в настоящее время. А именно в оптовой торговле, о которой и идет речь, обслуживающей в значительной степени оборот между промышленными капиталистами или между ними и оптовыми торговцами, влияние структуры промышленности на торговлю выявляется наиболее резко. В общем и целом автор не дает правильного разграничения влияния различных факторов (свойства товара,商ово-технические условия, отношения, сложившиеся в

промышленности) в отношении организации торговли отдельными товарами или товарными группами и синтеза влияния этих факторов в каждой из этих групп.

Особенно выукло выявляется это при трактовке вопроса о внешней торговле.

Автор считает, что между внешней и внутренней торговлей нет принципиальной разницы, поэтому нет основания строить особое учение о мировой торговле. Совершенно правильно указано в примечании проф. Маслова на грубое непонимание автором существенного различия между этими видами торговли. С народно-хозяйственной точки зрения (а не частно-хозяйственной, на которой стоит автор) внешняя торговля, в зависимости от характера товарного ввоза и вывоза (предметы роскоши, орудия производства), может либо поощрять, либо задерживать развитие производительных сил страны. К этому необходимо только прибавить, что не меньшее значение имеет вопрос о ценностном соотношении товаров ввоза и вывоза (эквивалентность их). Все это автором упущено из виду.

Для него заготовительная, сортировочная, распределительная внешняя торговля есть не больше, не меньше, как «функции определенных торговых пунктов или территорий» (36).

После этого узкого технически-организационного понимания внешней торговли нет смысла приводить всех конкретных ошибок автора. Укажем на одну из них. Тенденцию к устранению торговли, как особого промысла, автор объясняет «упрощением и облегчением транспортных условий между различными странами». Благодаря этому, торговля массовым сырьем эмансипируется от передаточных пунктов, в частности от приморских портов. «Уголь, руда, зерно, медь не встречают уже на границе таких трудностей, которые продавец или покупатель не может преодолеть собственными средствами. Производитель и потребитель стремятся устранить посредничество торговца» (169). Такое объяснение страдает несомненной односторонностью. Во всяком случае, не меньшее значение при этом имеет фактор *экономического порядка*. Стремление финансового капитала к устранению самостоятельной торговли и захвату ее прибыли приводит к *упорядочению транспортных условий* между заинтересованными странами.

Чем объясняет автор интерес к сырью со стороны торговли? Тем, что это — массовый товар, во-первых, и обладает устойчивой ценностью, во-вторых. О бешеных погонях за сырьевыми рынками могущественных монопольных объединений под защитой государственной власти нет ни одного слова. Наоборот, все это прикрыто мирной завесой. «Со времен меркантилизма, — убаюкивает автор исторической справкой читателя, — государство усиленно поощряет вывоз фабрикатов. Во всех странах обобщие государственные учреждения служат для содействия экспорту» (стр. 202). И во всем параграфе о государственной поддержке внешней торговли вы ничего не найдете о «поддержке» государства в погоне капиталистического мира за сырьевыми рынками.

Вместе с тем у автора слабо развита роль банков, как вспомогательного органа торговли; крупные комбинированные предприятия современного типа попали «к особым формам предприятия во внешней торговле» вместе... с контрабандой. Мы не будем касаться многих других ошибок автора, вроде неправильного понимания условий устойчивости валюты и т. д.

Глава третья посвящена *содержательному* очерку современной розничной торговли. Так как здесь автор описание современной розничной торговли

строит по признаку внешних форм предприятия, то уже самый метод изложения способствовал выявлению сильных сторон автора—сообщение фактического материала. Кроме того, в сфере розничной торговли торгово-технические моменты имеют в большей степени определяющее влияние на развитие торговли, и поэтому автор не делает таких ошибок, как это мы указывали раньше.

Интересно в этой главе описание эволюции розничной торговли под влиянием приспособления к запросам потребителей.

В вопросе о концентрации в розничной торговле автором затрагивается вопрос об оптимальной величине «производства» в торговле. Приводимые им данные, в общем, дают различный оптимум в отношении отдельных торговых предприятий, в зависимости от товарной группы. Для ряда предприятий таким оптимальным оборотом является от 50 до 100 т. долларов. Этот важный вопрос разрешается, естественно, с точки зрения капиталистического хозяйства. Между тем и в наших условиях он имеет первостепенное практическое значение.

Не менее интересно изложение вопроса о концентрации в розничной торговле (универсальные магазины и проч.) и капиталистической концентрации предприятия (от системы филиалов до монопольной организации розничной торговли).

О кооперации у автора нет ничего оригинального, хотя правильно подмечено перерождение ее в капиталистических условиях в обычную лавочку. Кооперации в наших условиях, являющейся действительной заменой капиталистической торговли, в предлагаемой работе не уделено места.

В общем, несмотря на отмеченные недочеты книги, она представляет довольно ценное приобретение для нашей небогатой литературы по вопросам торговли. Главный ее интерес—в обилии фактов. А эти факты представляют нам капитализм, отягощенный громадными издержками обращения (в 1925 г. весь расход только на рекламу оценивали в С. Ш. между 600 и 1.200 м. долларов. Из 146 миллионов долларов, истраченных населением Нью-Йорка в 1912 г. на яйца, молоко, картофель и лук, только 50 миллионных попали в руки производителей), стремящийся к монопольной организации всего процесса производства и обращения товаров и монопольным ценам в целях извлечения громадных прибылей и имеющий все «необходимое» для загнивания. Книга может много дать и для сравнительного анализа торговли в наших условиях (§§ 21, 22, 23, 24—31).

К книге предпослано содержательное предисловие проф. Маслова. Примечания и дополнения (в конце книги), которые дают, главным образом, материал о советской торговле, не могут вполне удовлетворить читателя. Цифры оборотов и цен уже достаточно устаревшие: обычно они кончаются 1924—25 г. В частности, примечание 7 о торговых накидках в СССР представляет голые цифры по различным данным без всякого анализа. Не совсем понятна целесообразность длинного перечня ярмарок и т. д. Необходимо указать на следующий недочет: в оглавлении пропущены три параграфа—32—34. Не оговорено редакцией и удаление из книги нескольких параграфов, имеющих в подлиннике, в частности § 21 о советской торговле (*Das Handelswesen der Sowjets*).

В общем книга издана хорошо. Цена несколько высока.

Л. Соколовский.

Ф. Богданов, Б. Раскин и Вл. Лаврентьев. «Теория кредита». Под редакцией проф. Трахтенберга. Издательство «Пролетарий». 1927 г. Стр. 295.

Рецензируемая книга представляет сборник трех больших статей—результат работы одного из семинаров Института Красной Профессуры. Темы этих статей таковы: 1) Теория кредита Маркса (Ф. Богданов); 2) Кредит в системе капитализма (Б. Раскин) и 3) Кредит, как категория капитализма (Вл. Лаврентьев).

Как видим, темы в значительной мере между собою совпадают, и это не могло не обусловить значительного совпадения и повторения материала отдельными авторами. Однако это совпадение не помешало тому, чтобы каждая работа сохранила свой индивидуальный характер. Каждый автор имеет и свои оригинальные достоинства и недостатки. Не по всем вопросам теории кредита взгляды авторов совпадают (виды кредита, природа акции и др.). Это не покажется удивительным, если принять во внимание, что теория кредита принадлежит к наименее разрабатывавшимся марксистами отделам экономической теории Маркса. Если Маркс и не оставил по теории кредита столь законченного изложения, как, напр., по теории прибавочной стоимости, цен производства и др., он, однако, достаточно разработал основные моменты теории капиталистического кредита. Но сложность проблемы, тот факт, что в кредитной системе «все удваивается, утраивается» и отношения наиболее завуалированы—все это делает весьма трудной разработку теории кредита. Следует поэтому в оценке новых появляющихся работ по теории кредита учитывать это важное обстоятельство.

В предисловии к своей работе тов. Ф. Богданов справедливо указывает, что, в виду того недостаточного внимания, которое уделялось марксистами теории кредита, а также в целях разоблачения буржуазных теорий, выступающих подчас под флагом дальнейшей разработки теории Маркса (напр., Каценеленбаум), «приобретает свой смысл хотя бы даже изложение мыслей Маркса по этому вопросу». Итак, тов. Богданов ставит своей задачей изложение марксовской теории кредита; однако он не остается в рамках этой задачи. Выясняя взгляды Маркса, он одновременно критикует точку зрения некоторых буржуазных экономистов. Автор прав, когда он отмечает, что буржуазные экономисты подходят к теории кредита с неисторической, конкретно-вещной, а, по существу, с недиалектической точки зрения. Автор справедливо указывает, что «теория кредита должна ответить на вопрос о том, каковы отношения, скрывающиеся за кредитной формой». Однако в выяснении этих отношений, в выяснении специфических особенностей капиталистического кредита (а это и есть объект марксовской теории кредита) тов. Богданов делает значительные промахи—в результате недостаточной методологической выдержанности.

Тов. Богданов упускает из виду, что хотя кредитные отношения (как и торговля) имели место и до капитализма (ростовщический кредит, элементы кредита в обмене между простыми товаропроизводителями), однако эти отношения не могут быть смешаны, а тем более отождествлены с кредитом капиталистическим. При некотором *формальном* сходстве с докапиталистическим, кредит капиталистический представляет особое *качество*, особую определенность, имеет свои специфические закономерности, специфическое движение. Эти закономерности могут быть вскрыты лишь на основе анализа капитали-

стического способа производства. Ибо промышленный капитализм, при своем возникновении застающий более старые формы «не как установленные им предпосылки», должен подчинить их и переделать «по своему образу и подобию».

Между тем, такое смешение докапиталистического и капиталистического кредита и даже их отождествление мы находим в работе тов. Богданова. Как известно, Маркс конструирует две основные, тесно связанные и взаимодействующие формы капиталистического кредита: кредит коммерческий и кредит банкирский. И в том и в другом случае контрагенты кредита—капиталисты. Тов. Богданов противопоставляет этому делению свое деление кредита: на кредит товарный и кредит капитальный; в первом объект кредита—товар, во втором—капитал (стр. 24).

По Марксу, коммерческий кредит есть кредит, который оказывают друг другу *капиталисты*, занятые в процессе воспроизводства. Тов. Богданов по поводу этого определения Маркса замечает: «Конечно, было бы неправильно заключить, что только капиталисты—контрагенты коммерческого кредита... этими контрагентами могут быть и простые товаропроизводители». Что кредит *возможен* между простыми товаропроизводителями,—это верно; но там он не является необходимостью, там он носит случайный характер. Совсем другое дело—коммерческий кредит. Этот кредит, который оказывают друг другу функционирующие капиталисты, облегчает и ускоряет реализацию товаров, создает возможность повторения производства, не дожидаясь реализации, уменьшает количество необходимых денег и тем ослабляет влияние этого узкого пояса капитализма; этот кредит уже в силу имманентно присущей капитализму тенденции к увеличению производства, прибавочной стоимости становится необходимостью для капитализма. Созданием кредитной системы, наличием своих специфических закономерностей коммерческий кредит резко отделяется от докапиталистического, как особое, новое качество. Поэтому совершенно не прав тов. Богданов, заявляя, что «в рамках капиталистического процесса обращения форма коммерческого кредита тождественна докапиталистической его форме».

Но в том-то и дело, что до капитализма коммерческий кредит отсутствует. Эта ошибка тов. Богданова является результатом недопустимого методологически абстрагирования при исследовании *капиталистического* кредита от капиталистических отношений, от капиталистического способа производства. Как это ни странно, но именно такое абстрагирование тов. Богданов проделал (стр. 31).

Но мало того. Отождествив капиталистический кредит с кредитом между простыми товаропроизводителями по той причине, что и здесь и там объект кредита—товар, автор дальше впадает в противоречие с самим собою, заявляя, что коммерческий кредит есть *ссуда капитала*, на том основании, что, «изменяя форму своего капитала, капиталист не только реализует цену его как товара, но получает еще и процент, т.-е. реализует цену его как *товара-капитала*» (стр. 54). Итак, здесь стерты грани между коммерческим кредитом и банкирским, ссудным. Чувствуя что-то неладное, автор старается найти успокоение в таком замечании: «Вопрос о том, дается ли при коммерческом кредите должнику добавочный капитал, является второстепенным». Но почему же Маркс придавал этому вопросу такое значение, что не раз остано-

вливается на нем, заявляя, что «существует крупное различие между займом капитала и учетом, который только осуществляет превращение денежных требований из одной формы в другую или в действительные деньги (Кап. III, 1, стр. 413); что то, что ссужается при коммерческом кредите, отнюдь не является незанятым капиталом; что «при дисконтировании векселя ссуда является номинальной».

Тов. Богданов думает, что «для должника-капиталиста это (коммерческий кредит. *М.Р.*)—всегда дополнительный капитал»; но,—замечает он на следующей странице,—«это не значит, что у кредитора капитал благодаря этому уменьшается» (стр. 56). Встает вопрос, откуда же взялся *дополнительный капитал*? Повидимому, этот капитал предоставлен банкиром. Но тогда налицо—банкирский, капитальный кредит. Получается смешение коммерческого и банкирского кредитов; между тем, такое смешение не допустимо. Строгое отграничение коммерческого кредита имеет важное теоретическое значение. Без него нельзя понять взаимоотношение ссудного и действительного капитала, нельзя объяснить конъюнктурные колебания нормы процента и т. д. Тов. Богданов, конечно, знает, что при коммерческом кредите «каждый оказывает кредит одной рукой и получает кредит другой», что выданные взамен товара векселя могут обращаться между функционирующими капиталистами, как средство платежа и без посредства учета (так было и исторически), без посредства банков. Здесь как будто бы негде взяться дополнительному капиталу, ссудно-денежному кредиту.

Но меняется ли принципиально положение с появлением посредничества банкира, с появлением *учета* векселей? С появлением банковского учета векселей при замене частных коммерческих векселей, «торговых денег» банковыми векселями, банкнотами, сущность коммерческого кредита не изменяется, хотя он и усложняется. «Банкнота,—говорит Маркс,—есть не что иное, как вексель на банкира... которым банкир заменяет частные векселя» (Кап. III, 1, стр. 389). «Банкноты имеют своим основанием не денежное обращение металл. денег или госуд. бумажных денег, а вексельное обращение».

Если до появления банковского учета обращались частные векселя при помощи передаточных надписей, то теперь, вместо них, обращаются векселя на банкира. Раньше капиталист *A* выдавал вексель *B*, *B* на этот вексель покупал товар у *C*, *C*—у *D*, а *D*, возможно—у *A*, при чем капиталист *D* уплачивал *A* векселем этого же *A*. Теперь дело усложнилось, но не изменилось принципиально. *A* выдал вексель *B*. Капиталист *B* учел вексель в банке и получил взамен его банкноты (векселя на банкира). На эти банкноты *B* купил товар у *C*,—*C* у *D*, а *D* возможно купит на всю эту сумму банкнот товары у *A*. Между тем, как раз подошел срок платежа по векселям, и *A* платит по своему векселю банкиру этими же банкнотами. Все эти сделки могли осуществиться без участия денег. Итак, без вмешательства банков обращался частный коммерческий вексель, теперь обращается вексель на банкира—раньше и теперь—налицо коммерческий кредит. В случае акцепта дело еще прозрачнее—обращается, вместо денег, частный коммерческий вексель, но лишь снабженный банковской гарантией.

Тов. Богданов пытается подкрепить свое положение ссылкой на то, что при коммерческом кредите капиталист реализует не только цену товара, но получает еще и процент, «разницу между ценою в кредит и ценою на налич-

ные деньги» (Маркс). Нам кажется, что и этот мотив не может оправдать смешение этих двух основных видов кредита; нельзя упускать из виду, что, поскольку коммерческий кредит является взаимным, то сколько кредитор выигрывает на $\frac{1}{100}$ ровно столько он теряет как должник (ставя вопрос теоретически); для коммерческого кредита этот факт является внешним, обусловленным фактом существования кредита ссудно-денежного, банкирского. Мы столь подробно остановились на этой проблеме, поскольку она частенько является камнем преткновения и поскольку изложение ее тов. Богдановым является едва ли не самой спорной частью его работы.

Мы не будем подробнее останавливаться на другом смешении, которое проделывает тов. Богданов,—смешении ростовщического и банкирского кредита в единый капитальный (стр. 57). То и дело попадают фразы: «банкирский или ростовщический кредит» (стр. 25, 33 и др.). Это смешение производится на том основании, что как тут, так и там «всегда передается капитал». Но банкирский кредит, адекватный капитализму, вовсе не то, что ростовщический: его закономерности другие—уровень $\frac{1}{100}$ при банкирском кредите зависит от нормы прибыли, составляет ее часть, в противоположность кредиту ростовщическому. В отличие от ростовщического кредита должник при банкирском кредите является функционирующим капиталистом, а потому и самый банкирский кредит—категорией капитализма. Чтобы закончить с недостатками очерка т. Богданова, отметим злоупотребление цитатами,—падают цитаты в 4 страницы текста (о ростовщическом кредите). Между тем, можно бы обойтись без них, изложив дело своими словами. К положительным сторонам работы следует отнести ясность изложения. Хорошо изложены главы о необходимости и роли кредита и о проценте.

Работа тов. Б. Раскина весьма содержательна, хотя не лишена ошибок и как раз в той же области, как у тов. Богданова: в теории коммерческого кредита. В главе «определение капиталистического кредита» дается критика теории Коможинского, проводится строгое разграничение между кредитом докапиталистическим и капиталистическим; автор приходит к выводу, что капиталистический кредит есть «такой кредит, в котором ссужаемый объект применяется как капитал», «есть кредит, оказываемый капиталисту—промышленнику или торговцу» (стр. 112). Следующая глава рассматривает вопрос об участниках капиталистического кредита и посредничестве банков. Здесь автор проводит деление кредита на 2 вида: товарный и денежный, в соответствии с тем, что является объектом кредита, а также в связи с тем, что «товарный кредит совершается почти исключительно без посредников», а денежный предполагает посредничество банков (стр. 115).

Повидимому, это деление должно заменить Марксово деление на коммерческий и банкирский кредит. Признаться, мы не видим необходимости в такой замене и думаем, что она повинна в ошибочной трактовке тов. Б. Раскиным коммерческого кредита. Заметим, что коммерческий кредит не перестает быть таковым и при появлении посредничества банкира (акцепт, учет векселей).

Заметим также, что сдача, напр., в аренду завода, дома и т. п., есть ссуда капитала и не относится к области коммерческого кредита, хотя объект кредита—товар, но товар, который ссужается как капитал.

Если Маркс кредиту, как *всуде капитала* (деньгами или даже товаром), выражающей отношения между ссудными и функционирующими капиталистами,

противопоставляет кредит коммерческий, то тов. Раскин смешивает эти оба вида кредита. По его мнению, коммерческий кредит есть и форма ссуды капитала. Автор прямо полемизирует с Фр. Энгельсом, обвиняя Энгельса в том, что он стал на формальную точку зрения, когда заявлял, что дисконт векселей не есть ссуда капитала. По мнению т. Раскина, дисконт векселей есть ссуда добавочного капитала. Мы уже выше указали, что факт учета векселей банком не меняет сущности коммерческого кредита.

Сейчас остановимся лишь на разборе некоторых аргументов, приводимых тов. Раскиным в пользу своей точки зрения. Тов. Раскин указывает, что хотя при коммерческом кредите капиталисты и кредитуют друг друга, однако, кредит и дебет каждого из них *может* и не совпадать; что одно предприятие может односторонне кредитовать другое за счет своего временно свободного капитала; что дисконт может совершиться за счет «капитала» некапиталистических групп населения.

Все это не исключено так же, как не исключено, что будет учтен бронзовый вексель, и налицо под формой учета векселя будет скрываться ссуда капитала. Но меняет ли это все сущность коммерческого кредита, как кредита, который оказывают друг другу капиталисты, занятые в процессе производства, отнюдь не ссужающие друг другу *незанятый* капитал, а ссужающие капитал, который представляет для своего владельца просто товарный капитал, который должен превратиться в деньги; как кредит, представляющий метаморфоз товара, совершающийся при посредстве кредита (ср. Маркс).

Из того, что в отдельном конкретном случае возможно переплетение обоих видов кредита, не следует, что можно их смешивать. Такое смешение лакурует путь для теоретического анализа как коммерческого, так и банковского кредита. Основное—это то, что в коммерческом кредите мы имеем взаимное кредитование функционирующих капиталистов, *тенденцию* к совпадению их кредита и дебета, что учет векселей банком, заменяя частный вексель *векселем* банкира, есть лишь ссуда номинальная, *то-есть не есть* ссуда капитала, а лишь превращение стоимости проданного товара из формы частного векселя в форму векселя на банкира (банкноты). Поэтому отпадает и последний мотив т. Раскина, что «банк за свои деньги никакого товара не получает, он получает только вексель», а, след., «со стороны банка мы имеем... ссуду капитала» (стр. 171—172). Этот мотив, собственно говоря, отрицает и сам т. Раскин, когда он на стр. 151 пишет: «Банк, взамен учитываемого векселя, выдает не наличные деньги, а только свое собственное обязательство». Тов. Раскин не задумался над *настойчивыми* указаниями Маркса, что «учет есть только превращение уже находящегося в его (векселедержателя. *М. Р.*) руках денежного капитала из одной формы в другую», что «выпуск банкнот не всегда означает ссуду капитала», что нельзя отождествлять учет векселя с займом добавочного капитала (как это делал Оверстон).

При таком подходе к вопросу тов. Раскин не смог дать и правильную критику Гильфердинга, с которым он, по существу, разделяет неправильное понимание коммерческого кредита и мысль, что вмешательство банков (при учете векселей) изменяет принципиально коммерческий кредит.

К хорошо написанным главам работы т. Раскина относится глава о «денежном кредите», носящая характер самостоятельного и в известной мере исследовательского изложения вопроса о банковском кредите. К сожалению,

здесь не обошлось без некоторых досадных технического порядка ошибок, напр., сопоставления среднего уровня дивиденда в России в 1913 г. с $\frac{1}{100}$ который взимал Госбанк по активным операциям, вместо сопоставления с процентом, который коммерческие банки платили по пассивным операциям.

Ряд вопросов изложен тов. Раскиным очень интересно, без нагромождения цитат (напр., вопрос об источниках ссудного капитала и др.). Понимание им сущности отношений, скрывающихся за акционерной формой предприятия, более глубокое и более правильное, чем у тов. Богданова. В то время как последний рассматривает акционеров одновременно как кредиторов и должников (!) (стр. 84), тов. Б. Раскин рассматривает акционеров как кредиторов, которым противостоит кучка учредителей, крупнейших акционеров, членов правления — в качестве заемщиков; отдавая акционерам процент, заемщики присваивают себе остальную часть прибыли (в виде учредительской прибыли и пр.).

Работа тов. Вл. Лаврентьева хотя и посвящена по существу той же теме, что и первые две работы, однако, далеко не повторяет их и является во многих местах весьма оригинальной трактовкой проблемы кредита. Автор с самого начала устанавливает, что кредит есть категория, имманентная капиталистическому способу производства, что без системы кредитных связей не был бы возможен кругооборот общественного капитала, а, стало быть, и не было бы возможно и само существование капиталистического способа производства. Автор считает необходимым установить известное *единство* в содержании кредитного отношения. Одним словом, автор ставит себе задачи теоретического оформления проблемы капиталистического кредита, подходя к этой проблеме, «как к проблеме, непосредственно вытекающей из проблемы общественного воспроизводства в целом».

Анализу капиталистического кредита автор предпосылает главу, посвященную докапиталистическому кредиту. Глава эта не выходит за рамки идей и фактов, сообщенных Марксом в Капитале. Следующая глава об общественной форме капиталистического кредита посвящена «характеристике формы ценностей, являющихся объектом капиталистического кредита». Здесь с самого начала неприятно режут слух крайне неудачные для марксиста формулировки, как, напр., такая: «на этих качествах *потребительской ценности* товаров... основываются кредитные по существу отношения—найма помещения, пользования сельскохозяйственными машинами и т. д.» (стр. 217). Такие формулировки тем более досадны, что самая эта глава содержательна и интересна. Здесь достаточно глубоко т. Лаврентьев исследует наиболее трудные вопросы—вопрос о ссудном капитале, о единстве денежного рынка и др. Автор развивает положение, что формой ссудного капитала являются не только банковские текущие счета и вклады, но и акции («акция является формой движения ссудного капитала», «акционерная форма ссудного капитала»). Отсюда вытекает и то положение автора, что ссудный капитал — фиктивный капитал. А так как «форма ссудного капитала овеществляется не в действительных, а в идеальных, т. е. фиктивных деньгах (банковский вклад, долговые обязательства)», то «ссудный капитал является не только фиктивным капиталом, но и фиктивной ценностью» (стр. 222). Несомненно, что большая часть банкирского капитала представляет фиктивный капитал. Несомненно также, что ссудный капитал (включая и акции) в преобладающей своей части фиктивен, т. е. представляет

«простые титулы собственности, подобно знакам стоимости» (Маркс), представляет притязания на капитал. Однако, «Prima facie ссудный капитал всегда существует в форме денег», и лишь «впоследствии в форме требования денег» (Маркс, Кап., III, 2, стр. 48). Это замечание Маркса о том, что хотя бы лишь в одном пункте ссудный капитал существует в форме денег, нельзя игнорировать.

Но не только, так сказать, *in statu nascendi* ссудный капитал существует в форме денег. Маркс указывает, что банкирский капитал состоит как из ценных бумаг (векселя, акции, ипотеки), так и из наличных денег — з о л о т а. Эти действительные составные части банковского капитала не изменяются от того, представляют ли они собственный капитал банкира, или же являются вкладами, т.е. капиталом других людей (см. Капитал, т. III, ч. 2, главу 29). В другом месте мы находили указание Маркса на то, что прилив и отлив золотого запасного фонда банков показывает, в какой степени денежный ссудный капитал остается незанятым. Наконец, отметим, что не исключено функционирование в виде ссудного капитала и товаров (товар отдается в ссуду как капитал, что является замаскированной формой денежной ссуды).

Пусть в новейшем капитализме банкирский, ссудный капитал в большей мере фиктивен, чем раньше, при монополистическом капитализме. Однако ставить знак равенства между ссудным капиталом и фиктивным капиталом недопустимо — этим не только извращается действительность, но делается шаг по направлению к таким взглядам, как взгляды Гана.

В той же главе заслуживает внимания постановка тов. Лаврентьевым вопроса о норме процента. Здесь автор выставляет положение, что «для современного капитализма необходимо констатировать *основное* явление, заключающееся в том, что норма процента становится всеобщей формой прибыли», а «предпринимательский доход все в большей мере поглощается процентом» (стр. 249). Если тенденция падения нормы прибыли и тенденция большого роста предложения ссудного капитала, по сравнению со спросом на него, создают тенденцию к снижению нормы %, то только-что отмеченное явление, как и отмечает тов. Лаврентьев, создает противоположную тенденцию — сдерживает понижение нормы процента. Однако, думает автор, первые две тенденции — тенденции снижения нормы процента — являются преобладающими. Повидимому, превращение нормы процента во всеобщую форму прибыли есть лишь тенденция и, как таковая, и должна рассматриваться. Между прочим, такое превращение означало бы ликвидацию учредительной прибыли.

Последняя глава: «Кредит и кругооборот общественного капитала». Мы не будем касаться некоторых ошибочных — по нашему мнению — положений автора (неверное понимание моральной амортизации, окрещение банкирского кредита общественным, излишняя для теории капиталистического кредита трактовка кредитования рабочим капиталиста), а остановим внимание читателя на центральном (по мнению автора) вопросе этой главы, а, пожалуй, и всей статьи.

Тов. Лаврентьев формулирует этот вопрос, как характеристику «той общественной формы, которую принимает одностороннее перемещение ценностей в процессе воспроизводства». Чтобы понять, о чем идет речь, учтем вот что.

Когда автор заявляет, что без кредита невозможно самое существование капиталистического способа производства, он имеет в виду не только то

обстоятельство, что кредит ускоряет обращение товаров, обороты капитала, уменьшает количество необходимых денег, вовлекает в процесс производства все свободные капиталы; и даже не только то, что в форме кредита, главным образом, осуществляется перелив капиталов из одной отрасли производства в другую (*в покое и средней нормальной прибыли*) и достигается равновесие капиталистического общества. Основная мысль, которую развивает автор,— это та, что при посредстве кредита при капитализме только и может осуществляться строительство крупнейших предприятий (железных дорог, крупных фабрик и т. п.), поскольку в форме кредита совершается на длительный срок «одностороннее перемещение потребительских ценностей из одних сфер производства в другие для того, чтобы сделать вообще возможным общественное воспроизводство» (стр. 196).

Последним основанием кредита—по мнению автора—и является это одностороннее передвижение ценностей, происходящее в форме «общественного кредита»—долгосрочного капитального кредита. Нам кажется, что все это сложноплетенное положение автора укладывается целиком в рамки необходимости кредита для обслуживания уравнения нормы прибыли, «на чем покоится все капиталистическое производство» (Маркс), т.-е. поддерживается равновесие в капиталистической системе производства. Отдельные отрасли производства сокращаются, т.-е. значительная часть вырученных от реализации прежней продукции денег через кредит переходит в другие отрасли производства, обуславливая расширение последних, или денежные суммы, представляющие реализованную прибавочную стоимость, идут не на расширение данного предприятия, а через кредит—на строительство нового. Конечно, постройка железной дороги подразумевает наличие в обществе соответствующего запаса средств производства и потребления, результата прибавочного труда. Но это—необходимое условие для всякой общественной формации, и здесь кредит не вносит нового.

Как видим, статья тов. Лаврентьева дает значительный материал для размышления; к сожалению, она написана трудным, а подчас и туманным языком; это может отбить охоту к чтению и затруднить ее понимание читателем. Это, а также и некоторую необработанность материала следует учесть автору в случае переиздания.

Подводя общие итоги, необходимо отметить, что хотя ни в одной работе не нашли себе освещения такие кардинальные вопросы, как вопрос о кредитной системе, о взаимоотношении обоих видов кредита, и недостаточно освещен вопрос о взаимоотношениях ссудного и действительного капитала, несмотря на отдельные ошибки и промахи, книга заслуживает внимания всякого интересующегося проблемой кредита. Важность этой проблемы и в условиях СССР очевидна. Но для понимания роли и сущности кредита в СССР необходимо предварительное понимание проблемы кредита капиталистического. В этом отношении книга трех авторов может принести известную пользу, хотя чтению ее желательно предпослать предварительное или параллельное вдумчивое изучение того, что написано о кредите Марксом.

М. Разовский.

И. Вайнштейн. *«Организационная теория и диалектический материализм»*. ГИЗ. 1927 г. Тир. 2.000.

Вопреки тому, что жизнь прошла мимо всеобщей организационной науки, Богданов продолжает считать себя причастным к идеологическому движению рабочего класса. В этом—ключ того сравнительно большого внимания, которое уделялось и уделяется богдановским произведениям. Поскольку Богдановым периодически менялись одежды, прикрывавшие его идеалистические построения, постольку борьба с ним была неизбежна в прошлом, необходима в настоящем и важна будет и в дальнейшем.

За последние годы появилось несколько откликов на произведения Богданова. Среди них заметное место занимает книга И. Вайнштейна. Частично она должна быть известна читателям. Некоторые из глав были помещены в наших журналах, в частности в «Вестнике Комм. Академии». В книге эти статьи остались почти без изменения.

Как показывает самое название книги, задача автора заключалась в анализе организационной теории в целом и применения ее к отдельным областям, т.-е. имелась цель дать систематическое изложение и критику с точки зрения диалектического материализма по возможности всех сторон учения Богданова. В книге девять глав. Первая посвящена выяснению эмпириомонизма, как эклектической теории. Вторая—вопросу объективности внешнего мира. Третья—трактатке причинности. Четвертая—сущности организационной теории. Пятая, шестая, седьмая, восьмая—переносят разбор и критику на проблемы социологического характера. Анализируются богдановское учение о классах, проблема мышления и речи, теории искусства, религии. Последняя глава посвящена выяснению экономических взглядов Богданова.

Одним словом, автор поставил перед собою довольно сложную задачу—систематического рассмотрения взглядов отца эмпириомонизма и тектологии. Эта задача усложняется тем, что некоторые разбираемые И. Вайнштейном вопросы ранее не подвергались оценке с точки зрения марксистской методологии. Мы не ошибемся, если назовем хотя бы главу о мышлении и речи. Поэтому попытку И. Вайнштейна нельзя не приветствовать.

Книга И. Вайнштейна дает в общем довольно полное представление о Богданове философе, социологе и экономисте. Нам кажется, что существенной частью работы явилась бы глава о Богданове, как политике. И. Вайнштейн в послесловии несколько останавливается на политической стороне вопроса. Но набросок схематичен, далеко не полон, хотя и интересен.

Другим заметным пробелом в книге является недостаточное освещение вопроса о сущности методологии Богданова. А это являлось необходимым потому, что тектология представляет последнее слово богдановской теории. Дать подробный анализ тектологии в свете диалектики, подвергнуть критику механическую концепцию Богданова, в частности его теорию равновесия, наконец, детальнее остановиться на критике Богдановым диалектики, на его отношении к философии,—было бы чрезвычайно важно. Мы не хотели бы быть неправильно понятыми в том смысле, что И. Вайнштейн некоторых из перечисленных вопросов совершенно не касается. Нет. Он о них упоминает, бросает вскользь замечания. Но что он не делает их предметом специального рассмотрения это составляет несомненный пробел в работе. Вообще анализ Вайнштейна почти проходит мимо тех больших споров, которыми полна со-

временная философская советская жизнь,—споров диалектиков с механистами. А ведь мы думаем, что и самому И. Вайнштейну известно, что Богданов повинен в механистическом увлечении, что им внесена некоторая толика на чашку весов в пользу механистического направления. Несколько смягчающим обстоятельством для И. В. является нам известный факт, что книга была сдана в печать около двух лет тому назад, т.-е. когда разногласия механистов и диалектиков еще только начинали развиваться.

Однако, в книге есть еще один недочет. Он заключается в том, что читатель не всегда в состоянии составить себе ясное представление о ходе мыслей Богданова.

Существуют три рода авторов-критиков. Одни излагают полностью взгляды того или иного мыслителя и в конце как бы мимоходом приводят несколько критических замечаний. Другие—к ним принадлежит и И. Вайнштейн—ограничиваются изложением одной-двух мыслей и далее, анализируя их, развивают собственную точку зрения на вопрос. Ни тот, ни другой способ критики в данном случае нельзя считать целесообразным. Необходим иной,—сочетающий, по возможности, полное изложение взглядов того или иного мыслителя с обстоятельным их разбором. И. Вайнштейн же берет одну, две характерные мысли Богданова по данному вопросу и вокруг них наслаивает и анализ, и свою положительную разработку. По прочтении большинства глав у читателя остается полностью неудовлетворенным интерес ко всему ходу рассуждения Богданова. А ведь систематический разбор не должен оставить места для подобного рода неудовлетворенности.

Сильная сторона книги И. Вайнштейна заключается в том, что его анализ взглядов Богданова методологически выдержан. Шаг за шагом вскрывает автор книги, правильно пользуясь методологией марксизма, идеалистичность богдановских построений. Но этого мало. Книга И. Вайнштейна привлекательна в том отношении, что она не ограничивается разрушением. Критикуя, он и строит, развертывает положительную разработку вопроса. В ряде глав последняя не представляет нового. И. Вайнштейн следует за Плехановым, Лениным. В ряде же других он пытается быть самостоятельным (гл. о мышлении и речи).

К числу вопросов, имеющих отношение к книге в целом, относится и вопрос о форме изложения и стиле автора.

И. Вайнштейн очень озабочен приданием некоторого изящества своему стилю и языку. Но еще Гегель сказал, что «истинно изящное... не заботится о внешней форме и не дает заметить в ней никакого обращения к самой себе, никакого предварительного внимания» (Эстетика). У И. Вайнштейна бьет ключом страсть к эффектному слову, выражению или парадоксальному обороту. Проявленная в небольшой мере она дала бы вполне положительный итог. В работе встречаются интересные по выражению места. Но в большой доле она затрудняет понимание и делает книгу менее доступной. Вайнштейна, несомненно, привлекают блестящий стиль, язык произведений Плеханова, Маркса. Он стремится им подражать. Но это подражание переходит меру. В то время как слог, стиль классиков марксизма «истинно изящны», бодрит, слог И. Вайнштейна несколько утомляет. Несомненно, наш автор стоит перед необходимостью более внимательного отношения к своему стилю, стремясь к приращению ему легкости, простоты, непринужденности.

Два слова о способе цитирования И. Вайнштейна. У автора не редки случаи (см. цитаты на стр. 34, 67, 70, 93, 124, 157), когда он отходит от установленного правила и не приводит данных не только о страницах, но и названиях произведений, откуда почерпнута цитата. Настроенный критически читатель при чтении работы ставится в затруднение.

От соображений, общих для всей книги И. Вайнштейна, перейдем к оценке отдельных глав.

Первая глава выясняет степень последовательности Богдановской теории в целом на сравнительном рассмотрении других философских систем (Кант, Фихте и т. д.). Правильная мысль автора, что эмпириомонизм не может быть причислен к числу последовательных, монистических систем, что он представляет разновидность эклектизма, к сожалению, иллюстрируется и доказывается приведением незначительного числа примеров. Один историко-философский экскурс еще не разрешает вопроса. Между тем, проследить эклектизм богдановских построений можно положительно во всех областях. Это и делает отчасти И. Вайнштейн при дальнейшем анализе отдельных сторон учения Богданова.

Поэтому возникает мысль, не лучше ли было автору поместить эту главу в конце своей работы, сделавши ссылку на соответствующие места в предшествующих главах.

Вторая глава дает верную критику разрешения Богдановым основного теоретико-познавательного вопроса—об отношении мышления к бытию. И Вайнштейн вскрывает идеализм основного утверждения Богданова, что физический мир представляет не что иное, как социально организованный опыт. Автор показывает, как идеализм в решающем пункте приводит к идеалистической трактовке связанных с ним положений (пространство, время и т. д.).

Имеется в данной главе одно рассуждение И. Вайнштейна, с которым нельзя согласиться. Мы имеем в виду оценку известного тезиса Маркса о Фейербахе. Маркс весь предшествующий ему материализм рассматривал, как созерцательный. Вайнштейн пишет по этому поводу: «Необходимо заметить, что Марксова оценка философии Фейербаха, в виду того, что последняя еще развивалась и после оценки, данной ей Марксом, не вполне передает сущность этого мышления» (стр. 27). В качестве аргумента сообщается о стремлении Фейербаха к реформированию философии и второе, что Фейербах придерживался радикальных политических взглядов. Нас несколько удивляет (после того, что написано о Фейербахе) подобная постановка вопроса. Конечно, продолжает оставаться верным положение Маркса. И не прав И. Вайнштейн. Дело в том, что когда говорится о моменте, придающем материализму активность, действительность, то обычно имелось и имеется в виду диалектический метод, диалектика. Ни у Фейербаха, ни тем более у французских материалистов она не была существенной частью их мировоззрений. Ведь Маркс прямо указал на это, сказав, что действительную сторону впервые развил Гегель. Аргументы, приводимые И. Вайнштейном, поэтому, ни в малой степени не могут опровергнуть положения Маркса. Тем более, что последний, касающийся политической активности Фейербаха, сомнителен в своей правильности.

Далее, в этой же главе вызывает сомнение своей категоричностью утверждение, что французские материалисты «оценивали метафизически» роль классовой борьбы.

Следующая глава посвящена разбору теории причинности Богданова и намечению контуров марксистского понимания причинности. В общем от этой главы остается недурное впечатление. Но глава выиграла бы в значительной степени, если бы автор меньшее внимание уделил изложению истории причинности в философии и соответственно большее — разбору теории Богданова. Изложение понимания причинности в истории философии — у Юма, Канта, Ланге, Маха, Авенариуса — занимает половину всей главы. Это лишняя роскошь, если принять во внимание задачи работы и то, что анализ причинности Богданова далеко не полон. В результате дается лишь набросок иных пониманий причинности, и страдает выполнение основной задачи. И. Вайнштейн ограничивается критикой Богданова, главным образом, с точки зрения теоретико-познавательной. Но он совершенно почти не касается самого его понимания причинности. К чему бы привел этот разбор автора? К выяснению, что Богданов, становясь на энергетическую точку зрения, дает механическую трактовку причинности, он приравнивает количественно причину к действию; далее, что он считает принципиально возможным применение этого рода причинности к высшим областям природы, к биологической и духовной жизни. Все это связывается у Б. с механической точкой зрения, с механическим пониманием качества и количества.

Сказать, что причинность у Богданова — субъективная категория, что понимание причинности возникает из условий авторитарного общества, из отношения организаторской и исполнительской роли, что последовательность причины в отношении к действию не исчерпывает причинности, — сказать все это — значит не исчерпать существенного в богдановской теории. В противовес точке зрения махистов и Богданова, И. В. считает моментами, конституирующими причинность, «вещь и действие». Автор совершенно правильно использует для обоснования своего понимания причинности гегелевские положения. Но все же данное И. Вайнштейном определение нельзя считать полным. Понятие причинности диалектического материализма должно складываться из следующих моментов. Первое. Причина есть субстанция в конечной форме, т. е. что причина субстанциональна, т. е. когда говорим о причине, то имеем в виду, что это понятие связано с материей, принявшей ту или иную форму. Второе. Причина — не только вещь, но и отношение. Иначе говоря, причина может быть признана таковой лишь в действии, по отношению к действию. Причинность — это процесс. Третье. Причина действует во времени, она предшествует действию, но ни в коем случае не одновременна с ним. Четвертое. Причинность представляет внутреннюю связь вещей, на основе диалектического единства качества и количества. Причинность снимается взаимодействием. Наконец, причина является определяющим условием. Три последних момента отсутствуют в определении автора, а именно последние особенно характеризуют диалектическое понимание причинности. Тем, что конституируем причину, как определяющее условие, этим самым мы не отрицаем значения и роли ряда других условий, но мы выделяем то, которое, будучи внутренне связано с действием, порождает последнее. Правда, в главе говорится о внутренней связи, отличающей марксистскую постановку вопроса от теории функциональности Маха, упоминается о причине как детерминирующем. Но это только вскользь брошенные выражения, которые у автора не получили не только развития, но и соответствующей оценки. А ведь понимание причины, как

определяющего условия, резко отличает марксистскую постановку вопроса от Миллевской, Механистической и др. Теперь несколько мелких замечаний по поводу этой же главы.

Нельзя употреблять термин «однозначность» (стр. 51), не расшифровывая его, ибо понятие однозначности получило определенный смысл в связи с работами махистов, в частности Петцольда. Не верно утверждение, что Юм заменил причинность последовательностью. Лучше было бы сказать, что Юм свел понимание причинности к последовательности (стр. 51). Не верно, что для Богданова все дело в том, чтоб создать новую причинность, а не понимать вещи с точки зрения закона причинности (стр. 77). И. Вайнштейн в данном случае не прав. Богданов ведь попытался наметить ступени в развитии понятия причинности. Он вовсе не отвергает необходимость объяснения через причинность (см. «Наука об общественном сознании», предисловие к книге Ферворна—«Вопрос о границах познания» и др.). Задача И. В. заключалась в том, чтоб показать, что этапы развития понятия причинности, намеченные Богдановым, не соответствовали действительности. Далее, автор ссылается на Гельмгольца, в противовес Богданову, забывая, что трактовка причинности Гельмгольцем вызывает не меньшие возражения, чем теория Богданова (стр. 77). Наконец, цитата на стр. 90 относится к иному вопросу, а именно—к вопросу о доказательстве причинности.

Следующая статья книги своей целью имеет критику основных вопросов организационного метода. Представляют интерес страницы, посвященные разбору тектологической закономерности. Автор пытается наметить марксистское понимание закона; упреком может служить лишь неполнота анализа богдановских понятий. Так, И. Вайнштейн почему-то совершенно обходит такое важнейшее понятие в богдановской теории, как понятие конъюгации.

Вопреки мнению И. Вайнштейна, понятие «ингрессии» вытекает из понятия «конъюгации». «Всякая ингрессия,—говорит Богданов,—предполагает конъюгационные процессы, полем которых является область связки» (Тектология, т. I). Анализ «конъюгации» показал бы сущность механических воззрений Богданова, выявил бы, как в этом понятии сосредоточиваются важнейшие заблуждения его теории. Критика «ингрессии» у автора обращается, главным образом, в сфере теоретико-познавательной. Было бы не безынтересно конкретно, на примерах, проследить всю «ценность» выдвигаемых Б. законов всеобщей организационной науки.

Не останавливает своего внимания книга и на таких понятиях тектологии, как «эгрессия», «дегрессия», «закон расхождения». Автор не мог, конечно, не знать, что в учении Богданова эти «организационные формы» занимают далеко немаловажное место. Теперь пара небольших замечаний. Оценка плехановского определения материи (стр. 112), благодаря неразвитости и неточности формулировки, может вызвать недоумение. Неудачно выражение насчет «упрощения истории», благодаря которому и могло возникнуть материалистическое понимание истории (стр. 126).

Следующая, пятая, глава, как мы уже об этом упоминали, представляет наибольший интерес. В ней И. Вайнштейн оригинально и вместе с тем вполне методологически правильно пытается на место богдановского понимания взаимоотношения мышления и речи выдвинуть иное. Интерес усугубляется тем, что богдановское решение этого вопроса было по существу общепринятым.

Для Богданова «мышление есть речь минус звук, т.-е. из этих двух явлений речь есть первичное, мышление—производное». Несколько измененную, но не менее неприемлемую формулировку предлагает К. Корнилов в своем учебнике психологии. Для него мышление—«суб'ективная сторона речевых реакций» (изд. 1926, стр. 153). И. Вайнштейн подробно останавливается на связи организационной теории с разрешением вопроса о мышлении и речи в смысле примата второго. И. Вайнштейн в противовес богдановскому положению, убедительно доказывает, что «речь есть функция мышления, а не наоборот», что мышление и речь нельзя отождествлять, наконец, что мышление имело место до появления речи, и его форма порождалась взаимодействием внешнего мира и человеческого труда.

Независимо от И. Вайнштейна к аналогичным мыслям пришел академик Марр. Марр в статье, направленной против теории мышления и речи Богданова, на основании анализа конкретного материала, приходит к следующим выводам. Первый. Анализ Богданова «абстрактен и схематичен». Второй. Он считается с «нормами первобытного мышления» и с «бесспорными фактами в эволюции человечества». Третий. Линейная речь, предшествуя звуковой, являлась «символическим» выражением «организованного труда и им создававшегося мышления» (см. «Вестник Комм. Акад.» кн. 16). Нам кажется, что это свидетельство известного языковеда-специалиста не может не навести на печальные размышления в отношении Богданова.

В следующих главах, посвященных проблемам религии, классов, искусства, книга И. Вайнштейна, хотя и не оригинальна в своем анализе богдановских построений, тем не менее достойна внимания. Недочеты, имеющиеся в этих главах, на наш взгляд, сводятся к следующим моментам. В главе о богдановской теории религии автор почему-то проходит мимо всем известного положения Богданова о возникновении религии в условиях авторитарного общества. Эта часть книги наименее проработана.

Глава о классах не пытается конкретно поставить вопрос о происхождении классов. Ведь одна возможность, заключающаяся в форме существования прибавочного продукта, не решает вопроса о происхождении классов. Что-то должно перевести возможность в действительность. Конкретной постановке вопроса Богданова необходимо было противопоставить конкретную—марксистскую. Часть книги, посвященная проблеме искусства, будет прочтена с интересом читателем. Автор поднял большой материал и методологически правильно провел анализ учения Богданова, а также наметил марксистское решение основных вопросов искусства. Само определение искусства не может вызвать возражений. Можно несколько пожалеть, что к освещению проблемы искусства не была привлечена «Эстетика» Гегеля. Определение последнего искусства чрезвычайно любопытно. «Искусство,—пишет Гегель,—имеет одно назначение: представить воображению и чувствам истину так, как она есть, в ее целостности, в гармонии с миром действительным, видимым» (ч. I, стр. 18).

В последней главе И. Вайнштейн вскрывает чуждость основных экономических понятий Богданова точке зрения марксовой политической экономии. Вполне удачно он показывает механистичность в понимании стоимости, неправильность в вопросе о производительном труде.

Мы закончили, по неизбежности, короткий разбор книги Вайнштейна. Мы старались выяснить ее сильные и слабые стороны.

Итог ясен. Книга И. Вайнштейна безусловно представляет значительный теоретический интерес, как первая марксистская систематическая критика учения Богданова.

Ф. Тележников.

«Основы материалистической диалектики». I. Энгельс. Составил В. О. Клемм. Предисловие А. И. Варьяша. Изд. Гос. Тимиряз. Научн.-Исслед. Ин-та. Москва. 1927 г. Стр. 139.

Поражение, которое потерпели механисты под дружным напором сторонников ортодоксального марксизма, характеризуется тем, что они вынуждены теперь признать: 1) право философии на самостоятельное существование, 2) принципиальное значение философии (диалектики) для естествознания, 3) необходимость изучения Гегеля для того, чтобы овладеть этой диалектикой. Признание этих положений механистами иллюстрируется, между прочим, фактом издания гегелевского «Введения в философию» (под ред. и с прим. С. Васильева) и рецензируемой книжки В. О. Клемма.

Но механисты не были бы сами собой, если бы они поняли суть диалектики. К сожалению, в этом «обвинить» их нельзя, даже и после издания вышеупомянутых сочинений. Полнейшая беспринципность и бесплодие мысли—так можно охарактеризовать позиции (или лучше сказать—отсутствие таковых) у механистов в наши дни. Книжка т. Клемма иллюстрирует эту беспринципность снова.

Что представляет собой книжка в целом?—«Составитель книжки «Основы материалистической диалектики»,—говорит автор предисловия, т. Варьяш,—поставил себе задачей дать *систематическое* изложение взглядов Маркса и Энгельса на диалектику, собрать воедино все, что дали основоположники современного материализма в области методологии» (стр. 1). Однако на самом деле высказывания Маркса о диалектике представлены далеко не полно. Что же касается Энгельса, то автор использовал «Анти-Дюринга», «Людвига Фейербаха» и «Диалектику природы», но недостаточно уделил внимания письмам.

Оставляя в стороне вопрос о том, можно ли оправдать такое механическое выдергивание цитат из контекста различных произведений основоположников марксизма и их в значительной мере искусственное «сшивание», какое мы имеем в книжке т. Клемма,—необходимо указать, что тов. Клемм не только собрал цитаты, но и снабдил их довольно пространственными комментариями. Эти-то комментарии, эта интерпретация Маркса и Энгельса автором книжки и заслуживают внимания рецензента, ибо высказывания самих родоначальников марксизма, собранные в книжке, не новы, всем известны и уже вошли в арсенал нашей философии, в качестве непоколебимых ее основ.

Но прежде чем говорить о комментариях т. Клемма, нельзя не остановиться на предисловии т. Варьяша, выявляющем на двух страничках всю «глубину» механистической философии. Похвалив автора книжки за «добросовестно проделанную ценную работу», т. Варьяш считает необходимым «указать на два пункта, которые недостаточно выяснены тов. Клеммом» (стр. 2). Однако вина за «невнятность» падает не на Клемма, а... на Энгельса, у которого самого, оказывается, «были сомнения» (стр. 3).

«Первый пункт касается взгляда Энгельса на вопрос о разных видах движения» (стр. 2). Конечно, т. Варьяш «согласен» с Энгельсом в том, что механическое перемещение «не исчерпывает всей формы движения» (Энгельс), ибо кто же из механистов не «согласен» с Энгельсом? Но какую,—спрашивает Варьяш,—механику имеет в виду Энгельс? И отвечает: «Ту механику, которая обыкновенно называется механикой Ньютона» (там же). А так как Ньютон жил в XVII веке, то Энгельс, очевидно, критикует механику «в историческом смысле».

Смысл слов Варьяша заключается в том, что вместе с Ньютоном умерла, якобы, и та механическая точка зрения, которую бичевал Энгельс, и что, следовательно, механическая теория, которую защищает Варьяш и др., стоит вне критики Энгельса. Эта «логика» не нова,—то же самое, по существу, говорил А. К. Тимирязев (см., напр., «Вестник Комм. Акад.», кн. 17). С другой стороны, можно на примере из «Диалектики природы» легко показать, что, критикуя механическое естествознание, Энгельс имел в виду именно современных ему авторов (Геккеля и др.); но он, естественно, ставил их точку зрения в теснейшую связь с позицией естествознания XVIII и XVII вв., ибо методология механического естествознания XIX века принципиально не отличается от методологии французских материалистов, Ньютона, Декарта. Но то же самое можно сказать и о т. Варьяше, ибо он прочно, обеими, так сказать, ногами, стоит на методологической позиции естествознания прошлого столетия. Он говорит: «Превращение энергии из одной ее формы в другую представляет собой также вид движения, и оно не исчерпывается механическим перемещением, ибо при превращении формы энергии изменяется не только место движущихся частей (механическое перемещение их), но и порядок (взаимное расположение составных частей) и направление их движения» (стр. 2). Из приведенных слов ясно, что, по Варьяшу, переход из одной формы движения в другую (то, что мы называем изменением качества) сводится к изменению во взаимном расположении частиц материи и направления их движения. Но ведь подобное понимание «изменения» не имеет ничего общего с диалектическим пониманием этого термина и является по существу лишь другим словесным выражением все того же механического принципа. И ни т. Варьяш, ни все механисты вкупе, не смогут доказать, что Маркс, Энгельс или их ученики и продолжатели—Плеханов и Ленин—видели *сущность* перехода из одной формы движения в другую в изменении порядка, расположения частиц материи. «Механика—в более широком или узком смысле слова—знает только количества»,—говорит Энгельс: «она сама только простая вспомогательная наука, предпосылка физики». Поэтому «познавать... механические движения является *первой* задачей науки, однако, лишь *первой*» («Архив М. и Э.», II, стр. 143).

Корень ошибочных взглядов т. Варьяша заключается в непонимании им того смысла, который вкладывали Маркс и Энгельс в понятие движения. «Движение, в применении к материи,—это *изменение вообще*»,—говорит Энгельс («Архив», II, стр. 27, курсив Энгельса). Механическое движение является, по Энгельсу, только моментом, частным случаем изменения вообще, оно является лишь одной из форм (простейшей формой) движения—изменения. Понятие изменения включает в себе понятие механического движения и неизмеримо шире и содержательнее последнего. Этого не понимает т. Варьяш.

Вслед за приведенными выше словами т. Варьяш изрекает: «...Всякий вид движения есть также перемещение в пространстве и во времени, или, иначе

говоря, нет такого изменения, которое происходило бы вне времени и пространства» (стр. 2—3). На том основании, что всякое изменение происходит во времени и в пространстве (какая «глубокая» мысль!), т. Варьяш отождествляет это изменение («всякий вид движения») с механическим перемещением. Ну и «диалектика»! В этой «диалектике» заключается вся «премудрость» философии Варьяша.

«Другой пункт,—продолжает А. Варьяш,—относится к вопросу: исчерпывается ли жизнь—так спрашивает Энгельс—физико-химическими процессами? Некоторые философы понимают поставленный Энгельсом вопрос так, что Энгельс отрицает такую возможность... Но то, что он вовсе не стоял на точке зрения отрицания, доказывает ряд мест, где он отвечал *утвердительно*» (стр. 3, курсив автора). Какие же это «места»? И Варьяш приводит наиболее «убийственное», повидимому, место из «Диалектики природы»; в котором Энгельс говорит, что «основные процессы природы объяснены, сведены к *естественным причинам*» и что «остаётся добиться ещё только одного: объяснить *возникновение жизни из неорганической природы*... Химия все более и более приближается к решению *этой задачи*, хотя она и далека ещё от этого» (курсив наш).

Тов. Варьяш попадает в смешное положение, ибо приведенной цитатой из Энгельса он высек не кого-нибудь другого, а самого себя. В самом деле, о чем говорит Энгельс в вышеприведенных фразах? Варьяш хочет доказать, что жизнь можно свести к *физико-химическим* закономерностям, а Энгельс говорит не больше, как лишь о том, что «основные процессы природы» (в частности—жизни) объясняются, сводятся к *естественным* причинам. Одно ли это и то же, или нет? «Как-будто» нет! Во-вторых, когда Энгельс в вышеприведенной цитате и во многих других местах подчеркивает колоссальное значение органической химии, он указывает лишь на то, что она призвана и может (пока что принципиально, а не практически) разрешить вопрос о *возникновении* жизни. А что хотел доказать Варьяш? То, что химия способна исчерпать *сущность* жизни. Как видим, приведенная т. Варьяшем цитата не подтверждает его концепцию, а, наоборот, опровергает ее.

Ту мысль, что высшие формы движения связаны с низшими, происходят от этих низших, Энгельс подчеркивает неоднократно. Энгельс *выводит* высшие формы (напр., жизнь) из низших (физико-химические процессы), но он никогда не сводил эти формы к низшим. Ибо Энгельс, как диалектик, понимал *качественные своеобразия* отдельных форм движения, в частности жизни. Он следующим образом говорит о взаимоотношении физико-химических и биологических процессов (характерно, что т. Клемм, *дважды*—стр. 76 и 92—цитируя в своей книжке это место, не приводит его целиком): «...Органическая жизнь невозможна без механических, молекулярных, химических, термических, электрических и т. д. изменений. Но наличие этих побочных форм не исчерпывает существа главной формы в каждом случае. Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим сущность мышления?» («Архив», II, стр. 27—29).

Там, где у Энгельса диалектика, А. Варьяш видит лишь колебания, сомнения, неуверенность. Он так и говорит: «У Энгельса были сомнения по данному вопросу (т.-е. по вопросу о жизни. *Ан. Ч.*)...». Но сам Варьяш не причастен, конечно, к подобным «сомнениям» (т.-е. диалектике), и поэтому он следующим образом «выправляет» «колеблющуюся» линию Энгельса: «Сказать,—заявляет

он,—что, кроме физико-химических сил (закономерностей, сказал бы Энгельс, Лн. У.), действуют еще какие-нибудь другие, особенно характерные только для жизни,—означало бы впасть в витализм» (стр. 3). Но, спрашивается, почему это витализм, если признать, что в биологических явлениях, помимо физико-химических закономерностей (как побочных), имеется другая (главная) «естественная причина» (говоря словами приведенной выше цитаты из Энгельса). другая закономерность?

«С другой стороны,—продолжает Варьяш,—особенность живого по отношению к неживому не подлежит сомнению. Как можно решить это противоречие с точки зрения диалектического материализма?» (там же).—«Диалектика» Варьяша разрешает это противоречие (с одной стороны, «физико-химические закономерности», а, с другой—«особенность живого») устранением одного из элементов этого противоречия. Решение,—говорит Варьяш,—на наш взгляд, заключается в том, что составные части живой материи обнаруживают только физико-химические закономерности. Их взаимодействия означают также физико-химические процессы, но такие, которые не встречаются при любом синтезе элементов, а именно только в живой природе... Элементы сложного синтеза, называемого жизнью, все—физико-химического характера, но характера такого, что этот вид синтеза встречается только при особых физико-химических условиях (температура, соединение определенных элементов) и не встречается во всех формах *возможного* синтеза» (стр. 3—4, курсив Варьяша).

Таким образом, по Варьяшу, жизнь, «сложный синтез», есть *только* физико-химический процесс,—правда, «сложный», происходящий «при особых условиях»,—но, тем не менее, обнаруживающий *только* физико-химические закономерности. Такова «диалектика» Варьяша...

Мы уделили столько внимания предисловию А. Варьяша потому, что механическая точка зрения, которая приводится т. Клеммом в его книжке, выражена здесь особенно откровенно и лапидарно. Справедливость требует отметить, что тов. Варьяш и сейчас—после широкой дискуссии последних лет—с редким упрямством продолжает защищать ортодоксально-механистическую позицию, в то время как многие его единомышленники уже вынуждены, в ходе идейной борьбы, отказаться от ряда своих прежних формулировок и просто повторяют теперь решение тех же вопросов, даваемое их противниками—диалектиками. Книжка т. Клемма характеризует лишний раз идейные «позиции» этой последней категории механистов. И так как ничего оригинального она собой не представляет, то мы и остановимся лишь на центральной мысли ее автора.

Необходимо реабилитировать т. Клемма от того, правда, завуалированного, упрека, который делает ему Варьяш, говоря, что «два пункта», о которых шла выше речь, «недостаточно выяснены тов. Клеммом». Тов. Варьяш несправедлив: и вопрос об отношении различных форм движения к механическому движению («первый пункт»), и вопрос о сведении биологии к физико-химии («другой пункт»),—оба эти вопроса разбираются т. Клеммом. Больше того: в этом разборе состоит центр тяжести рассуждений Клемма. Другое дело, как разрешает он эти вопросы. Не все, что говорит т. Клемм, совпадает с убеждениями т. Варьяша. Нередко т. Клемм просто повторяет «гегельянские»

формулировки уже не раз преданного анафеме т. Деборниа и его учеников. Может быть, под «недостаточной выясненностью» т. Варьяш и имеет в виду этот методологический «дуализм», или, точнее, путаницу, у т. Клемма? Но тогда не понятен общий хвалебный тон предисловия!

Обрисовав, с грехом пополам, основные черты диалектики, а также значение Гегеля для материалистической диалектики, автор, во второй части книжки, переходит к более подробному рассмотрению диалектики в природе. Приведя во II главе («Универсальное взаимодействие») ряд высказываний Энгельса о материи и движении, в механическом и диалектическом понимании этих категорий, т. Клемм резюмирует следующим образом: и ...метафизическая точка зрения сводила движение к механическому движению—перемещению, тем самым отрывала движение материи и приводила к необходимости в таинственном толчке извне, ибо иначе неоткуда было бы взяты движение, вызываемому им дифференцированию материи и имеющимся в природе качественным различиям...

Таким образом, в природе нет материи и нет движения, а существует только *движущаяся материя*...

Теперь легко понять, почему нельзя свести все качественные различия к чисто количественным различиям состава частиц материи, как таковой, или, как говорят иначе, *снять качество количеством*.

«Где есть движение, там есть дифференцирование материи, значит, где есть движение, там есть некая качественная форма, выявляющая некие специфические свойства дифференцированной материи... Поэтому все в природе, от мельчайших частиц до величайших тел, обладает некоей качественной формой» (стр. 73—74; курсив Клемма).

Такой вывод действительно соответствует смыслу учения Маркса, Энгельса, а, с другой стороны, это и есть то, в чем стараются убедить механистов диалектики. Если бы т. Клемм понял смысл своих же собственных слов, он этим доказал бы, что некоторые из примкнувших к механистам не такие уж безнадежные люди. Однако оказывается, слова т. Клемма не выражают полностью его убеждений. Тотчас же вслед за этим он формулирует другую «органическую» часть своих убеждений.

Без всякого смущения, делая вид, что он лишь комментирует Энгельса, т. Клемм преподносит читателю сплошную отсебятину: «То,—говорит он,—что качественные различия нельзя свести к чисто количественным различиям состава тождественных мельчайших частиц материи, как таковой, *вообще не означает*, что качественные формы суть нечто, не поддающееся анализу. Уже одно то, что совокупность качеств является формой (качественной формой) количественного соотношения частиц движущейся материи и их движений, дает возможность раскрывать *качественные формы и сводить их к более простым (более общим) качественным формам тех частиц движущейся материи, которые в процессе данной высшей формы движения служат их содержанием*. Такой диалектический переход (в обратном, аналитическом порядке) совершается, например, при переходе от биологии (химии белков) к химии (физике атомов). Более простые качественные формы частиц движущейся материи в свою очередь сводятся к еще более простым качественным формам частиц движущейся материи (клетки—к молекулам, молекулы—к атомам и т. д.) *до основных качественных форм (основных в достижениях естествознания всякой данной ступени развития), а в современных достижениях—до протонов и электронов*» (стр. 75; курсив Клемма).

Если из этой тирады выделить основной ее смысл, то он заключается в том, что «диалектический переход» приравнивается аналитическому разложению (без остатка), сведению сложного к простому. По существу это ничем не отличается от обычной концепции механистов. Для «классических» механистов, в роде т. Варьяша, качественные различия без церемоний сводятся к количественным. Материя сводится к тождественным мельчайшим частицам. С более «церемонной» точки зрения Клемма, все качественные формы «диалектически» сводятся к «простейшим основным качественным формам» — протонам и электронам, ибо «достижения современного естествознания в области изучения структуры атома продвинули сведение качественных форм от менее общих к более общим *еще на одну низшую ступень*, сведя к количественным соотношениям протона и электронов, т.-е. к *двум* (основным в достижениях естествознания современной нам ступени развития) *качественным формам*, ибо все протоны, с одной стороны, и все электроны, с другой, *по размеру, весу и качеству — тождественны*» (стр. 96; курсив автора).

Тов. Клемм усердно, во всех падежах и числах, склоняет слово «качество», как бы думая этим возместить свое абсолютное непонимание этой существеннейшей категории диалектики. Тов. Клемм не понимает — как и все механисты — того, что категория качества служит для обозначения своеобразия, специфичности, самобытности, так сказать, вещи, ее отличия от других вещей, и что дело ни капельки не изменится, если, вместо одного «качества» (тождественных частиц), мы станем сводить все качественные формы к двум «качествам» (тождественным протонам и тождественным электронам), ибо и в том и в другом случае от категории качества, как ее понимает диалектика, остается лишь пустое слово. Тов. Клемм, в полном согласии с прочими механистами, не понимает, что понятие «сведения» (в этой трактовке) — фальшиво и абсолютно непригодно с точки зрения диалектики. В непонимании всего этого и состоит подоснова частных ошибок т. Клемма и его друзей — единомышленников.

Тов. Клемм хочет создать впечатление, что кто-то (мы знаем, в чей огород направлен камешек) якобы не дооценивает метода анализа, разложения на составные элементы, но что он сам — боже, упаси! — вовсе не стоит на односторонней точке зрения анализа. Поэтому т. Клемм старательно подчеркивает (напр., на стр. 92) необходимость синтеза вслед за анализом. Но все это, оказывается, не больше, как одни лишь слова. Ибо, во-первых, на стр. 77 обнаруживается совершенно «оригинальное» понимание автором анализа-синтеза, анализ — сведение «является *средством познавать природу*» (курсив автора), «открывает возможности к ее использованию». Синтез же представляет собою лишь практическое использование этой возможности (см. также стр. 104). Во-вторых, «признание» анализа-синтеза автор иллюстрирует следующим положением: «По отношению к формам движущейся материи, изучаемым физикой и химией, организм является высшей формой движущейся материи. Физико-химические компоненты дают разные синтезы и между ними — *синтез-организм*. Синтез-организм, обладающий особой специфичностью, аналитически сводится к образовавшим его более простым формам движущейся материи, физическим и химическим, обладающим своими специфичностями, но при этом сведении специфичность синтеза-организма *не исчезает* физико-химическими специфичностями, ибо синтез-организм приобрел свою особую биологическую специфичность».

«Поэтому сведение высшей качественной формы к более простой и даже к основной (для данного уровня естествознания) качественной форме—может расцениваться только как *часть познания* сущности данной высшей качественной формы (данной формы существования движущейся материи)» (стр. 76; *курсив автора*).

Что же выходит?—Оказывается, что хотя анализ и не исчерпывает «специфичности синтеза-организма», так как он дает лишь «часть познания сущности данной высшей качественной формы», но анализ вскрывает *основную* «качественную форму» (закономерность, выражаясь членораздельно), содержащуюся в высшей качественной форме. Чем это не типичная концепция механистов?

Энгельс, как известно, смотрел на дело совершенно иначе (ср., например, «Архив», II, 27—29). По Энгельсу, физико-химические процессы в организме являются лишь побочными формами движения, главная же (основная, по терминологии Клемма) форма, это—специфичное, своеобразное в организме, то, что отличает организм от не-организма, делает его особым качеством. По Клемму же, основное в организме то, что обще у него с остальной природой. Такова «маленькая» разница между Энгельсом и его «популяризатором» (вульгаризатором?)—т. Клеммом.

Несколькими строками ниже автор выражается еще более определенно и категорически: «Сведение высших качественных форм, выявляющих «специфический характер» данного количественного соотношения частиц движущейся материи и их движений, к количественным соотношениям частиц движущейся материи более общих качественных форм (к физико-химическим и даже механическим основам) является *средством познания природы*, а, значит, и *изменять ее, управлять ею*». (стр. 77; курсив автора).

Это—перл клеммовской «диалектики»!

Наша рецензия растянулась. Поэтому мы не станем останавливаться на частных (хотя и немаловажных) ошибках и ляпсусах т. Клемма. Между прочим, автор посвящает несколько страниц проблеме случайности и необходимости. Он приводит соответствующие высказывания Энгельса (преимущественно из «Диалектики природы»), но собственные комментарии автора не дают основания говорить об его ясной и недвусмысленной позиции. Тов. Клемм усиленно подчеркивает, что «случайность причина». Далее, он заявляет, что «причинность *снимает категорию случайности*, оставляя одну (П. Ан. Ч.) категорию *необходимости*» (стр. 135). С другой стороны, автор как будто протестует против абстрактной необходимости. Таким образом, комментарии т. Клемма, долженствовавшие, казалось бы, разъяснить энгельсовское понимание проблемы, на самом деле, лишь запутывают вопрос.

Еще раз о книжке в целом. Автор, как известно, поставил себе задачей систематизировать высказывания Маркса и Энгельса о материалистической диалектике. Но эта систематизация проделана крайне тенденциозно. Приводимые цитаты не всегда располагаются автором с точки зрения внутренней их связи; ряд мест из сочинений Маркса—Энгельса, трактующих тот или иной разбираемый в книжке вопрос, сознательно замалчивается; многие из приводимых автором цитат получают неправильный, извращенный смысл, ибо они даются то без начала, то без конца и т. п. Кроме того, комментарии автора, которые сопровождают даже правильно приведенные суждения основоположников марксизма, сплошь и рядом искажают в корне смысл этих суждений.

Поэтому законным является вопрос: кому нужна подобная «работа»? Подготовленный читатель сам, без услуг со стороны (тем более, «услуг» т. Клемма), разберется в сочинениях Маркса—Энгельса. Что же касается малоподготовленного читателя, лишь впервые приступающего к изучению оригинальных произведений Маркса и Энгельса, то книжка т. Клемма, в силу указанных ее «качеств», не облегчит, а, наоборот, усложнит и затруднит работу этого читателя.

А. Чичикалов.

Леонид Райский. *Социальные воззрения петрашевцев*. Л. «Прибой». 1927. (150 стр.).

Работа тов. Райского заполняет существенный пробел в истории развития русской общественной мысли и революционного движения в России.

Петрашевцами у нас интересовались сравнительно мало, знали их плохо. Наивными, мечтателями, какими-то чудаками в квадрате и *фурьеристами в России* Николай I представлялись они в цепи поколений деятелей русской революции. Не способствовали уяснению общей физиономии петрашевцев и труды В. И. Семевского. Покойный историк, несомненно, имеет много заслуг перед историей революционного движения. Его трудолюбию и его любви ко всему, что имеет какое-либо отношение к «освободительному движению», все, занимающиеся и интересующиеся русской историей, обязаны очень многим. Но та либерально-народническая точка зрения, с которой он оценивал явления русской революции, беспомощность, которую он обнаруживал каждый раз, когда от рассказа или перерассказа пытался перейти к анализу, эти «органические» дефекты всех его трудов способствовали и в отношении декабристов, к «творению» легенды о которых он тоже приложил свою руку, и в отношении петрашевцев—не выяснению, а, скорей, затемнению вопроса. Туман вокруг декабристов опубликованием материалов следственного дела, работами М. Н. Покровского, А. Е. Преснякова и др. рассеян. Тов. Райский в своей книге кладет конец и легенде о петрашевцах.

Можно только пожалеть, что тов. Райский подошел к петрашевцам, как историк Западной Европы, которого изучение утопического социализма и, в частности, «фурьеризма» завело ненадолго в пределы истории России. В качестве марксиста, он, конечно, должен был дать сжатый очерк «экономического и социально-политического строя России на рубеже второй половины XIX столетия (гл. I), и эту задачу он выполнил—на 7 страницах—вполне удовлетворительно; удачной надо признать и его попытку нащупать социальные корни движения петрашевцев (гл. VI). Но все же—и это, бесспорно, недостаток—петрашевцы рассмотрены им вне связи с теми течениями общественной мысли, которые или предшествовали «фурьеризму» петрашевцев, или пробивались сквозь крепостную толщу русской жизни одновременно с ним. Белинский, Герцен, славянофилы в истории общественного движения 40-х гг. сыграли столь крупную роль, наложили столь глубокую печать на «культурный» фон эпохи, что без учета их удельного веса в умственной атмосфере этого замечательного десятилетия очень трудно представить себе и общественно-политическое значение петрашевцев.

Насколько более плодотворны были бы результаты исследования т. Райского, если бы он несколько шире раздвинул рамки своей работы, можно видеть из одного факта, отмеченного им же самим.

На стр. 102 т. Райский мысли петрашевцев о прогрессивной роли капитализма в России сближает с известной мыслью Белинского о том, что «внутренний процесс гражданского развития России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию». Этим маленьким экскурсом за пределы кружка петрашевцев т. Райский очень хорошо подкрепил свою мысль о том, что фурыеризм петрашевцев—«мелкобуржуазный социализм» с налетом элементов «буржуазного социализма» (стр. 98)—имел под собой почву в экономике и социальном строе николаевской России. Насколько же более интересными могли бы быть выводы автора, если бы он «дал» петрашевцев на более широком фоне движения русской общественной мысли в этот период...

В связи с этим отметим еще один вопрос, на который наталкивает работа тов. Райского.

Социализм петрашевцев в своей основе, если снять с него «налет» «буржуазного социализма», был социализмом мелко-буржуазным. Но мелко-буржуазный социализм, как общее правило,—антикапиталистичен. После революции 1848 г. современник петрашевцев, Герцен, круто повернул в своих «социалистических» чаяниях с Запада на Восток, предсказывая «русскому селу» «великое будущее». В дальнейшем социализм Чернышевского и народников был насковзь антикапиталистичен. Чем же объяснить этот разрыв между петрашевцами и последующим поколением деятелей русской революции? Работа тов. Райского дает кое-какой материал для ответа на этот вопрос, но не дает ответа. Вопрос о месте петрашевцев в истории революционного движения в России, видимо, мало интересовал его. А между тем, вопрос этот очень интересен. Нам кажется, что мы не ошибемся, если элементы «буржуазного социализма» в мировоззрении людей того круга, из которого вышли петрашевцы, объясним тем, что время деятельности петрашевцев было временем, когда российский капитализм еще только становился на ноги, когда за «европейским» его фасадом, кричаще противоречащим крепостному укладу русской жизни, еще довольно трудно было подметить его изнанку—те процессы разрушения, которые он вносил в хозяйство и быт самостоятельного производителя. Петрашевцы, как апологеты капиталистического развития России,—этот оттенок в системе мыслей русских фурыеристов хорошо и прочно установлен т. Райским. С этой точки зрения Петрашевский и его друзья—краткая неизбежно, неотвратимо краткая), но интереснейшая страница в истории русской общественной мысли.

Таковы наши главные замечания о книге т. Райского. В остальном его книга не вызывает сколько-нибудь серьезных возражений. Несколько спорным представляется нам утверждение автора, что «в известной своей части петрашевцы отразили в своем сознании условия существования того социального слоя, из которого они вышли»,—слоя «мелкопоместного дворянства», который тогда—в Николаевскую эпоху—находился «на краю гибели» и склонен был думать, что «кооперацией можно спастись от социальной смерти» (стр. 98). Ведь сам т. Райский, утверждая это, говорит, что это влияние среды было не непосредственным, а «подкожным». Не правильнее ли было бы смотреть на петрашевцев, как на представителей более широких кругов общества, чем

слой мелкопоместного дворянства. К тому же наиболее интересующие т. Райского петрашевцы—сам Петрашевский и Беклемишев—были сторонниками «кооперации» и не были представителями мелкопоместного дворянства.

Написанная по первоисточникам—автор использовал «богатейший архив В. И. Семевского»,—человеком, хорошо знакомым с Фурье и «фурьеризмом», и к тому же—как показывает вся работа—хорошим марксистом, книга т. Райского является ценной работой.

В «Приложениях» к своей работе т. Райский напечатал: 1) «Краткий очерк основных начал системы Фурье»—Петрашевского. 2) «О выгодах сообщения сравнительно с дроблением по разным отраслям труда» и 3) «О страстях и о возможности сделать труд привлекательным»—Беклемишева.

Книга т. Райского запоздала выходом из печати. Она появилась уже после того, как вышли «Петрашевцы», сборник материалов под редакцией П. Е. Щеголева, т. II, Г. И., 1927. Знакомство с изданными П. Е. Щеголевым материалами лишний раз убеждает, насколько тщательно и серьезно т. Райский проделал свою работу.

А. Владимиров.

ОРГАНИЗАЦИЯ КАБИНЕТА ПО ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ПРИ СЕКЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК КОММ. АКАДЕМИИ

В декабре 1927 г. Бюро Президиума Комм. Академии рассмотрело прилагаемый ниже проект т. М. Левина об организации при Секции естественных и точных наук Исследовательского института по истории естествознания.

Бюро Президиума постановлено образовать при Секции естеств. и точных наук Кабинет по истории естествознания и назначить заведующим кабинетом тов. М. Левина.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СЕКЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК КОММ. АКАДЕМИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПО ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Бурное развитие всех дисциплин естествознания и головокружительные успехи прикладного естествознания в технике, агрономии, медицине, военном деле и т. д. все больше и больше превращают естествознание в ту область науки, в которой философы и экономисты, теоретики познания и практики, рационализации и энергетики ищут ответа на злободневные вопросы мирозерцания и действительного подчинения сил природы власти человека. В частности, в нашем пролетарском отечестве значение естественных наук не может быть преувеличено. С одной стороны, естествознание занимает и должно занимать решающие, командные высоты в сознательном развитии наших производительных сил, с другой стороны, — оно изо дня в день получает все большее значение в укреплении и углублении нашего диалектико-материалистического мирозерцания. Естествознание должно стать культурной силой во всех отношениях. Лишь тогда оно сможет стать тем великим двигателем прогресса, каким в XVIII и XIX веках были философия и литература. Однако, в буржуазных странах естествознание является не только культурной силой, но и могущественным орудием в классовой борьбе капитала с трудом. Для того, чтобы правильно разобраться в двойственной позиции, занимаемой буржуазией в отношении теоретических и практических достижений естественных наук, знакомство с историей естествознания, в связи с историей общественного развития и историей классовой борьбы, является *conditio sine qua* поп успешной борьбы марксизма с буржуазно-идеологическим мировоззрением и связанной с последним апологетикой капиталистической эксплуатации и всякого рода гнусного порабощения человека человеком и угнетения целых народов.

Горячие споры, развернувшиеся в нашей коммунистической среде в связи с защитой механистами тезиса: «Механистическое естествознание само есть необходимый элемент диалектико-материалистического мировоззрения и одна из необходимейших предпосылок марксистского мышления» (Гос. Тимирязевск. Научно-Исследовательский Институт, 1925 г.) и с выходом в свет замечательных фрагментов Энгельса («Диалектика природы»), быстро обнаружили один

крупный пробел в наших идейных сражениях, значительно затруднявший все-стороннее выявление ограниченности механистического мировоззрения. Я имею в виду ту ничтожную роль которую в этой нашей войне играла история естествознания, опирающаяся на историко-материалистическое освещение развития естественных наук. Она оказалась в мире «обойденных величин».

Это обстоятельство, а также тот факт, что в капиталистических странах (в Германии, Англии, Америке, Франции, Голландии и др.) изучению истории естествознания уделяется все большее внимание (растет количество сводочных трудов, монографий, журналов и даже специальных обществ, дающих, однако, лишь в редких случаях действительно ценные вклады в эту науку (вроде работ F. Kleina, Wohlwill'a, Lippmann'a, Mach'a, Duhem'a и др.)), в большинстве же своем приводящие к составлению простых хронологий или же к идеалистическим, притом нередко шовинистически состряпанным панегирикам «великим творцам»), побудил Секцию естественных и точных наук войти в Президиум Комм. Академии с предложением основать «Институт по изучению истории естествознания на строго марксистской основе, т.е. на базисе изучения взаимной связи между естествознанием и развитием общественного и классового фактора, в частности, философии, с одной стороны, и развитием производительных сил и техники—с другой.

Задачи «Института» в максимальной перспективе следующие:

1. Самостоятельные исследования в области истории естествознания. печатаемые в виде статей, обзоров и книг, как монографического (по отдельным дисциплинам, эпохам, течениям, лицам), так и общего характера, а также классиков естествознания. Издание специального журнала под названием «Труды Института по истории естествознания при Комм. Академии».

2. Изучение истории естествознания под углом зрения использования естественных наук, как орудия классовой борьбы эксплуататоров против эксплуатируемых (расовая гигиена, шовинистическая антропология, лже-дарвинистская евгеника и т. п.).

3. Чтение докладов и организация экскурсий по истории естествознания.

4. Собрание и научное группирование исторического материала на основе изучения первоисточников и оригиналов всех времен. Создание специальной картотеки с особой для этой цели системой быстрого и точного карточного ориентирования.

5. Устройство специальной большой библиотеки по истории естествознания.

6. Разработка филогении естественно-научных идей и открытий.

7. Изучение различных условий и удельного веса отдельных факторов, способствовавших развитию естественно-научной работы и открытий.

8. Собираение и опубликование материалов по истории развития естественно-научных учреждений, обществ, конгрессов и экспедиций. Изучение истории преподавания естествознания и социального положения учителей, врачей, инженеров, агрономов и др. групп интеллектуального труда, а также правительственной политики в разных странах и в разные времена в отношении только что перечисленных групп. Изучение индивидуальных, социальных и генеалогических компонент среди естествовников (по примеру de Cap-dolle'a, с соответствующими марксистскими поправками).

9. Изучение истории прикладных дисциплин (военное дело, техника, медицина, агрономия и т. п.), а также проявления естествознания в живописи, зодчестве и литературе, дающих богатый материал для истории естествознания.

10. Систематический учет поддающихся обобщению признаков отдельных ученых, их положения и генеалогии, а также статистическая обработка открытий, методов и условий преподавания в различных странах и в различные времена.

11. Разработка методов и путей широкого ознакомления масс с уже достигнутыми успехами в области истории естествознания.

12. Устройство публичного музея с наглядными пособиями по истории естествознания.

13. Объединение вокруг Института как уже работающих в области истории естествознания в близком нам духе ученых, так и студентов и всех желающих себя посвятить материалистической истории естествознания.

14. Специальное изучение истории естествознания в СССР, для чего организовать:

- а) Специальный подотдел.
- б) Отделения в провинции.
- в) Командировки на места.
- г) Приток всех печатаемых в провинции докладов, статей, книг и т. п. по истории естествознания в московский центр.
- д) Изучение биографий крупных русских ученых.
- е) Изучение влияния заграничной науки на развитие русской науки.
- ж) Войти с предложением в Наркомпрос об устройстве при всех вузах, имеющих естественно-научные факультеты, а также при всех вузах специальной кафедры по истории естествознания и установить связь Института по истории естествознания с выбираемыми на эту должность доцентами.
- з) Вступить в теснейший контакт с имеющим быть организованным Всесоюзным Обществом по истории медицины и естествознания.
- и) Связаться с Академией Наук и получить право беспрепятственной работы во всех учреждениях Академии Наук, имеющих отношение к истории естествознания, для командированных Институтом работников.

15. Институт должен стать центром исследований также и для иностранных ученых.

16. Установление связи с соответствующими институтами, обществами и отдельными лицами за границей.

17. Командировка научных сотрудников за границу для

- а) выполнения определенных исследовательских задач,
- б) собирания исторического материала и приобретения редких изданий,
- в) закрепления связи с аналогичными институтами.

18. Переводы с иностранных языков ценных трудов по истории естествознания.

19. Издание хронологических таблиц по истории естествознания (по меру таблиц Ауэрбаха, Липпмана и др., но более подробных и по несколько видоизмененной системе).

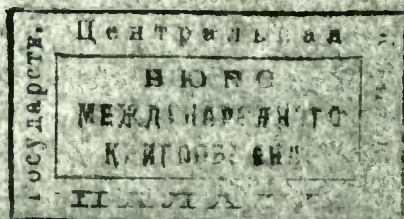
20. Подготовка Энциклопедии по истории естествознания с привлечением иностранных ученых.

М. Левин

Редакционная коллегия

Бухарин, Н. И., Дволайцкий, Ш. М., Деборин, А. М., Крицман, Л. Н., Лукин, Н. М., Милютин, В. П., Пашуканс, Е. Б., Покровский, М. Н., Шмидт, О. Ю.

ЦЕНА 2 р. 50 коп.



ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ
В Издательство КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
Москва 19, Волкожи, 14. Тел. 3-59-48.